

ЖУРНАЛ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

СИБИРЬ

№ 359 / 1 1·2016

Литературно-художественный и культурно-просветительский
журнал писателей Восточной Сибири
Учредитель — Иркутское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России»
Журнал выходит при финансовой помощи
Министерства культуры и архивов Иркутской области
Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

Содержание

Проза

- Олег Слободчиков.** Первопроходцы. Главы из романа..... 3
Александр Никифоров. Отцовский урок. Рассказ 52
Михаил Тарковский. Стройка бани. 69
Надежда Дегтярёва. Таёжный чай. Рассказы..... 109
Альберт Гурулёв. На белом свете, недавно... Биографическое повествование 125

Поэзия

- Анатолий Аврутин.** Лишь в русском слове слышу речь..... 45
Лидия Вольнец. Что стало с отчизной и с нами..... 64
Памяти Сергея Есенина. Анна Ахматова, Виктор Боков, Борис Бурмистров, Анатолий Гребнев, Дмитрий Дарин, Николай Зиновьев, Анатолий Змиевский, Георгий Кольцов, Лев Котюков, Станислав Куняев, Владимир Маяковский, Илья Недосеков, Елизавета Оводнева, Алесь Писарик, Андрей Ребров, Николай Рубцов, Владимир Скиф, Владимир Скурихин, Игорь Тюленев, Владимир Фирсов, Валерий Храмов, Марина Цветаева..... 90
Сергей Погодаев. Тревоги сходят в душу, как лавины..... 117
Владимир Корнилов. Теперь ты к нам приходишь лишь во снах..... 148
Час поэзии. Артём Заболотин, Татьяна Лешкевич Елена Кириллова, Татьяна Стрельникова-Белявская, Надежда Калиниченко, Патвакан Вардзарян..... 179

Мастерская художественного очерка

- Александр Лаптев.** Колымские пути-перепутья 154

К 80-летию Геннадия Михасенко

- Василий Скrobot.** «Он не умер, он ушёл в зарю...» Штрихи к портрету писателя
Геннадия Павловича Михасенко 189

Чтоб «родная земля не скудела»

- Писатели Крыма — проза и стихи.** Вячеслав Килеса. «Девушка», Ариолла Милодан, Юрий Поляков, Лариса Афанасьева, Виктория Анфимова 194

Байкал и люди

- Ирина Прищепова.** «Все чувства превратить в любовь»..... 206

Саянская тетрадь

- Игорь Аброскин, Светлана Фрелина, Александр Галыга, Юлия Бутакова, Александр Кашицын, Вадим Кикирев, Александр Маркелов** 216

Жизнь литературы и жизнь в литературе

Арнольд Харитонов. «Живите все, пока живу. Когда умру — живите тоже» 241

Поздравляем с юбилеем!

Юрий Баранов. Я буду ангелом для вас..... 249

Эхо Года литературы. Фестивалю

Валентина Семёнова. Границы дозволенного и возможного. Краткий обзор X Международного театрального фестиваля современной драматургии им. Александра Вампилова 253

Возвращённое имя

Андрей Мирошников. Евгений Варламов. Просто, как правда 264

Уроки Валентина Распутина

Борис Барановский. Живём и помним 274

В.Я. Иванова. «Солнечная пыль» над столом: *Время и вечность в слове Валентина Распутина*..... 279

Исторические чтения

Б.А. Демьянович. Большие Коты. *История биостанции* 281

Эхо Года литературы. Праздник

Эдуард Анашкин. Забайкальская осень – 2015 287

Слово читателю

Андрей Колесников. Чистый воздух 289

Эхо Года литературы

Новые книги. Валентин Распутин, Валерий Хайрюзов, Эдуард Анашкин, Владимир Скиф, Василий Шелехов, Владимир Максимов, Олег Слободчиков, Станислав Китайский, Иннокентий Омудевский, Альберт Гурулёв, Александр Донских, Юрий Баранов, Валентина Сидоренко, Мария Артемьева, Людмила Соболевская, Светлана Волкова, «Литературные жемчужины», Николай Зарубин, Светлана Михеева, Артем Морс 291

Наши поздравления!

Поздравляем с юбилеем известных сибирских прозаиков и поэтов 301

Официальной строкой

В Иркутской области в 2017 году будет открыт Литературно-биографический музей Валентина Распутина 302

Поздравляем журнал «Сибирячок» со славным юбилеем!

«Сибирячку» — четверть века..... 304

Главный редактор ЛАПТЕВ А.К.

Заведующий отделом поэзии СКИФ В.П.

Заведующий отделом критики и публицистики ДОНСКИХ А.С.

Ответственный секретарь редакции ЗУБАКОВА С.В.

СОВЕТ ЖУРНАЛА

Ю.И. Баранов, В.В. Барышников, В.К. Забелло, В.П. Комлев, И.И. Козлов,
Р.Г. Михеева, Н.А. Озерникова, Т.Н. Суровцева, В.Н. Хайрюзов, М.И. Яковенко

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Оформление обложки С. Бурчевская. Комп. верстка А. Гордиевских. Корректор Л. Заступова

**Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.**

Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600.

Адрес редакции: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 233. каб. 304.

Телефон редакции: 48-66-80 добавочный: 300. Телефон главного редактора: 8-914-88-73-880. E-mail: sve-t-lana@mail.ru.

ИП Лаптев А.К. (Сибирская книга). Подписано в печать 05.04.2016 г. Выход в свет: 25.04.2016 г. Формат 70х108/16.

Усл-печ. л. 22. Тираж 1500. Цена свободная..

Отпечатано в типографии «ПринтЛайн». 664001, г. Иркутск, ул. Баррикад, 53. тел. (3952) - 29-29-14.

© Бурчевская С.А., дизайн обложки, 2016

© Сибирь, 2016, № 1 (12+)



ОЛЕГ СЛОБОДЧИКОВ



Первопроходцы

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

1. «Мне отмщение, и Аз воздам...»

Весна случилась ранней: взламывая лед, прудилась заторами, буйствовала и ярилась не достоявшая срок река Лена. Вода поднялась на пять саженей и подступила к воротам Ленского острожка. Уж в этом-то месте наводнения не ждали: выбирали его долго и осматрительно, после того как поставленное сотником Бекетовым зимовье подмыло и свалило первым же паводком.

Но, поплескавшись у ворот, с навешанной над ними караульной, вода стала спадать, оставляя на топкой суше весенний сор. Оголодавшие казаки поставили сеть в речной заводи. Едва заалела река от первых лучей солнца, Пашка Левонтьев и Мишка Стадухин столкнули на воду лёгкую лодчонку, поплыли снимать улов. Но дело оказалось непростым. Пашка восседал на пятаках с боярской важностью, удерживал веслом вёрткую берестянку, Мишка побросал под ноги полдюжины бьющихся рыбин, замычал, замотал головой, сунул за пазуху остуженные руки: сеть была забита прошлогодней травой, ветками, всяким сором и черна от взбаламученного ила.

— Поднимать надо! — Пашка невозмутимо взглянул на подывавшего товарища и резким движением весла выровнял корму, чтобы Мишка мог тянуть к берегу полотно со всем уловом и сором. Выбирать такую сеть в лодку было не безопасно, утлая берестянка могла потонуть от тяжести.

Круг солнца, цвета начищенной меди, оторвался от увалов, вспыхнул, растёкся по ясному небу и речной глади. Над сырым берегом замельтешило марево, застрекотала сорока,

СЛОБОДЧИКОВ Олег Васильевич родился в 1950 г. Детство провёл в рабочем посёлке в низовьях Ангары. В самостоятельной жизни сменил несколько профессий и мест жительства. В 1992 г. переехал в Иркутск, 12 лет проработал в редакции журнала Сибирь. Автор 6 книг. Последние три — исторические романы — «Заморская Русь», «По прозвищу Пенда», «Похобовы» — изданы в Иркутске. Член СП России с 1994 г.

вздываясь и опадая над лодкой, гулко застучали ставни и двери. Из осторожной калитки вышел казак, высмотрел рыбаков на воде, припадая на ногу, заковылял к тому месту, куда выгребал Пашка Левонтьев. Берестянку мотало, забитая сором сеть цеплялась за дно. Мишка Стадухин то и дело совал за пазуху красные мокрые ладони, отогревал дыханием немеющие пальцы, приглушённо ругал водяного дедушку за шалости.

Хромой казак, переминаясь, выждал, когда лодка подойдёт ближе. Едва смог дотянуться до неё, ухватил за нос, потянул, одышливо залопотав:

— Новый письменный голова, Васька-то Поярков, чего удумал! Отпускает Парфёнку в Илимский!

Стадухин пытливо вскинул на него прируженные ломотой глаза. Казак закивал с блуждавшей в бороде улыбкой:

— Отпускает!.. И без досмотра! Неужто опять вывернется? — Дурашливо округлил смешильные синие глаза: — От Пояркова откупится и воевод обманет!

— Не голова, башка баранья! — выругался Мишка, забыв про остуженные руки, перекинул через тонкий борт ногу в промазанном дёгтем бродне, другую, встал на дно по колени, сунул осклизлую сеть в руки принесшему весть и выскочил на берег.

В Ленском остроге было известно, что царь Михаила Фёдорович наконец-то узнал о великих беспорядках на реке Лене и послал на свою дальнюю вотчину двух воевод в чинах царских столбников. Как положено кремлёвским чинам, двигались они к месту службы только летом, вникали в дела Сибирской Украины, творили в пути суд и управу. Прошлую зиму пережили в Тобольском городе, нынешнюю — в Енисейском остроге, теперь стояли в Илимском, отправляя вперёд своих людей и прибранные в пути отряды. Их письменный голова, сын боярский Василий Поярков, прибыл ещё осенью и по сию пору принимал дела у сына боярского Парфёна Ходырева, который после атамана Ивана Галкина два года сряду сидел на приказе в Ленском остроге.

Казак Семейка Дежнёв, принёсший эту весть, неловко переступил на раненую ногу, по щиколотку утонувшую в вязком намытом иле, подхватил спутавшуюся сеть, потянул её, бормоча:

— Ворон ворону глаз не выклюет!

— На всё воля Божья! — наставительно изрёк Пашка, неспешно вылезая из лодки. Распрямился в полный рост, снял шапку, обнажив красивую, ровную лысину, степенно поклонившись на засиявшее солнце, прочертил крест: со лба на живот, с плеча на плечо.

— Ну уж нет! — Мишка блеснул затравленными глазами, повернулся на месте со скрещёнными на груди руками. — Под кнут лягу, «государево слово и дело» объявлю, но на этот раз Парфёнка не отрешется. Вот вам крест! — Выпростав из-под мышки красную ладонь, сведённую в куриную щепоть, торопливо и небрежно перекрестился. — Не по-христиански замалчивать грехи власти и потакать подлым.

— То он не объявлял против нас «слово и дело», — со смешком напомнил прошлое Дежнёв.

Семейка хоть и знал вздорный нрав земляка-пинежца Мишки Стадухина, но когда шёл к реке с плохой вестью, думать не думал, что тот так взбесится. Глядя на его побагровевшее лицо, смущённо пожал плечами:

— А что? Васька Поярков всех отпускает. И Постника Губаря с ясачной казной, — опять невзначай уколол Стадухина.

Семейку пригнала в Сибирь безысходная бедность, пристававшая к его роду ещё при дедах. О богатстве и славе он не думал, ушёл с отчины, надеясь заработать денег и поднять дом до достатка прожиточных соседей. Но ему и в Сибири не было удачи: едва кормил себя подёнными работами и нигде не мог зацепиться. В Тобольском городе дошёл до такого отчаяния, что поверстался в службу на Енисей с половинным стрелецким жалованьем — лишь бы быть сытым. И с тех пор, как целовал Честной Крест в храме Святой Софии, носило его по разным острогам и зимовьям, будто святой покровитель пинал под зад: из Енисейского гарнизона ушёл на Лену с сотником Бекетовым. С сыном боярским Ходыревым гонялся за беглыми ясачными тойонами, ходил через горы на реку Яну с де-

сятником Митькой Зыряном на перемену тамошнему служилому Постнику Губарю, и всё в половинном окладе.

Следом за Постником Митька с отрядом вышел на Индигирку и отправил его, Семейку, с казаком Гришкой Фофановым Простоквашей и двумя промышленными людьми обратно в Ленский острог с ясачной казной и с выкупленной у тунгусов якутской девкой, дочерью ленского князца-тойона. В пути Семейка был ранен янскими тунгусами, пытавшимися пограбить малочисленную ватажку. Казну он сохранил, а награды не выслужил: добытое в походе и то потерял — так уж нелепо вязали ему судьбу незрячие девки Доля с Недолей.

Сменённый Митькой Зыряном Постник Губарь вернулся на Лену богатым и знаменитым, дал Ходыреву поклон чёрными соболями, гулял, похваляясь удачным походом, посмеивался над Мишкой Стадухиным, который перед выходом на Яну ходыревской хитростью переметнулся в другой отряд.

— Постник повезёт ясак воеводам в Илимский острог, — монотонно бубнил Дежнёв, вытягивая сеть. — Свой и зырянский, который я привёз. И Митьку Копылова с его людьми Васька Поярков освободил от сыска, отпускает на воеводский суд.

Стадухин исподлобья метнул на земляка разъярённый взгляд, сорвал с головы сермяжную шапку, выбил о колено и, выдёргивая ноги из грязи, вороном заскакал к острогу.

— Дурная башка! — Пашка Левонтёв бросил вслед ему сочувственный взгляд, смахнул с лысины вялых весенних комаров, надел шапку и приказал Дежнёву: — Помогай теперь разбирать сеть за земляка, выбирай рыбу.

Ленский острог был небольшим укреплением, поставленным казаками под началом атамана Галкина: три избы, часовня, два амбара, крытые тёсом, караульня над воротами. Стадухин ворвался в съезжую избу, не страшнувшись с бродней речной грязи, с перекошенным лицом бросился к столу письменного головы:

— Отпускаешь Парфёнку, да? Говорят, без досмотра. А у него ворованных соболей и шуб без счёта. Объявляю «государево слово и дело»! Я свидетель, как в позапрошлом году он подговаривал якутов убить копыловских служилых. Все казаки восстали тогда против него. Говорили: хочешь наказать томичей — убей сам, но не позволяй инородцам. И то, что нынешней зимой на Алдане перебито сорок казаков и промышленных, — тому он заводчик... На нём грех!

— А ты там был нынешней зимой? — ломая бровь, строго спросил тобольский казак Курбат Иванов, прибывший с Поярковым и случившийся тут же.

Стадухин не снизошёл ни до ответа, ни до взгляда в его сторону, но пристально глядел на письменного. Рассеянная улыбка в его стриженной бороде даже не покривилась от гневных слов казака, только зеленоватые глаза, блеснув, стали холодными и блеклыми, как лёд.

— Зачем же сразу «слово и дело»? — письменный голова отодвинул по столешнице бумаги, почесал пером ухо. — Езжай на Ленский волок, скажи всем царским воеводам: Петру Петровичу Головину и Матвею Богдановичу Глебову. От них суд и управа.

Опешив от неожиданного предложения, не досказав, что накопело против Ходырева, Стадухин вперился в Пояркова изумлённо и недоверчиво, растерянно задержались рыжие усы.

— С кем плыть? С Парфёнкой?

— Хочешь — с ним, или с атаманом Копыловым, — в глазах письменного головы блеснула скрытая насмешка, губы неприязненно покривились. — Можешь — с Постником Губарем: один разве к зиме до Куты доберёшься! Да и небезопасно нынче. Отпускную грамоту тебе напишу, ступай с Богом!

В добрых словах письменного головы что-то кольнуло Стадухина под сердце, и подумалось, что Ходырев и Поярков похожи друг на друга, как братья. «Земляки, наверное», — подумал смутно.

Побуравив сына боярского остывающими глазами, он покряхтел, покашлял, побледнел и снова стал наливаясь густой краской. Не зная, что сказать, бросил презрительный взгляд на Курбата Иванова, пытавшегося встрять в разговор, развернулся, вышел с какой-то смутной догадкой.

Конечно, он не мог идти в одних отрядах ни с Ходыревым, против которого собирался объявить «государево слово и дело», ни с томским атаманом Копыловым, с которым воевал на Алдане. Но на Ленский волок готовился идти его старый товарищ, казачий десятник Постник Иванов Губарь. С ним отчего бы не сходить, если приказный даст отпускную грамоту.

Прежний бечевник — тропа, которую проложили бурлаки прошлым летом, — был сырой и топкий, местам пропадал, смытый паводком вместе со станами и балаганами. Уже к полудню работные люди, нанятые приказчиками именитых купцов, меняли бахилы на сухие, промазанные дегтём, так как прежние размокали и висели на ступнях комьями липкой грязи. Ну, да Бог не без милости! Почти каждый день к полудню, а то и раньше, вздымая против течения резкие плещущие волны, начинал дуть пособный ветер. На стругах поднимали паруса, помогали им вёслами, и они ходко шли против течения реки.

Горы подступали к берегам всё ближе и тесней, становились выше и скалистей. Стадухин с шестом в руках вглядывался в трещины на отвесных скалах, видел очертания воинов с саблями и пиками, женщин и детей, бегущих от боя. По тунгусским поверьям в каждой горе жил дух, иные из них, доброжелательные к людям, такими картинами на камне предсказывали будущее и упреждали от опасностей. Михей высматривал знаки, загадывая на исход своего поединка с Парфёнкой, но глаза отмечали только невесть чего ради дравшихся воинов и женщин.

Кончалась короткая, шаткая весна, подступало жаркое лето. День был долог, короткая ночь сумеречной, не тёмной. Солнце ненадолго пряталось за увалы, покрытые низкорослой лиственницей, и вскоре, будто натываясь там на колючий сухостойный лес, опять поднималось на небо. Река всё круче поворачивала на закат.

Бурлацкий передовщик, из первых промышленных людей, осевших на Лене, степенный и важный, с пышной бородой в пояс, каждый год водил суда на Куту. Он хорошо знал бечевник и вытребовал своим бурлакам плату вдвое против того, что сулили служилые Ходырева и Копылова. Торговые люди согласились, потому что спешили, Постник — потому что был богат. Работные, нанятые бурлацким передовщиком, днём и ночью тянули суда против течения, отсыпаясь во времена густых туманов и противных ветров. Казалось, они и останавливались только для того, чтобы наловить рыбы и заварить мучной каши — саламаты.

Стадухин в бурлацкую бечеву не впрягался, занимаясь более лёгким делом, — стоял в струге на шесте и садился за весло, когда нужно было переправляться на другой берег или грести против течения. Постник, кичась богатством, добытым на дальней государственной службе, с неделю сидел на корме, обложившись шубами, напоказ отдыхал, с важностью поглядывал по сторонам, от путевого безделья маялся охотой поговорить, мучил Михея рассказами об Индигирке и Яне.

На другой неделе ему удалось купить у встречных торговых людей полведра горячего вина. Тут его и вовсе разобрато. Прикладываясь к берестяной фляге, он поохатывал да поддразнивал товарища, угрюмо работавшего шестом: знаю, мол, вас, пинежцев, ярых да завистливых!

— Скажу тебе, Мишка, прямо и честно, ты — казак добрый, но только тогда, когда надо воевать. А для начального человека война — не главное. Если он умный, — Постник слегка выпячивал грудь, показывая, кого имеет в виду, — то и воевать не надо, можно словом и лаской убедить диких мужиков идти под государя для их же пользы, и ясак взять вдвое. Они же все хотят мира и порядка.

Посапывая и поклёвывая носом, Постник многоумно помолчал, со вздохами в другой раз приложился к фляге, крикнул, предложил Стадухину:

— Выпей!

— Не буду! Жарко!

— Вот ты отказался идти со мной на Яну, а я, грешным делом, даже обрадовался. А почему? Когда ходили с тобой на Виллю — кто был начальным? Я! Десятник Постник Иванов Губарь! — похлопал себя по опадающей груди. — Кто уговорил якутов, тунгусов

и долган мириться? Опять я! А как стрельба началась, так Мишка всему голова... Это неправильно! — Икнул, по-гусиному выгибая шею.

Стадухин вина не пил, разве пару раз пригубил для вида. Подначки товарища до него не доходили — голова была занята другим. Пьяными откровениями Постник напомнил, как восемь лет назад сотник Бекетов отправил на Виллой служилых и промышленных людей под началом Дружинки Чистякова, чтобы взять ясак с тамошних якутов и тунгусов, да с мангазейских промышленных людей, охотившихся в тех местах. Все они пропали. Михей вызвался идти искать их с отрядом служилых и промышленных людей под началом казака-десятника Постника Губаря.

В тот год возле острожка на Лене собралось до сотни беглых енисейских и мангазейских казаков, гулящих и промышленных людей. Бекетов ломал голову, как их выпроводить куда подальше. И поплыли они одним караваном с Михеем и Постником вниз по Лене. С частью постниковского отряда прошли мимо устья Виллоя, зимовали в долганской земле, в Жиганах, срубив там зимовье.

На Виллое люди Постника и Стадухина узнали, что пропавший отряд Дружинки Чистякова столкнулся с мангазейскими служилыми под началом Степана Корытова. Мангазейцы считали Виллой своим уездом, имели наказную память от мангазейского воеводы и требовали отдать им собранный Дружинкой ясак. Енисейцы отказали. Тогда люди Корытова взяли на себя ещё один ясак с тунгусов и якутов, а те в отместку убили двух их сборщиков. Разъярённые мангазейцы напали на енисейцев, отобрали казну, струг, припас, пригрозили бросить их на пустом месте при восставших инородцах и, по слухам, вынудили плыть с ними на Алдан.

Постник Губарь с Михеем Стадухиным, узнав всё это, замирили восставшие роды, поставили на Виллое укреплённое частоколом зимовье, перезимовав, вернулись в Ленский острожек, не заходя в Жиганы. Здесь Михей узнал, что та самая толпа беглых, гулящих и промышленных людей, которая прошлой весной плыла стругами за его отрядом и зимовала в Жиганах, построила кочи, прислала к Бекетову своих выборных людей, они вытребовали у ленского приказного отпускную грамоту и поплыли в низовья Лены для прииску новых земель. Во главе отрядов заявили идти хорошо знакомые Стадухину беглые служилые: енисеец Илейка Перфильев и мангазеец Иван Ребров. С ними самовольно ушли люди из отряда Постника Губаря, среди которых мог быть и он, Мишка Стадухин.

Иван Ребров левой протокой ленского устья дошёл до моря и открыл реку Оленек, прослужил там четыре года, затем проложил морской путь на Яну, а нынче был где-то на Собачьей реке. Илья Перфильев открыл реку Яну, впадавшую в море по правую руку от устья Лены, объясачил тамошние народы, вернулся в Ленский острожек в собольих онучах, в двух шубах, с двадцатью сороками соболей и лис помимо государевой казны. А Мишка Стадухин в то же время бесславно воевал на Алдане с русскими людьми Степана Корытова.

Мангазейцы отбились и ушли бы с Лены, но сменивший Петра Бекетова атаман Иван Галкин собрал сорок служилых и промышленных людей. Среди них оказались братья Хабаровы, Семён Шелковников, пришедшие на Лену в самый разгар войны. Плечом к плечу все они бились в отряде десятника Семёна Чуфариста. Мангазейцев разбили наголову. С обеих сторон было до десятка убитых. Степана Корытова пленили и за приставами повезли в Енисейский острог. Но мира, порядка и справедливости, ради чего была пролита русская кровь, Бог не дал. Зимой объединились отложившиеся якутские роды, загнали казаков в Ленский острог и держали в осаде два месяца.

Тем же летом служилые выпытали у промышленных людей слухи про юкагирскую землю. Для её прииску атаман Галкин отпустил туда отличившихся в войне с мангазейцами десятников Устина Никитина и Семёна Чуфариста со служилыми и промышленными людьми, дал казённый коч, снасти, отпускную грамоту и наказную память, но проводить отряд не успел. На перемену ему из Енисейского острога был прислан сын боярский Парфён Ходырев.

Сказывали казаки, что при сдаче острожка Иван Галкин назвал Ходырева овечьим сыном. Неприязнь между ними началась в давние времена, когда никому неизвестный

Парфён, в чине сына боярского, прибыл в Енисейский острог с новым воеводой. Его отец из новгородских детей боярских по московскому списку, забрёл в Сибирь по бедности и служил до сносу, но ни за ним, ни за сыном известных подвигов не было. Парфён же явился в Енисейский с жалованьем, равным известному по всей Сибири атаману Ивану Галкину. Казаки и стрельцы, узнав о несправедливости, взбунтовались. Воевода вынужден был пойти на уступки, уравнивал жалованье Парфёна с другими детьми боярскими. Тогда Ходырев самовольно ушёл в Томский острог и вернулся оттуда в Енисейский опять без заслуг, но с прежним высоким жалованьем.

При сдаче Ленского острога атаман Галкин укорил сменщика, что тот служит языком, вылизывая зады воеводам и дьякам Сибирского приказа. Затаив на него злобу, Ходырев объявил «государево слово и дело» против десятников Никитина и Чуфариста с их казаками за убийство мангазейских служилых и промышленных людей. Обвиняемых за приставами возили в Енисейский острог, там атаман Галкин оправдался сам и помог оправдаться им. Но Ходырев, как доносчик, отвертелся от первого кнута и был всего лишь сменён на приказе через полгода. А отряд Чуфариста из-за его козней и сыска так и не ушёл в юкагирскую землю. В нём числился Мишка Стадухин.

Это была не первая из неудач, преследовавших его на ленской службе, и не последняя, полученная по вине Парфёна Ходырева. Как-то спокойно и презрительно, с затаённой усмешкой сын боярский раз за разом обманывал Михея, будь казак в ярости или спокоен. От бессилия против хитроумия приказного ненавидел его Стадухин так, что убил бы, будь тот какой-нибудь нерусью.

Нос репкой, морда круглая, борода редкая, глаза с лисьей раскосинкой. Завидев его, Михей багровел, а Ходырев знай себе посмеивался, чем пуще прежнего озлоблял казака. Задним умом тот понимал, что в ленских неудачах виноват не только Ходырев: портила жизнь какая-то нечисть, а Бог, по грехам, попускал, но, как водится, во всех несчастьях винил Стадухин Ходырева.

Четыре года назад, опять при атамане Галкине, который вернулся на приказ в Ленский острог, Михей Стадухин с отрядом был отправлен на Виллой разбирать жалобы якутов на тунгусов, и зимовал там. В то время неожиданно-негаданно Постник Губарь с отрядом служилых и промышленных людей своим подъёмом купил коней, хлебный припас, перевалил Янский хребет и открыл верховья Яны, куда прежде не добирались служилые люди. Объявился Постник на Лене через два года с богатым ясаком, привёз слухи о неведомой земле к восходу и о серебре, оплатил долги, стал собираться в новый поход.

На этот раз ушёл бы с ним Мишка Стадухин, но в тот год на смену атаману Ивану Галкину, торжествующе посмеиваясь, опять явился Парфён Ходырев, по всем приметам в огне не горевший, в дерьме не тонувший. Галкин посмеялся, прилюдно спросив, чисто ли вылизал зад новому енисейскому воеводе. На этот раз Ходырев посмеялся со всеми вместе, никак не ответив на обидные слова. А Стадухин сдуру решил, что тот покаялся и поумнел.

Если бы Парфён стал отговаривать его от похода с Постником, он бы ему не поверил и ушёл бы самовольно, но Ходырев мимоходом обронил:

— Зачем тебе, старому казаку, Яна? Она давно объясачена и Перфильевым, и Ребровым, и Губарем.

Стадухин насторожился, ожидая очередного обмана, но зловерный сын боярский предложил:

— Отправлю казённым подъёмом отряд в верховья Алдана для прииска новых земель. Вот те крест! — Перекрестился: — Отпущу тебя!

Алдан! Богатейшие места! Много лет енисейские и мангазейские промышленные дрались за них между собой, с якутами и тунгусами. Алданские якуты беспрестанно вели там межродовые войны и отбивались от тунгусов, призывая на помощь казаков и промышленных людей. Все хотели мира, порядка и справедливости, но устроить их никто не мог.

Парфён прельстил Михея волей и казённым подъёмом. Постник шёл на Яну всего лишь на перемену людям, оставленным Ильёй Перфильевым, кабалился, снаряжаясь за свой счёт. Крест, наложенный приказным на грудь, смягчил давнюю неприязнь казака.

Сын боярский не обманул Стадухина: Михай уже шёл по Алдану с большим отрядом, но вместо прииска неведомых земель пришлось воевать с томскими казаками атамана Дмитрия Копылова.

Прошлым летом сандальные томичи проплыли мимо Ленского острога, прихватив десяток таких же буйных красноярских казаков-самовольщиков. Они поднялись по Алдану и поставили Бутальское зимовье, навели порядок среди ясачных и промышленных людей. Но Ходырев не простил Копылову неподчинения и обидных слов...

Михей Стадухин очнулся от воспоминаний, стоя с шестом на носу струга. Постник, с лицом, умученным вином и солнцем, молчал, о чём-то думая, сопел и мотал хмельной головой. Вдохнул раз, другой, третий, вскинул на товарища соловые глаза, признался:

— На Индигирке жалел, что нет тебя рядом! Говорил своим: Мишка врага за версту чует. А с вами я, как пёс, всю ночь не сплю.

Караван торговых стругов обыденно поднимался против течения реки. Дни были жаркими, где-то горела тайга, дым стелился по воде и гнал из лесу тучи мошки. Постник тяжело всхрапывал, свернувшись среди собольих шуб, облепленное гнусом лицо было синюшно-серым. Стадухин смахнул с него мошку, надел на пьяную голову сетку из конского волоса. Когда десятник очухался и содрал её с себя, бурлаки дружно загоготали:

— Таковую морду портками надо прикрывать!

Короткими ночами Стадухин смотрел в небо с блёклыми звёздами, до боли в груди думал, что если управы на Ходырева не будет и от воевод, то уж лучше зарубить его и принять царский суд, чем мучиться тем бессилием, каким страдал последние два года. Он бы вызвал Парфёна на Божий суд, но понимал своим глубинным умом, что «сын овечий» не только не выйдет на поединок, но сумеет посмеяться над незадачливым казаком.

— Треть пути пройдена! — бурлацкий передовщик указал рукой на невидимое ещё устье Олёкмы и трижды наложил на грудь крестное знамение.

На Олёкминской таможене сидел таможенный голова Дружина Трубников, на которого у Стадухина не было надежды. Будучи на приказе в Ленском, Парфён Ходырев правил им как хотел. По слухам, все нужные приказному люди проходили Олёкму беспрошленно. Торговые и промышленные часто возмущались ленскими беспорядками и выбрали сюда целовальником промышленного человека Юшку Селиверстова.

Стадухин знал Юшку ещё по Енисейскому посаду. На Лену он пришёл с промышленными и торговыми людьми при первом правлении атамана Галкина, ходил в походы с Семёном Чуфаристом, воевал с мангазейцами. После той войны разрозненные якутские роды, платившие ясак, отложились от присяги, объединились, напали на острог и держали его в осаде, пока не вышли из тайги промышленные люди. Среди них трубный рык Юшки Селиверстова был слышен за версту.

Малорослый и худосочный с виду, он имел непомерно громкий, густой голос, которым любовался и похвалялся, а потому говорил много, громко, часто без всякой нужды. Злой и шумный, как дворовой пёс, Юшка драл луженую глотку за свою и мирскую правду. За то не раз был бит, за то же избран в таможенные целовальники.

Сытая царева служба многих правдолюбцев делала ворами. Но Юшка сидел на таможене недавно, мог ещё не потерять совести и не спеться с таможенным головой. В прежние годы он был зол на Ходырева, что тот не давал отпускной грамоты юшкиной промысловой ватаге и, вымогая взятку, продержал её возле острога до самой осени.

Завидев Олёкминскую таможену, Стадухин даже заволновался, предвкушая встречу с целовальником, но был приятно обрадован, когда тот, все такой же крикливый и по-куньи подвижный, налетел на приткнувшиеся к берегу торговые струги. Осмотрев их, стал впутываться в дела служилых, пытался даже пощупать опечатанные Поярковым кожаные мешки с государевой казной, хотя не имел никаких прав подходить к стругу служилых.

— Пошёл вон! — цыкнул на него Постник. — Мишка, поддай ему шестом!

Но Стадухин глядел на целовальника приветливо.

— А ты с чем едешь? — спросил тот, любопытствуя наперекор Постнику.

— С ложкой, плошкой да с мирской правдой! — ответил Стадухин и показал отпускную грамоту письменного головы Пояркова.

— Да ты чо?! — возмущённо вскрикнул Постник. — С какого рожна целовальник в казачьи дела суёт свой нос!

Юшка бросил на десятника мимолётный презрительный взгляд, вернул Михею отпускную.

— На кого управу ищешь? — спросил приглушённым доверительным голосом.

— На сына боярского Парфёна Ходырева! — ответил казак, пристально глядя в небесно-голубые Юшкины глаза с младенчески чистыми белками.

Они вмиг сузились и покрылись красными прожилками, веки набухли, выдавая непрощённую обиду.

— К тебе есть разговор, — добавил казак, почувствовав, что может найти в Юшке поддержку.

— Вам кого ни посади на приказ — всеми недовольны! — посмеялся Постник, слышавший разговор. — Вот как сядут на Лене два стольника, не выдавшие жизни горше, чем в царских палатах, с умилением вспомните Парфёнку.

— Хуже не будет! — огрызнулся Стадухин. — Сколько народа при нём погибло! Столько за всю прошлую войну с якутами не убили.

Селиверстов, как строптивый конь, скосил глаза на Постника, подёргал кадыком, но удержался от ответных слов. Закончив дела, он передал зашнурованную книгу с висячей печатью таможенному голове. Тот вслух прочитал записи о собранных пошлинах, прилюдно приложил к листу печать и, расправив бороду, закрыл книгу. Дело было сделано. Целовальник отвёл Стадухина в сторону, оба сели на сухую, вросшую в берег лесину. Юшка наострил уши.

— Парфёнка идёт за нами, отпущенный на Ленский волок письменным головой. По моим догадкам при нём не один сорок чёрных соболей и лис, с которых десятины не плачено. Тебе он их, конечно, не предъявит, но с ним пойдут торговые люди, дававшие ему посулы. Не прями вора, ты Честной Крест целовал.

— А кому я прямил? — задиристо встрепенулся Селиверстов.

— Про тебя ничего плохого не слышал! — сдержанно ответил казак и поправился: — Пока ты здесь в целовальниках. А то, что Ерошка Хабаров, Парфёнкин человек, через эту самую таможеню беспошлинно возил рухлядь сороками сороков да тысячи пудов хлеба, знаю от верных людей.

Селиверстов бросил на служилого резкий, пронзительный взгляд, выпятил грудь и рыкнул так, что с другого берега отозвалось эхо:

— Этот год с его обоза по приказу Парфёна Васильевича я взял шесть рублей за перегруз!

— Что шесть рублей! — тоскливо усмехнулся Стадухин. — Они их сотнями делят меж собой.

Струги пошли дальше к устью Витима знакомым путём длиной в сибирское лето. Оглядывая берега, Михей вспоминал места, где плечом к плечу с Ерошкой Хабаровым отбивались от якутов, покаянно вздыхал, что теперь из-за Парфёна Ходырева вынужден говорить против него. Лето шло на жару, во всю силу лютовала мошка: утром и вечером мельтешила возле земли, при потеплении вставала на крыло, набивалась в балаганы станов. Если по берегам реки её продувало ветром, то из лесу люди выскакивали окружённые серыми шарами. При полуденном солнце даже на середине реки с гудением носились оводы.

Камень осыпей и галечник по берегам стал меняться песками с золотыми блёстками. Янтарной стеной стояли на яру стройные и высокие сосны. Был близок Витим. Здесь при морозящем дожде и клочьях тумана, висевших над водой, торговый караван догнал олёкминский целовальник Юшка Селиверстов. Он так громко орал с другого берега, что был услышан, узнан по голосу и переправлен к стану.

На берег высадился до язв изъеденный гнусом голодранец в зипуне с подпалинами и грязью на полах. Не приветствуя казаков, торговых и работных людей, отыскал глазами Стадухина и раскатисто протрубил на всю долину реки:

— Думаешь, показал мне поклажу торговых Парфёнка Ходырев? Накось выкуси! — Нацелил фигу на Губаря, разумно спрятавшего соболю шапку на время дождя и оттого

опростившегося. — Из пищали грозил застрелить, ногами топал, приказывал работным утопить меня, подговаривал торговых и промышленных людей не показывать своих животных и плыть мимо таможи.

— Кто? Парфёнка орал? — изумлённо уставился на целовальника Михей. — Сколько знал зловерного приказного, тот ни на кого голоса не повысил, только ухмылялся и облизывал усы, как сытый кот.

— Ещё как орал! — рассерженным петухом вытянул шею Юшка.

Стадухину стало легче, будто кто сдвинул с груди камень, теснивший с первых стычек с приказным.

— А Дружинка Трубников что? — спросил, невесть чему посмеиваясь.

— А стоял, будто в штаны наложивши. И казаки рядом с ним. Я один против всех собачился, а после — звериными тропами — упредить воевод, кто и как к ним едет.

По берегам с двух сторон то и дело впадали в реку ручьи. Иные были с солоноватой водой, другие со сладкой. Бурлацкий передовщик похвалялся, будто знает их наперечёт и, чтобы беречь соль, советовал, из которых брать воду для варки рыбы и саламаты, из которых пить и готовить отвары трав.

Постник Губарь, отлежав бока, стал ходить пешим за стругами, удить рыбу. Как-то даже сменил Михея на шесте, и Стадухин ушёл вперёд с долговородым передовщиком, чтобы без остановки стругов взять ведро воды из сладкого ручья. Вдруг спутник его замер, напряжился, тихо вынул из-за спины стрелу. Михей проследил за его взглядом. Молодая изюбриха без всякой опаски объедала береговой кустарник и в лучах восходящего солнца казалась золотисто-рыжей. Она шаловливо вытягивала шею, баловалась, как девка, мотая безрогой головой. В груди Стадухина защемило что-то несбывшееся и безнадежно переболевшее. Передовщик положил стрелу на лук и стал бесшумно натягивать тетиву, Михей взял его за локоть, мешая стрелять.

— Ты что? — вскрикнул долговородый, ошалело уставившись на казака.

Изюбриха резко обернулась, неспешно зашла за куст, постояв, легко взбежала на яр, затаилась за раскидистыми ветвями сосны, с любопытством высматривая идущих людей.

— День скоромный, неделю идём на рыбе! — громче вскрикнул передовщик. — По два раза на дню бороду стираю — воняет ухой, спасу нет!

— Жалко... — смущённо признался Михей. — Экая коза, ну, прямо как девка, — пробормотал, выглядывая изюбриху среди ветвей.

— Тьфу! — неприязненно выругался передовщик, резким движением вырвал локоть из пальцев казака, зашагал вперёд быстрее прежнего, показывая, что не желает идти рядом с ним.

На Куту струги прибыли в июле, когда осинники сбрасывали первый жёлтый лист. Стадухин отметил про себя перемены: не новый уже причал со стороны Лены, конюшни, крытые сеновалы, балаганы работных людей. На месте прежней избы, срубленной атаманом Галкиным, стоял острожек, или зимовье, обнесённое тыном. На другой стороне притока виднелись дымы солеварни, поставленной Ерофеем Хабаровым и его верным братом Никифором. Там причал на сваях был крепче и просторней казённого.

Прибывшие с низовий струги выгребали к берегу против острожка. Иссохшая трава была выщипана лошадьми и густо завалена конскими катыхами. С казённого причала в привязанные суда грузили пятипудовые мешки с мукой. Изрядно выбеленные грузчики работали без шапок в неопоясанных рубахах. Широкоплечий верзила с прямой спиной показался Михею знакомым. Приглядевшись, он узнал старого енисейского и ленского скандалиста Ваську Бугра, окликнул его. Тот обернулся всем телом, щурясь против солнца, высмотрел Стадухина, весело гаркнул:

— Мишка что ли, стрелец?

— В Енисейском назывались стрельцами, — смеясь, перепрыгнул со струга на причал Михей. — Здесь — казаками, а жалованье то же.

Встречая прибывших, на берегу толпились служилые и любопытные работные люди, а Стадухин с Ермолиным-Бугром тискали друг друга в объятьях.

— Побелела борода или в муке? — смеясь, отстранился Михей.

— Откуль знать! — пробурчал Васька, обнажая щербины зубов. — Не девка, на себя не люблюсь!

— Куда муку грузишь?

— Вверх Лены! Новый воевода отправил туда полсотни енисейских, берёзовских тобольских казаков с пятидесятником Мартыном Васильевым ставить острог на устье Куленги. Мы им оклады повезём.

— Я-то думал ты всему волоку голова! — посмеялся Стадухин.

Бугор отмахнулся от насмешки, пристально оглядел товарища по прежним походам.

— И ты не похож ни на атамана, ни на богатого, — съязвил. — Поди и полуштофом не порадуешь ради встречи? — И пожаловался: — А то надышался рожью — в горле сухо!

— Не пораду! — развёл руками Стадухин. — Разве Постник разгуляется, он при рухляди. — Указал глазами на спутника.

Бурлаки обошли казённый причал, приткнули струги к берегу, вытянули их носы на сушу и с облегчением попадали на вытоптанную землю. Юшка Селиверстов окинул задирстым взглядом острожек и гаркнул раскатистым голосом:

— Что так близко от воды поставили?

Ему никто не ответил. Неторопливо и степенно на берег высаживались торговые и служилые. С важным видом людей при исполнении государева дела к ним подходили казаки-годовальщики, здешний приказный, сын боярский Иван Пильников. От конюшен сбегались работные, со стороны солеварни, густо пускавшей дымы, шагали какие-то люди.

— Я — целовальник с олёмкинской таможни! — ударил кулаком в грудь Селиверстов, явно обиженный невниманием усть-кутских людей. — Своей рукой рухлядь пересчитал, печати на мешки наложил.

— На Олёнке, может быть, ты и целовальник, — небрежно окинув взглядом потрепанную одежку Юшки, проворчал сын боярский, — а здесь говно!

— За моей подписью проездные грамоты! — громче вскрикнул оскорблённый Селиверстов, топорща тощую бородёнку. — Приткнётся ещё, спросишь! Говорить с тобой не стану.

Кичливо, напоказ, последним сошёл на берег Постник Губарь. Взгляды всех здешних людей были прикованы к нему, оттого на Юшку с его громогласными речами никто не обращал внимания. Несмотря на июльскую жару, на Постнике были надеты две собольи шубы, две шапки и штаны из чёрных спинок. По щекам десятника обильно тёк пот, капли сверкали на мокрых бровях, но выглядел он молодцевато, ожидая заслуженных восторгов.

Тесня усть-кутских казаков, его окружили работные, ахали, гладили соболей, дули на подпушек. Постник милостиво позволил оглядеть и пощупать себя, похохатывал и не спешил отвечать на расспросы любопытных. Казаки-годовальщики, теряя степенство, тоже с восхищением разглядывали первопроходца.

Среди людей, прибывших из Ленского острога, были приказчики московских купцов, именитых царских гостей*, которые везли на Русь шкурки скупленных соболей. Рухляди у них было куда больше, чем на Постнике Губаре и в его мешках, но на них сметливо поглядывали только здешний целовальник и сын боярский.

Душа Губаря жаждала праздника. Одурев от путевого безделья, он был пьян без вина, но хотел крепко выпить. Вино и рожь были здесь вдвое дешевле, чем в Ленском остроге, а соболя дороже.

С другого берега Куты к прибывшим переправились полдюжины тамошних работных людей. Среди них Стадухин узнал долговязого и длиннобородого Никифора Хабарова, высокого и дородного Семёна Шелковникова, с кем, бывало, отбивался от наседавших врагов, сидел в осадах, ходил на погромы и прорывы. С Семёном и Никифором Стадухин

*Купцы первой гильдии.

всегда ладил, с Ерофеем же в мирное время часто ссорился, но его среди встречавших не было.

— Здорово живём, людишки торговые! — фертот вышел навстречу друзьям. — Ерошка здесь?

— Нету! — хмуро ответил Никифор вместо приветствия. — В Енисейском зимовал, говорят, тамошний воевода не отпускает. — И пожаловался, теребя узловатыми пальцами концы кушака: — А у нас перемены — новых воевод царь прислал, своих стольников...

— Знаем, — Стадухин сверкнул глазами и бодро тряхнул русой бородой с золотящимися на солнце усами. — Их письменный голова, Поярков, у нас на приказе.

— Изверг! — пожаловался Никифор приглушённым голосом. — Проезжал тут, всё высмотрел, выспросил. Я, как дурак, расхвастался, вот, дескать, какая от нас с брательником царю польза. А он воеводам отписал такое, что нынче, едва взойшла озимая рожь, приехал от них енисейский пятидесятник Семейка Родюков с дозорной памятью, потребовал от имени стольника Головина данную грамоту на пашни и солеварню. Я ему говорил, что енисейский воевода словесно разрешил нам попробовать, родится ли здесь хлеб озимый да яровой, будет ли прибыль с соли. А он, Родюков, с целовальником Васькой Щукиным по воеводскому указу поля и солеварню описал в казну. Три десятины озими, десятину яровой. Кому выгода? — Обиженно замигал Никифор. — Семейка, — кивнул на Шелковникова, — нынче целовальник на нашей солеварне.

— Ну и дела! — скинув шапку, почесал затылок Стадухин. — Вот Ерошка-то лаяться будет! Держись, Семейка! — Подначил Шелковникова. — А то и в драку полезет.

— А я что? — Семён равнодушно повёл широкими, обвисающими от тяжести жил плечами. — Я в целовальники не просился — мир выбрал. Проторговался на Куте, просил воевод поверстать в казаки, челобитную отправлял. Родюков привёз ответ, что по царскому указу промышленных, гулящих и торговых в казаки не верстают, только ссыльных... воров... — Насмешливо поглядел на Стадухина, гулко хохотнул и почесал дородную грудь под шёлковой рубахой.

Михей уставился на старого товарища, желая понять, над кем тот смеётся. Не понял. Помолчав, тоже хохотнул.

Пронырливый и юркий Ерофей Хабаров возил рожь из Енисейского в Ленский барками в тысячи пудов. Они с братом держали на Ленском волоке три десятка коней с работными людьми. В прошлом году подняли на Куте первую пашню. Незадолго до того начали варить соль сотнями пудов. Ерофей хватался сразу за десятки дел и всюду за его спиной тенью и надёжной каменной стеной стоял брат Никифор, упорно исполнявший начинания проворного брательника. Без него, без Никифора, Ерофей никогда бы не смог развернуться и на четверть.

С Парфёном Ходыревым Ерофей Хабаров был в большой дружбе. С его помощью, по словам олёкминских годовальщиков, часто уклонялся от податей и налогов. Из-за этого обычно и ругались старые товарищи, не раз выручавшие друг друга в боях. Козни хитрого приказчика, путавшегося с проворным торговым человеком, бесили Стадухина. Он не завидовал Ерофею, не хотел для себя его суетной жизни, но возмущался беспорядками, которые тот заводил.

Хабаров каждый год судился с людьми, которым давал в долг, и с теми, у кого был в должниках. При торговых сделках в две-три тысячи рублей он не имел своего дома: только заимку на Куте, поставленную прошлой осенью, да тесное зимовье при солеварне. Зачем, для чего нужна была Ерофею Хабарову такая беспокойная жизнь? Этого Стадухин понять не мог.

— Я Ерошке с Никифором не враг! — пояснил Семён Шелковников, смущённо глядя в сторону. — Отсудят своё — верну солеварню в целости, не запушу. — Вскинув глаза на Стадухина, спросил: — Ты-то с чем приехал? С казной?

— Со «словом и делом» на вашего благодетеля Парфёнку Ходырева!

— Нашёл благодетеля, — хмыкнул Семён и равнодушно повёл плечами: — За всякого мздоимца под кнут ложиться — спины не хватит. Много их!

— Не за Парфёнку! — обидчиво вскрикнул Стадухин. — За правду, Христа ради! — Размахисто и злобно перекрестился.

Юшка Селиверстов, оттеснённый от стругов и досмотра, с разгневанным лицом прибил к говорившим, краем уха услышал разговор и громогласно объявил, чтобы слышали все:

— Против Хабаровых ничего плохого не скажу, хоть и взял с ваших барок шесть рублей за перегруз. А Парфёнка Ходырев — вор! Ладно мне, целовальнику, он и таможенному голове не предъявил рухлядь для досмотра.

Семён шевельнул выгоревшими бровями, глубоко вздохнул и отмолчался, с любопытством уставившись на Постника Губаря. Сын боярский, Иван Пильников, разгонял толпу, чтобы не мешала осматривать струги, при этом громко ругал судовых плотников, прибежавших смотреть на счастливиц с низовой Лены. За конюшнями, на покатах стояла пара кочей, уже обшитых бортами.

— Кому строят? — спросил Стадухин, кивнув в их сторону, и взглянул на Никифора, всё так же теребившего опояску.

— Для них же! Для новых воевод, — проворчал Хабаров. — И избу для ночлега проездом. Станут кремлевские сидельцы в этой ночевать, — указал глазами на зимовье, укрепленное тыном.

Бурлаки в тот же день получили расчёт и загуляли вместе с Постником, хотя, по слухам, работного и служилого люда на волоке было много, и найти какие-либо заработки не предвиделось.

Дальше, вверх по Куте, струги каравана, с которым шли Губарь, Стадухин и Селиверстов, тянули кони. Их вели под уздцы работные люди Ерофея и Никифора Хабаровых. В верховьях Куты небо заволочло чёрными тучами и заморосил безнадежный дождь. Уныло попискивали комары, кони прядали ушами и мотали головами, над их мокрыми спинами клубился пар. Сутулясь и невольно втягивая головы в плечи, обозные люди понуро брели берегом реки. А дождь сеял и сеял, не унимаясь, два дня кряду.

В верховьях, перед волоком, дым, стелившийся по промозглой земле, показался путникам домашним уютом. Здесь, в крепенькой избе с трубой из глины жил служилый енисейский годовальщик. Он встретил прибывших без обычной суетливой радости, но пугливо озирался по сторонам, будто долго сидел в осаде.

— Здорово служится, Ивашка! — зычно окликнул его Селиверстов.

Годовальщик вздрогнул, как от удара батоном, уставился на него.

— Юшка, что ли? Беглый енисейский посадский?

— С какого ляда беглый? Я ушёл на Лену с отпускной грамотой, нынче олёкминский целовальник. Иду к воеводам с жалобами на вора Ходырева.

Годовальщик боязливо полупал глазами, озирая говорившего, зябко поежился и тихо проворчал:

— Ага! Парфён Васильевич даст в поклон соболей чёрных. — Оглянулся по сторонам: — Воеводы в Енисейском меняются, а он при всех сидит, и жалованье у него, ого! По слухам, имеет родню в Сибирском приказе.

— Не может такого быть! — вразнобой, в два голоса взревели Стадухин с Селиверстовым. — Царь своих верных воевод прислал для порядка... Да кто он против них, сын овечий?

Годовальщик со своими домysлами о горькой житейской правде только качал головой, часто мигал, водил печальными глазами и терпеливо пережидал брань. Он ни словом не отвечал на поносные слова, только лицо его все пуще напрягалось и делалось цветом в порченный, перекаленный кирпич.

Налажившись, как псы, Юшка с Мишкой усталились друг на друга, выпытывая один у другого в глубине глаз своё, недоговоренное. Помолчав, разбрелись по разным углам. Обозные тесно набились в избу и сушились. Неподаляку от старого зимовья, поставленного Васькой Бугром с товарищами, служилые люди, навёрстаные воеводами, рубили две избы для их ночлега. Другой воеводский отряд, тоже рубивший избы для стольников и подновлявший гать, встретился на Муке-речке. От этих людей Стадухин с Селиверстовым

узнали, что новые воеводы не отпустили атамана Копылова в Енисейск, но взяли его под стражу и за приставами возвращают в Ленский для сыска. Эта новость обнадёжила Михея с Юшкой.

Наконец их обоз прибыл в просторный Илимский острог, переполненный разным народом, как улей пчёлами. Воеводы, царские стольники Пётр Петрович Головин и Матвей Богданович Глебов со своими людьми творили здесь суд, управу, разбирали многие жалобы. Постник Губарь с казной был принят ими без задержки и обласкан чаркой горячего вина.

Юшку с Мишкой к воеводам не пустили. Того и другого рассеянно слушал дьяк Евфимий Филатов, устало вздыхал и неприязненно морщился. Казак с целовальником не успели от души выбрать Парфёна Ходырева, а он уже стал выпроваживать их к писцам. Юшке велел наговорить жалобную челобитную на государево имя, что бывший ленский приказный Ходырев подговаривал торговых людей противиться таможенному досмотру. Михея равнодушно спросил, сам ли слышал, что Парфён подговаривал якутов убить служилых людей. Стадухин признался, что он только послух, а те, что слышали, — на дальних службах. Евфимий недоверчиво покачал головой и отпустил его.

С перекошенным лицом Михей выскочил из посадский избы, занятой дьяком и писцами. На этот раз он был зол на самого себя за то, что в ярости нёс всякую нелепицу. Раздосадованный, сел у коновязи, в стороне от суетившихся людей, попинал вытопанную землю пяткой сношенного бродня. Не в силах унять переполнявшие чувства, вскочил на натруженные ноги, стал вышагивать перед избой взад-вперёд, дожидаясь Юшку. Наконец тот вышел с озадаченным видом, шмыгнул носом, печально замигал обиженными глазами в красных прожилках, которые глядели куда-то поверх головы спутника. Претерпев ради правды долгий, трудный путь, голод и непогоду, после разговора с дьяком он понял, что может быть наказан за самовольное бегство с Олёкмы.

— Если Парфёнка и от них отбрешется, — блеснул яростными глазами Стадухин, — вот те крест, — размахисто перекрестился, — объявлю «государево слово и дело». Если и царь не поверит, значит, Парфёнка чёрту служит! Безгрешно убью гада!

— Как так? — не слушая, Юшка вертел головой, разводил руками и тарасил туманные глаза. — Подговаривать торговых не покоряться целовальнику, говорю, царев закон нарушить... А он мне — где отпуская грамота?

Вокруг них, как мошка перед дождём, мельтешили незнакомые служилые люди. Постник Губарь продал собольи штаны и гулял на питейном дворе с каким-то сбродом, в который раз рассказывая, как подносил ему чарку сам воевода-стольник и какое у него вино. Он не забыл своих связчиков, увидев их печальные лица, велел поднести им по чарке. Мишка с Юшкой, думая о своём, терпеливо послушали самохвальство товарища и тихо ушли, не пускаясь в загул за чужой счёт. Слушателей у Губаря хватало.

Знакомцев и сослуживцев они не встретили ни в остроге, ни в посаде. На закате оба наловили в Илеме мелкой рыбёшки, испекли на костерке и устроились на ночлег под старой переломленной баркой.

Наконец в Илимский острог прибыл Парфён Ходырев и прямо с обоза был принят воеводами. Стадухин, узнав об этом, взмолился о справедливости в острожной церкви. Илимский белый поп дьячил. Литургию вели чёрные попы, следовавшие за воеводами в Ленский острог. К одному из них он подошёл на исповедь. У аналоя с жаром заговорил о наболевшем. Монах прервал его, стал пытать о крови, зависти, корысти, рукоблудии.

Михей отвечал ему всё резче и злей, пока не вспылил:

— Ты кто такой? Я Богу исповедаюсь! Ты — только свидетель, а не сам Господь!

Монах вздохнул, покачал головой и не благословил к причастию. Казак выскочил из церкви, не достояв до конца литургии, нахлобучил шапку, выругался, узнал у илимских казаков имя монаха. Того звали Симеоном.

Бог не без милости, казак не без удачи! На другой день по острогу пронёсся слух, что воевода Головин выявил в собранной Ходыревым казне утайку. Про Стадухина с Селиверстовым вспомнили: прибежал посыльный, объявил, что Юшке и Михею надлежит быть свидетелями при вскрытии амбара Ерофея Хабарова.

Своего дома при посадке у Хабаровых не было, но здесь жил их приказчик по имени Федька и был запертый хабаровский амбар, за которым тот присматривал. Возле него уже собрались посадские люди. Защищая Федьку и Хабаровых, одни кричали, что без хозяина срывать замок нельзя, другие ругали Ерофея, что пишет кабалу на пятнадцать рублей, а даёт десять, и оправдывали воеводский приказ.

Енисейский пятидесятник показал спорящей толпе дозорную память от воеводы, затем при хабаровском приказчике, целовальнике и многих свидетелях вскрыл амбар. Целовальник, приказчик, пятидесятник и казак Стадухин вошли внутрь. Толпа любопытных так запрудила дверь, что под кровом стало темно.

Казаки отогнали зевак и начали разбирать сложенное Хабаровым добро. Кроме законного товара, сбруй, сёдел, топоров и неводных полотен, масла и жира в бочках, в холщовом мешке были найдены три сорока собольих пупков, три бобра, неполный сорок соболей неклеимёных. Федька тут же заявил, что это его рухлядь, купленная у тунгусов.

В углу амбара обнаружили ящик, опечатанный печатью Ерофея Хабарова. Её сорвали, ящик вскрыли и увидели колоды игральных карт.

— Запрет на игру есть, — заспорил хабаровский приказчик, — а на торг картами запрета нет!

В одной из бочек были найдены одиннадцать сороков неклеимёных соболей стоимостью, на скидку, от пятидесяти до пятнадцати рублей за сорок.

Толпа зевак ахнула, Федька, по виду и сам удивлённый, засопел, не зная, что сказать. Стадухин с Селиверстовым, окрылённые досмотром, стали кричать в две глотки, что соболя принадлежат Парфёну Ходыреву.

Всё изъятное было вынесено наружу и предъявлено любопытным.

Услышав к ночи, что Парфён Ходырев взят под стражу, Михей и Юшка решили, что свой долг исполнили.

— Даже дышать легче! — признался Стадухин целовальнику.

Постник Губарь, прогуляв собольи штаны, разумно вытрезвел, продал одну из шапок, шубы и скупал на гостином дворе ходовой товар, который в Ленском остроге оценивался втрое-вчетверо дороже. Он тоже считал свою службу исполненной и собирался в обратный путь.

Но дело с Ходыревым вскоре приняло новый оборот: его стал выгораживать чёрный поп Симеон, один из четырёх духовных служителей, посланных Патриаршим приказом на Лену. Монах так резво взялся за дело, что Парфёна выпустили на поруки. Селиверстов от этой новости сник, а Стадухин пришёл в такую ярость, что прилюдно облаял чёрного попа, не пустившего его к причастию, по догадке обвинил, что тот подкуплен хитроумным сыном боярским, и даже на Господа зароптал: куда, мол, смотрит, попуская явному беззаконию.

Поп Симеон с крыльца церкви пригрозил срамословившему его казаку вырвать поганый язык, и когда за Стадухиным пришли приставы, он безропотно сдался, готовый принять муки за правду. Но те привели его не в острожную тюрьму, не в пыточную избу, а в посадский дом, горницу которого занимал письменный голова Еналий Бахтеяров.

У ворот дома позёвывал караульный с бердышем на сыром берёзовом черенке. Хозяева, сотворив вечерние молитвы, укладывались ко сну на полатах и печи. По лавкам и по полу вповалку лежали люди. Иные похрапывали, другие тихо переговаривались. Кто-то заунывным шёпотом вещал соседу историю своей жизни, приведшей в Илимский острог. Приставы указали на дверь, завешанную зипуном, и стали готовиться ко сну.

В горнице сумеречно светилось настезь распахнутое оконце, среди лета затянутое бычьим пузырьём. Над ушатом, потрескивая и шипя падающими головёшками, горела лучина. От её огня на стенах скакали тени в шаманской пляске. За столом сидел писец с пером в руке и, что-то вычитывая, подслеповато водил носом по бумаге. Бахтеяров, вынырнув из тёмного угла, взглянул на вошедшего ласково и, пока Михей крестился на тёмные образа с тлеющей лампадкой, всё чесал бороду, будто примерялся к чему-то.

Казак насторожился, догадываясь, что письменному голове что-то надо, нахлобучил

шапку, взглянул на Еналия прямо и вопрошающе. Тот усадил его возле писаря, стал вкрадчиво расспрашивать о службах. Голова не любопытствовал о пропаже томских служилых на Алдане, чему Стадухин был свидетелем, но наводил вопросы на чёрного попа Симеона, которого Михей прилюдно облаял.

В запале пережитой ярости казак опять выбрал попу и выложил, что тот не пустил его к причастию, вымогая посул. Сказал так и заметил вдруг, что писец, сидевший сбоку, скрипит пером, а Бахтеяров плутовато шурится и одобрительно кивает головой. Стадухин, распаясь, стал объяснять, что хотел сказать на исповеди о своих грехах, но Симеон не пожелал того слышать, а выпытывал всякие глупости, явно, выгораживая Парфёнку.

— Этому попу в греховных снах не виделось, столько баб и ясырок перешучупал Ходырев! — возмутился в голос. — А Парфёнке грехи отпущены!

Стадухин говорил громче и громче, а когда в сердцах признался, что плыл из Ленского, чтобы объявить «государево слово и дело» против приказного сына боярского, писец, откинув прядь волос за плечо, сунул мизинец в ухо и затряс ладонью. Возле печки в избе приглушённо заворчали и заворочались отдыхавшие люди.

— Какие одиннадцать сороков рыжих соболишек? — приглушённо буркнул письменный голова. — Восемьдесят сороков одних только чёрных лис забрали при досмотре!

Стадухин на миг замер с разинутым ртом, торопливо вспоминая, отправлялась ли когда-нибудь государю такая казна? Изумлённо кашлянув, заговорил тише, опять про злыдня Парфёнку. Но письменный голова, шмыгнув утиным носом, перевёл разговор на попу.

— Да вор он, вор! — сдерживая голос, отмахнулся Михей. — Меня про блудные помыслы пытал, а с Парфёнки убийства, кражи, клятвoprеступления снял. — Скрипнул зубами и стал перечислять, от кого, что слышал про иеромонаха Симеона.

Бахтеяров, переломившись в пояснице, как перед начальствующим, алчно буравил его взглядом. Едва Стадухин перевёл дыхание, выбранившись для облегчения души, тот вкрадчиво спросил, будто селезень клювом прошлёпал:

— Скажешь то же самое, если воевода поставит перед собой тебя и монаха?

— Скажу! — молодецки приосанившись, пообещал Михей.

— Вот это по-христиански! — одобрительно залопотал письменный голова. — Нас государь послал в дальние свои вотчины, чтобы навести порядок, а без вас, без здешних служилых и промышленных сибирцев, без вашей помощи, что мы можем?.. Грамоту разумеешь? Прочти, что записано с твоих слов, и приложи руку.

— Ишь, поп-то чего удумал? — проговорился, когда казак поставил подпись. — Против стольника Петра Петровича грозит объявить «слово и дело». И Ходырев ведёт себя дерзко. Видать, высоко, — поднял перст к низкому потолку и пуще прежнего прогнулся в пояснице, — кто-то его покрывает!

Стадухин вышел и направился к реке, где под разбитой баркой ждал Юшка. В жалобной челобитной, которую он подписал, не было явной лжи, но как-то смутно и стыдно было на душе, будто в ответ на оплеуху схватился за нож.

На другой день его позвал посыльный от воеводы Головина. Михей крикнул, отряхнул сор с кафтана в подпалинах, перекрестился, укрепляя дух, и, придерживая саблю, зашагал за верстанным казаком.

— Я за тебя Николу молить буду! — крикнул вслед Юшка.

На крыльце съезжей избы, занятой воеводой, стоял письменный голова Бахтеяров. Он пытливо оглядел подошедшего казака плутоватыми глазами, шепнул:

— Не трусь! — хотя сам, по виду, изрядно чего-то боялся.

— А чего я буду?.. — дерзко хмыкнул Стадухин, задрал бороду, расправил рыжие усы и шагнул за дверь.

В избе за столом, покрытым скатертью, сидел главный воевода Пётр Петрович Головин, с холёной бородой, рассыпавшейся по дородной груди. Кафтан его был расшит золотой нитью. Ни кивнуть, ни качнуть головой он не мог: на ней трубой была насажена высоченная боярская шапка. Воевода только водил глазами, с важностью моргал и хмурил брови.

На лавке против него сидели чёрный поп Симеон в скуфье и Парфён Ходырев в шапке сына боярского, обшитой соболями. Лицо бывшего приказного было перекошено злобой. Он бросил на казака такой испепеляющий взгляд, что Стадухин наконец-то полностью уверился — не зря плыл в Илимский. По лицам попа и сына боярского догадался, что писец уже прочёл им жалобную челобитную, потому воевода и поставил их всех перед собой. К этому Михай был готов, этого добивался.

— Эх-эх! — мельком скользнул поп по его лицу печальным взглядом: — Буйная да дурная твоя головушка! Не ведаешь, что творишь чертям на радость, наговорил ведь на меня напраслину. И кто же с тебя такой тяжкий грех снимет?

— Ты и снимешь! — огрызнулся казак. — Полсорока соболей выложу в поклон, ещё и расцелуешь. — Скинул шапку, стал класть поясные поклоны на образа.

Воевода величаво помалкивал, водя властными вылупленными глазами с одного на другого. Положив последний поклон, Михай нахлобучил на голову сермяжный шлычек и добавил, ответив презрительным взглядом на ненависть Ходырева:

— За каждое своё слово готов лечь под кнут ради правды! Они о прибылях только и думают, — объявил громче и резче, — а там, — кивнул на полночь, — из-за того невинная кровь льётся по сей день.

Поп опять печально завздыхал. Ходырев же заорал дурным голосом:

— Да это же один из самых вздорных заводчиков и смутьянов. Про кровь говорит, а сам по локти в ней. Да ты с Иваном Галкиным православных мангазейцев смертным боем бил!

И то, как Ходырев кричал о давнем, начальствующими людьми разобранном, самим перед собой отмоленном, напрочь успокоило казака. Стадухин снисходительно усмехнулся и почувствовал, как ровно и спокойно забилось сердце, будто сняли с груди камень. Томившие его злоба и ненависть прошли, ему стало даже жаль Парфёнку.

— Не откажешься от слов? — строго спросил воевода и взглянул на казака потеплевшим взглядом.

— Не откажусь! — твёрдо ответил он. — Зови заплечника, испытай кнутом.

— Вешать надо таких смутьянов, не кнутом бить! — хрипло выкрикнул Ходырев и пригрозил, указывая глазами на воеводу: — Они как пришли, так и уйдут, а я останусь.

— За приставами вернётся в Ленский острог для сыска! — членораздельно и властно приказал Головин. Перевёл глаза на Стадухина: — Тебе без палача верю. Кто мне верно служит, тех не забываю.

— Лена давно ждёт порядка, — по-своему понял его Стадухин. — Наведёшь — все тебе прямить будут: и служилые, и промышленные, и инородцы.

Он вышел из съезжей избы. У коновязи стоял Юшка Селиверстов с уздой, намотанной на кулак. За его плечом мотал головой казённый конь. По лицу Стадухина целовальник понял — их правда взяла, и затрубил на весь острог:

— Есть справедливость и на этом свете!

И показалось казаку, будто солнце засветило ярче, веселей защибетали птицы, гнус не донимал как обычно, дышалось легко и свободно, как в юности, на отчине. Теперь прежние злые помыслы об убийстве Парфёнки казались ему смешными.

Ночевали они с Юшкой возле барки, которую проезжие люди потихоньку растаскивали на дрова. Возле Илима скопилось много промысловых и торговых ватаг, ждущих своей очереди выхода на волок. По берегу светились огоньки костров, алыми звёздами отражавшиеся в речной глади. Обыденно гудели комары, привычно ныли открытые места кожи, поеденные мошкой. Подложив под голову шапки, в разные стороны ногами — один на лапнике, другой на бересте — Мишка с Юшкой укрылись верхней одеждой и смотрели на звёзды.

Стадухин улыбался им, думая, что исполнил волю ангелов, глядящих на него сквозь распахнутые небесные оконца, и признавался перед собой, что никогда не смог бы простить Ходыреву обид, не отомстив за них. Задумано ли так звёздами и Господом, сказавшим: «Мне отмщение и аз воздам», или был мучим бесовскими страстями? Как знать? Оправдывая себя, казак думал, что когда-нибудь эти звёзды и Господь скажут, зачем всё было: ненависть, голод, холод, кровь, вечные распри между людьми...

На другой день Юшку били батогами за то, что бросил таможеню, а не отправил жалобную челобитную. Олёкминский целовальник обиженно побряхтывал и оправдывался: «Мало Парфёнка перехватывал тех челобитных и отбрехивался?»

Бит был Юшка жалостливо, для порядка, другим в поучение, и после наказания глядел на свидетелей горделиво, как человек, претерпевший не по грехам, но за правду, Христа ради.

Обоим, олёкминскому целовальнику и ленскому казаку, было предписано возвращаться к прежним местам служб с торговыми людьми царского гостя (купца первой гильдии) Гусельникова и гостя царской сотни Усова (купца второй гильдии) при их стругах, с их приказчиками и работными людьми, на их кормах. В пути им предписывалось досматривать, чтобы незаконного торгова не было, а служилые люди на Куте и Лене торговым ватагам насильств и обид не чинили.

Приказчики Василия Гусельникова не первый десяток лет шли за первыми промышленными и служилыми людьми, торговали в Ленском остроге едва ли не со времён его основания сотником Петром Бекетовым. По соображениям Михея Стадухина сам купец, не показывавший носа на Лене, приходился ему дальней родней. Гусь лисе не товарищ, большой пользы от того не было, но при его судах могли быть земляки-пинежцы и даже знакомые люди, от которых можно узнать новости с родины.

По слухам, торговые караваны Василия Гусельникова и Алексея Усова благополучно прошли Шаманский порог на Илиме и со дня на день должны были подойти к острогу. С теми спокойными мыслями Михей Стадухин на редкость крепко уснул. Под утро ему снилась родниковая вода и кровь, выступившая на старой, зажившей ране.

Так уж было дано с юности, что глубокий сон обходил его стороной, особенно при многолюдье, он как-то ненадолго, по-волчьи, впадал в забытие, растекаясь бодрствующим внутренним взором, чувствуя чужие страсти, злобу и ненависть. А тут, как чудо, рядом с острогом, со многими ватажками, душа будто в небе отдохнула. И сон был чудной, от него весь следующий день она томилась и чего-то ждала.

Михей то и дело посматривал на реку. Пинежцы подошли после полудня. Среди людей с обожжёнными солнцем, изъеденными гнусом лицами он узнал гусельниковского приказчика Михайлу Стахеева, ещё один человек показался знакомым. Волнуясь, подошёл к стругам, причалившим к берегу.

— Мишка, что ли? — спросил тот и знакомым движением руки смахнул испарину со лба.

— Тараска? — вскрикнул казак глазам не веря и в следующий миг тискал в объятьях брата. Рядом с ним смущённо и радостно топтался молодец с родным, до боли знакомым лицом.

— Не узнаёшь Гераську? — смахивая слёзы с глаз, кивнул на брата Тарх. — Да и как узнаешь, если он после твоего ухода родился.

— Брательник? — обнял Михей младшего братца с шелковистым пухом по щекам и понял, что тот похож на деда.

Сон был в руку. Едва он сам стряхнул с бороды радостные слёзы, отступил на шаг, чтобы полюбоваться братьями, взору предстало чудное видение в образе зрелой женщины со стройным, как у девки, и крепким, как у женщины, станом. По обычаю сибирских баб голова её была плотно обвязана льняным платком, так что виделись только глаза с изъеденными гнусом, вымазанными дёгтем веками. И когда они встретились со взглядом казака, женщина неспешно развязала платок, скинула его на плечи, бесстыдно обнажив гладко причёсанную на две косы голову.

Михею, без вина пьяному от встречи с братьями, почудилось, что окунувшись в сине-ву её глаз, душа взмыла к небесам. Она глядела пристально с насмешливым вызовом, как прелюбодейка, выставляя себя во всех грехах и пороке.

— Кто такая? — изумлённо пробормотал Михей и будто из погребца услышал ответ Герасима:

— Томская посадская. Шла на Русь с отпускнуной грамотой. Я её в Обдорском сговорил идти на Лену стряпухой.

— Два раза вдовела. Дети померли... — женщина блеснула глазами, не опустив их под пристальным взглядом казака, едко усмехнулась: — Гераська меня, гулящую, подобрал!

— Вон что... — рассеянно пробормотал Михай негнущимся языком. — Вольная знает! Вот бы мне такая сыновей родила! — И спохватился, что непослушный язык прилюдно несёт что-то нелепое, виновато улыбнулся, добавил: — На Лене будешь первой красавицей!

Вызывающе прищуренные глаза женщины вдруг подёрнулись паутинкой боли, блеснули невзначай наворачнувшейся слезой. Она поморщилась, вымученно улыбнулась, смущённо опустила голову.

— А что? — Михай расправил грудь, упёрся руками в бока. — Я на полном окладе, со мной не пропадёшь. Отец в мои-то годы уже и Гераську имел, — указал на брата, — а я всё холостой и бездетный, — будто даже пожаловался на долю.

Герасим, что-то бормоча, взял женщину за руку, потянул от очарованного братана. Она строптиво стряхнула его руку, опять попыталась сделать глаза дерзкими, даже подпёрла рукой крутой бок, будто собиралась плясать, но в следующий миг смутилась, опустила голову и ушла.

— Нельзя ей под венец! — взволнованно заговорил Гераська.

— Это почему? — чего-то недопонимая, спросил Михай, глядя в спину удалявшейся женщины. — Эй, красавица! — окликнул. — Как зовут-то?

— Арина! — не оборачиваясь, ответила она и зашагала берегом.

— Несчастья приносит мужьям, — пугливо лопотал Герасим, переминаясь с ноги на ногу, бросая болезненные взгляды то на Арину, то на брата. — Она не только стряпуха... От самого Обдорского под одним одеялом со мной, во грехе.

— В Енисейском едва отбились от женихов, — хохотнул Тарх. — Воевода ей двадцать рублей сулил. Не осталась!

— Она же тебе стара! — удивился Михай, ничуть не смутившись тем, что услышал. — Разве среднему ровесница? — Обернулся к Тарху, статному, широкоплечему мужу с окладистой бородой.

— Я ей не по нраву! — вздохнул он, тоже любясь стряпухой. — По греховной слабости пригрел бы, конечно, да её Гераська чем-то прельстил. Других к себе не пускает.

— Я тебе ясырку найду! — переводя разговор в смех, пообещал Михай. — Говорят, они в блюде слаще.

Обожжённое солнцем лицо Герасима с шелухой отставшей кожи на носу и по щекам налилось краской, он закричал, закашлял, перебирая ногами, как зловерный петух, торопливо сообщая, что сказать.

— Так ведь грех братнину полюбленную вдову за себя брать! — вскрикнул обиженным голосом.

— То, что там грех, — Михай, смеясь, обнял младшего и кивнул на закат: — там, — указал на восход, — в почёт! Ох уж это скандальное новгородское отродье, — рассмеялся. — Едва встретились — и сразу спор. Ладно, сама судьбу выберет.

Он присел возле струга братьев. Обозные люди торопливо обустроивали стан. Тарх суетился среди них, Герасим развязывал узлы на мешках с поклажей. Глаза Михея сами собой отыскивали Арину, месившую тесто в берёзовом бочонке.

— Вольной воля! — пробубнил над ухом младший брат, проследив за его взглядом. — В нашем товаре и твоя доля. Мы с Тархом отцов дом продали...

Между тем все струги торгово-промысловой ватаги купца Гусельникова были вытянуты на берег. Приказчик Михайла Стахеев махнул рукой Михею Стадухину и стал переодеваться. Он каждый год возил на Лену ходовой товар, рожь и пшеницу. Герасим с Тархом пристали к его торгово-промысловой ватажке в надежде на помощь и науку. Оба приглядывались к сибирским порядкам, к покупателям, надеялись на помощь брата, служившего в Ленском остроге. Встреча с ним в Илимском и его покровительство были большим счастьем.

Михей подошёл к земляку-приказчику. Последний раз они виделись прошлой осенью. Стахеев, как всегда, был весел и словоохотлив. Стадухин заметил на его лице крап оспинок.

— Где успел переболеть? — спросил вместо приветствия.

— Пустяки! — смеясь, отмахнулся земляк. — Принудили отдохнуть в Тобольском. Заперли в избе. Отоспался на год вперёд! — И стал переодеваться из дорожного платья в дорожной кафтан, обшитый по обшлагам собольими спинками, заломил шапку, шитую из меха чёрной лисы, кивнул земляку и направился в острог к таможенному целовальнику.

Юшка Селиверстов, сидя в стороне и примечая рассеянность Михея, зычным голосом напомнил о воеводском наказе, затем встал с рассерженным лицом, раскатисто выругался и по-хозяйски стал оглядывать струги пинежцев, чтобы товаров с них не выносили да всяких ярыжек к себе не подпускали. Он нёс службу за двоих.

Приказчик Стахеев вернулся с лучившимися глазами, привёл илимского таможенного целовальника. Тот бегло осмотрел товары, имущество ватажных людей. Юшка громовым голосом корил его за недогляд, требовал развязать мешки, дотошно ощупывал их и всюду совал нос. Когда досмотр был закончен, он с видом человека, исполнившего долг, заулыбался, заговорил душевней и ласковей. Обозные люди развели костры, на стане запахло свежим хлебом и печёной рыбой.

Братья Стадухины сыны Васильевы сели в стороне. Михей виновато спохватился:

— Расскажите, что там на отчине.

— Сперва мать померла, потом отец, ты о том уже знаешь, — повздыхав, стали рассказывать братья. — Перед кончиной передали тебе, старшему, своё благословение. Мы похоронили их рядом с дедами.

Михей встал, скинул шапку, трижды перекрестился, кланяясь на восход.

— Дом продали. — продолжил Тарх. — Герасим товар купил, у него торг лучше получается... А на отчине новости такие: считай, полдеревни ушло в Сибирь. В иных домах одни бабы ждут мужей и сыновей, другие брошены или проданы. Вот и мы подумали, что дому гнить? Вернёмся богатыми — новый срубим. И времена там тяжкие — царевы холопы не дают жить по старине, заводят порядки латинянские. Сколько себя помним, царь всё с ляхами воюет, а их на Руси всё больше и больше. Приезжают с царскими грамотами, ведут себя по-хозяйски. На что устюжане были московскими пособниками в войнах с Новгородом, и те валом пошли в Сибирь от нынешних порядков, чтобы переждать лихие времена. Вот и все новости... — Помолчав, пожал плечами Тарх.

— Правильно, что дом продали, — одобрил братьев Михей. — Подати скопятся — не рассчитаемся. Даст Бог, разбогатеет, выкупим.

Герасим, по его словам, собирался торговать в Ленском остроге под покровительством Стахеева. Тарх хотел идти на промыслы, торг был ему не по душе.

Спать братья легли в сумерках, когда затих стан. Герасим с Тархом забрались под перевёрнутый струг. Вечер был тёплым. Михей, с утра ждавший чуда и с тем проживший день, привычно улёгся под открытым небом в стороне от стана, положил под бок саблю, поглаживая пальцами ножны, поднял глаза на зажигающиеся звёзды.

Смолоду, и даже в Сибири на службах, он думал, что все люди могут, как он, чутя злой умысел, но ленятся бодрствовать ночами. Поздно уразумел, что таким даром, или наказанием, наделены немногие. Чутьё хорошо помогало при малолюдьё, но в острогах и городах делалось мукой, истязало бессонницей, пока, к счастливому облегчению, само собой не притуплялось.

Михей привычно растёкся душой по округе и содрогнулся от бессмысленного многоголосья. Только возле реки томилась, истекала слезами какая-то печальная дума. Стадухин стал мысленно читать вечерние молитвы, чтобы отвлечься и уснуть. Помогло. Печальная песня выткалась на звёздном небе обликом Арины. Сонно и счастливо, любуясь им сквозь ресницы, Михей улыбнулся, впадая в сладкую дрему. В очередной раз приоткрыв глаза, увидел смутное очертание облика в аршине над собой.

— Спишь? — прошептала она, клонясь. — А я не могу. Разбередил ты мне душу.

Михей сел, радостно прислушиваясь к звукам ночи, к её шёпоту, сладостно втянул в грудь дурман реки и женщины. Всё это казалось ему счастливым видением, которого ждал прожитый день. Он взял её за руку и тихо рассмеялся.

— Пойдём куда-нибудь! — предложила она, не высвобождая руки из его ладони.

Он легко поднялся, перекинул через плечо сабельный ремень, наспех опоясался и повёл Арину сперва к реке, потом к берёзовому колку, возле которого они с Юшкой ночевали под баркой.

— Моему первому сыну было бы лет пятнадцать, — приглушённо рассказывала она. В её голосе дрожали слёзы, готовые сорваться в плач. — От другого мужа тоже был сын. Нет уж никого в грешном мире, всех Бог прибрал, а у меня душа окаменела, хотела абы как дожить до кончины. А ты сыновей попросил, и оттаяло что-то. Больно стало! — Она тихонько заплакала. — От Гераськи берегусь да отмаливаюсь — не хочу детей. А от тебя опять захотела! — она остановилась, хлопнув носом, положила руки ему на плечи, взглянула в упор.

В редкой темени сибирской ночи с гнусавым пением комаров Михей увидел, что лицо её вытянулось, глаза в тёмных глазницах удивлённо расширяются, губы дрожат. И в этот миг почувствовал на спине опасливый, настороженный, любопытный и пристальный взгляд. С досадой обернулся. В десяти шагах у реки стоял странного вида мордастый мужик с узкими плечами, мокрой бородой, распадавшейся на брылы. Ноги его были непомерно короткими и кривыми, чуть не до колен свисало брюхо. Маленькие колючие глазки бесстыдно разглядывали уединившуюся парочку.

Михей хотел цыкнуть на пялившегося, как тот, вытянув короткую шею, издал два коротких и один длинный рык. Стадухин опознал вылезшего из реки медведя, закрыл спиной Арину, рывкнул в ответ зверю его же рыком. Медведь скакнул на четыре лапы и с плеском бросился в воду. На разбуженных станах захрустел хворост, занялись гаснущие костры.

— Мама родная! Как сердце-то бьётся! — охнула Арина и стала оседать на землю.

Михей подхватил её, невольно обвисшую, прижавшуюся высокой грудью к его щеке, припал губами к её губам. Подрагивая от невольного, не вымещенного испуга, с помутившимся рассудком заурчал, как медведь, стал раздевать её, путаясь в складках незнакомой одежды, добираясь до сокровенной плоти. Остатками здорового ума чувствовал, что она не противится и даже помогает его рукам. И припал к ней как истомившийся жаждой путник к роднику: пил и пил, радовался, что пресыщение не наступает, и таяла застарелая шершавая тоска по несбывшемуся.

Арина застонала, напряглась, опала на выдохе и обмерла, перестав дышать. Михей отстранился, забеспокоившись — не померла ли? Но ресницы её дрогнули, она открыла глаза, тихо рассмеялась на вдохе:

— Летала среди звёздочек. Одна, тёпленькая такая, угодила под сердце. Сыночек! Я знаю.

— Хорошо бы! — переводя дух, прошептал Михей, привлекая её к себе: — Мне-то как сына хочется!

Она молчала, не отвечая на его ласки, по её щекам текли слёзы, и он ощущал их вкус на губах.

— Плохо, что медведь нас повенчал — первый пособник лешему! Кабы, не пришлось сыночку всю жизнь лешачить, — помолчав в задумчивости, добавила: — Хоть бы и так, лишь бы нас с тобой пережил. Не дай-то Бог ещё раз... — Вздрогнула, всхлипнув громче, договаривать не стала, но спросила с опаской: — Почему ты на него по-медвежьи взревел?

— Не знаю, — искренне признался Михей, — само получилось.

На стан они вернулись при свете дня и занимавшемся солнце. Ватажные жгли костры и ругали сбежавшую стряпуху. Герасим с одеялом на плечах, заспанный, неумытый, насупившись, сидел возле перевёрнутого струга, с укором глядел на приближавшуюся Арину.

Ласково посмеиваясь, она подошла к нему, наклонилась, погладила нечёсаную голову:

— Не печалься, мой хороший! У тебя, даст Бог, вся жизнь впереди, а у меня последние бабьи годочки.

— Я и говорю, — Тарх ткнул в плечо меньшого, стараясь развеселить: — Если у них что сладится — слава Богу, а не сладится — вернётся, от неё не убудет...

— Что уж тут... — вздохнул Герасим, перебарывая слёзы и дрожь в голосе. — Ушла так ушла. Отпускай не отпускай...

— А у тебя на висках проседе! — Арина обернулась к Михею, окинув его светлыми глазами без тени бессонной ночи. — Я вчера и не заметила.

— На ощупь седины не видно, — с укором проворчал Герасим и опять хлюпнул носом.

Арина снова рассмеялась, заново потрепала его по волосам и, не обращая внимания на укоризненные взгляды ватажных, пошла к котлам.

— Руки-то помой после прелюбодеяния! — буркнул гусельниковский покрученник.

— Даже искупалась в реке, не видишь, что ли? — ничуть не смутившись, с вызовом ответила стряпуха и стала готовить завтрак.

За голенищем ложка, за пазухой плошка... На случайных казённых харчах ленский казак Мишка Стадухин чувствовал себя счастливым юнцом. Всё томившее душу, недолюблённое, рвалось из него с такой силой, против которой не могли устоять ни он сам, ни Арина. Свободное время они проводили вдвоём. Удивляя Михея, она иногда разглядывала его как жеребца на торгу.

— Ты чего? — смеялся он.

— Чудно... — шептала, оглаживая его грудь с восхищением и горечью. — Увидела тебя, подумала: сильный, смелый, ни перед кем шеи не согнёт. А ночью в лесу — забоялась, почувствовала в тебе зверя. Думать не думала, что ты такой нежный, ласковый. — Прижалась щекой к груди. — Детей тебе рожу, сколько успею. Дом построим. Что ещё надо?

— Венчаться надо, — Михей глубокомысленно поскоблил грудь ногтями. — Если здесь сговоримся, то иди на исповедь к старому попу. К монахам не ходи.

— Ой, боюсь, боюсь! — Арина закрыла лицо руками. — Ты ведь ни разу не венчанный?

— Нет!

— А я два раза! Третий — грех, а больше нельзя. Кабы несчастья на тебя не навлечь. Может быть, не надо, а? — попросила жалобно. — В Сибири не обязательно жить по закону. Вон сколько кругом распутства. Бог простит?

— Надо! — сказал, как отрубил, Михей. — Нагулянным детям счастья не будет! А от страхов твоих отмолимся, я — заговорённый! Товарищей рядом со мной ранили-переранили, а у меня ни царапины, только одежда издырявлена. — Опасливо зыркнув по сторонам, приглушённо прошептал ей на ухо: — Я чую, когда в меня стрела или пуля летит.

— Не говори так! — вскрикнула она, боязливо распахнув голубые глаза, закрыла его рот ладошкой. — Чур нас, чур! Господи помилуй! Жить с тобой долго и счастливо, помереть в один час...

— Я ещё богатым стану, — пообещал Михей. — Не таким, чтобы очень — деньги меня не любят, но прожиточным. И ещё знаменитым атаманом! Это мне на роду написано — на всю деревню один с рыжими усами. За тем в Сибирь шёл. Только отчего-то не спешат ни богатство, ни слава. — Вскинул смеющиеся глаза к небу: — Раз тебя прислали, значит, скоро уже... — подумав о своём, хмыкнул в бороду, удивляясь превратностям судьбы: — Сколько русских девок и баб видел по Сибири — ни одному жениху, ни одному мужу не позавидовал — все были не мои. Тебя увидел — будто узнал. Вот ведь!

Арина уткнулась лицом в его грудь, тихо, беззвучно заплакала.

— Поздно вернулись, голубчики! — пророкотал Юшка Селиверстов, увидев подходящих к стану Михея с Ариной. — Проспали своё счастье! Теперь я пойду до Олёкмы с твоей роднёй. — Ожидая спора, Юшка буравил Михея пристальным испытующим взглядом и доил свою жидкую бороду, как сосок на козьем вымени. Стадухин принял весть без перемены, и он успокоенно рассмеялся: — А тебе велено идти с Усовскими.

Тлели угли костра, пахло свежим хлебом. В невесть кем и когда сложенной из речного камня каменке мужчины пекли тесто, загодя поставленное стряпухой. Она по-хозяйски оттеснила их, не глядя по сторонам, принялась за обычное дело. Михей присел у костра на корточки, вытянул ладони над огнём.

— Ну и ладно! — покладисто согласился с Юшкой. — Иди с моими, а мы пойдём с Усовскими. Чьи у них приказчики?

— Старший — холмогорец, младший — устюжанин. Вчера только пришли.

Юшка чуть тише зарокотал какими-то обвинениями и оправданиями, которых казак не слушал. Перемолчав целовальника, поднял смиренные и бессонные глаза на братьев, спросил:

— Как ночевали?

— Слава Богу! — приветливо кивнул Тарх и чуть было не спросил старшего о том же, но спохватился на полуслове. Ватажные поняли несказанное, приглушённо загоготали. Рассмеялся и Михай.

К нему подошёл Герасим с пламеневшим лицом, присел рядом, неловко обнял.

— Дай Бог и тебе счастья! — притиснул его к себе Михай. — Осчастливил ты меня. С тех пор, как ушёл из дома, так хорошо не было.

— Живите! Спаси вас Господь! Чего уж там! Знал ведь, что не для себя везу стряпуху. Пусть хоть для братана.

Ранним утром пинежцы с олёмкинским целовальником Юшкой Селиверстовым ушли на волок. Михай с Ариной, бездельничая, посидели возле гаснущего костра, поговорили о пустяках и отправились на табор усовского обоза. Весело глядя на казака и женщину умными глазами, их приветливо встретил старший приказчик по имени Федот Попов. Он был высок и строен, борода ровно подстрижена. Холмогорец по рождению, до нынешнего похода Федот много лет торговал в Тюмени и Тобольске, промышлял соболя в Сибири. Другой приказчик того же купца, Лука Сиверов, как и положено торговому человеку, поглядывал на казака настороженно, женщины старался не замечать, на вопросы Михея отвечал кратко и ясно, своих вопросов не задавал.

Федот же, ненавязчиво любуясь Ариной, напротив, спросил Михея, жена ли, сестра ли с ним.

— Невеста, — ответил казак. — Хотел подать челобитную, да воеводский писарь меньше полтины не возьмёт, а кабалиться в Илимском не с руки.

— Я могу написать даром, — предложил Федот.

— Ага! — настороженно шевельнул рыжими усами Михай, понимая, что, приняв помощь от торговых людей, вынужден будет покрывать их беззакония. — Я тоже грамотный! Да вдруг ошибусь в царевом титуле... Под кнут идти? На кой оно...

— Я не ошибусь, — заверил Федот, но настаивать на помощи не стал.

— Успею, подам на устье Куты. Там у меня друг — целовальник. Бывало, на Лене спина к спине сидели в осаде или рубились с рассвета до ночи. После он торговал, а, разбогатева, не скурвился, как другие нынче, правда, проторговался и служит в целовальниках на бывшей хабаровской солеварне.

— Уж не Семейка ли Шелковников? — удивился Федот.

— Семейка!

— Так это же мой друг! Мы с ним под началом Пантелея Пенды первыми на Лену вышли. Не слыхал?

— Как же! — теперь Михай исподлобья метнул на приказчика удивлённый взгляд. — Пантелея Демидовича все знают.

— Живой?

— Не было слухов, что помер. В Ленском он давно не был, но Постник Губарь рассказывал, видел на Индигирке.

— Вот бы кого встретить! — с таким жаром воскликнул приказчик, что ленский казак почувствовал в нём своего, искреннего человека, какие редко встречаются среди торговых людей.

Как ни много скопилось под волоком промысловых и торговых ватаг, но после ухода воевод с их людьми острог и посад казались опустевшими, а округ притихшим. Приказчики усовского обоза будто нарочито ждали, когда схлынет этот затор. Не спешил в Ленский острог и Михай. Кормились они с Ариной в обозе. Она опять варила и стряпала, он

отгонял от стругов ярыжек и служилых, искавших выгод. Федот Попов привёл на табор двух гулящих людей, которые хвалились за месяц привести струги с верховьев Куты к Ленскому острожку и рядились за работу дорого. Поговорив с ними, Михей уличил обман: дальше Николиного погоста реки Лены они не знали.

Стадухин нашёл в вытоптанном прибрежном осиннике брошенный балаган, подновил его и уводил туда Арину от костров и многолюдья стана. Обозным нравилось, что служилый не лезет в их дела, и отношения казака с торговыми людьми потеплели. А он, к своему счастью, спал рядом с женщиной так крепко, что не чувствовал вокруг себя никого кроме неё.

Они старались уединиться всякий свободный час, который могли провести вместе. На баню или мыльню денег не было, мылись в реке. Не желая носить штанов, как русская женщина, Арина мазала ноги дёгтем до самой промежности, но это помогало плохо — мошка и с дёгтем разъедала язвы. Михей где-то добыл тайменьи кожи, отрездрил и задубил их, сшил возлюбленной портки и заставил надевать под понёву.

Мимо его глаз, будто во сне, прошёл досмотр товаров, приказчики получили отпускную грамоту, им назначили очередь выхода на волок. Стадухин в который раз поплёлся в острог по своему делу и столкнулся с письменным головой Бахтеяровым, который отстал от воевод, доделывая какие-то их указы.

Голова полюбопытствовал о делах, морща утиный нос, посмеялся над просьбой о венчании.

— За бабий подол держась, будешь зевать на приострожных службах. А я думал отправить тебя на дальние, на прииск новых земель.

— Отправь! — впился в него Стадухин цепким взглядом. — Жена тому не помеха!

Бахтеяров опять посмеялся и, лукаво прищурившись, спросил:

— А добудешь соболей, про меня не забудешь?

— Я никогда не забываю ни добра, ни зла, — резче ответил казак.

— Про зло помню, — хохотнул голова. — Заварил ты кашу с Ходыревым и Копыловым. Дай Бог расхлебать. — Плутовато напоказ вздохнув, опять прищурился: — Напишу и приму челобитную от имени воевод. Они мне не откажут. А про соболей помни — замолвлю за тебя словечко.

Глаза Стадухина вспыхнули:

— Отправь искать новую землю! Уж я воздам и тебе, и казне.

К вечеру на стан обоза прибежал посыльный и велел Михею идти к Бахтеярову, чтобы приложить руку к челобитной.

«Не забыл! — удивился Стадухин. — Не тянул как обычно для пущей важности, набивая цену».

После отъезда на волок монахов они с Ариной тихо обвенчались в острожной церкви, не рассиживаясь с причтом, вернулись на табор усовского обоза. Полтину на венчание дал Федот Попов, и Михей взял, пообещав вести струги по реке. Праздновать свадьбу было не на что, не с кем и ни к чему.

Пришёл черёд и усовским людям идти на волок. Вздывая жилы и мотая головами, кони потянули их струги к верховьям Куты. Незадолго до усовского обоза здесь прошли воеводы с таким войском, что от стана до стана трава была выщипана дочиста, а возле них зловонно смердило нечистотами. Возницы брезгливо плевались и волокли струги на продуваемые безлюдные места. Обогнуть же воевод на волоке было делом немыслимым.

— Разве на устье Куты задержатся... — рассуждал Стадухин, отвечая на расспросы обозных людей.

Арина кашеварила у костров, поглядывая на мужчин пустыми, незрячими глазами. За неделю совместного пути она никого из них не помнила ни по лицам, ни по именам, все были для неё просто обозными людьми. Но её лицо всякий раз вспыхивало и расцветало, когда на глаза попадался муж. Они до неприличия долго глядели друг на друга, глупо и счастливо улыбаясь, не замечали, что в их присутствии возле костра наступала напряжённая тишина.

По строгому наказу старшего приказчика Федота Попова никто не смел ни шутить, ни осуждать вслух казака со стряпухой. Зато когда те не могли слышать, что происходит за их спинами, обозные давали волю языкам и потешались над голубками.

Сена, приготовленного казаками для воеводского табуна, казённым коням не хватало, погонщики растащили несколько копен, поставленных хабаровскими работными. Возницы с руганью накинулись на годовальщика, сидевшего в зимовье. Тот устало отбрехивался, обещая заплатить из казны Хабаровым и их людям. Зато дома, срубленные для воеводских ночлегов, пустовали, и годовальщик разрешил ночевать в них без платы. Стадухин покружил возле изб зимовья и напросился в амбар.

— Там крыша течёт, в стенах дыры — пальцы лезут. Его рубили ещё голодранцы Васьки Бугра, проложившего Ленский волок.

Годовальщик и дольше отговаривал бы казака — после проезда воевод на него напала охота говорить. Стадухин же резко спросил, обрывая на полуслове:

— Пустишь?

— Ночуй, если приспичило!

— Приспичило! — усмехнулся казак и пошёл обустривать ночлег.

Два одеяла да верхняя одежда — все пожитки, что были у них с Ариной. До сумерек надо было принести бересты на подстилку, лапника и травы, чтобы постель была мягче. Мошки в амбаре было больше, чем в лесу, пришлось устраивать дымокур. Но и он не помог. Гнус выгнал обоих на продувное место, под чистое небо с выткавшимися звёздами. Выкатилась ущербная луна, жёлтая, ясная, сытая. Положив под бок лук со стрелами, саблю, Михай не заметил, как уснул, и почувствовал тычок в бок.

— Медведь! — испуганно прошептала Арина.

Сердце женщины колотилось, она прижималась к мужу. Пока Михай выбирался из глубин сна, успел увидеть в лунном свете вытянутую горбатую тень, услышал хруст веток.

— Открываю глаза, а он ноги нюхает! — взволнованно стрекотала женщина. — И чего они к нам привязались?

Стадухин, удивляясь, что так глубоко спит под боком жены, слегка обеспокоился безопасностью ночлегов, о чём прежде не задумывался.

— Не помню, чтобы встречи с ним были к худу, — пробормотал сонным голосом, крепче обнимая Арину. — Заяц выскочит — не к добру! А медведь, как встречный человек, сразу не поймёшь, что у него на уме.

Той ночью, глядя на звёзды, Арина удивлённо призналась ему:

— Ведь мы совсем недавно сошлись?.. А мне чудится, будто век живём. А прежняя жизнь будто приснилась. Осенит вдруг: у меня были мужья, дети, полюбовные молодцы — ни лиц не помню, ни как с ними всё было. И родить от тебя хочется, как молодой, и жить долго.

— Роди, — сонно поддакнул Михай. — Поп в Ленском поорёт для порядка, что зачали в пост. Пусть! У него служба такая. Семейка Дежнёв с Яны ясырку привёз — у той брюхо из-под шубы выпирало. Поп заартачился — не стану крестить болдыря во блюде зачатого. Семейка — челобитную на государево имя! Поп без поклонов и бабу окрестил, и младенца, и венчал вместе с приплодом. У нас там всё проще. — Помолчав, добавил к сказанному: — Чудно! Я ведь тоже всё забыл! Были какие-то, а помню только тоску... Тебя увидел — будто Илья молнией по башке звезданул! Отыскал-таки суженую...

Он говорил искренне, только душевная радость, с которой жил последнее время, омрачалась, когда вспоминал о службе. И на этот раз с реки повеяло вдруг стужей, от которой побежали по спине мурашки. С тех самых пор, как ушёл в Сибирь, он верил, что станет богатым и знаменитым, хотя о богатстве не сильно-то переживал — душа алкала подвига, который не засунешь в кожаный мешок с дорогой рухлядью, смутно рвалась в неведомые края, где обретёт славу. Подвести новую землю под высокую государеву руку, дать тамошним народам мир и порядок. Вернуться к родовым могилам, срубить дом и передать славу внукам. Мечталось о таком... Чтобы правнуки помнили и жили по справедливым законам предков.

Без Арины Михай уже не представлял счастливой жизни. Не хотел думать и о том, как оставит её одну при Ленском острожке. Таскать за собой русскую жёнку по урману, как ясырку, было делом редким даже среди промышленных. При непрестанных походах и воинских стычках для служилых людей это было и вовсе делом невозможным.

— Бог не оставит, — пробормотал он со вздохом и неловко перекрестил грудь, лежа на спине.

2. Кремлёвский порядок

В 1639 году государевым указом Ленский уезд Енисейского острога был объявлен Якутским воеводством. Узнав про многие беспорядки на реке Лене, царь, Михаил Фёдорович, послал туда воевод в придворных чинах. В те же годы на Русском Севере была признана вредной для государства и прекращена монопольная торговля англичан, необдуманно заведённая при Иване Грозном. Царский гость Василий Гусельников и устюжский купец московской гостиной сотни Алексей Усов приложили много сил и денег к изгнанию иностранцев, изрядно вредивших русским купцам. Только после этого осторожный Алексей Усов решил завести торговые дела на Сибирской окраине.

Устюжанин Лука Сиверов был его человеком, выросшим в торговых рядах. Обычные купеческие дела в русских городах повзрослевшему сидельцу изрядно наскучили, душа его желала большого и вольного дела. Лука был верен хозяину, помышлял о Сибири, но не знал её. Усову нужен был опытный, бывалый приказчик, и вскоре он познакомился с торговым человеком Федотом Поповым Холмогорцем.

Средних лет, с умным лицом и честными глазами, Федот много лет торговал в Тобольске и Тюмени, занимался промыслами, не понаслышке знал окраинную Сибирь. За разговорами о ходовом сибирском товаре и тамошних сделках приметил купец в матёром сибиряке страсть не к наживе, но к поиску неведомых земель. Внимательно слушая рассказы холмогорца, кивал и думал, что такие люди больших денег не наживают, но, бывает, прокладывают пути к неслыханным богатствам тем, кто идёт следом. Уже при первых встречах Усов стал подумывать, сколько денег можно вложить в человека, прочно обосновавшегося в Сибири и тосковавшего без большого, рискованного дела.

Федот понимал, что купец готов вложить в сибирское предприятие немалые деньги, и был не прочь вольно торговать и промыслять от его имени, под его защитой. При обычных в то время сделках хозяин и приказчик оговаривали, кроме возвращения долга, — половину, а чаще, две из трёх частей прибыли. Именитый гость царской сотни удивил бывшего сибирского торговца необычным предложением: дать деньги и товар на две тысячи рублей в долг с обычным ростом — рубль с десяти.

В первый миг Федот был ошеломлён неслыханно выгодным предложением. Это и насторожило его. Торговые люди и приказчики рисковали жизнью, купцы — деньгами. При рукобитье обычно оговаривалась немилость Божья: пожары, потопления, грабежи, неудача в торге, чтобы купцам своих денег ни с живых, ни с погибших не требовать.

— А если потонем с товаром? — спросил Федот.

— С утопленников какой спрос? — принуждённо рассмеялся купец.

— А если товар утонет или пограбят, а мы живы?

Купец усмехнулся и пожал плечами, дескать, уговор есть уговор. Усов давал приказчику свой товар и деньги под обычную кабальную запись. Федот думал день и другой, его не торопили с ответом. На третий холмогорец пришёл в богатый дом гостя царской сотни, они ударили по рукам и запили уговор заморским винцом.

Усовский обоз пошёл за шумным поездом стольников Головина и Глебова. Приказчики Федот Попов с Лукой Сиверовым не спешили обгонять его, выспрашивали о воеводах и их людях у местных жителей. Всякая метла метёт на свой лад, принаравливаясь к прежней власти, когда её должна сменить другая, не было смысла.

Едва воеводы выехали из Енисейского острога, Попов с Сиверовым привели туда свой обоз. Здесь Федот встретил Ярка Хабарова, знакомого по давней мангазейской смуте, где они оба, молодые промышленные люди, были в одном полку.

— Нынче вспоминаю добрым словом тогдашнего врага нашего, Гришку Кокорева, — с первых слов стал ругать Головина Ерофей. — Тот по пять раз в год именины справлял, требовал подарков — шалил в сравнении с нынешними. В Енисейском явился ко мне стольников холоп и потребовал займа на воеводу в полторы тысячи рублей!

Брови у Федота Попова взлетели под шапку. В пути к Енисейскому острогу он был наслышан, с каким размахом развернулся Хабаров на Лене, но не думал, что тот ворочает такими деньгами. Свое предприятие, которое до сей поры представлялось Федоту очень весомым, показалось ему вдруг слишком мелким для нынешних торговых дел за Енисеем.

— Не дал! — продолжал браниться Ерофей. — И вот, сижу при остроге. От енисейского воеводы одна проволочка за другой. Печёнкой чую, стольниковы козни!

Про козни Хабаров говорил сгоряча. Попов знал, что он ждёт обозы с рожью, чтобы барками переправить в Ленский острог. Федот и сам отправлял рожь из Тобольска в Енисейск. Это был простой способ удвоить усовские деньги, но скучный и долгий.

Лука Сиверов, осмотревшись между Обью и Енисеем, кое-что уразумел в здешней торговле. Часть усовского товара они с Федотом продали в пути и на всю выручку купили ржи. В Енисейском остроге она стоила втрое против Тобольского города. На Лене же, по рассказам Хабарова, шла от пяти рублей за пуд.

Но торговля рожью была прибрана к рукам московскими гостями, оказавшимися проторней Алексея Усова. Убедившись в том на Енисее и Ангаре, Лука Сиверов в Илимском остроге стал предлагать дешево распродать усовский товар и вернуться за новым в Тобольск.

«Торговые пути прямыми не бывают, как не бывает искренней дружба торговцев», — думал Федот Попов, с сочувствием поглядывая на Луку. Их струги неспешно плыли по Куте к Лене-реке. Их вёл здешний казак Михей Стадухин. Обозные люди сидели на вёслах.

С Поповым и Сиверовым на дальние промыслы плыли пять своеуженников со своим денежным и хлебным вкладом: Осташка Кудрин, Дмитрий Яковлев, Максим Ларионов, Юрий Никитин, Василий Федотов. Всех их Федот знал до предприятия и ручался за каждого. Приторговывая в пути, они выбирались на Сибирскую окраину промышленать соболя.

С Федотом же отправился на Лену его племянник Емельян Степанов. Емелька был молодым, огненно-рыжим, конопатым весельчаком и всю дорогу потешал обозных людей. Его большой губастый рот чаще всего был разинут от смеха или удивления. С первого взгляда юнца можно было принять за скомороха: уже один его вид вызывал смех. Но, приглядевшись, люди отмечали, что Емелька не только весел, но по-своему красив. Девки к нему льнули, и он вёл себя с ними, как избалованный вниманием красавец.

На устье Куты струги причалили к острожку. На казённом причале их поджидали казаки-годовальщики. Михея Стадухина здесь знали, он то и дело отвечал на приветствия. Прежде чем начать досмотр товаров, годовальщики во главе с приказным озабоченно спросили его о делах, касавшихся служилых людей, чесали затылки и качали головами.

Покончив с досмотром, Федот спросил приказного, не уехал ли куда с солеварни целовальник Шелковников.

— Здесь, — равнодушно отмахнулся тот, всё ещё что-то подсчитывая в уме. — Собирался плыть в Ленский с жалобами, — глаза его прояснились, он чему-то едко усмехнулся и выругался, помянув чёрта.

Попов окликнул племянника Емелю. С разинутым ртом, с сияющими глазами тот весело, с прибаутками сел за вёсла, переправил дядьку через Куту и вернулся к острожку. Федот помахал ему рукой и зашагал по ухабистой дороге к дымам солеварни.

Друзья встретились возле хабаровской заимки, крытой дёрном. Срублена она была наспех, чтобы перезимовать, и оставалась такой третье или четвёртое лето. Высокий, породный, чуть сутуловатый Семён так тиснул Федота в объятьях, что тот крикнул:

— Медведь! — Отстранился, смеясь вывернулся из дружеских рук. — Пуще прежнего разъелся на казённых харчах.

Он пристально взгляделся в круглое лицо целовальника, густо обросшее бородой. Заметив в ней проседь, сетку морщин возле глаз, вздохнул:

— Однако мы с тобой не молодеем! Лет десять не виделись?

— Заходи в избу! — чуть не волоком потащил его Семён, усадил на лавку.

Из-за выставшей печи вышла немолодая уже девка тунгусской или якутской породы, с чёрной косой на спине. Голова не покрыта, на плечах застиранная мужская рубаша с закатанными рукавами. Девка равнодушно взглянула на гостя, стала выставлять на стол глиняные чашки, берестяные тuesки.

Наглядевшись на друга юности, Семён встал со скрипнувшей лавки, согнулся в низкой двери, придерживая шапку, и вернулся с глиняным кувшином.

— Ягодное вино, — поставил на стол, — не добродило ещё. Кабы с него не пронесло. А другого нет! — Простодушно развёл руками.

Федот вынул из-за кушака берёзовую фляжку с горячим вином. Узкие глаза ясырки с забубенной тоской скользнули по ней. Она что-то шепеляво гыркнула, и Семён ответил по-русски:

— Ставь чарку, только не мешай говорить, — и пояснил, обернувшись к Федоту: — Хабаровская девка. Никифор на заимке бросил... Ну, за здоровье да за встречу, что ли! — Поднял наполненную чарку, напёрстком утонувшую в широкой ладони. Перекрестив бороду, оттопырил нижнюю губу, влил в рот, водка булькнула глубоко в горле. Семён посопел, поводит бровями, кашлянул: — Хороша! — Не закусывая, перебарывая горечь, сипло заговорил: — Понимаю! Мне тоже мелкий торг наскучил. Столько лет потратил попусту. А тебе, с твоим-то умом... Зачем? Для чего? Рухлядь промышлять — не те наши годы, да и надоело. Хотел в службу поверстаться — не взяли, воеводы набрали полк в четыре сотни окладов по Казани и Тобольску. А я бы государю послужил. Это дело непостыдное!

Федот чуть заметно кивнул, тень снисходительной улыбки пробежала по губам:

— Торг торгу — рознь, — осторожно возразил. — Одно дело при лавке сидеть, другое — открыть путь в Китай или Индию. Тут тебе и слава, и богатство.

— Нынче про то много слухов, — заскрипела лавка под Семёном.

На полуслове его оборвала ясырка со злым лицом. Она что-то гыркнула, а он добродушно хохотнул и взялся за флягу:

— Устала ждать. Душа по второй горит.

Целовальник по-хозяйски разлил остатки водки и подвинул девке кувшин с вином:

— Не отстанет, пока всё не выпьет. Пусть дрищет! Вдруг и обойдётся — у них кишки крепче наших.

Девка торопливо осушила чарку, смахнула со стола кувшин, ткнулась в него плоским носом, облизнулась, окинула гостя подобревшими глазами и вышла. Семён степенно поднялся, притворил за ней дверь.

— Сбила с разговора, — наморщил лоб, вспоминая, о чём говорил.

— Про слухи, — подсказал Федот.

— Да, этот год, по слухам, сплыл по Витиму промышленный человек, который жил на великой реке Амур в ясырях у тамошних князцов. Ватажку его перебили, а он как-то отплакался, кому-то хорошо послужил, и его отпустили живым. Тот промышленный сам видел богдойцев, ездил к ним для торгова с хозяевами. Народов, говорит, живёт по Амуру множество, и все немирные. Иные, как богдойцы, владеют огненным боем. Ружей у них много, есть даже в четыре ствола, а порох и свинец дешёвые. Добром, говорил, мимо тех людей с товаром не проплыть — пограбят! А если с войском идти, так надобно не меньше тысячи сабель. Ну, и какие с того барыши?

Федот лукаво посмотрел на друга. Он слышал про выходца с Амура в Илимском остроге.

— Я тебя про другой путь выспрашивал. Сказывают, к восходу от Лены есть река, которая падает устьем так же, а верховья — в Китае.

— Есть такой слух, — согласился Семён. — Елисейку Бузу с казаками и промышленными посылали на ту реку, но он обогатился, не дойдя даже до верховьев Яны. Постник ходил через верховья Яны сухим путём на Собачью реку — Индигирку. Где она начинается — неизвестно, про устье тоже ничего не слышал. Я хоть и сижу на Куте, но от проезжих людей много чего знаю: все смутные слухи идут через послухов от якутов и тунгусов. Никто из наших промышленных и служилых людей той реки не видел, или помалкивают о ней.

В разговоре с другом, в расспросах о Лене Федот окончательно убедился, что опоздал с торговлей в Ленском остроге и тех прибылей, которых ждал, не получит. Темнело. Семён поднялся, достал с полки смолистую лучину, закрепил над ушатом, почиркав кремешком по железной полоске, раздул трут и зажёл огонь.

— Говорят, собираешься в Ленский? — разглядывая широкую спину товарища, осторожно спросил Федот.

— Собираюсь, — коротко ответил Семён. — Может быть, с тобой и уплыву.

— А что там?

— Семейка Чёртов, енисейский казак, объявил против меня и Пильникова «слово и дело»!

— За что?

— Говорил нам, что сено у него забрали хабаровские работные. Требовал сыска. Но сено не они взяли, а воеводские служилые. Я Чёрту сказал, езжай, мол, к воеводам, ищи управу. А он против меня собрал всё, что мог слышать, и придумал по своей догадке... Отбремся! — буркнул в бороду. — А нет, так я за нынешнюю службу не держусь.

— Мишка Стадухин плывёт со мной до Ленского. Добился-таки управы на бывшего приказного, — с намёком на разный исход таких дел взглянул на друга Федот.

— Слыхал! — снова сел за стол Семён. — И Ходырева, и атамана Копылова повезли для сыска. С Копыловым Ивашка Москвитин ходил на Алдан. И пропал там с красноярскими казаками. Атаман говорил, будто отправил его с людьми через горы к Ламе. Прошлый год от тунгусов был слух, будто казаки на Ламе собирают ясак на государя. Даст Бог, вернётся. — Помолчав, Семён шлёпнул широкой ладонью по колену: — А что? С тобой и уплыву. Ночуй, завтра решим... Могу дать совет — один из кочей чем-то не приглянулся воеводам, они его оставили Пильникову, а ему нужны струги, с радостью поменяет на твои. Ниже Витима лес худой, если надумашь плыть к морю, то в Ленском острожке кочишко будешь покупать втридорога. Так что подумай!

На другой день Федот Попов поменял три своих струга на коч, обозные люди перегрузили в него товары с пожитками, хлебный и соляной припас. А Михай Стадухин заартачился:

— Не берусь вести коч по Лене, нанимайте бывальца!

— Ты же не раз ходил и вниз и вверх! — удивился его отказу Федот Попов. — Я и сам по этой реке плавал, правда, много лет назад.

— То-то и оно, что много лет... — укоризненно мотнул головой казак. — Коварная река. В иных местах против свального течения на стругах не выгрести, куда уж на коче! Стрежень каждый год меняется, я не помню правильный путь, и бурлаки больше бахвалятся, чем знают. Занесёт в протоку, неделями будем выбираться. — Подумав, предложил: — Здесь, на Куте, есть один верный человек, который каждый год водит суда вверх-вниз. Всякий раз собирается вернуться на Русь, нынче опять запоздал. Он путь знает.

Федот подумал, что казак хочет помочь приятелю вернуться в Ленский острог и при этом заработать, но Михай, словно угадав его мысли, досадливо обронил:

— Лучше я дам кабалу на заёмную полтину, чем посажу коч на мель.

Вскоре он привёл к приказчикам хмурого промышленного человека с длинной нечёсаной бородой в пояс. Бывалец явно пропился и смущался своего вида, но цену за работу просил непомерную. Михай Стадухин его же и осадил, взывая к совести. Поторговавшись, ударили по рукам. Задатка бурлак не просил, это понравилось приказчику.

Коч и струг, отчалив от казённого причала, закачались на быстром течении Лены. Фе-

дот, вздыхая о былом, высматривал переменившиеся берега реки. Его взгляды то и дело натыкались на следы бечевника, станы, торчавшие из земли остовы разбитых стругов.

Река была не той, какую он помнил. Течение воды то замирало, как в старице, то несло с такой скоростью, что некогда было оглядываться по сторонам. Федот чесал затылок и удивлялся тому, как всё стало непросто или как прямил Господь путь его ватажке в давние годы.

Через пару дней долгобородый передовщик бурлаков пришёл в себя. Морщины на лице разгладились, мешки под глазами опали. Он сутками стоял на руле коча и зычно кричал, когда надо было ставить парус или выгребать своей силой. Пособный ветер дул ночью и порой до полудня. Пока он не стихал, нанятый кормщик маячил на коче. К полудню, при противном ветре, когда суда еле двигались, передавал управление Михею Стадухину, натягивал на лицо сетку из конского волоса и ложился поспать возле кормового весла. Между тем среди островов и протоков реки несколько раз плутал и он. При всём его явном умении пару раз пришлось снимать коч с мели.

В Ленский спешили все, а кормщик, судя по радению, больше всех. К берегу приставали редко — за хворостом, за водой да наловить рыбки на еду.

Перед Витимом река круто завияляла среди отвесных скал. На корме коча как всегда маячил долгобородый, Федот с племянником Емелькой сидели на носу, Михей с Ариной, отмахиваясь от мошки, лежали на мешках с рожью. Кормщик вдруг заорал дурным голосом. Стадухин пулей подлетел к нему. Долгобородый указал рукой на реку. Там среди глади воды была видна голова плывущего медведя.

Емелька прибежал с пищалью, Федот раздувал трут. Кормщик подтолкнул Михея к рулю, выхватил у Емельки пищаль с тлевшим фитилём. Медведь обернулся, тоскливо зыркнув колючими глазками на догонявшее его судно. Он был так беззащитен, что у Михея зануло сердце. Казак взглянул на Арину, на её лице тоже была безысходная печаль невольного свидетеля убийства.

И тут, зашуршав песком под днищем, коч сел на мель вблизи намытого течением острова. Собравшиеся на одном борту люди повалились с ног. Перед тем как вместе со стрелком оказаться в воде, пищаль гулко ухнула пустив по реке клубы дыма. Медведь выбрался на сушу, оглянулся, привстав на задние лапы, как показалось Стадухину, благодарно ощерил жёлтые зубы, прытко скакнул и скрылся в береговом кустарнике.

Кормщик с мокрой косицей бороды стоял по колено в воде, сжимал в руках разряженную пищаль и пялился на Михея разъярённым взглядом. Он уже готов был разразиться бранью, но вместо того подхватил плывший суконный колпак, обшитый по краю беличьими спинками, и швырнул его в казака. Отжав его, Михей беззаботно покрыл голову и с насмешкой укорил:

— Однако бурлачишь ты лучше, чем стреляешь.

К застрявшему кочу подплыл струг, на веслах сидели обозные своеуженники. Осташка Кудрин спрыгнул в воду, обошёл коч, глубокомысленно почесался и крикнул:

— Не сильно сели! Руби жердины, вдруг без перегрузки снимемся.

Вскоре коч вывели на проходную глубину, к вечеру завели в протоку, решив заночевать и запастись едой. Арина молилась. Михей посмеивался, вспоминая лица попадавших за борт спутников. Шёпотом она спросила его:

— Ведь ты нарочито спас нашего медведя? Я узнала его.

Стадухин вместо прямого ответа стал туманно рассказывать, как он сидел в Ленском остроге в осаде от якутов и льдина принесла к воротам острога тушу медведя, умершего от ран. Запах от неё был изрядный, но посаждённые тем и питались.

— С тех пор воротит от медвежатины, — признался со смехом, — разве лапы, печёные на углях.

Протока оказалась рыбной. Утром коч и струги отправились в дальнейший путь с волосяными верёвками за кормой. На них били хвостами три осетра по два аршина и больше. Кормщик ни в чём не уличал казака, но бросал на него недоумённые и колючие взгляды. Курносый Емелька, громко чмокая, обсасывал осетринную голову и божился, что для него осетрина лучше всякого мяса.

Перед устьем Олёкмы торговую ватажку нагнали суда Ерофея Хабарова, плывшие под кожаными парусами, вздутыми попутным ветром. Ерофей фертом стоял на носу ертаульного струга и насмешливо оглядывал попутчиков. Он спешил в Ленский острог с грузом и яростью против бесчинства воевод. Федоту приветливо помахал рукой. Высмотрев на коче Семёна Шелковникова и Михея Стадухина, закричал:

— Бежать хотели от Ярка? Под землёй сыщу! — Потряс кулаком и захохотал, молодецато сбив шапку на затылок, показывал, что не гневается на старых друзей, невольно принявших участие в его разорении.

— Остыл уже, — проворчал Семён, — наорался, поди, на Пильникова, прежде чем разобрался, кто его пограбил. — И оглядывая обгонявшие караван струги Хабарова, крикнул ему: — Рожь везёшь? Рублей на тыщу?

— Поболе! — горделиво ответил Ерофей.

Не останавливаясь для разговоров, хабаровские струги под парусами обошли суда Попова и Сиверова.

— Юшку лаять будет за всех нас, — зевая, пробормотал Стадухин. — А что мы так медленно плывём? — громко спросил передовщика, усаживаясь за загребное весло. — Велика нашим лодырям пошевеливаться!

— На кой? — услышав его, отмахнулся Шелковников. — На таможене с Ярком ругаться? Всё равно там ждать придётся.

В Ленский острог струги Попова прибыли с ранними заморозками. К этому времени крепкие промысловые ватаги, сумевшие получить отпускные грамоты, уже разошлись по тайге, но народа возле острога было множество: служилые, гулящие, промышленные. Далеко по реке разносился перестук топоров и оклики рабочих. На берегу сох сплавленный с Витима строевой лес. Ниже причала на воде покачивались несколько связанных плотов. В воеводстве прочно утверждалась новая власть.

На досмотр товаров к усовским стругам вышел сын боярский, которого Михей Стадухин окликнул Дружинкой.

— Как тебе на новом месте, при новых воеводах? — насмешливо спросил его.

Бывший олёкминский таможенный голова равнодушно взглянул на казака, вздохнул и отвёл глаза, не ответив. Досмотр был произведён быстро. Приказчики по пути в острог не торговали и потому оплатили только пошлину за прибытие.

— Ярко Хабаров обогнал нас, прибыл ли? — вкрадчиво спросил таможенного Федот Попов.

— Прибыл... — со вздохами ответил сын боярский. — Уже сидит на цепи в старой казенке! — Хмуря брови, пояснил: — Матерно лаял нового воеводу.

По лицу и по словам таможенника непонятно было, осуждает он Хабарова или одобряет.

Федот отметил это для себя и подумал, что надо бы дать ему подарок в поклон, хоть тот и не делал ещё никаких поблажек. Усовские приказчики подписались под описью, писарь сунул перо за ухо и заткнул чернильницу, болтавшуюся на поясе в кожаном мешочке. Дружина Трубников, будто угадав мысли Федота, сказал:

— К главному воеводе не попадёте. Занят. Идите на поклон к Матвею Богдановичу Глебову, с ним и говорить проще, — вымученно улыбнулся, невольно выдавая какие-то свои тяготы.

Острог был непомерно мал для людей, прибывших этим летом. Часть тына уже разобрали. В десяти саженьях от него рубили новую проездную башню, ставили стену из жёлтых тесаных брёвен. Неподалёку, за старым почерневшим тыном, курились дымы юрт, балаганов и землянок. Всюду деловито сновали люди, все были чем-то заняты.

Лука Сиверов ушёл на гостиный двор присмотреться к торгу. Михей Стадухин отправился в острог. При судах остались своеуженники и Емеля Степанов. Федот с Семёном Шелковниковым пошли на поклон к воеводе Глебову. В съезжей избе его не оказалось, а беспокоить столытника на дому, где он остановился, прибывшие не решились. Дьяк и письменные головы были тоже заняты и не приняли их.

Рядом со съезжей избой стучали топорами странного вида плотники, делали прируб из сырого леса. Лица их были изнурёны, рубахи не опоясаны. В стороне бездельничал казак при сабле.

— Арестанты! — догадался Федот и указал на них Семёну.

Тот вдруг остановился посреди узкого прохода, перегородив его широкими плечами, уставился на стоявшего к нему спиной. Окликнул:

— Ивашка, что ли?

Плотничавший невольник обернулся на голос, лицо его было обветрено, посечено глубокими морщинами. Семён взревел, как медведь, и стал тискать его в объятьях. Федот не сразу понял, кого он облапил. Скучавший рябой охранник повеселевшими глазами наблюдал за встречей друзей, жевал листовническую смолу, не мешая чужой радости, не двигался с места.

— Дай поговорить с родней! — обернулся к нему Семён, заслонив Ивашку Москвитина с топором в руке. Теперь старого друга обнимал Федот.

Попов с радостным лицом вынул из кармана пару алтын, протянул охраннику. Тот взглянул на монеты, добродушно рассмеялся:

— Не в Енисейском, здесь за такие деньги ничего не купишь!

— Дай гривенный, — подсказал Семён.

Москвитин воткнул топор в колоду, подобрал шапку и зипун.

— Пойдём к стругам, — потянул его к реке Семён.

Охранник поднялся, опираясь на суковатый черенок, прихрамывая, шагнул к узнику, подал ему кушак.

— Не бойся, не сбежит, — буркнул Семён, — к вечеру вернётся.

— Да куда бежать-то? — рассмеялся рябой казак и взялся за топор, оставленный Иваном.

— Сказывали, ты с Копыловым уходил? — не дав прийти в себя товарищу, на ходу расспрашивал его Семён. А сам тащил друга под руку, да так быстро, что тот едва успевал переставлять ноги. — Как под стражей-то оказался?

— А в награду! — сипло ответил Иван. — Митька Копылов с Парфёнкой Ходыревым тоже под стражей, но их кормят.

— Голодный, поди? — посочувствовал Федот.

— Не был бы голодным — не махал бы топором! — неприветливо огрызнулся Москвитин и устыдился: — Прости, Христа ради! Обида сердце гложет. — И посыпались из него торопливые слова, как сушёный горох из куля: — На Алдане напал на нас Парфён Ходырев. Побил десятника Петрова с его людьми. А Митька-атаман не велел нам воевать со своими, и пошли мы вверх по реке. Потом Копылов приказал мне принять два десятка томских служилых и с красноярцами идти за горы к океану-морю, про которое слышали от ламут. Ну, и шли мы вверх по Мае, переволоклись через хребет в верховья Ульи, сплыли до моря, на устье срубили зимовье. Рыбы там, что плавника на Алдане...

— Погоди, — остановил разговарившегося друга Федот, — расскажешь на месте, а то наши, обозные, умучают расспросами.

Иван замолчал, свесив голову от вспомнившейся обиды.

— За что новый воевода в тюрьме держит?

— За то и держит и под батоги ставит, что я был свидетелем и послухом, как Митька-атаман с Парфёнкой воевали. Про новые земли, про океан-море не спрашивает. На одиннадцать сороков соболей — ясак с тамошних народов — в один глаз посмотрел и велел бросить в амбар. Соболишки, конечно, похуже здешних. Всё равно по ленским ценам рублей по пятнадцать за сорок.

Обозные люди под началом расторопного племянника Емельки после досмотра отогнали суда ниже острога, туда, где ещё не был вырублен низкорослый ивняк, и обустроили стан. Федот с Семёном привели Ивана Москвитина к их костру, усадили на лучшее место. Федот велел племяннику накормить гостя хлебом, напоить квасом, заварить для него толочка с мёдом.

Поругивая Ходырева, Копылова и новых воевод, которые, не накормив, не напоив после дальних служб, безвинно засадили в тюрьму, Иван принялся за еду. Насытившись, прилёг у огня. От острога к стану с озабоченным видом прошёл Лука Сиверов, огляделся, поскоблил носком сапога оттаявшую после полудня землю.

— Что там, на гостинном? — спросил Федот.

— Товара, такого как у нас, в избытке, — вздохнул приказчик, присаживаясь. — Покупателей нет. Хотим не хотим, зимовать придётся. Землянки надо рыть. На гостинном дворе жить — вконец разоримся.

От народа, бегавшего вокруг острога, отделились трое и направились к костру усовской торговой ватажки.

— Михайка Стадухин, — издали узнал одного из них Емеля.

— Семейка Дежнёв, караульный, — указал на другого, прихрамывавшего, Иван Москвитин. — Наверное, за мной.

Федот удивлённо взглянул на Семёна Шелковникова:

— До вечера сговаривались?

Третий, в мягких ичихах, в волчьей парке, судя по одежде, был промышленным человеком. Его почтенная белая борода свисала до пояса, седые волосы лежали по плечам. Со странным волнением вглядывался Федот в обветренное, загорелое лицо. Что-то знакомое было в походке, во взгляде, а узнать промышленного не мог, пока под боком не вскрикнул Семён:

— Пантелей Демидыч!

— Пенда! — ахнули разом Попов с Москвитиним и вскочили с мест.

Годы немало потрудились над сибирским первопроходцем. Он стал похож на старый кедр с окаменевшим комлем, со скрученным ветрами стволом, но с живой зелёной верхушкой

— С Индигирки вышел! — коротко ответил на расспросы старых друзей. — Отправил с Семейкой рухлядь, — кивнул на хромого казака, — чтобы по моей кабале оплатил, как чуял, — не дошла.

— Не со мной! — пояснил казак. — С промышленными, которые сопровождали. Пропились в Жиганах. Я с казаком Гришкой Простоквашей был при казне от Митьки Зыряна.

— Вот уже и ты берёшь деньги под кабалу... — с грустью заметил Федот, оглядывая Пантелея. — Помню, учил: шапку, саблю и волю не закладывать!

— Здесь всё не так, как там, — поморщился, одними глазами улыбнулся и кивнул в сторону заката промышленный. — В старое время с ума сходили от бесхлебья, нынче годами живут на рыбе и мясе. Про посты одни только разговоры, дескать, в походе Бог простит... Другое всё стало, — блеснул ясными глазами, оглядывая Москвитина: — Сказывают, на Ламе был, устье Амура видел?

— Был, — кивнул Иван и уставился на конвойного: не за ним ли пришёл.

— Семейка Дежнёв, земляк мой! — представил казака Михай Стадухин. — Купил узникам хлеба, те и рады, божились без него работать, а не бегать христарадничать.

Федот Попов во время разговоров несколько раз бросал на Михея быстрые скользкие взгляды, отмечая про себя, что у того сильно переменялось лицо. От самого Илимского острога казак пребывал в радостном умилении. Теперь его брови хмурились, глаза смотрели пронзительно, желваки вздувались.

Красноярский десятник Москвитин стал обстоятельно рассказывать, указывая на видока Стадухина, который с Парфёном Ходыревым гнал в верховья Алдана томичей и красноярцев, как атаман отправил его, Ивана, со служилыми людьми за горы к океан-морю. Как поднимались по Мае и переволоклись в Улью-реку, что течёт по другую сторону гор к морю, как срубили на устье той реки зимовье по-промышленному.

— Значит, по ту сторону гор, что идут от Байкала, тоже океан? — спросил Пантелей Демидович, внимательно слушавший десятника.

— Океан, — мимолётно кивнул рассказчик. — Ламуты там другие, не те, что в верховьях Яны, а язык, говорят, схож. Железа не знают, ножи костяные, топоры каменные.

Рыбы, зверя там много, живут у Бога за пазухой, понять не могут, зачем пришлым людям что-то платить, если их, пришлых, можно грабить.

Ну и собирались по две-три сотни, когда еды много, нападали на зимовье. Бегут толпой, боевого порядка не знают. Взяли мы аманат, думали, сговоримся жить в мире. А они чаще нападать стали. Как-то подошли скрадом, когда мы на плотбище строили кочи, закололи караульного, давай сбивать колодки с аманат. Другой караульный при зимовье застрелил их лучшего мужика. Они, как дети, побросали топоры, луки, стали плакать над убитым. Тут мы скопом, зааманатили ещё семерых и одного знатного мужика. И слышал я от них, будто к полудню от Ульи живут бородатые люди — дауры, которые говорят им, будто они казакам — братья.

Пантелей недоверчиво хмыкнул и нетерпеливо переспросил:

— Видел их?

— Год просидели возле зимовья при непрерывных нападениях. Потом построили кочи, разделились на два отряда. Я поплыл на полдень, куда указывали аманаты. Места там бедные кормами. Дошли до косы, за которой видно устье большой реки, и повернули назад, чтобы не помереть с голоду. Дауров не видел, но слышал о них много... А воеводы решили, что те места государю не надобны: соболь, дескать, жёлтый.

— Зато за четыре года ты получишь одного только денежного жалованья двадцать рублей, — посмеиваясь и загибая пальцы, стал считать вслух Семён Дежнёв, — да муку, крупы, соль... да три десятка служилых, что были с тобой, затребуют столько же, а прибыли государю добыли на сто тридцать рублей. Я писать-читать не умею, а считать горазд! — похвалился, беспечно улыбаясь: — Елисей Буза привёз нынче одних только чёрных соболей и лис восемьдесят сороков. Торговые люди оценили по полусотне рублей за сорок...

— Послан был искать реку с истоком в Китае, — ломая бровь и морщась, Пантелей презрительно скривил губы в белой бороде, — но из-за чёрных лис просидел в низовьях Яны и Индигирки.

Говорившие и слушавшие смущённо умолкли. Чтобы поддержать прервавшийся разговор, Попов спросил:

— Ярко Хабаров не голодает ли в тюрьме?

Стадухин желчно усмехнулся, Дежнёв рассмеялся:

— У Ярка полгарнизона в кабале. Захочет запоститься — не сможет.

Рябой половинщик, карауливший заключённых, опять разговорился, отвлекая обо-зных от Москвитина. Он ходил с Митькой Зыряном в Верхоянское зимовье, на перемену отряду Постника Губаря, с которым по бесовскому прельщению не ушёл Михей Стадухин. Собирался своим подъёмом: брал под кабалу деньги на двух коней, порох, свинец, рожь, невод. Поход начался удачно, но Семейку Бог не миловал: его кони сдохли, сам на Яне захворал.

Митька Зырян, боясь, как бы немирные народы не отбили ясачной рухляди, выдал Дежнёву и Фофанову-Простокваше пай из добытых мехов и велел возвращаться в Ленский острог с государевой казной. В помощь отправил с ними двух промышленных людей и девку якутской породы, выкупленную казаками у янских инородцев. Родня той девки по имени Абакаянда, числилась в верных государю ясачниках и кочевала неподалёку от Ленского острога.

Бог не без милости, казак не без удачи. На Янском хребте на отряд из четырёх человек напали ламуты. Казаки, промышленные и якутская девка отбились. Но Семейка получил две раны в ногу коваными наконечниками калёных боевых стрел. Девка помогла ему залечить раны так, что при ходьбе перестала сочиться кровь. Но казак, не устояв перед соблазном, забрюхатил её в пути, а Митька велел взять с родни выкуп вдвойне.

Дежнёв в целости сдал казну Парфёну Ходыреву. Поклонов дать было не из чего — рухляди едва хватило, чтобы рассчитаться по кабале и за выкуп ясырки. Так и остался казак после дальней годовой службы без денежки в кармане на прежнем половинном жалованье. Больной, без гульного отпуска, был поставлен в караульные службы, на которых разве только с голода не помрёшь.

— Семейка не пропадёт — хозяин, — опять усмехнулся Стадухин. — Нынче живёт с Абакандой, пестует якутёнка. Корову купил с половинного-то жалованья, да при гарнизоне...

Дежнёв непринужденно рассмеялся, откинув голову.

— Не случилось ли с Ариной разлада? — пристально глядя на Михея, спросил Попов. — Так хорошо жили, душа радовалась глядя на вас.

— С чего бы? — насторожился Стадухин. Подошёл к костру, глаза злющие, лицо сикось-накось.

— Пока я ради правды ходил в Илимский, Васька Поярков отправил морем на устье Индигирки Федьку Чурку со служилыми, торговыми и промышленными. Я же с Федькой в Енисейском гарнизоне служил. Теперь понимаю, что Васька выпроводил меня с умыслом, чтобы не пустить на прииск новых земель. Постник Губарь неделей раньше нас получил наказную память, ушёл на Яну. Без меня!

— И слава Богу! — стал утешать его Федот. — Тебе же Господь дал покладистую красивую жену!

— Жену дал, — натянуто улыбнулся Михей, глаза его поблекли, подобрели, сам обмяк, не уловив в голосе приказчика насмешки. — Теперь дом строить надо, а при остроге жалованье только на прокорм. В хорошем походе, бывает, за зиму богатеют...

Семён Шелковников, не слушая пустопорожных рассказов о дежнёвской службе и венчании, смотрел на угли костра остекленевшими глазами. Едва затянулась пауза, пробормотал:

— Ну и что с того, что народа много? Это хорошо!

На стане мало кто понял, кому он говорит и зачем. Но Семён уставился на Ивана Москвитина, желая продолжить прерванный рассказ.

— Что с них, диких, взять? Поставил бы острог крепкий. Придёт время, поймут выгоду, благодарить станут, что силой подвели под государеву руку.

— Говорил так воеводам, — обиженно заводил носом Иван. — Всего-то полсотни служилых надо, чтобы был порядок. Кормов обилие... Как-то невод бросили — вытянуть не смогли, резать пришлось, освобождая от улова. И рыба большая, такой в Сибири нет...

— А воеводы что?

— Воеводы? — презрительно скривил губы Москвитин. — Им Лама не нужна, им нужен Парфён Ходырев. Огнем пытали и против него, чтобы обвинить, и за него, чтобы оправдать. Головин обвинял Ходырева во всех смертных грехах, Глебов его оправдывал, а я перед ними с вывернутыми руками и с окровавленной спиной. — Москвитин злобно усмехнулся, махнул рукавом по носу: — Спорили меж собой, спорили, Головин как заорёт: «Не с того ли жаль вам Ходырева, что я ныне про его воровство сыскиваю, а вы от него имаете посул? И взяли уже с Парфёнки тысячу рублей?» Вскочил с кресла да Матвея Глебова, стольника, как треснет по голове ларцом, в котором государева печать. Тот повалился на лавку. Головин давай его бить, а дьяк Филатов насел со спины и оттягивал его за волосы, а Васька Поярков разнимал, — Москвитин мотнул головой с выставившими глазами, горько добавил: — Такими дал мне Господь увидеть ваших воевод... Хоть бы меня развязали, потом дрались.

— Вот ведь Парфёнка, сын бесов, — удивлённо ругнулся Стадухин. — Уже и царского воеводу подкупил.

— Помянете ещё своего Парфёнку добрым словом! — вытягивая к огню ладони, пригрозил Москвитин.

Собравшиеся у костра смущённо притихли.

На другой день усовские приказчики опять пошли в съезжую избу и были поставлены перед Петром Петровичем Головиным. Главный якутский воевода-стольник ласково принял их поклоны, расспросил о товарах и даже посмеялся над купцом Усовым, что зловердный промышленный человекишка Хабаров привёз товара в Ленский острог вдвое больше, чем именитый гость царской сотни.

— Ещё и меня, главного воеводу, лает, что не даю ему с Ходыревым всю Сибирь под себя подмять.

Увидев Головина в добром расположении духа, Попов осторожно заметил, что видел бывшие хабаровские поля по Куте. Посетовал:

— Хорошо бы иметь свой хлеб на Лене!

— Важное государево дело, — согласился Пётр Петрович. — Оттого и велел я выпустить буяна под залог. Смутьян, но хозяин, и польза от него. Просит землю по Киренге — дам! Соль для него самого с бывшей его солеварни дозволил брать, — говорил воевода, оглаживая бороду, любуясь своим добросердечием.

Раскосый мужик в долгополой льняной рубаше, с большим кедровым крестом на груди то забежал в дом по какой-то надобности, то выскакивал из него, то, схватив метлу, начал скрести возле печи и всякий раз подталкивал приказчиков с места на место. Бросив подметать, поднёс воеводе квас в кружке.

Набравшись духа, Федот Попов попросил за Ивана Москвитина:

— Не знаю, тяжки ли вины его, друг-товарищ юности. Мы ведь с ним промышляли соболя на Нижней Тунгуске, когда здешние народы про русского царя не слыхивали.

Сказал и почуял, как под боком опасно засопел, заелозил сапогами Лука. Тень набежала на лицо главного воеводы, глаза гневно блеснули:

— В том его вина, — сказал грозно, — что покрывает и сына боярского Ходырева, и атамана Копылова. Неужели, томским да красноярским казакам нет служб возле своих острогов, что они заводят порядки на Лене и Алдане?

Федот почтительно склонил голову, соглашаясь, что вина на друге есть, и больше не упоминал о нём. Остыв от мимолётного гнева, воевода спросил приказчиков, при остроге ли они намерены торговать или где-то в другом месте.

— Осмотримся, решим, — уклончиво ответил Федот. — Скорей всего, придётся и промышлять, и торговать на дальних окраинах.

Воевода милостиво отпустил приказчиков, но не успели они отойти от съезжей избы на десяток шагов, их догнал раскосый мужик, мельтешивший при воеводе, пристально и нагло глядя в глаза Федоту, потребовал сто рублей на устройство тюрьмы. Попов поскоблил щёку под стриженной бородой, вынул кошель из-под полы и высыпал на ладонь десять битых ефимков:

— Всё, что имеем. Не расторговались ещё, — пожаловался.

Мужик без благодарности сгрёб деньги и шмыгнул за стену избы. Сиверов всхлипнул:

— Нам так вовек долгов не выплатить! Столько уже истрачено в пути!

Федот ниже опустил голову, пожал плечами, пробормотал, оправдываясь перед связчиком:

— Хабаров отказал. Дорого ему это обошлось. Авось, всё окупится.

Лука некоторое время обиженно молчал, разглядывая работных и служилых людей, расширявших острог, потом решительно заявил:

— Лучше синица в руке, чем журавль в небе. — Не поднимая глаз развернулся и, сутулясь, зашагал к торговым рядам гостиного двора.

После полудня на стан пришёл Иван Москвитин с красноярскими казаками Втором Гавриловым и Андреем Горелым. Оба были его товарищами по последнему Ламскому походу. С ними он строил новый государев острог, дожидаясь воеводского суда и московского развода по походам атамана Копылова. Головин освободил Ивана из тюрьмы, но отпускной грамоты ни ему, ни его казакам не давал, вынуждая служить при гарнизоне. Среди суетившегося народа Москвитин отыскал Федота, глаза его блестели, как в далёкой юношеской поре.

— Пантелей Демидыч зовёт на питейный двор, — обернулся к Гаврилову с Горелым. Их уже окружили поповские своеуженники, расспрашивая о Ламе. Иван весело отмахнулся: — Пускай поговорят.

На пару с Федотом он отыскал Семёна Шелковникова. Тот бездельничал, досадуя, что его не принимают ни воеводы, ни письменные головы, не мог понять, отчего их дворня поглядывает на него злобно и насмешливо.

— Суета сует, — проворчал, поднимаясь навстречу старым друзьям. — Чего-то бегают, кричат.

Трое старых друзей отправились на питейный двор, который был уже и здесь откуплен ловкими торговцами. Время больших барышей ушло: одни люди пропились и работали на подённом, другие ушли на промыслы. Семён, презрительно озирая толпы служилых и гулящих, вполголоса поругивал здешние порядки. Похоже, он уже пожалел, что приплыл сюда, чтобы упредить «слово и дело» придурочного усть-кутского сплетника.

— Кого-то все бегают, ругаются!.. Казака Пашку Левонтьева знаете?

— Который на Николу Угодника похож? — рассмеялся Москвитин.

— Его! — проворчал Семён. — Давеча на литургии чёрные попы стали ругать служилых, что притесняют диких, вместо того чтобы лаской призывать к вере. А он им: «Ваше монашеское дело свои души спасать да за нас грешных молиться, а вы в мирские дела лезете, властвовать хотите!» Поп, который у них за главного: «Кто сказал?» Пашка ему: «Я!» — «Выдь из храма!» Пашка ему: «Я этот храм строил, а потому не тебе, пришлому, указывать в нём!» Служилые тоже зароптали: «Кто-де вы такие, нас гнать из нашей церкви?» А, тьфу! — Сплюнул под ноги Семён. — Даже во храме Божьем суета!

Кабак был полупустым, а цены на горячее вино, брагу и сусло оставались впятеро выше енисейских.

За выскобленным столом сидел Пантелей Демидович, без шапки, с седыми волосами, рассыпавшимися по плечам, спутавшимися с белой бородой. Рядом с ним — Михай Стадухин, дальше — его улыбчивый земляк Семейка Дежнёв, напротив — Ерофей Хабаров. Все о чём-то неторопливо беседовали. Федот замялся в дверях: он предполагал поговорить со старым Пендой, но возле него собралось много людей.

Увидев вошедших, Пантелей махнул рукой, приглашая за стол. Трое перекрестились на закопчённый образ, подсели на лавку. По лицу Хабарова Федот понял, что прервал его на полуслове. Окинув пришедших небрежным взглядом, Ерофей сбил на ухо соболью шапку и, обернувшись к Стадухину, со злостью заговорил:

— Да ты перед ним, должно быть, на брюхе ползал, иначе не выпросил бы дальнюю службу. Я же, Христа ради, — перекрестился, смахнув шапку с головы, — правду в глаза говорил...

Ломая бровь и вздувая грудь, Стадухин отвечал:

— У тебя одна правда — мощну набить. Ты Бога-то не гневи, призывая во свидетели.

— Ишь, — переводя глаза с Попова на Шелковникова, пояснил Хабаров, — не успел приплыть в Ленский, уже выхлопотал дальнюю службу.

— Куда? — через стол спросил Федот.

— Ленские ясачные якуты откочевали, по слухам, на Оймякон, это где-то встреч солнца от устья Амги — места дальние, никто из промышленных и служилых людей там не был. Воевода велел вернуть беглецов и подвести под государеву руку тамошние народы, — обстоятельно отвечал Михай, косясь на Хабарова. — Прошлый год Поярков послал за беглецами казака Елисея Рожу с людьми. Нынешним летом они вернулись с Амги побитыми.

Федот кивнул, не совсем понимая, где Оймякон.

— Весной пойдёшь? — спросил.

— Соберусь и уйду нынче, на конях. Пойдёшь со мной своим подъёмом? — спросил, в упор глядя на приказчика. — На новом месте товар, бывает, втридорога уходит.

— Я вызнал, что тут и к зиме коня не купишь дешевле, чем за двадцать пять рублей, — посмеялся Попов. — А мне их надо десяток. За эти деньги я три коча построю и продам с прибылью.

— Хороший купеческий коч в Ленском рублём двести, — поддержал его Пантелей, сдержанно молчавший при разговоре. — Казённые, худые — пятьдесят-шестьдесят.

— Думай, холмогорец! Охочих много! Семейка, хромой, бедный, и то слёзно просится и Гришку Простоквашу за собой тянет, — кивнул на Дежнёва, — Пантелей Демидыч со мной идёт, Ивашкины товарищи, — перевёл взгляд на Ивана Москвитина.

Федот вскинул глаза на старого промышленного:

— А я думал звать тебя плыть дальше по Лене.

— Я её всю прошёл с Ивашкой Ребровым, — равнодушно ответил Пантелей. — На Оленеке промышлял, на Яне, Индигирке. Другой раз идти туда не хочу.

— Моих друзей берёшь, а меня у воеводы не выпросишь? — Москвитин обидчиво прищурился, тоскливо взглянул на штоф и вздохнул: — Хоть куда ушёл бы, одолжившись под кабалу, лишь бы подальше от стольников! Иначе придётся махать топором за прокорм.

— То не просил! — налившись краской, рассерженно рыкнул Стадухин. — Едва не вытолкали из съезжей...

За разговорами на столе стоял непечатым штоф стоимостью не меньше двух рублей, стыла печёная нельма на берестяном блюде. Половой принёс и поставил перед подсевшими ещё три чарки, надеясь, что стол разгуляется хотя бы на полведра. Но собравшиеся только говорили, не прикасаясь ни к вину, ни к закуске.

— Я нынешний год никуда не пойду! — с важным видом продолжал рассуждать Хабаров, и Федот понял, что он за этим столом не случайный человек. — Мишка, — кивнул на Стадухина, — зовёт на Оймякон, воевода даёт землю по Киренге вместо отобранной. Там лучше! На Куте сколько засеял ржи и пшеницы, столько его люди собрали. Но упорствует стольник, чтобы я отсыпал в казну с пятого снопа. Хрен ему в бороду! С десятого можно. И зерно на посев моё. Мне его посулы без надобности.

— Сколько соболей обещал в казну? — спросил вдруг Стадухина.

— Сто! — напрямик ответил тот.

— А вернуться когда?

— К Троице!

— Денег дам до Троицына дня без роста! — ухмыльнулся и плутовато прищурился Хабаров.

— Пятнадцать пишем, десять даём? — насмешливо торгуясь, спросил Стадухин.

— С пятидесяти по пяти!

— Так ещё по-божески! — потянулся к штофу казак, чтобы разлить по чаркам за уговор. — Подумаю, вдруг найду, кто даст выгодней... Пока Головин у тебя всех денег не отобрал, — язвительно хохотнул.

«Чудны дела Господни», — насмешливо поглядывая на собравшихся, думал Федот Попов.

Не в церкви, в кабаке происходил зачин на выбор судеб сидевших здесь людей.

Из другого угла пристально, не мигая, на них смотрел какой-то пропившийся ярыжка с голыми плечами. Федот раз и другой обернулся на его слезливый взгляд. Глаза пропойцы будто липли к лицу, не было в них ни униженной просьбы, ни холуйского умиления, не было злости или зависти, разве любопытство да глубокая лютая тоска-печаль.

Не удержавшись, Федот снова повёл глазами в его сторону и опять натолкнулся на такое сочувствие, от которого у самого едва не навернулись слёзы.

— Чего пялится? — сердито заёрзал на лавке Семён Шелковников. — Должник твой, что ли? — гневно спросил Хабарова.

Тот обернулся всем телом, грозно взглянул на пропойцу. Глаза ярыжки не мигнули, не дрогнули, лицо никак не переменялось.

— Опохмелиться желает! — самоуверенно буркнул Ерофей.

Москвитин помалкивал, глядя, как Стадухин разливает вино. Дежнёв смущённо улыбался. Пантелей Пенда степенно молчал. Хабаров весело и зло балагурил.

Они ещё не выпили во славу Божью, только потянулись к вину. Федот краем глаза уловил, как пропившийся поднялся с чаркой в руке и осторожно, будто боялся расплескать её, двинулся в их сторону, без приглашения подсел на пустующее место с края и поставил на стол чарку, которая оказалась больше чем наполовину наполненной вином.

— Чего тебе? — скривил бровь Хабаров, ожидая просьб, перекрестил бороду и влил в рот вино.

Попов тоже выпил, крикнул, перекрестился, приветливо взглянул на пьянчужку, переводившего глаза с одного на другого. Взявшись за штоф, хотел уже плеснуть ему, но тот закрыл чарку ладонью и мотнул головой:

— Не надо вашей горькой, — пробормотал, икая. — Бедные вы бедные!

— Чего мелешь, полудурок? — цыкнул на пропойцу Хабаров.

Распахнулась тесовая дверь, вошёл тобольский казак от новой власти, Курбат Иванов, важный и кочетоглазый, строго оглядел сидевших, небрежно поманил полового, стал громко выговаривать, чтобы слышали все:

— Указом воевод наших зерни и блядни по кабакам не держать. Кто начнёт ночами из своих подворий ходить и ночевать безвестно и рухлядь какая новая объявится в ночных приносах, с тех сыскивать строго!

— Не тебе нам об этом говорить, сын блядин! Кто ты на Лене и кто мы? — выкрикнул Хабаров.

Курбат не снизошёл до склоки, бросил на него снисходительный взгляд и повернулся, чтобы выйти.

— Не ругай, бедного, — всхлипнул пропойца. — Он много чего государю выслужит, а наградят батогами, забьют до смерти... — Пьянчужка икнул, дрогнув всем телом, слёзы покатались по воспалённым щекам. — Бедные вы бедные...

— Ты хоть знаешь, с кем сидишь, полудурок? — прикрикнул на него Хабаров.

Тот мотнул головой и качнулся, едва не соскользнув с лавки.

— Знаю только, что сейчас вы рядом, — указал глазами на Ивана Москвитина, — а скоро друг в друга из пушек стрелять будете. И ты, — поднял больные глаза на Хабарова, — за все свои заслуги великие помрёшь в нищете и долгах!

— Кто я — тебе безвестно, а то, что когда-нибудь помру, знаешь? — стал забавляться Ерофей.

— Да, — кивнул пьянчужка, — на печке помрёшь, в чине сына боярского, в долгах и бедности.

— И с чего же, дурак, мне, промышленному человеку, дадут средний чин? — расхохотался Ерофей.

— Не знаю, — изумлённо уставился на него пропойца, снова икнул, смахнул со щёк слёзы.

— На печи, говоришь, да ещё на своей — это хорошо! — повеселев, расшалился Ерофей.

— Почто вам такая награда за все ваши труды и муки? Один только отойдёт к Господу возле родины, в разрядном атаманстве, в славе и достатке. А намучается-то, не приведи Господи! — скользнул воспалённым взглядом по Стадухину и затряс плечами, будто сдерживал рвавшиеся рыдания.

— Почём знаешь? — неприязненно процедил Москвитин, шумно вдыхая после выпитого.

— Открылось вдруг... — опять содрогнулся пропойца. — И тебе не будет награды...

Про Москвитина знали многие в остроге и сочувствовали ему. Слова пьяного Ивана не удивили.

— И про меня открылось? — спросил вдруг Пантелей Пенда со щербатой улыбкой в белой бороде.

— Открылось! — кивнул ярыжка. — Найдёшь свою землю и слезами её окропишь, яко Иов тела сыновей своих.

Перевёл глаза на Попова, но тот замахал руками:

— Ступай с Богом! Не надо мне твоих слов.

— За то и выпьем! — хохотнул Хабаров. — Ладно, до самой старости доживу, наверное, и помру не от голода.

— Эй, гуляка! — окликнул ярыжку Семён Шелковников. — Долго ли мне в целовальниках ходить?

Пьянчужка неспешно обернулся к нему, мигнул, блеснув размытой мутной слезой, ответил со всхлипыванием:

— Последний день! В казачьем чине город заложишь на краю земли и помрёшь там.

— Тьфу на тебя! — выругался и перекрестился Семён.

— Не ошибся! — громче захохотал Хабаров. — Все когда-нибудь помрём. Или я вечный? — спросил со скоморошней строгостью, думая, что тот уже забыл, о чём пророчил.

— Нет, — всё так же печально пролепетал пьяный, — на печке отойдёшь к Господу, в своей деревеньке.

— Слыхали?! — забавляясь, Хабаров с важностью обвёл собравшихся смешливыми глазами.

С другого края стола на пьяного с любопытством поглядывал Семейка Дежнёв, но никак не мог поймать его скользящий взгляд, а сам заговорить не решался. Стадухин глядел на ярыжку строго и важно, до вопросов не снисходил, уверенный, что напророченное одному из сидевших разрядное атаманство и достаток — это его, Мишкина, судьба.

Время шло, разговора, которого ожидал Попов, не получалось. Впрочем, и того было достаточно: Пантелей Демидович с ним не останется, а мог бы быть передовщиком в его ватаге. Ясно было и то, что со Стадухиным он, Федот, со своим товаром, неведомо куда, да ещё на лошадях, не пойдёт. Федот накрылся шапкой и тихо вышел из кабака.

«Спаси Бог друга Семейку, что надоумил коч выменять, — с благодарностью подумал о Шелковникове, крепче утверждаясь в решении плыть дальше. — А зимовать придётся в Ленском».

Уже на другой день на усовский стан пришли приставы от воевод за Семёном Шелковниковым.

— Слава Богу! Вспомнили! — обрадовался целовальник усть-кутской солеварни, бросил лопату, которой долбил яму под землянку в промерзающем берегу.

Усовские приказчики и своеуженники готовились к зимовке. Шелковников помогал им, ожидая, когда о нём вспомнят в съезжей избе. Осенние дни коротки. Возле острога и на берегу реки ещё в сумерках начинали стучать топоры и заступы. Возле острожных дымов и костров сновали озабоченные делами люди, расширяли стены, копали ров, ставили надолбы для защиты от конницы. В двадцати верстах выше по течению реки, на другом берегу Лены, по указу Головина закладывался новый государев острог, за один только казённый прокорм там уже строили третью тюрьму и пыточную избу.

К вечеру на усовский стан пришёл пристав, сказал Федоту Попову, что Семейка Шелковников посажен в тюрьму и просит передать парку с меховым одеялом. Федот завернул в одеяло каравай хлеба. На душе было тревожно, и позавидовал он вдруг Михею Стадухину с его четырнадцатью казаками и промышленными людьми.

Все они шли на восход своим подъёмом. Покрученников Михей не брал. Вся рухлядь, добытая Пантелеем Пендой за семь лет скитаний, была потрачена на новый поход, и всё равно не хватило десяти рублей ходовых денег на коней и съестной припас. Старый промышленный тоже выдал на себя кабалу.

Лука Сиверов торговал на пару с Емелей, племянником Федота. Весёлый, рыжий, рот до ушей, он зазывал покупателей одним своим видом. Народу же возле острога становилось всё меньше, и это тревожило торговых людей. Четыре сотни служилых, прибывших с воеводами, как-то незаметно растеклись по зимовьям и улусам. При гарнизоне оставалось меньше полусотни людей.

Перед самой шугой по выстававшей реке с густой тягучей водой, после многолетнего плавания, в Ленский острог вернулся казак Иван Ребров. Он открыл морские пути на Оленёк и Индигирку, те самые, на которых прежде него побились суда многих неудачливых промысловых ватаг.

Едва спасшийся в таком походе торговый человек Епифан Волынкин был в большой вере у главного воеводы и считал, будто морем пути туда нет, что там круглый год льды. Теперь, после возвращения Реброва, Волынкин говорил, что Ивашке правил сам чёрт или водяной дедушка. Но купцы и торговые люди почитали Реброва за святого. Его рассказы о морских и речных скитаниях, о народах по ту и другую сторону от Лены собирали по пол-острога слушателей.

Наконец река, поскрежетав шугой, салом и отдерными льдинами, встала. Из ближайших улусов то и дело возвращались служилые, ходившие за ясаком. Новости, которые они привозили, настораживали. По их рассказам среди ясачных якутов усиливались признаки смуты.

По слухам, ходившим среди приострожного сброда, воевода Головин приказывал казакам, отправляемым в улусы за ясаком, переписывать ясачных мужиков, их сыновей, ра-

бов-боканов и скот, которым якуты владели. Старые казаки, служившие на Лене со времён Бекетова и Галкина, узнав об этом, предрекали от переписи бунты и войны. Когда заговорили о признаках смуты, их выборные люди пошли к воеводам.

Головина в старом остроге не было. Казаков встретили воевода Глебов и письменный голова Бахтеяров. Они подтвердили, что Головин по царскому указу отправил служилых переписывать якутских мужиков, боканов и скот. Старые казаки стали собирать круги и, дождавшись возвращения Головина, отправили к нему выборных людей, среди них Ивана Реброва и Родьку Григорьева.

Воевода-стольник посмеялся над их опасениями, самоуверенно заявив, что якуты одного имени его боятся и не посмеют бунтовать. Казаки стали убеждать его отложить перепись на другое время, раз нынче есть приметы к шаткости. Воевода вдруг рассердился, стал кричать, что здесь, на Лене, одна правда — воеводская, и выгнал их. А Родьку Григорьева, говорившего больше других, пообещал вразумить кнутом — бунты, дескать, сам и заводишь...

Не только старые казаки, но и преданные воеводам якутские князцы-тойоны Логуй и Ника говорили, что у якутов ум худ, переписи они боятся.

С каждым днём всё крепче становились холода, всё плотней сгущались тучи на низком небе. Как-то само собой получилось, что торговые и служилые люди перестали обращаться к воеводе Матвею Глебову, к дьяку Филатову и письменному голове Бахтеярову. Без всяких указов главным в правлении воеводством стал Пётр Петрович Головин, письменный голова Василий Поярков да сын боярский Алексей Бедарев, давно и незаметно служивший на Лене. Вдруг начали быстро выдвигаться неизвестные прежде служилые Васька Скоблевский, Данилка Козица.

Среди торговых людей всеми делами стал заправлять гусельниковский приказчик Михай Стахеев. С ним торговые мирились по прежним заслугам, но не могли понять, с какого рожна получили неограниченные права, заняли лучшие места в торговых рядах и начали притеснять других Епишка Волюнкин и Матвей Ворыпаев. Все воеводские дела стали вдруг вершиться только через их людей, как они нашептывали Головину, такие решения он и принимал.

Но даже их, воеводских ушников, пугали новости из улусов. Возвращавшиеся оттуда служилые говорили, что якуты стали заносчивы и непослушны, будто нынче мирятся между собой непримиримые прежде роды. Много слухов было о приближении к острогу левобережных племён.

Головин никому не верил, считая доклады служилых кознями старых казаков, Матвея Глебова и чёрных попов. Приезжавших в острог якутов велел кормить и поить по-прежнему. Они точней и подробней доносили о сговоре сородичей против казаков, о нападении на промышленных людей, но не могли убедить воеводу не спешить с исполнением царского указа о переписи. От советов окружения Головин отмахивался, дескать, в мыслях все ясачники думают об измене, но боятся.

Вопреки общим опасениям на Рождественской святочной неделе он стал заводить пиры при съезжей избе. За них платили приглашённые, а не явиться нельзя было без наказания или отмищения. Гости веселили воеводу, по его указу дрались на деревянных мечях, напивались до беспамятства, а после, облаканные Головиным, шлялись по острогу, бражничали, избивали неугодных и опальных людей.

Лука Сиверов крутился среди ушников и облаканных, как змей на сковороде, и как-то умудрялся оставаться в стороне от неугодных, не выходя в доверенные люди. Худо-бедно, но он торговал и зимовал с прибылью, а Федот Попов уединился на стане, во всём полагаясь на него и племянника.

Беда на заставила себя ждать. В острог стали возвращаться побитые переписчики с вестями о бунтах в улусах. Обозлившись на казаков, объединялись прежде воевавшие между собой якутские роды и племена. В начале второй святочной недели послухи и очевидцы прискакали в острог с вестью, что восставшие уже в трёх верстах от Лены с войском до тысячи человек.

Торговые люди спешно переносили товары за частокол. Среди студёной ночи, когда от холода с грохотом трескался лёд реки, караульные казаки кликнули «Сполох». В ворота острога уже колотили пятками и громко вопили под стенами торговые, промышленные и работные люди. Воеводы, письменные головы, казаки вышли на стены и увидели, что острог окружён заревом костров.

Срочно стали считать людей, способных к обороне, провели смотр гарнизона. При остроге оказалось всего сорок служилых, три десятка торговых и промышленных людей. Во время смотра Головин стал кричать, что якутская измена учинилась из-за Матвея Глебова и Евфимия Филатова, которые учили якутов бить служилых людей и целовальников, грабить и бежать на дальние окраины воеводства. В пособничестве Глебову он прилюдно обвинил своего исповедника, чёрного попа Симеона и чёрного дьякона Спиридония.

За чёрных попов вступился было сын боярский Григорий Демьянов. Головин ударил его чеканом по голове, велел подручным отстегать служилого батогом и отволочь в тюрьму. К утру в ту же тюрьму был брошен письменный голова Еналий Бахтеяров со всей семьёй.

Осаждавших действительно было до тысячи всадников, вооружённых луками и пальмами. Ни они, ни осаждённые не решались нападать первыми. Но якуты с каждым днём теряли силы, их кони перекопытили землю вокруг острога и доедали остатки сухой травы. На их станах стала разгораться прежняя межродовая усобица. Через неделю из собравшегося войска не осталось и половины. В очередной раз перессорившись между собой, нападавшие стали разъезжаться по улусам, надеясь самостоятельно защититься от казаков. Зарево костров за стенами острога уменьшалось на глазах.

Головин торжествовал и ещё ожесточённой продолжал следствие над неугодными. Под домашний арест был взят дьяк Филатов. В пыточной избе перед креслом главного воеводы на поперечной балке висел с вывернутыми руками Семён Шелковников. Сквозь спутанные волосы и бороду глаза его угольями жгли стольника, а тело уже не содрогалось от кнутов Василия Пояркова.

— При Хабарове на солеварне с выварки соскребалось по полтора пуда соли, при тебе — по пуду, — в десятый раз пытал целовальника воевода. — Кто тому подстрекатель: Хабаров или Бахтеяров?

Семён скрипел зубами, с ненавистью глядел на воеводу и молчал, трижды ответив перед тем, как при нём делался соляной рассол.

— Значит, дьяк Филатов?

— Семейка Чёртов за кружку браги брал треть варки! — просипел целовальник, шепелявя разбитыми губами.

— Огня ему под живот! — закричал Головин. — Смеяться над государевым стольником?!

За острогом из стана осаждавших ушли последние тойоны, бросив безлошадных бунтовщиков. Кто не успел убежать, тех переловили служилые. По приказу главного воеводы они и промышленные громили якутские крепости по улусам, вели в острог пленных.

Выбрав лучших из них, Головин велел для устрашения повесить на надолбах два десятка мятежников, других бил кнутами, допытываясь, кто из служилых подстрекал к бунту. Тела умерших от пыток повесили рядом с казнёнными. Бунт был подавлен. Головин ласкал верных ему тойонов и продолжал дознание среди служилых, торговых и новокрестов. Тюрьмы были переполнены.

Острог притих. Промышленные люди обходили его стороной, торговали только те, кто был в вере у главного воеводы: Матвей Ворыпаев, люди купцов Василия Гусельникова, Василия Шорина, Кирилла Босова. На удивление Федоту Попову в их числе как-то держался Лука Сиверов.

Ещё до осады острога бывшие в немилости торговые люди сговорились со вскрытием реки плыть в низовья Лены. Купец Андрей Дубов строил, а Федот Попов имел коч. Вокруг них стали объединяться торговцы помельче. Опальный мореход Иван Ребров примкнул сам, возмущаясь, что после семи лет воли на дальних службах, полгода отдыха в Ленском остроге — для него тюрьма.

После осады и расправы над бунтовщиками Дубов, сумевший не провиниться в глазах главного воеводы и его ушников, сходил на поклон и выпросил наказную память торговать и промышлять на Оленёке под началом служилого Ивана Реброва.

Федот Попов предполагал зарабатывать на всём: торговать, промышлять рухлядь и ловить рыбу на продажу. Тут между ним и младшим приказчиком Лукой Сиверовым произошёл тихий разлад. Лука желал торговать при остроге, а со временем надеялся возить сюда рожь.

Приказчики поделили товар купца Усова и бывшие у них деньги. Попов взял на себя три четверти, Сиверову досталась четверть. При рукобитье они составили грамоту, что с купцом Усовым каждый держит расчёт сам, по отдельности.

Отпускную грамоту Федот Попов получил от таможенного головы Дружины Трубникова и с нетерпением ждал, когда очистится река, чтобы спустить на воду свой добротный коч, гружённый товаром на тысячу двадцать пять рублей. С Федотом уходил в плавание племянник Емелька Степанов, пять прежних своеуженников и двадцать три покрученника, набранные из гулящих людей, готовых идти хоть к чертям за их меднокаменные ворота лишь бы подальше от воеводской власти.

Едва сошёл лёд, три купеческих коча под началом Ивана Реброва готовы были к отплытию на устье Лены, затем, морем, на реку Оленёк, где Ребров прожил несколько лет. Последнюю новость из острога принёс Андрей Дубов. Он ездил звать попа для молебна о благополучном отплытии, но вернулся один. Воевода Головин засадил под домашний арест второго воеводу стольника Глебова, дьяк Филатов из домашнего ареста был брошен в тюрьму. Все чёрные попы и дьяконы сидели там же, службы в церкви прекратились, а потому торгово-промысловому отряду Ивана Реброва пришлось идти в плаванье без молебна.

Федот Попов плюнул в сторону острога и выругался. Река, на которую он попал в молодости одним из первых русских людей, степенно понесла его коч в полуночную сторону к Студёному морю.

ПОЭЗИЯ



АНАТОЛИЙ АВРУТИН



Лишь в русском слове слышу речь...

* * *

Памяти отца

1

Родина... Родители... Рождение...
Рожь... Россия... Розвальни... Росток...
Роковое слов кровосмешенье,
Роковое чтение между строк.

Сызмалу я, нет, приучен не был
Трепетать от трелей соловья...
Грозовая утренняя небыль,
Роковая Родина моя.

Но уже тогда я чуял кожей
С родником и рощицею связь,

С драною кошёлкой из рогожи,
Где ромашка робко привилась.

Жизнь вносила росчерком неровным
Правки в мельтешенье лет и зим.
Не бывает кровное — бескровным,
Не бывает отчее — чужим!

Папы нет... Никто не молвит: «Сынку,
Знай свой род и помни про него!..»
Поздняя слезинка, как росинка...
Робкий свет... И больше никого...

АВРУТИН Анатолий Юрьевич родился в Минске, окончил Белорусский государственный университет. Автор двадцати поэтических книг, изданных в России, Беларуси и Германии, двухтомника избранных произведений «Времена». Главный редактор журнала «Новая Немига литературная». Член-корреспондент Академии поэзии и Петровской академии наук и искусств. Лауреат многих международных и всероссийских литературных премий. Название «Поэт Анатолий Аврутин» в 2011г. присвоено звезде в созвездии Рака. Живёт в Минске.

2

Кто во гробе?... — Папа мой лежит,
А вокруг гвоздики да мимозы...
Мама бы заплакала навзрыд,
Но давно уж выплаканы слёзы.

Пусть Всевышний так провозгласил —
Папа вскрикнул... Сбросил одеяло...
Мама б молча рухнула без сил,
Но давно уж силы растеряла.

Стылой прелью тянет от земли...
Что же ты наделал, святой Боже?
Маму б в чёрном под руки вели,
Но она давно ходить не может.

Лишь бессильно смотрит и молчит...
Снег на веках папиных не тает...
И невольно плачется навзрыд,
И под горло вечность подступает...

3

Детство... Палочки, буквы, счёты,
Хитрый соседский кот.
Папа скоро придёт с работы,
Мама блины печёт.

С папой рядом — никто не страшен,
С мамой — светлее свет.
Есть морковка... И быт налажен.
Жалко, картошки нет.

«Сам читаешь? Заплакал? Что ты? —
Девушка оживёт...»

Папа скоро придёт с работы,
Мама блины печёт.

Две липучки... А на карнизе
Ткёт свою сеть паук.
«Вдруг к Октябрьским цены снизят,
«выбросят» масло вдруг?...»

Детство, где ты? В сто тысяч сотый
Раз про себя шепчу:
«Папа, папа, вернись с работы...
Мама, блинов хочу...»

* * *

Николаю Рубцову

Не брести, а скакать
по холмам помертвелой Отчизны,
На мгновенье споткнуться, ругнуть поржавелую гать,
Закричать: «Ого-го-о...»,
зарыдать о растроченной жизни...
Подхватиться и снова куда-то скакать и скакать.

Только стайка ворон
да вожак её странно-хохлатый
Будут видеть, как мчишься, как воздух колеблет вихры...
Да забытый ветряк,
будто воин, закованный в латы,
Тихо скрипнет крылом... И опять замолчит до поры.

Только чёрная рожь
да какая-то женщина в белом,
Что остались одни одиноко под небом стоять,
Могут встретить коня
вот с таким седоком неумелым —
Он кричит против ветра, но мчится опять и опять.

Завтра солнце взойдёт,
из-за тучи восторженно брызнет.
И никто не припомнит, ловя озорные лучи,
Как нелепый седок
среди ночи скакал по Отчизне,
И рыдал...
И метался...
И сгинул в беззвездной ночи.

Вдали от России

Вдали от России
непросто быть русским поэтом,
непросто Россию
вдали от России беречь.
Быть крови нерусской...
И русским являться при этом,
катая под горлом великую русскую речь.

Вдали от России
и птицы летят по-другому —
ещё одиноче безрадостно тающий клин...
Вдали от России
труднее дороженька к дому
среди потемневших,
среди поседевших долин.

Вдали от России...
Да что там — вдали от России,
когда ты душою порой вдалеке от себя...
Дожди моросили...
Дожди, вы у нас не спросили,
как жить вдалеке от России,
Россию любя?..

Вдали от России
круты и пологие спуски,
глухи алтари,
сколь ни падай в смятении ниц.
Но крикни: «Россия!»...
И эхо ответит по-русски,
ведь русское эхо нерусских не знает границ...

* * *

Если вдруг на чужбину
заставит собраться беда,
запихну в чемодан,
к паре галстуков, туфлям и пледу,
томик Блока, Ахматову...
Вспомню у двери: «Ах, да...
Надо ж Библию взять...»
Захвачу и поеду, поеду.

Если скажут в вагоне,
что больно объёмист багаж
и что нужно уменьшить
поклажу нехитрую эту,

завяжу в узёлок
пёстрый галстук, простой карандаш,
томик Блока и Библию —
что ещё нужно поэту?

Ну а если и снова
заметят, что лишнего взял:
«Книги лучше оставить...
На этом закончим беседу...»
Молча выйду из поезда,
молча вернусь на вокзал,
сяду с Блоком и Библией...
И никуда не поеду.

* * *

По русскому полю, по русскому полю
Бродила гадалка, вещая недолю.
Где русская вьюга, там русская вьюга,
Там боль и беда подпирают друг друга.
Там, слыша стенанья, тускнеют зарницы,
Пред ворогом там не умеют клониться.
Там ворон кружит, а дряхлеющий сокол
О небе вздыхает, о небе высококом...

О русское поле! Гадала гадалка,
Что выйдет мужик и ни шатко ни валко
Отложит косу и поднимет булаву
За русское поле, за русскую славу.
И охнет... Но вздрогнут от этого вздоха
Лишь чахлые заросли чертополоха...
Лишь сокол дряхлеющий дёрнет крылами
Да ветер шепнет: «Не Москва ли за нами?..»

О смутное время! Прогнали гадалку...
И в храме нет места её полушалку.
Кружит вороньё, а напыщенный кочет
О чём-то в лесу одиноко хохочет.
Аль силы не стало? Аль где эта сила,
Что некогда ворога лихо косила,
Что ввысь возносила небесные храмы?..
Куда ни взгляни — только шрамы да ямы.

Лишь пёс одичавший взирает матёро,
И нету для русского духа простора.
В траву одиноко роняют берёзы
Сквозь русское зарево русские слёзы...

* * *

Взъерошенный ветер к осине приник...
Одна вековая усталость,
Где русские души, где русский язык,
Где русская кровь проливалась.

На бой не вызывают ни горн, ни труба,
Вдали не рыдает гармошка...
Лишь тополь печаль вытирает со лба
Да птицы воркуют сторожко.

Вражина коварен и так многолик!..
Но воинство насмерть сражалось,
Где русские души, где русский язык,
Где русская кровь проливалась.

О смерд, погибающий в час роковой, —
Ему ни креста, ни могилы.

Зарублен, он вновь становился землёй,
И голубь взлетал сизокрылый,

Когда он предсмертный выдавливал рык,
И падал... Всё с пеплом мешалось,
Где русские души, где русский язык,
Где русская кровь проливалась.

Заброшено поле... Не скачет гонец.
Давно покосились ворота.
Неужто всё в прошлом?.. Неужто конец?..
Неужто не вышло полёта —

Туда, где лебяжий предутренний крик,
Где спеет рассветная алость,
Где русские души, где русский язык,
Где русская кровь проливалась?..

...Наш примус всё чадил устало,
Скрипели ставни... Сыпал снег.
Мне мама Пушкина читала,
Твердя: «Хороший человек!»
Забившись в уголок дивана,
Я слушал — кроха в два вершка —
Про царство славного Салтана
И Золотого Петушка...
В ногах скрутилось одеяло,
Часы с кукушкой били шесть.
Мне мама Пушкина читала —
Тогда не так хотелось есть.
Забыв, что поздно и беззвёздно,
Что сказка — это не всерьёз,

Мы знали — папа будет поздно,
Но он нам Пушкина принёс.
И унывать нам не пристало
Из-за того, что суп не густ.
Мне мама Пушкина читала —
Я помню новой книжки хруст...
Давно мой папа на погосте,
Я ж повторяю на бегу
Строку из «Каменного гостя»
Да из «Онегина» строку.
Дряхлеет мама... Знаю, знаю —
Ей слышать годы не велят.
Но я ей Пушкина читаю
И вижу — золотится взгляд...

* * *

По хлипкой тропинке брести осторожно...
 Былое размылось... Выдумывать — лень...
 Неправда, что **на** сердце так же тревожно,
 А правда лишь то, что зачахла сирень.

Есть Чёрная речка, Нева и Непрядва...
И дождь, что за шиворот нехотя льёт.
Есть Слово... И всё остальное — неправда,
А правда, что птицам сегодня в отлёт.

Неправда все эти слова о разлуке,
О вечной судьбе, что одна на двоих.
Неправда, что помнят озябшие руки
Тревожащий трепет ладоней твоих...

Неправда, что ждать остаётся немного —
Закрутит, сломает, ударит под дых...
А правда лишь то, что раскисла дорога
Да ветер свистит в колокольнях пустых.

* * *

От забытой сторожки
до самого лобного места,
От безвестной криницы до вспененной
гривы морской,
Там, где звон соловья так же ранит,
как звон Благовеста,
А над росным покоем возносится Вечный покой;
Там, где зелень травы лиц измученных
не зеленее,
А смиренные очи лампадами в Пасху горят,
Там, где чуешь топор над своею
испуганной шеей
На вчерашней аллее,
а пни оскопленные — в ряд;
Где бесцельная жизнь остаётся единственной целью,
И где с млеком впитали извечное «Горе уму»,
Где божились — купелью,
суставы кромсали — куделью,
А наследство отцово вмещалось в худую суму, —
Непонятно откуда, являются тайные знаки:

* * *

Что не по-русски — всё реченья,
Лишь в русском слове слышу речь,
Когда в небесном облаченье
Оно спешит предостеречь
От небреженья суесловий,
Где, за предел сходя, поймёшь,
Что языки, как группы крови,
Их чуть смешаешь — и умрёшь.

* * *

Стою на сквозняке... — Ты кто? — Аврутин...
— Зачем ты здесь? — Достали шулера...
Опять один в своей извечной смуте,
Опять один — как завтра, как вчера.

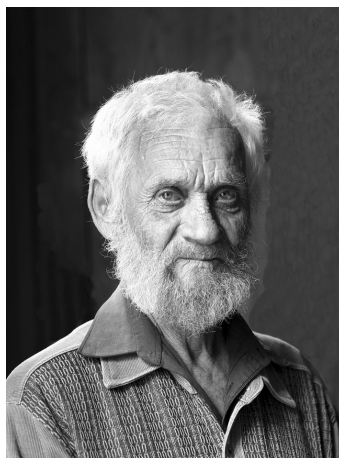
Душа болит... Не много-то народу
Стоит впотьмах с тревогой о душе.
Кому на радость, а кому в угоду
Мой голос тише сделался уже.

Душа болит... И слава не в зените —
Солги, попробуй, строки выводя...
«Отчизна иль дитя?» — вы мать спросите,
И мать в ответ промолвит, что дитя...

И тот ответ правдивей и превыше
Высоких слов, что в горький миг — пустяк.
Стою один... Пустых словес не слыша...
Стою один... Не понятый никак...



АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВ



Отцовский урок

РАССКАЗ

Тихим августовским вечером в таёжном распадке возле костра под навесом из брезента сидел пенсионер Владимир Петрович Краснов, рядышком жена, Анна Алексеевна. Они глядели на огонь, каждый думая о своём. Переезд Красновых из родного села к новому месту обитания был вынужденным. Младший сын, Николай, весной уехал в областной город и теперь учился в институте. Старшие дети, успев получить высшее образование до развала Советского Союза, завели свои семьи и теперь жили вдали, изредка навещая родителей. Северной пенсии Краснова теперь хватало на двоих, но желание родителей дать Коле высшее образование нуждалось в дополнительных деньгах. Пришлось искать работу. Благо, их общий знакомый подсказал: районному отделу культуры срочно требуется охрана базы археологов. Оформление на работу было недолгим. Переселились за день. Но опыта жизни вдали от насиженного гнезда у обоих не было. Потому и размышляли новоиспеченные сторожа: с чего начинать? Их новое жилище, двухэтажный домик-башню, издали похожий на шкаф под шиферной крышей, к холодам необходимо было утеплить. С закупкой продуктов тоже не ясно. До ближайшего магазина от базы далеко. Вода за дорогой, под крутым берегом. Разворованная полевая электростанция ржавеет за сараем. Для размышлений причин хватало.

Постепенно стало смеркаться. Из таёжного распадка потянуло холодом. В оранжевой кроне лиственницы, возвышающейся над крышей, зацокала белка и тут же смолкла. Иногда из тайги доносилось воркование диких голубей. Потрескивал костёр.

Молчание нарушила Анна Алексеевна:

НИКИФОРОВ Александр Георгиевич, поэт, прозаик. Родился в 1944 г. в г. Черногорске Красноярского края. Автор поэтич. сб: *«Подснежные ягоды»* (Якутск, 1982), *«Узник Любви»* (Качуг, 1991), *«Крылатый пахарь»* (Иркутск, 2001), *«Малая Родина»* (Иркутск, 2011), *«Таёжный хлеб»* (Иркутск, 2014). Член Союза писателей России.

— Хватит голову ломать, пора на покой.

— Утро вечера мудренее, — согласился Краснов и добавил шутя: — Пойдём, послушаем, как скрипит земная ось.

Одиноко догорел костёр в каменной ванне из плитняка. Над распадом, в тёмно-синем треугольнике ночного неба, постепенно засветились гирлянды созвездий. Выглянув из-за крутого борта распада, острогорый месяц торопливо поплыл в зенит. На рассвете ударил первый заморозок.

Позавтракав, Краснов написал заявку — для подготовки к зиме потребовался тюк пакли и машина дров. В обеденное время приехал начальник отдела культуры Александр Васильевич Голованов проверить, как устроились сторожа. Прочитав заявку, одобрительно хмыкнул, поняв, супруги всерьёз намерены обосноваться. Вскоре он уехал. И уже вечером в кузове «головастика», так народ окрестил грузовой уазик, на базу прибыл тюк пакли. А через пару дней привезли дрова. На новом месте Краснов, выросший в тайге, чувствовал себя как дома. Выбрав время, прошёлся по берегу реки, высматривая места, где можно порыбачить, обследовал распад до самой вершины ручья: есть ли поблизости ягодники и грибные места. Затем построил дровяник. Привезённые дрова переколол и сложил. И только после этого принялся конопатить стены двухэтажки. У Анны Алексеевны кулинарные дела не сразу пошли на лад. Она хоть и работала в молодости поваром, всё же на первых порах пришлось помучиться. Костёр — не печка и не электроплита, за температурой нужно следить пристально. После неоднократного пригорания каш и выплеснувшихся во время стремительного закипания супов Анна Алексеевна всё же приновилась готовить и на таёжном костре. Вопрос с горячим питанием был решён. Серьёзным неудобством для худощавого Краснова оказалось начало ночи в неотапливаемом помещении. Походные нары на втором этаже, наскоро сооружённые археологами, были вполне пригодны для сна в летнюю пору. Но осенние холода, проникая сквозь многочисленные щели в стенах, нагло заползали под супружеское одеяло и не давали Краснову уснуть. Анну Алексеевну, благодаря её врожденной полноте, холода не беспокоили. После супружеского согрева и Краснов спал до самого утра, лишь иногда просыпаясь от бессонницы. В заботах супруги даже не заметили, как изменился вид тайги. Но однажды, в очередное утро, когда солнце ещё не успело подняться над крутым юго-восточным бортом распада, Краснов, собираясь на реку, вышел на крыльцо веранды и восхитился. Вонзаясь в холодную синеву осеннего неба, оранжевым пламенем пылали вершины лиственниц, освещённые ещё невидимым из распада солнцем. От малейшего дуновения ветра, кружась в воздухе, хвоя ткала и ткала оранжевую завесу. Сквозь неё проглядывались конусы елей, растущих на крутом северном склоне распада. Постояв минуту, Краснов спустился с крыльца. По хрустящему льду застывших луж прошёл сотню метров по распаду и вышел на асфальт дороги, с которой хорошо проглядывались близлежащие острова и заречная сторона с большой поляной. Река, где не было перекатов, покрылась первыми заберегами. Ломая подвернувшимся под руку камнем неокрепший лёд, Краснов впервые задумался о колодце неподалёку от дома, понимая, что с каждым днём поход по воду будет всё труднее и труднее. Чистить прорубь — не вопрос. А вот взбираться по сугробам на крутой берег с полными ведрами воды трудно. Да ещё и зимний ветер по долине реки в феврале носится как Саврас без узды, норовя тебя сбить с ног, не говоря о стремительно проносящихся автомобилях перед подъёмом дороги. Вот и решай, что лучше: копать колодец в распаде, чтобы вода была поблизости, или добывать её в любую погоду у чёрта на куличках? Озадачившись, Краснов решил: посоветуюсь с женой.

— Ты где запропастился? — спросила Анна Алексеевна.

— Воду носить — не чай пить, — перефразировав поговорку, пошутил он. — Ты лучше скажи, колодец нам нужен или нет?

— Не знаю, — простодушно ответила жена.

— Не заешь, значит, нужно копать.

— Не чуди! Зима на носу.

— По теплу.

Анна Алексеевна, даже не задумываясь, ответила:

— Успокойся и выброси из головы эту глупую затею.

Но Краснов относился к такой категории людей, которых переубедить — пустой номер, если задумано нужное дело.

— Как скажешь, — усмехнулся он, а помолчав, добавил: — Зимой сходишь пару раз по воду к проруби, запоёшь по-другому.

После этих слов Анна Алексеевна, как говорят шофера, завелась с пол-оборота:

— Кстати, коротаем и утро и вечер при свете керосинки, а неисправная электростанция в сарае ржавеет. Ты же шурупишь в технике, почини.

— Нет смысла, Голованов обещал дать новый агрегат.

— Обещанного три года ждут, — не унималась жена.

Краснов, зная характер жены — все непонятные для неё мысли сразу же принимать в штыки, — уже пожалел, что не ко времени заикнулся о колодце. Целый день они дулись друг на друга. Помирила любовь. Утром Анна Алексеевна, призадумавшись, сказала:

— Копай! — но добавила: — Только не забудь про свой возраст.

После согласия жены Краснов принялся обмозговывать план действий. Дни для него полетели, словно листья на осеннем ветру. Перед новогодним праздником с очередной проверкой приехал Голованов. Привёз обещанную электростанцию и немного бензина на праздничные дни. «Больше не могу — кризис в стране», — сослался он. Внимательно осмотрев помещения, скупно похвалил и пообещал оплатить по возможности за конопатку и постройку дровяника, поскольку эти работы в обязанности сторожей не входили.

— А как быть с продуктами? — спросила Анна Алексеевна. — Магазин-то далеко от базы...

— До вас сторожа работали по одному в течение недели. А при заезде запасались всем необходимым. Как решить этот вопрос, подумаю. Вы же до сих пор не умерли с голода, — неловко пошутил Голованов и поспешил откланяться.

В новогодний вечер над обеденным столом вспыхнул электрический свет. Весело напевала печка. Из духовки несло жаром. В полночь, соприкоснувшись гранёными стаканами, наполненными сухим вином, они встретили Новый год. Праздновали недолго, не тот возраст. Наведя порядок на столе, Анна Алексеевна пошла в спальню, готовиться ко сну. Краснов вышел на крыльцо и, глянув на термометр, хмыкнул: «Ниже сорока!» Заглушив электростанцию, заволок её с крыльца на веранду, накинул крючок на пробой и собрался нырнуть под горячий бок жены, но, услышав во дворе мужской и женский голоса, остановился и прислушался. В морозном воздухе проскрипели по снегу чьи-то шаги к веранде. Раздался стук в дверь, и мужской голос попросил громко:

— Хозяева, откройте, пожалуйста! Машина поломалась, замерзаем!

Краснов, приоткрыв дверь в служебное помещение, крикнул:

— Анюта! Оденься! Гости на пороге.

Сторожа́м впускать посторонних в помещение базы запрещалось, но Краснов, не раздумывая, открыл дверь веранды. На крыльце стоял добротный одетый молодой мужчина, держа в руках большой свёрток шерстяного покрывала, в котором кто-то попискивал. На нижней ступеньке крыльца ожидала женщина в норковой шубке.

— Быстро в дом! — скомандовал хозяин.

Поздоровавшись на ходу, путники вошли в помещение, а он остался на веранде, и электростанция заработала снова. Когда Краснов вернулся в тепло, гости сидели за столом. Мужчина держал на коленях девочку лет пяти. На соседнем стуле, не сняв шубки, примостилась женщина.

— Извините, пожалуйста, — обращаясь к хозяину, сказал гость и добавил: — Ехали на новогодние каникулы к родителям в деревню. Топливо застыло, и на подъёме двигатель машины заглох. Хорошо, что неподалёку от вашего жилья.

— Располагайтесь на ночлег, — предложила Анна Алексеевна. — Сейчас все за праздничным столом, вряд ли кто поможет.

— Да вы не беспокойтесь! Брат уже в дороге. Я ему по мобильнику сообщил, где мы.

Вскоре распадок осветили автомобильные фары. Под окном показалась легковушка. Чуть погода на веранде послышались шаги.

— Слава Богу! Кенька приехал! Теперь будет всё пучком! — обрадованно заявил гость. Дверь широко распахнулась. На пороге появился Иннокентий Седых, старый знакомый Краснова, не раз вместе промышляли в орешнике. Иннокентий был навеселе. Подмигнув хозяину, заявил по-свойски:

— Знашь, понимашь, а по чё не наливашь?!

— Ташши стаканы! — подыграл Краснов.

— Пойло и закусь в багажнике. Чичас Натали припрёт, только свистнуть, — кивнув жене, вступил в игру гость.

Девочка, не поняв взрослых, захлопала.

— Не плачь! Сейчас поедem к бабушке, — успокоила мать и обратилась к братьям: — Ну-ка, сматываемся! Совесть-то есть у вас, хозяевам надоедать? — И, обернувшись к Анне Алексеевне, извинилась: — Простите нас, пожалуйста!

— Едем, едем, Натаха, уж и словцом нельзя перекинуться, — оправдывался перед невесткой Иннокентий.

Отблагодарив хозяев бутылкой «Арарата» и бутылкой «Мартини», гости уехали, пообещав навестить летом. Супруги, оставшись одни, ещё долго вспоминали новогодние праздники, когда все дети были с ними. Укладываясь спать в четыре часа утра, пьяненький Краснов обнял жену, поцеловал и шепнул ей на ушко:

— С Новым годом, Анюта! Совесть наша чиста.

Закончился январь. С каждым походом по воду мысль о колодце настырно донимала Краснова. По этой причине в одну из поездок в родное село он первым делом зашёл в библиотеку. Просматривая содержание книги А.М. Шепелева «Как построить сельский дом», наткнулся на искомый раздел «Водоснабжение». Библиотекарь вписала книгу в абонентскую карточку, Краснов забрал находку и отправился за продуктами по магазинам.

В отсутствие мужа Анна Алексеевна решила пополнить запас воды на кухне. По тропинке, расчищенной мужем от снега, она направилась к реке. Но как только вышла на дорогу, мимо неё, чуть не сбив, пронеслась белая легковушка. Анна Алексеевна, очень напугавшись, вернулась в дом с пустыми ведрами. Разделась, присела к столу и с гордостью подумала: «Вова у меня умница! И чего я тогда взъерепенилась?»

Вернувшись на базу, Краснов обратил внимание на следы жены в распадке. Войдя в кухню, увидел пустые ведра. Сообразив что к чему, улыбнулся, но ничего не сказав жене, перекусил и уселся читать главу о колодцах. Наткнувшись на замечание: «К признакам неглубокого залегания воды относят: п. 3 Уровень ручьёв, рек, озёр и т. д. там, где они имеются». «Река поблизости, это уже обнадёживает», — подумал он. Закончив чтение, твёрдо решил, как только сойдёт снег, искать место для воплощения своей мечты.

В конце февраля значительно потеплело. Утром, перед восходом солнца, Краснов вышел во двор, чтобы расчистить дорожки, наносить к печке дров на сутки и сходить к реке по воду. Белое пушистое утро встретило его светло и ласково. Дощатый тротуар, пролежавший от крыльца, мимо навеса, между дровяником и сараем, к скворечнику туалета на задворках, был густо усеян поблёскивающими звёздочками ночной изморози. Справа от тротуара под снежным одеялом едва угадывалось русло Сухого ручья. Краснов пошарил взглядом по руслу ручья, размышляя, где копать. Всё станет ясно, когда скатятся вешние воды, решил он и, уже не отвлекаясь, занялся обычными утренними делами.

Укорачивая тени, всё ярче и дольше светило солнце над распадком. Значительно увеличился день. Появились первые сосульки. Свисая с карниза крыши, они напоминали прозрачные восклицательные знаки. В особо тёплый полдень с них сыпалось многообразие капель, пробивая сугроб до земли. Однажды ранним мартовским утром в распадке появилась стайка снегирей. Рассевшись на нижних ветвях лиственницы, снегيري выклёвывали семена из шишечек и перелетали с ветки на ветку. Издали они были похожи на красные новогодние шарикИ. Птички подкормились и упорхнули на Крайний Север к летним гнез-

довьям. В середине апреля внезапно пошёл дождь. Снежные сугробы, потемнев, осели. Повеяло теплом. Снег исчез. В ясную погоду после полудня ручей просыпался и, падая с камня на камень, шумно пел свою весеннюю песню. Как только скатилась талая вода, уровень в реке упал до минимума. Работу можно было начинать.

В течение жизни Краснову приходилось знакомиться со многими рабочими профессиями. Он умело пользовался и топором, и штукатурным мастерком, не говоря уже о таких мелочах, как гаечный ключ, паяльник или отвёртка. Изготовить простейший нивелир ему не составило особого труда. В погожий день, надев резиновые сапоги и прихватив с собой самодельный инструмент, чтобы хоть приблизительно определить глубину будущего колодца, он спустился по руслу ручья от намеченного места закладки колодца до устья. Задача усложнялась тем, что ручей проходил под насыпью дороги по бетонным кольцам. От базы самый короткий путь к реке. Значит, и по воду можно будет ходить под дорогой. Но в русле ручья были ямы, да и по камням с полными вёдрами не напрыгаешься. Вдобавок бетонные кольца полутораметрового внутреннего диаметра не позволяли пройти тоннель, не сгибаясь, даже невысокому Владимиру Петровичу. Выйдя к реке, он молитвой попросил у Всевышнего помощи в работе и воткнул стойку нивелира в границу воды и берега. Вверх по ручью при помощи прибора он намечал новое место. От него отыскивал взглядом следующую точку. Трижды по всему пути, от реки до будущего шурфа под колодец, промерив разницу высот, Краснов получил итог: до воды копать приблизительно пять метров. «Ерунда! — скоропалительно решил он. — За пару недель до воды доберусь. Не раз доводилось ямы копать».

Как-то солнечным утром, плотно позавтракав, он надел штопаную-перештопаную байковую рубаху, стоптанные кирзачи, заглянул в кладовку под лестницей, из запасов археологов взял штыковую лопату и вышел на крыльцо. Возвещая о начале лета, где-то далеко-далеко закуковала кукушка. Южные осыпи скал уже покрылись фиолетовыми подснежниками. Из глубины распадка доносился дурманящий запах цветущего багульника. Вернувшиеся из дальних стран стрижи, беззвучно сновали в белесом июньском небе. Вода в ручье ушла под камни. Первым делом Краснов решил оградить колодец дамбой, опасаясь ливневых дождей и ежегодных вешних половодий. Грунт всё равно нужно будет убирать от места работы. Наметив колышками сечение шурфа, он ещё раз придирчиво осмотрел выбранное место. Снимая с поверхности обозначенного квадрата самые крупные пять камней, цепочкой из них наметил основание дамбы. Попытавшись извлечь из грунта большую плиту целиком, не дробя, сообразил: без лома и кувалды не получится, нужен серьёзный инструмент. Шестигранный восьмикилограммовый лом Краснов заметил в сарае ещё по приезду. Но вот кувалды там не было. Недолго думая, он решил использовать свой любимый колун вместо неё. Укоротив рукоять колуна до размера двух ладоней, подогнал ножом оставшуюся часть, чтобы она была удобной для его короткопалой руки. Полюбовался на плод своей рационализации и решил продолжить работу после обеда. Анна Алексеевна уже несколько раз звала его под навес к столу. Ещё в мае она перенесла туда кухонную утварь и столовую посуду. Вкушать пищу летом на свежем воздухе гораздо приятнее, чем в помещении, согласно полагали супруги. Пообедав, Краснов закурил и призадумался.

— Как результаты, горняк самодельный? — полушутя спросила супруга.

— Цыплят по осени считают, — сухо ответил он.

— Да нет, я вполне серьёзно, не сердись!

— Спасибо за обед, всё было очень вкусно! А результаты пока неутешительные. Дальше будет видно, — добавил он и пошёл к ручью.

Торчащий из земли небольшой каменный треугольник оказался верхушкой массивной плиты. Окапывая штыковой лопатой землю вокруг неё, он извлёк на поверхность ещё с десяток камней различной величины. Плита, освобождённая от грунта, нанесённого ручьём, оказалась неподъёмной. После многочисленных ударов с размаху обухом колуна по плите от неё откололся приличный кусок. Краснов сходил в сарай за верёвкой и при её помощи притащил камень к дамбе. И снова принялся за плиту. К вечеру разрушенные куски плиты зримо определили длину дамбы.

Поужинав, он сидел у костра и с грустью размышлял: «Похоже, и в течение лета не управлюсь с колодцем». Ночью во сне он стонал и несколько раз просыпался от невыносимой боли в руках. Анна Алексеевна тоже просыпалась. Ей очень жалко было стонавшего во сне мужа. Но поутру отговаривать его от затеи она не стала, зная настойчивый характер мужа, к тому же на тот момент, расстроенный, он мог надерзить ей.

День за днём ведром вытаскивая на поверхность глину, небольшие камни и осколки раздробленных плит, ниже он обнаружил следующую плиту. Когда шурф достиг метровой глубины, втаскивать наполненное грунтом ведро на поверхность стало затруднительно. Понадобились лестница и ворот, да и воду из колодца без него не достать. И он взялся конструировать простейший подъёмный механизм. Через пару дней временный колодезный ворот, надёжно перекрыв отверстие шурфа двумя листовенными бревёшками основания, был готов к работе.

На следующий день, когда солнце ещё не поцеловало верхушки деревьев, Краснов спустился в шурф. Он и не видел, когда на базу приехали две женщины. Одна из них пожилая полная брюнетка, другая, намного моложе, стройная шатенка. Поздоровавшись с Анной Алексеевной, они показали разрешительную записку от Голованова, обосновались на верхнем этаже, попили чай у костра и ушли к рисункам на скалах. Всё это время Краснов самозабвенно воевал с очередной каменной плитой. Изо всех сил бил он по ней обухом колуна, останавливаясь лишь для передышки. Результат, увы, был неутешителен. Прошло два часа. Расстроившись, он закурил и сел на перевёрнутое кверху дном ведро. Успокоенный никотином, Краснов затушил окурок, сунул его в карман, чтобы не загадить колодец, и поднялся по лестнице наверх. Увидав его, жена позвала к столу. Задумчиво пережёвывая кусочек мяса, Краснов размышлял, как быть дальше. Может, бросить этот труд?.. Но тут с работы вернулись, отдохнуть от жары и пообедать, приехавшие утром женщины. После короткого знакомства выяснилось, учёные. Пожилая, Нина Ивановна, кандидат геолого-минералогических наук. Вторая женщина, Вера Владимировна, кандидат исторических наук.

— Если не секрет, что за изыскания проводите в пойме ручья? — шутливо поинтересовалась Нина Ивановна.

— До воды пытаюсь докопаться, — смущённо ответил Краснов.

— Вручную весьма проблематично. Осыпь из обломочного материала поднять на поверхность вам не составит особого труда. Но на глубине в полтора метра пойдёт плотный материал, — объяснила Нина Ивановна.

— Похоже, я до него добрался раньше. Уже на метровой глубине два часа лупил по плите, а результат нулевой. Может, подскажите, что делать? — взмолился Краснов.

— Отдохнуть! — пошутила Нина Ивановна, затем, чуть задумавшись, посоветовала: — Красноцветный песчаник, залегающий повсюду в данной местности, слоистый и трещиноватый. Скальная кромка трещины, попытайтесь добраться до торца плиты. Расслоить материал не составит труда обычным зубилом. Попробуйте, *gutta cavat lapidem**, — закончила она. Что сие означает, Владимир Петрович не знал, а спросить постеснялся.

После подсказки Нины Ивановны Краснов воспарил духом. Утром, предупредив жену, он поспешил на дорогу. Маршрутный автобус из районного центра по деревням и сёлам проходил рано. Вечером Краснов вернулся на базу. Показав новенькое зубило, сделанное по его заказу, Краснов пообещал жене: — Не нынче, так на следующий год, но всё-таки доберусь до воды!

— Ужинай и ложись спать, раб мечты! — заботливо пододвинув тарелку с супом, предложила Анна Алексеевна.

На следующий день, сделав всю необходимую работу по дому, Краснов спустился в шурф и работал до обеда. При помощи зубила и самодельной кувалды проходка шурфа сдвинулась с места. Прошла неделя. В результате вынутый за несколько дней грунт значительно увеличил высоту дамбы. Тем временем, закончив работу, учёные уехали домой.

*Капля камень долбит.

Дни постепенно становились короче, но в заботах Краснов этого даже не замечал. Каждое утро с восходом солнца он спешил к шурфу. Боли в мышцах давно исчезли. Мечта дать высшее образование Николаю помогала работать. Ему, как ни странно, понравился этот тяжёлый, но несложный труд. Каждый раз, спустившись в забой, он ощущал благостное одиночество. Не торопясь, в очередной плите отыскивал самую большую трещину. Расслоив зубилом плиту, дробил её колуном на куски. Наполнив камнями ведро, подцеплял свисающим с ворота на верёвке крючком ведро за дужку. Поднимался по лестнице на поверхность. Поворачивая рукоять ворота, следил, чтобы верёвка наматывалась на барабан равномерно. Когда появлялось ведро, перехватывал его и, отцепив крючок, с трудом относил тяжёлое ведро к дамбе. Высыпал из него камни в намеченное место и снова возвращался в забой к началу следующего цикла.

И так каждый день. Бесследно прошла бессонница. Вернулся здоровый аппетит. Анна Алексеевна однажды за обедом, заметила: «Вова! А ты помолодел!»

Давно потухли в распадке лампочки жарков. Лишившись семян-парашютиков, тоскливо покачивали лысыми головками одуванчики. Догорал иван-чай. Оперившись, встали на крыло молодые ласточки и стрижи. Несколько дней они прощально покружили над родиной и незаметно улетели в неизвестные края. Всё меньше красовалось солнце. В распадке заметно похолодало. В шурфе температура понизилась не очень. Увлечённый новым незнакомым доселе делом, Краснов упорно продолжал трудиться, не обращая внимания на скапливающуюся усталость.

В конце октября, когда он в очередной раз спустился в шурф, уже подумывая отложить работу до весны, неожиданно на глубине двух метров кончились крупные плиты, пошла глина вперемешку с небольшими камнями. Краснов обрадовался, но ненадолго. Выбрав рыхлый грунт на штык лопаты, снова наткнулся на плотный. На глубине шурфа в два метра и двадцать сантиметров Владимир Петрович с грустью вымолвил: «Ну что, мечта? Прощай до весны!» Выбравшись на поверхность, из подручного пиломатериала сбил четыре дощатых щита на глубину забоя. Поднял лестницу, затем оттащил в сторону пока не нужный ворот. Опустив щиты, укрепил ими стенки шурфа от осыпания грунта. В завершение отверстие будущего колодца застелил досками. Погода была пасмурной. Время от времени пробрасывал снег. Краснов пришёл обедать под навес к костру. На столе было пусто. Анна Алексеевна, заметив печаль на лице мужа, ободрила:

— Да не переживай ты! Даст Бог, доживем до тепла! А там видно будет. Я сегодня готовила в помещении. Зябко стало на свежем воздухе. Пошли в тепло ужинать, водочки налью.

— Весьма кстати, — повеселел Краснов.

Следующая зимовка шла тоже без особых событий, не считая посещений вездесущих туристов. Иногда показывался Голованов. В конце февраля приехали двое мужчин: Вадим Станиславович, молодой археолог богатырского роста, с роскошной чёрной бородой, и щупленький фотограф, Кирилл Иванович. В первую ночь на верхнем этаже, судя по громким голосам, было весело. Отработав на объекте несколько дней, они уехали. Сторожевая служба Красновых, спокойная, как вода в речном омуте, продолжалась.

Владимир Петрович по привычке, выработанной с годами, вставал очень рано. Тихо, чтобы не разбудить жену, покидал постель. Быстро одевшись, растапливал печку, ставил на плиту чайник и уходил в скворечник. Вернувшись, садился возле печки. Открыв топку, глядел на огонь в ожидании, пока закипит вода в чайнике. Вскоре просыпалась и Анна Алексеевна. Приведя себя в порядок, садилась за стол. Супруги завтракали, молча, не торопясь. Затем Краснов занимался резьбой по дереву. Устав, убирал инструмент, брался за чтение очередной книги. Тем временем Анна Алексеевна, приготовив обед, либо вышивала, либо вязала.

Как-то Краснов достал общую тетрадь и что-то в ней начертил. Анна Алексеевна, заглянув в тетрадь, увидела схематичный рисунок колодца в разрезе и спросила мужа:

— Что, Вова, мечта покоя не даёт? Так ведь до тепла ещё далеко.

— Готовь сани летом, а телегу зимой, — буркнул он и снова уткнулся в чертёж, ду-

мая как поступить: «Деревянный сруб делать? Или камнем облицевать стенки?» Немного поразмышляв, решил добраться до воды, а там будет ясно, какой способ более приемлем. Положив тетрадь на книжную полку, по-спортивному оделся.

— Ты куда, Одиссей? — шутиливо спросила жена.

— По грибы, Пенелопа! — в тон ответил Краснов и, прихватив на веранде лыжи, вышел на крыльцо. Зимнее солнце хоть и ненадолго, но уже заглядывало в распадок. Серебром отливался снег на верхушках больших деревьев. В их тени, словно играя, прятались маленькие сосёнки и ёлочки в пушистых шубках. На пеньках красовались белые генеральские папахи. Заснеженные поляны местами были испещрены цепочками следов: то глухариных, то беличьих. Иногда попадали заячьи следы. По запорошенной снегом лыжне Краснов шёл не торопясь. Когда он углубился в тайгу, неожиданно громко раздался стук сверху. На высохшей лиственнице лесной доктор в красной шапочке с чёрным хохолком лихо долбил кору. Передвигаясь по стволу, он то замирал, то вновь принимался за работу. Полюбовавшись на дятла, Краснов пошёл дальше по тайге, до самого конца распадка. Дойдя до широкой просеки ЛЭП-500, находящейся в тринадцати километрах от базы, повернул лыжи в обратный путь. Стемнело по-зимнему быстро, но взошла полная луна, и лыжню стало хорошо видно. Вернулся он поздним вечером. Заботливо приготовленный ужин давно ждал его. Выпив стопку водки и насытившись, он поблагодарил жену:

— Спасибо! — Затем, лукаво подмигнув ей, спросил: — Не пора ли нам в кровать?

Иногда перед сном они навёрстывали минуты супружеского счастья. В прошедшей жизни зачастую такой возможности было не много, как и у большинства многодетных работающих супругов. А здесь условия, лучше не придумаешь! Ни детишек любопытных, ни соседей, которых почему-то травмируют необычные звуки за стенкой. Даже вездесущего ТВ не было в этом потаённом местечке.

Так, в любви и несложных заботах Красновы пережили и эту зиму. Вот-вот должна была нагрянуть весна. Но заканчивался март, а морозы всё ещё не ослабевали. И лишь в конце апреля разом нахлынуло долгожданное тепло. Вскоре от массового снеготаяния необычно сильно разлился Сухой ручей. Но дамба надёжно отбивала бурный поток в сторону от рабочей площадки. Как только скатилась верхняя вода, работу в шурфе можно было продолжить. Погожим июньским утром Краснов убрал доски, закрывавшие сверху шурф, подтащил ворот, вынул на поверхность крепь и, установив лестницу, спустился по ней в заиндевший шурф. Встав на дно, осмотрелся. А когда разглядел поверхность дна, с радостью заметил, что массивная плита, осенью преградившая путь к воде, выступала из грунта всего на полметра. Да это же отличная переходная площадка, обрадовался он. Следующая лестница вниз пойдёт от неё. Дно, за исключением выступающей плиты, покрывал трещиноватый серый песчаник. Соскучившись по серьёзному делу, привычным способом за месяц Краснов углубился ещё на три метра. Теперь выбираться на поверхность по двум лестницам, затем поднимать воротом четырнадцатилитровое ведро с грунтом к вечеру становилось трудно. Всё чаще он укладывался спать рано, вставал поздно. По этой причине в последнее время первой вставала Анна Алексеевна. Приготовив завтрак, она приходила в спальню разбудить мужа.

Однажды Краснов проснулся до прихода жены и невольно глянул на домашний иконостас. Ему показалось, что сегодня образ Иисуса Христа смотрит на него чересчур строго. Краснов не был прилежным прихожанином, храм посещал редко, да и в уединении не часто молился. Чувствуя свою вину перед совестью, он решил этот день начать с молитвы. Вошедшая разбудить мужа Анна Алексеевна, увидев его перед иконостасом, тихонько вышла поджидать под навесом. Июль уже полностью правил летним балом. Утренняя прохлада сменилась жарой. На крыше дровяника весело чирикали воробьи. Из поленицы осторожно выглянул бурундук, оглядевшись, спустился на тротуар и стал столбиком, смешно свесив передние лапки. Хриплый крик пролетающей вороны напугал его, и он снова юркнул в щель между поленьями. Пришёл Краснов. Сначала, боясь испортить ему аппетит за столом, своих соображений Анна Алексеевна высказывать не стала. Но когда он, сказав обычное «спасибо», закурил и вновь задумался, решила ещё раз отговорить его:

— Вова! Ты же знаешь, Коленька бросил учиться, взял академический отпуск, женился и устроился на работу. По сути, нам тут и делать-то нечего. Все деньги не огребёшь, здоровье дороже. Вернёмся домой, и колодец нам станет не нужен.

— Ага! — дурашливо согласился Краснов. И серьёзно добавил: — Грешно только о себе думать. После нас будут работать тоже люди.

— У людей свои заботы, у меня свои, о тебе, — возразила Анна Алексеевна.

Краснов, чтобы прекратить неприятный для него разговор, спросил у неё:

— Какое сегодня число?

— Девятое июля, — вздохнув, ответила Анна Алексеевна.

Эту дату супруги Красновы запомнили надолго. В такой же июльский пышущий жаром день, купив роскошную кисть винограда, в те далёкие годы редчайший продукт для северян, он метнулся в роддом поздравить жену с рождением младшего сына. В спешке забыл на прилавке всю месячную зарплату и паспорт. Спыхватился Краснов только после того, как жена попросила пять рублей на аптечку матери и ребёнка. Вернувшись за потерей, он увидел замок на дверях ларька. Вернули только паспорт. Чтобы отвлечься от грустных воспоминаний, Краснов поспешил в шурф. Не найдя очередную трещину для разделки, он окончательно растерялся, что делать теперь? Словно насмехаясь над ним, дно шурфа закрывала ровная каменная поверхность, без единой трещинки, без единого бугорка, за что можно было бы зацепиться зубилом. Краснов, вне себя от ярости, размахнулся колуном из всех сил и ударил по ненавистой плите. Она не выдержала такого удара и треснула. Из трещины выскочил тоненький фонтанчик воды. Еще не веря случившемуся, Краснов ударил из всех сил ещё раз, рядом с трещиной. В плите образовался небольшой пролом. Из него хлынула вода и, смешиваясь с глиной, стремительно закрыла дно шурфа, на несколько сантиметров. Краснов, не обращая внимания на проникающую в ботинки воду, радостно прошептал: «Слава тебе Господи!» и трижды перекрестился. За пару минут ногам стало невыносимо холодно. Необходимо было промокшие ботинки срочно снять. Сунув в ведро колун и зубило, он поспешил из колодца на поверхность. Увидав сияющего мужа босиком с ботинками в руках, Анна Алексеевна сразу поняла причину радости, лишь только уточнила:

— Ну что, докопался?

— Спрашиваешь! — гордо ответил Краснов.

— Можно посмотреть колодец? — искренне разделяя радость мужа, спросила она.

— Нет! Пока это не колодец, всего лишь глубокая яма с мутной водой. Закончу, насмотришься вдоволь.

— Как скажешь, — согласилась Анна Алексеевна. — Иди обувайся, будем праздновать твою удачу.

— Нашу удачу, — поправил Краснов.

В этот день Красновы просидели у костра допоздна. Он рассказывал ей, каким будет колодец, а она, улыбаясь, слушала.

С момента появления воды в проломе у Краснова появилось второе дыхание, а вместе с ним и новые проблемы. Как минимум, ему не терпелось убедиться, не рано ли радовались. Будет ли дебет? Возможно, просто скопилась вода в полости между плитами. Первым делом он привёз из села водяной насос «Агидель», два резиновых шланга к насосу и металлическую сетку, миллиметровку. Электростанцию, спящую с зимы в сарае, перетащил к колодцу. Опробовав двигатель в работе, заглушил его. Изготовил из сетки простой заборник воды. Смонтировал систему водопровода для откачки. Когда всё было готово к дальнейшей работе, Краснов спустился в шурф. В мутной воде на ощупь засунул заборник в пролом. Шланг углубился в воду почти на полметра. Поднявшись на поверхность, Краснов запустил электростанцию. К его удивлению насос перекачал воду из колодца в русло ручья за минуту. Отключив насос, впился взглядом в дно колодца и стал наблюдать приток воды. Постепенно она поднялась на прежний уровень. «Дебет маловат, — мысленно отметил он, — необходимо разрушить остатки плиты по всей окружности дна и попытаться его ещё углубить. Кроме того, теперь нужен помощник. Надежда только

на Николая. В письме он обещал на днях приехать в гости с женой». Неделю Красновы прожили в ожидании молодых. Сын приехал один, объяснив родителям, что Наташа ехать побоялась. У неё последние дни беременности. После первых радостных минут встречи Николай настороженно спросил:

— Вы, наверное, сердитесь на меня? Устроились работать ради моей учёбы, а я бросил.

После небольшой паузы Краснов ответил:

— Мать очень огорчилась. Я — нет. На всё воля Божья. Ругаться с тобой не собираюсь. Может быть, одумаешься, время покажет. К тому же служба здешняя пока нам не в тягость. Лучше расскажи, на кого учёбу променял?

— На будущий год приедем все вместе, увидите, познакомитесь. А пока, — достав из дорожной сумки небольшой фотоальбом, Николай протянул его отцу: — смотри!

— А почему не мне первой? — запротестовала Анна Алексеевна.

— Да ради бога! — улынувшись, сказал Краснов-старший и протянул жене фотоальбом. Весь день они провели в разговорах. Николай, зная из письма матери, что отец копает колодец, предложил помочь.

— Успеешь, отдохни с дороги, — посоветовал отец.

— Да я не устал, — попробовал возразить Николай.

— Нет, работать начнём завтра.

— Хорошо, пойду на реку, — согласился Николай и спросил: — Мой спиннинг здесь?

— На веранде, в кладовке. Коробка с блёснами там же, на верхней полке, — немного подумав, отец добавил: — Я тоже с тобой, давно в погожий день не был на реке с удочкой.

Вернулись в сумерках. Старший Краснов с двумя десятками ельцов в котелке. Младший добыл большого ленка. Отдавая рыбу матери, Николай попросил:

— Мам, хочу твоего пирога.

— Ещё и на уху останется, — радостно заверила Анна Алексеевна.

— Так! — сказал Краснов-старший. — Ложимся спать. Завтра рано подниматься.

Никто возражать не стал, все устали за день. Перед сном Анна Алексеевна замесила тесто на пирог. Утром растопила печку, вскипятила чайник и, разбудив мужа, поднялась на верхний этаж. Николай спал. Вскоре все трое собрались за столом под навесом. Позавтракав, отец и сын ушли к колодцу. Анна Алексеевна принялась печь в духовке рыбный пирог.

— Можно, я спущусь подолбить? — попросил Николай, когда всё было готово к работе.

— Нет, твоё дело — грызть гранит науки, вроде бы так говорят студенты, — сурово заметил отец и продолжил: — Спустишься только посмотреть, что представляет собой шурф внутри. Мне в данное время наверху нужна твоя помощь.

Сын промолчал, чувствуя себя виноватым, и стал осторожно спускаться по лестнице. Достигнув переходной площадки, встал на неё и, внимательно осмотрев щербатые стены шурфа, спустился по второй лестнице до последней перекладины. Дальше лестница уходила в прозрачную воду и упиралась в плиту рядом с чёрной дырой пролома. Только сейчас, на дне шестиметровой каменной толщи, осознав многомесячный тяжёлый труд отца, Николаю стало невыносимо стыдно перед родителями за то, что он пока не оправдывает их надежд. Понурий, с грузом искреннего раскаяния, он медленно поднялся по лестнице вверх.

— Папа, прости! — дрожащим голосом попросил он отца и, обняв его, горько заплакал.

Старший Краснов сразу понял внезапность слёз. Прижал сына покрепче к груди и, похлопывая по спине, стал успокаивать:

— Ничего, сынок, конь на четырёх ногах и то спотыкается.

— Маме ничего не говори!

— И не собирался.

— Спасибо!

Когда Николай немного успокоился, отец неторопливо объяснил, что надо делать:

— Будешь по моему сигналу включать и выключать насос. И электростанцию останавливай, если скажу. Овёс нынче дорогой!

— Какой овёс? — недоумённо спросил Николай, от расстройства ещё полностью не пришедший в себя.

— Шофера нынче так называют топливо для машин. Короче, запускай электростанцию и жди команды, — сказал отец, осторожно спускаясь в забой. Вскоре крикнул: — Поехали!

Затараторила электростанция, тоненько завыл водяной насос. Из колодца донеслось «Стоп!» Насос умолк. Станция заработала на холостых оборотах. Пока в забое скапливалась вода, Краснов-старший успел обломать плиту по всей окружности забоя, кроме места, на которое опиралась лестница. Наполнив ведро обломками плиты и прицепив крюк к дужке ведра, крикнул «Вира!» Заскрипела ось ворота. Ведро медленно поплыло вверх и вскоре вернулось пустое. Вода стала прибывать быстрее. Насос замолкал реже. Вскоре заглух двигатель электростанции — бензин кончился. Подошедшая к колодцу Анна Алексеевна попросила сына:

— Скажи отцу, обед готов.

Николай крикнул в колодец:

— Папа! Рыбный пирог зовёт! Выбирайся!

— Сейчас! — ответил старший Краснов.

В тот момент, когда забыв обо всём, Николай уплетал мамин пирог, зазвонил сотовый телефон. Николай достал его из нагрудного кармана и приложил к уху. Через несколько секунд заулыбался и крикнул кому-то:

— Срочно выезжаю!

Анна Алексеевна догадалась сразу что за весть, но переспросила:

— Кого родила Наташа?

— Сына! — гордо заявил Николай.

Вечером, прощаясь с родителями на дороге, Николай спросил:

— А как же колодец?

— Спасибо, сынок, за необходимую помощь! А тебе есть о чём задуматься... Довести колодец до ума — не проблема. Поезжай к жене, ты там нужен.

Сын уехал. Супруги вернулись под навес. Обгоревшей палкой Краснов пошевелил угли в каменной ванне, положил на них несколько сухих веток и, раздувая огонь, разбудил задремавший костёр. Подождав, пока пламя окрепнет, добавил пару смолистых поленьев. И опять они сидели молча до полуночи.

Утром, наскоро позавтракав, Краснов вышел на крыльцо. Закурил сигарету и задумался, чем облицовывать колодец изнутри? Подходящих камней в русле ручья полно, основание кладки начну с них, решил он. Цемент на первый случай хватит, почти полный бумажный мешок хранится в сарае. Надев верхонки, Краснов пошёл к Сухому ручью собирать подходящий для кладки материал. На эту работу ушёл целый день. Поздним вечером гряда камней лежала на площадке возле колодца.

На следующее утро Краснов с постели не встал. При первой же попытке подняться он неудобно повернулся, и боль безжалостной иглой мгновенно воткнулась в поясницу. «Ой!» — вскрикнул он и замер, по опыту зная, если не шевелиться, то боль отпустит. Анна Алексеевна в этот момент была на кухне. Услыхав болезненный вскрик, быстро вошла в спальню и, заподозрив беду, укоризненно спросила:

— Ну что, допрыгался, горняк местного разлива!

— Не до шуток. Грей кирпич, — ответил он.

— Я предупреждала тебя, теперь лежи и помалкивай. Сама знаю, что делать, не впервой.

Несколько дней отлёживался Краснов. Встав на ноги, снова упрямо взялся продолжать работу, сколько ни отговаривала его Анна Алексеевна. Правда, после приступа радикулита с тяжёлыми камнями он стал обращаться осторожно. Ведро загружал плитняком не полностью. Тихонько опускал ведро на нужную глубину колодца. Надёжно закреплял рычаг ворота от самопроизвольного движения. Брал небольшое ведёрко с цементным

раствором и спускался до нужного места. В течение месяца, ведя кладку плитняком по спирали, облицовал колодец на три четверти. На этом накопленный материал закончился. Подходящие для работы камни он собрал со всей территории базы ещё в первый раз. Поразмыслив, решил продолжить кладку самодельными бетонными блоками. Возле сарая высилась куча мелкого гравия, завезённая когда-то для бетонирования фундамента под дом. Но была она использована строителями только наполовину. Краснов эту кучу гравия приметил, когда ещё размышлял, чем облицовывать колодец. Пришло время заняться изготовлением бетонных блоков, чтобы окончательно оформить колодец.

Заканчивался август. Солнце сбавило пыл. Световой день становился всё короче и короче. После проливных дождей, по утрам весь распадок утопал в густом тумане. Ежедневно, накормив обедом мужа, Анна Алексеевна собирала ягоды и грибы неподалёку от базы, не забывала и о лечебных травах, которые считала необходимыми.

Краснов тем временем с присущей ему изобретательностью смастерил кольцевую форму для блоков, внутри разделил её пластинами из ДВП на шесть равных частей. Приготовив бетонный раствор, заполнил форму и оставил затвердевать. Через три дня шесть готовых блоков лежали на площадке и подсыхали. К началу сентября необходимое количество блоков было готово к завершению колодца. За неделю облицовку Краснов закончил полностью. Навозив садовой тележкой глину с борта распадка, засыпал её вокруг кладки и утрамбовал, чтобы верховодка не проникла в колодец. Глину засыпал щебёнкой. Над воротом соорудил навес. Новенькое ведро опустил в колодец, зачерпнул долгожданную первую порцию воды и стал потихоньку поднимать ведро наверх. Только приложился губами к его кромке испить первый долгожданный глоток, как в этот миг с крылечка заполошно закричала Анна Алексеевна:

— Вова! Вова! Эсэмэска пришла! Коленька сдал задолженность!

— Слава Богу... — тихо сказал Краснов.

ПОЭЗИЯ



ЛИДИЯ ВОЛЫНЕЦ



Что стало с отчизной и с нами...

Урок истории

История примеров много
Из глубины веков даёт,
Как люди, забывая Бога,
Теряли счастье и почёт.

Империй рушились границы,
Поправ дела минувших дней,
Когда движением десницы
Свергались троны королей.

А в суеде успехов ложных
Легко споткнуться и упасть.
Летит игрок неосторожный
Порокам в пасть.

Всё суета. И если пусто
В душе и скучно вам сейчас,
Пойдём, дружок, сажать капусту
В счастливый час.

ВОЛЫНЕЦ Лидия Николаевна родилась в 1975 г. в г. Усолье-Сибирское. Окончила медучилище по специальности «Лечебное дело». Работала медсестрой в кадетском корпусе. После окончания филфака ИГУ работала в клубе «Ковчег», в Доме культуры «Мир». Печаталась в коллективных сборниках, автор книги *«Театр теней»* (2014). Публиковалась в городских и областных газетах, журналах «Сибирь», «Огни Ангары», «Берегиня» (Москва). Составила и выпустила городской поэтический сборник *«Как прекрасна ты, сибирская земля»* (2012) и сборник *«Антология усольской поэзии»* (2015). Живёт в Усолье-Сибирском.

* * *

Благодарю судьбу и Бога,
Что есть возможность без затей
Бродить по улицам свободно
Мне незнакомкой средь людей.

Чёрные птицы

Я видела смятенье чёрных птиц
И взгляд затравленный,
И тяжесть оперенья.
Их воля — подчинение границ
Нижайшего вседозволения.

От «А» до «Я»

Дорог километры листают	Со склона горы стекает
Страницы от «А» до «Я».	Прозрачной реки ручей,
Жестокою правду считают	Но снег на вершине не тает,
Границами бытия.	Хотя и открыт для лучей!

Даже так

Даже если небо хмурится,	В заповедной бесконечности,
Тротуары запylённые,	Освещая путь всегда,
Для меня открыта улица	Жёлтым глазом безупречности
Тополиная — зелёная.	Смотрит поздняя звезда.

Мёд

Со словом мы играли в прятки,
Оно достать меня посмело.
И вот открыла я тетрадку,
И мёд течёт по сотам белым.

* * *

Порвалось в клочья встреч
Величие времён.
Нам не дано сберечь
Ни флагов, ни знамён.

За миражами

Болтливая богиня Слава	Ведь губит душу тем верней
Во имя глупости своей	Погоня вслед за миражами,
Капканы ставит на людей,	Когда нисходят вместе с вами
Хоть и сладка её отравя.	Злосчастных тысячи людей.
Блистать во что бы то ни стало	Возможно, вам дано понять,
Любой ценой хотите вы	Что внешний блеск не будет вечен.
В угоду жерновам молвы.	С горы катиться, точно, легче,
Но этого вам, видно, мало.	Чем ввысь народы поднимать.

Светлячки

Словно вечные светлячки	Точки «финиш» и «старт» пока
Через время летим и пространство.	Досигаемы для пилота.
В категории постоянства	Не опасна стрела в полёте
Световые сигналы легки.	Для далёкого маяка.

Град

В гости меня не зовите	Бедное племя без Бога,
На перепутье дорог.	Тёмное — в блеске витрин.
Белое солнце в зените	В граде под куполом смога
Странный рисует мирок:	Люди в футлярах машин.

По ниточке

Иду по ниточке:	У века свой узор —
Стрела и нить.	Мгновений череда.
Над бездной ни души.	Финал не нов:
Открыть калиточку,	Неправедных позор —
Миры соединить	Горчайшая беда
Спешу в тиши.	В созвездье мотыльков.

* * *

Суетных дел круговорот
В танце звёзд несёт отраженье,
Но не изменит событий ход
Плод больного воображенья.

* * *

Картошку выкопали мы!	Межу заброшенных полей
В России выкопать картошку	Запорошило снежной кашей.
Всего важнее. До зимы	И ждать недолго новостей,
Осталось нам совсем немножко.	Что заматают жизни наши.

Летят с обрезков тополей
Остатки пожелтевших листьев.
Просвет печален меж ветвей
От серых зданий. Даже писем

Не нужно. Здесь природа пишет
И замечает снежной пылью
Сюжеты на земле остывшей,
В легенды превращая были.

Благородство

Разве ложь удивляет нас,
Поражает пороков уродство?
Как цветок на асфальте, подчас
Человеческое благородство.

Байкальскому пииту

Вы выбрали эти подмости,
Где мир многомерен и прост,
Оставшись навеки подростком
В наиве мерцающих звёзд.
Вам тихие строчки и слоги
Шептал заповедный Байкал.

А мир и жестокий, и строгий
Дорогу свою открывал.
Пииту в родимых пенатах
Повсюду найдётся приют,
Где в русских квартирах и хатах
Гитарные песни поют.

Земляку

Ронсар у поэтов однажды спросил:
«Бывает ли мера терпенью?»
Свеча догорела, и не было сил
Огню колебаться в сомненье.
Куда направляют свой путь корабли?
Что море скрывает в молчанье?
Как зыбку, порою вдали от земли
Судёнышко волны качают.

Он в порт не вернулся, и якоря нет,
И мачты сломало штормами.
Оборвана нить... И не найден ответ,
Что стало с отчизной и с нами.
Мы странники все, и не вечен успех,
Нельзя предаваться печали,
Иначе утопит уныние всех.
Бессмертна душа изначально...

Даль

Запылились крылья,
Чёрная вода.
Я в своем бессилье
Не пойду туда.
Чёрная водица,
Острова вдали.
Улетели птицы,
Травы полегли.

Жатвой у порога
Веет суховей.
Собирал помногу
Бог своих детей.
Чёрным отмываться,
Видимо, века.
Ну, держитесь, братцы,
Вот моя рука!

Огонь

К истокам время возвращает нас
В кольцо извечном золота, железа.
Когда мы людям чем-нибудь полезны,
Даются Богом силы про запас.
Дорогам мы давно сказали «да».
И дом открыт, как прежде, для гостей.

Пусть в мире много грустных новостей,
Для нас не гаснет Памяти Звезда.
Когда не тлеют, а горят слова,
Пусть направляет солнце луч основы,
Бумагу лупой зажигать не внове,
Лишь не забудьте высушить дрова.

На исходе

Век железный на исходе.
Сокрушая корабли,
На Европу гонит воды
День затмения Земли.
Много судеб на рассвете
В становлении начал
Завершится на планете,
Только это не финал.
Нет, не змея заморока
И не дьявольский навет.
Просто ржавчина пороков
Всех съедала много лет.
По сценарию в объятья
Бездуховности своей

Заклучили всех понятия
Безысходности идей.
Но возможно возрожденье
Мира счастья, чистоты,
Если к свету без сомненья
С верой повернёшься ты.
Жили люди на планете
Совершенны и чисты,
Но в веках тысячелетий
Были сожжены мосты.
И забыли... Всё забыли,
Лишь в легендах иногда
Вспоминаются те были,
Безмятежности года.

Дороже

Конечно, истина дороже
Для нас извечно, навсегда.
Гипотетически возможен
Любой сценарий иногда.
Но опыт говорит иное,
Судьба, увы, предрешена:
Не вырастет цветок алоэ
Из кукурузного зерна.

* * *

На пластинке записан сюжет
С середины до кромки круга.
Кто-то скажет, что выхода нет...
Это волны сменяют друг друга.



МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ



Стройка бани

1

«Батя, сделай мне рыбы, — писал из Красноярска Серёга, — путевой, осетрины, ведра четыре, флягу, короче, молочную, на «Матросове», у меня Славка, механик, он в курсе...» Серёга кратко рассказывал о своих делах, желал отцу здоровья и обещал прислать электродов, проволоки-нержавежки и «бутылку тормозухи — зимой в замки заливать — милое дело». Иваныч, только что слезший со сруба новой бани, долго засовывал толстыми, в корке мозолей пальцами прочитанное письмо в конверт, потом некоторое время сидел на диване, глядя в пол, крепкий, как кряж, большегубый, курносый, с твёрдым нависающим чубом, с мясистым, как бы надвое рассечённым лицом (глубокая складка меж бровей, над губой и на подбородке), и рядом, почти отдельно, сама по себе лежала такая же крепкая и мясистая его рука, тёмная и тяжёлая загорелая кисть, даже в расслабленном состоянии стянутая мышцами и мозолями и похожая на клешню, всё будто продолжающую сжимать рукоятку молотка или топориче. На внешней горбатой стороне толстой кисти темнела

ТАРКОВСКИЙ Михаил Александрович, русский поэт и писатель, член СП России. Родился в 1958 г. в Москве. Закончил Московский педагогический институт им. В.И. Ленина по специальности «География/биология». В 1981 г. уехал в Туруханский район Красноярского края, где почти сразу же начал писать стихи и где работал сначала полевым зоологом на биологической станции, затем охотником в с. Бахта, и где и живёт по настоящее время. В 1991 г. закончил Литературный институт им. А.М. Горького, заочное отделение, семинар поэзии В.Д. Цыбина. Автор стихов, рассказов, повестей, очерков. Лауреат премий журналов «Наш современник», «Роман-газета», «Новая юность» и др., в частности, премий Белкина, Соколова-Микитова, Шишкова, а также Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» и премии первого редактора Литературной газеты Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству». Автор книг: *«Стихотворения»*, *«За пять лет до счастья»*, *«Замороженное время»*, *«Енисей, отпусти!»*, *«Тойота-креста»*, *«Избранное»*, *«Сказка о Коте и Саше»*. Главный редактор альманаха «Енисей».

продолговатая лиловая шишка — Иваныч ворочал мокрое после дождя верхнее бревно — сруб новой бани тогда как раз досос до уровня лица, — оно крутанулось, и кисть попала между скользким круглым боком и острым краем только что выбранной чаши. В ту же секунду автоматически пронеслась мысль: «Как соболев в кулёмке*», в ту же секунду, приподняв балан**, он освободил руку. На ней белела яма и алели мелкие капельки крови, Иваныч сунул её в бочку и держал, пока ледяная вода не перебила боль, потом, вынув, пошевелил пальцами, убедившись что сухожилия целы, и ушёл точить цепи. На кисти вспух бугор, она несколько дней болела, но это была приятная боль, боль жизни что ли, и он согласился бы испытывать такую боль каждый день, если б можно было сменять на неё ту неизлечимую болезнь сердца, с которой он два года назад попал в краевую больницу и которая теперь так неотвратимо меняла его жизнь.

Выйдя из больницы с диагнозом ишемии, Иваныч, несмотря на всю незавидность своего положения, на необходимость расстаться с любимым делом — промысловой охотой, стал как-то ещё кражистей и духом и телом и, сбавив внешний пыл, перешёл на какую-то пониженную передачу жизни, от которой, как у трактора, медленней, но неумолимей стало его упрямое движение вперёд.

Новый, шесть на десять, рубленый дом он успел закончить ещё когда был в силе, а старая банька уже никак не смотрелась рядом с высоченным восьмистропильным кубом, давно превратившись в заваленную барахлом подсобку, где варился корм собакам и где он обрабатывал «ондатров». Ещё хотелось проверить, обкатать эту свою новую пониженную, и ещё Иваныч по-настоящему страдал без хорошего пара.

Лес на баню уже был давно готов и лежал на лежках возле площадки. Чтобы никого не звать подымать баланы, Иваныч сделал журавль. Сходил на пилораму к Сварному Генику, голубоглазому молодому мужику с очень хорошо растущей бородой, всегда выручавшего с искренней охотой, с полуслова понимавшего необходимость нового самолочного якоря или ремонта щёчки балансира***.

— Какой разговор, Иваныч! Заварим» — сказал он и, ворочая сварочный агрегат, продолжал рассказывать, как ловил тайменей «под камнями», сопровождая рассказ словечком «ага», с помощью которого как бы сверялся с какой-то своей внутренней правдой, отчего его рассказ приобретал особую независимую достоверность.

Толковый и редко пьющий, Геник, выпив, становился неожиданно задиристым и вязким, и однажды, когда гуляли у Иваныча, безобразно докопался до Иванычева друга Николая, и тот выкинул его с крыльца. Утром, встретив Иваныча, Геник приветливо поздоровался и спросил:

— Я чё, говорят, бузил вчера? — И, как механик о привычной и исправимой неполадке, добавил рабочим тоном, что, мол, надо было кое-чего подбросить, на что Иваныч, хохотнув, ответил, что примерно так и сделали.

Из-за плохого контакта не сразу прошёл ток, и Геник несколько раз постучал электродом по железке, на что каждый раз напряжённым гулом отвечал аппарат, а потом с сухим шипящим треском заработала сварка, и Иваныч, отвернувшись, глядел, как озаряется неестественно ярким голубым отсветом трава, видел искры, синий дым, вдыхал едкий запах и, держа в верхонке горячий прут, на ощупь прижимая её к другому, почувствовал, как его наконец прихватило по некоей новой устойчивости, лёгкому общему зуду всей схватившейся конструкции. Между рукавом и верхонкой оставалась полоса голой кожи, и одна искра, раскалённый кусочек электрода, попала туда, прилипла, прожигая кожу, и снова Иванычу стало хорошо от этой ласковой боли, снова повеяло продолжающейся жизнью, чем-то живым и поправимым. Отбивая шлак, он стучал молотком по шву, и тот ещё некоторое время продолжал рубиново светиться, а затем потемнел и стал блестяще-синим. Потом они приварили к обрезку толстой трубы дно, и получилось что-то вроде кастрюли, прожгли в дне дырку, в которую вставлялась уключина, и кастрюлю эту он надел, как

*Кулёмка — деревянная ловушка на пушного зверя.

**Балан — бревно.

***Щёчка балансира — деталь снегохода «Бурани».

шапку, на вкопанный рядом с будущей баней столб, в уключину легла длинная вага, и получился журавль.

Потом Иваныч сделал новую пазовку (прямое тесло)* — уж очень хотелось пустить в дело один старый топор, который он выменял у своего друга Коляна. В кузнице монотонно гудел компрессор. Стёпка, разворачивавший в тисках светящуюся обойму от подшипника, кивком поприветствовал Иваныча и глазами указал на горн. Иваныч положил топор в раскалённую кучку углей на решётке и, подгребая кочерёжкой, досыпая совком свежий уголь, глядел, как раскаляются до радостной рыжины угли от дующего из-под решётки ветра, как взвиваются оранжевые искорки, а когда засветилось ярким солнечным светом лезвие, взял его щипцами, быстро вложил в тисы и затянул, и, вставив в проушину ломик, повернул его коротким движением, и волшебнo-мягко развернулась раскалённая проушина, остывая, темнея, лиловея, и он снова нагрел, и снова повернул, уже совсем поперёк. Стёпка держал лезвие, а Иваныч, напряжённо и свирепо сморщив лицо, долго оттягивал его кувалдочкой, обковывал, заворачивал углы лезвия вокруг тисочного конуса, а потом, снова накалив, сунул в квадратное ведро с чёрным маслом, и металл зашипел, выпустив дымную струйку, и, глухо захлебнувшись, замолк, а потом вытащил безжизненно холодный топор, вытер тряпкой и долго обрабатывал на наждаке, и летели сочные искры, и на неряшливо-буром металле ширилась ровная снежно-синяя полоса свежего лезвия.

Обратно Иваныч шёл мимо кирпичной дизельной, и оттуда мощно, с мерной отчётливостью тарахтела толстая труба с неровным торцом, и сотрясалась земля вокруг, и белело светлое северное небо над реденькими остроконечными ёлками, и шёл ночной парок из рта, и рядом, чёрный как чёрт, Лёшка-дизелист, наклонив бочку, наливал в помятое ведро масло и, несмотря на неудобную позу, понимающе-приветливо кивнул Иванычу, и потом долго было слышно, как он заколачивает молотком пробку.

Из давно высушенной заготовки Иваныч сделал топорище той единственно прекрасной формы, которая, раз удавшись, уже навсегда остаётся с тобой. Потом насадил новую пазовку и пил чай, и боковым зрением видел свежую белизну топорища, и лежала отдельно правая рука Иваныча — тёмный горбатый кусок плоти, знающий и помнящий гораздо больше, чем способна вместить человеческая голова, и похожее на тяпку с полукруглым лезвием тесло стояло уже с тем отдельным, самостоятельным видом, с каким стоят, будто всю жизнь, вышедшие из-под мужицких рук топорища, лодки, дома... Перед сном Иваныч прошёл через огород к окладу бани. Было очень тихо, внизу чуть шелестел потихшей волной Енисей, и в синих, казавшихся в белом ночном свете особенно литыми, чугунами, листьях капусты лежали, как слитки олова, продолговатые лужицы воды от дневного дождя. Листвяжный оклад белел с тем задумчивым и загадочным видом, с каким белеют ночью такие вот оклады и срубы, в своей неподвижности будто ещё сильнее излучая мощную силу работы.

Прохладным солнечным деньком съездил Иваныч за мохом в своё место по Сухой, привёз в когда-то красной, а теперь обшарпанной до матовой серебрянности «Обухе»* пятнадцать мешков длинного ярко-зелёного кукушкина льна. За сруб взялся не торопясь, это была первая настоящая работа после больницы, от её успеха зависела вся его жизнь, с таким скрипом прилаживающаяся к болезни. Он не спеша размечал брёвна, выбирал чаши и пазы, и острый ковш нового тесла как в масло входил в жёлтую сосновую мякоть. Внутреннюю, избяную, сторону бревна он опиливал вдоль «Дружкой», стоя одной ногой на бревне, а другой на положенной вдоль лафетине, а потом крутил вверх плоскостью и строгал электрорубанком — тесать «в стене», как он это делал в доме, было тяжело. Уже выработался определённый ритм работы, однажды нарушив который, он потерял потом два дня на отлёживание и жрание таблеток. Стараясь особо не утруждаться, он клал в день по венцу, и ещё надо было съездить по самолу, посолить рыбу, сварить собакам, и, конечно, в первый день было особенно тяжело, но на второй Иваныч почувствовал, что

**Пазовка (прямое тесло) — развёрнутый наподобие тяпки топор, которым выбирают древесину при изготовлении долблёных лодок, корыт и пазов в брёвнах.*

**«Обуха», «Обь» — название лодки.*

если не будет горячиться, то, похоже, управится. Когда пришло письмо от Серёги, он уже обшивал фронтоны дюймовкой.

Доски на обрешётку лежали рядом на прокладках, так же как и уже подогнанные друг к другу стропила с затяжками, сложенный стопой шифер и кирпич. Заготовки на косяки и на дверь тоже давно были готовы, он выпилил их ещё прошлой весной, распустив «Дружбой» прямую толстую кедр. Он вообще любил пилить вдоль и, крепко всадив в бок балана острый зуб гребёнки, с ровным усилием погружать в кедровую мякоть свежеспиленную цепь, и глядеть, как сыплется из-под неё обильные длинные опилки. Толстый балан быстро превратился в стопу белых досок. Сошли они у него всё лето, накрепко прибитые скобами к стене мастерской. Когда он прибывал их, зашёл за дрелью младший Николаев парень, тоже Колька, и с любопытством наблюдал Иванычеву работу, а потом каждый раз, приходя, всё трогал шероховатую, с косыми следами цепи, поверхность и всё представлял, как, просыхая, корчится, из кожи вон лезет, стремясь изогнуться пропеллером, распятая доска.

Серёгино письмо как обычно растревожило, напомнило о том, о чём Иваныч старался не думать, о том, что сын уже несколько лет живёт в городе, живёт совсем по-другому, и всё то, на что Иваныч положил жизнь, ему попросту не нужно. А сделано было действительно много: кусок дикой тайги в ста верстах от Енисея он превратил в отлично оборудованный участок с избушками, лабазами и путиками*, первым пробил долгосрочную аренду участка с правом передачи по наследству, причём обсуждение последнего условия испортило ему особенно много крови, отгрохал новый дом на угоре на самом лучшем месте над Енисеем, выдержав тяжбу с районным архитектором, навязывавшим свой план застройки, выгнал из тайги и отремонтировал брошенный экспедицией вездеход, расчистил и расширил запущенный покос, сделал ещё тысячу малых и больших дел, которые имели бы смысл, если б Серёга остался, завёл семью, и они тогда бы вместе снова держали корову, и Иваныч бы переписал на него участок, но Серёга далеко, и вся жизнь Иваныча рассыпается и требует теперь особенной внутренней собранности.

...А денёк был хороший, и Иваныч любил работать на срубках, где уже дует свой верховой ветерок, и откуда как-то по-другому видится деревня, крыши, всё, что творится: вот поехал под угор за рыбой тракторист Сашка Семец, вот сосед примчался с самолёва и, озираясь, тащит на угор колыхающийся мешок с осетром, вот приехал с покоса его друг Николай, вот покрикивает он на своих сыновей, недостаточно дружно по его мнению вытаскивающих лодку, вот они поднимаются, старший тащит пустую канистру, средний топор, а младший, Колька, — котомку с пустой молочной банкой, сам Николай с нажатой солнцем рожей бодро приветствует Иваныча — резко поднятая, согнутая в локте рука и сжатый кулак, — и Иваныч, отложив доску, отвечает тем же. А потом притарахтел и ткнулся в каменистый берег почтовый катер, потом Иваныч спустился пообедать, и тут маленький Колька и принёс письмо. «Ладно, нужна рыба, значит, будет», — сказал Иваныч, стряхнув задумчивость, вышел на улицу и поглядел на небо.

Обычные для этих мест перепады давления он переносил всё труднее, и особенно тяжело было, когда задувал север, его любимая погода — ясная, холодная, с водяной пылью над взрытым ветром, синим, налитым металлом Енисеем и рыжим ночным небом.

Раньше он завидовал дедкам-пенсионерам, у которых наколото берёзовых дров на три года вперёд, всегда запасена береста на растопку и охапки лучины, завидовал снисходительной завистью молодого сильного мужика, у которого невпроворот забот поважней, чем заготовка черешков для лопат. Теперь он понимал, что это не от хорошей жизни и что этот же дед, если б так не болели ноги и спина, сам бы с удовольствием летал на «Буране» на яму**, подныривал самолёвы***, а не щипал бы впрок вороха лучины, не забивал огромные дровяники мелко наколотыми берёзовыми дровами и не ремонтировал чужие старые невода, стараясь как можно плотнее занять зыбкое стариковское время.

*Путик — ряд ловушек на пушного зверя, обычно длиной в дневной переход.

**Яма — место, где после ледостава скапливается красная рыба (стерлядка), туда ездят, ставя под лёд, то есть подныривают, самолёвы.

***Самолёв — снасть на красную рыбу, впрочем, довольно жестокая — рыба ловится острыми крючками прямо за тело.

Первое время Иваныч всё надеялся, что привычная обстановка, будь то выученное наизусть очертание берегов или любимые, давно знакомые предметы, вдвойне сильные какой-то своей драгоценной потёртостью, поддержат его, вытянут из беды, и так верил в силу всей этой обстановки, что часто в пылу, в рёве мотора и свисте ветра не замечал ни боли, ни тяжести в груди, и, только вернувшись домой, с ясной досадой понимал, что ничего не изменилось и что зря он себе морочит голову.

Но главным было то, что между состоянием борьбы за существование, которое он испытывал в особенно тяжёлые часы, когда нестерпимо давило за грудиной, ломило лопатку, отнималась рука и вся остальная жизнь с её заботами отходила куда-то совсем далеко, и между этой самой жизнью не было никакого зазора, никакой передышки, будто можно было или только падать в пропасть, или карабкаться по жизни, по её бесконечным и необходимым делам, потому что едва он приходил в чувство, сразу начинались дрова, вода, ещё что-то, что вскоре понадобится и о чём надо уже сейчас подумать, вроде животки, которую если с осени не поймашь и не посадишь в ящик в озере, то не на что будет зимой ловить налимов, и прочее, и что если ещё вчера ты почти навсегда распрощался со всем окружающим, то сегодня надо было возвращаться в него и как ни в чём не бывало двигаться дальше.

Иногда хуже всякой погоды отравляла мысль о Серёге. «Надо же такое ляпнуть, «скучно» здесь, что за натура такая! — думал Иваныч, для которого участвовать в смене сезонов было интересней всякого путешествия. — И вообще... Раи нет, Серёга в городе... Зачем строю? Эх, Рая, Рая...» И он некоторое время думал о своей шесть лет назад умершей от рака жене, очень доброй, немного странной и насквозь больной женщине, с большими навиками глазами и таким количеством прожилков на них, что казалось, и слёзы её тоже должны быть в прожилках.

Хотя Иваныч и говорил, что не знает, мол, зачем строит, всё он прекрасно знал, и то, что дела надо доводить до конца, и то, что скорее умрёт, чем позволит пропасть многовековому мужицкому опыту, и то, что ненавидит всякую временку, халтуру, лень, и презирает того давнишнего мужичка, у которого он однажды ночевал: в его избушке было полно щелей, но тот вместо того чтоб их добром проконопатить, каждый вечер затыкал уши ватой, съедал две таблетки аспирина, и, натянув шапку, заваливался спать.

Иваныч зачем-то ещё держал участок, платил аренду, но было ясно, что придётся с ним расстаться. Он продолжал обсуждать с мужиками-товарищами погоду, высказывать наблюдения и соображения о предстоящем сезоне, входил в их проблемы, будто тоже собирается в тайгу, будто не знает, что этого не будет больше никогда... А всё так ярко стояло перед глазами: осень, заезд, гружёная деревяшка, волнистые берега с растрёпанной тайгой, Сухая — широкая, мощная, плоская, в водоворотах зыбкой мыри река, пласт прозрачайшей голубоватой воды, которую хотелось выпить, навсегда принять в душу, чтоб она уже больше никогда не мучила, не снилась, не изводила больничными ночами. ...Добраться под вечер до первой избушки, уже в темноте с фонариком сходить на берег, проверить лодку, груз, принести ведро воды, с которой обязательно зачерпнётся несколько камешков... Кому, кому теперь передать эту изученную до каждого камня реку, избушки, выросшие на твоих мозолях, эти затёртые нары, стол, отполированные портянками вешала над печкой?.. А даль меж мысов, завешенная будто светящимся снежным зарядом, а ночное, полное звёзд небо после долгой непогоды? Бывало, неделями не видишь этой красоты, смотришь на небо только по делу, переживая за сено или дорогу, а на берега — с верёвкой от кошки в руке, ожидая пока сойдётся створ с высокой ёлкой*, но вот небольшое окно в работе — и взглянешь на пелену дождя, растворившую берега, и так обдаст далью, будто ты всё ещё тот паренёк, какой когда-то сюда приехал, только тогда красота была новая, яркая, а сейчас знакомая, притёртая, как старый инструмент, который любишь за вложенную в него душу.

*Сойдётся створ с ёлкой (створ — это судовый знак). Иваныч искал самолетов по метам, то есть выбросив из лодки кошку на верёвке, грёб, пока не сойдутся меты на берегу — створ с сухой ёлкой.

И опять эта осенняя Сухая, пятисоткилометровая река, стекающая с низких голых гор, широкая и очень мелкая по сравнению с этой шириной, и россыпи камней у берегов, по которым всё льётся, журчит вода, и красные осыпи высоких яров, под которыми вода тоже красная, и избушка на высоком берегу, и ночёвка, а с утра снова дальше; а небо уже почти зимнее, вроде бы затянутое, но облачность высокая и прозрачная, и всё — и мотор, и камни, и вода, — всё особенно металлическое, серебристое, алюминиевое. А вечером вдруг выйдет перед закатом ясное сдержанное солнце, будто смущённое собственным теплом, и нальёт воду холодной синью, а наутро вроде бы светло, но опять как-то серо, серебряно. Крокнет, кувыркнувшись на крыло, ворон — тишина, лишь мощно и отстранённо грохочет вдали длинный и глубокий порог, сжатый двумя каменными грядами-коргами, и сереют пожухлые кусты перед облетевшим лесом, и дымно лиловеют голые берёзы, и лиственницы тоже осыпались и стоят обнажённые, вздев свои изогнутые пупырчатые ветви, и лишь темнеют кедры и ели. И всё — и металл, и свет, и тишина, не то чтобы скорбные, а какие-то очень глубокие... Будто подбирает сама в себе что-то природа, и в тебе тоже все подбирается, подтягивается ожиданием и светлой тревогой. Утром падает за ночь вода, и лёд сначала обтягивает камни стеклянными куполами, а потом, лопаясь, топырится угловатыми кусками матового стекла вокруг вылупившегося булыгана, и вода уходит от берега, и если разбить голубое кружево, там окажется сушайшая галечка, и уже схватило морозцем подстилку в тайге, и ноги в юфтевых броднях с матерчатыми голяшками уже зудят и готовы бежать за дальний хребет. И всё за тебя, и зовёт, и говорит: только работай и не ленись. Вот и хлеб замёрз, и уже не зачерствеет в прибитом к ёлке ящике, вот лодка будто сама вылезает на обледеневшие камни, вот и рыбу солить не надо, сложил на лабазок — и она так и схватится вместе с розовой слизью оползшим пластом. А поначалу вроде нет ни птицы, ни белки, ни соболя, а потом глядишь, засвистел рябчик, собаки глухаря подняли, а вот и первый соболь, — внимательная ушастая голова в развилке лохматой кедры и уже пора настораживать*. Так всегда торжественно и веско произносится это слово — не потому ли, что осенью каждый действительно будто настораживает в себе чуткое к невыразимой красоте природы сердце охотника.

Где-нибудь у капкана с очепом* возле кедры с длинной рыжей затесью нахлынет старинное воспоминание, засветится, как заплывшая смолой затёска на душе, сделанная десять или двадцать лет назад, когда первый раз шёл здесь, рубил путик, вспомнилось что-то далёкое, и оно теперь на всю жизнь привязалось к месту, и так и вспоминается уже столько лет подряд, не давая покоя душе.

Край яра, откуда видна продолговатая лиственничная сопка какого-то очень таёжного вида, и поворот реки, особенно волнующие, когда идёт снег и очертания хребта едва угадываются в снежной дымке. Здесь вспоминал Иваныч далёкий год, Слюдянку, и похожего на кряж деда с упрямой седой головой. Он глядел на сизый Байкал, на длинные, набегающие со спокойным гулом валы, на синие зубчатые горы на той стороне и говорил кому-то стоящему рядом: «Седо-о-ой, красавец, батюшка...», и такая великая и неподдельная гордость звучала в его слегка дрогнувшем голосе, что Иваныч до сих пор не мог спокойно вспоминать об этом дне, хотя сам был теперь почти таким же дедом.

Длинная очень основательная кулёмка в редком и необыкновенно аккуратном кедраче перед подъёмом в гору. Здесь Иваныч вспоминал Гаврилу Теплякова, мужика, у которого стоял искусственный клапан на сердце. Раз тот поехал по сено, но ударил мороз, и он не смог завести свой тоже еле живой «Буран» и пришёл пешком, а потом они с Иванычем, тогда ещё молодым, ездили за «Бураном». И был мороз, и тянул хиус, и на покосе стоял заиндевелый старенький красный «Буран», и следы на истоптанном снегу, и круглый отпечаток паяльной лампы, и копоть, и сторевшая спичка были особенно неподвижны и покрыты мельчайшей голубой пылью. Иваныч раскочегарил паялку до реактивного рёва,

*Настораживать ловушки на соболя.

*Очеп — приспособление для зависания попавшей в капкан добычи наподобие журавля.

до прозрачной газовой сини из побелевшего сопла и долго грел чёрную от копоти ребристую рубашку цилиндра, стараясь не жечь и без того оплавленные провода. Помнил он медленные движения Гани, как тот тяжело дышал, время от времени морщился и потирал левую половину груди, синяки под его усталыми глазами и красные веки, и спокойную твёрдую руку с выпуклыми жилами и татуировкой «Ганя», не спеша прилаживающуюся к пластиковому огрызку стартерной ручки. Потом затарахтел «Буран», сначала на одном цилиндре, потом на обоих, и клубилось вязкое белое облако выхлопа, и часть его гнутыми волокнами утекала под капот в вентилятор, и Иваныч заткнул вентилятор тряпкой, чтоб сорокаградусный воздух не охлаждал и без того холодные цилиндры. Потом они накидали сено на сани, и, когда увязывали воз, Иваныч, не рассчитав силы, слишком сильно потянул верёвку и сломал промёрзший нетолстый, с экономией сил сделанный Ганей бастрик*, и измученный напряжением вечного нездоровья, Ганя вспылел, сказал в сердцах: «Да что за наказание такое!», и хотя это относилось скорее не к Иванычу, а ко всей жизни, было смертельно досадно за свою неосторожность. Иваныч быстро вырубил новый бастрик, они увязали воз и поехали. Как назло, напротив Самсоных у Иваныча вдруг перехватило топливо, и он остался снимать насос, а Ганя, шедший передом, ничего не видел из-за воза и вскоре скрылся за мысом, а потом, отцепив сани, вернулся и терпеливо ждал, пока Иваныч ставит насос и разбирает карбюратор. Привычно стыли мокрые от бензина пальцы, кусалось железо, и Иваныч, чувствуя, каким напряжением даётся Гане и это возвращение, и ожидание, старался делать всё быстро и был до тошноты зол на себя и за бастрик, и за карбюратор, и чувствовал себя ничтожным по сравнению с этим мужественным и терпеливым человеком. Потом они сидели у Гани за бутылочкой, и тот рассказывал про мужика в больнице, который лежал не первый месяц готовый к операции сердца и всё, как он выражался, «ждал мотоциклиста», и Иваныч представлял себе этого мотоциклиста, молодого, бесшабашного и не подозревающего о том, что его ждёт. Ганя вскоре переехал под Красноярск.

У ручья, текущего как по дороге по огромным камням, зарастающим ледяными шапками, он вспоминал, как умирала от рака Рая. Её измученные виноватые глаза в прожилках, и то, как она говорила, что, мол, скорее бы уж, а сама, бедная, всё просила лучше закрывать дверь, «а то продует», и то опустошающее облегчение, которое испытал он, войдя в комнату и увидев её каменное лицо, восковой лоб и темную струйку мёртвой крови из неподвижно приоткрытого рта.

А у большого капкана на краю тундры** вспоминалось детство, дед и покос. Дудка, хвощ, таволжник, волосняник, который мужики называли крепким словом с прибавкой «...волосник». Как шёл ранним утром по покосу, спотыкаясь о срезанные дудки, в которых вогнуто стояла ночная вода и весело брызгала в глаза, а потом спросил у деда, откуда вода, если ночью дождя не было. Дед ответил с каким-то почти возмущением от его необразованности, что при чём тут дождь, «земля-то гонит!», и велел скидывать сено в копны. Ещё он лазил по тальникам с казавшимся тяжеленным топором и рубил подпоры, и было нестерпимо жарко, и вилась тучами мошка, залезая под рукава, в штаны, в глаза, и он брал у деда мазь из дёгтя с рыбьим жиром и мазал изъеденное потом лицо. А когда он лежал в кровати с закрытыми глазами, всё шевелилось в руках блестящая рукоятка вил, пересыпалось перед глазами сено, и всё цеплялась, не слезала с зубца трёхрожек увядшая макаронина дудки, и всё это отвлекало, не давало заснуть, и стало спокойно на душе, только когда он представил, как тихо сейчас на покосе, как стоят литовки и вилы у зарода***, как молчит скошенная трава, и, продолжая в тишине таинственную работу, гонит воду неутомимая земля, наполняя соком срезанные мёртвые дудки.

*Бастрик — толстая жердь, через которую верёвкой утягивают воз.

**Тундра — верховое болото, открытое место.

***Зарод — стог.

Серёга был похож на Иваныча, такой же курносый, с крепким подбородком, но черноглазый и тёмноволосый, в кого-то из материнной родовой. Характером в мать, такой же непредсказуемый, запылённый, он всё торопился начинать дело и так же быстро сгорал, остывал, отступал. Во время сборов в тайгу он всё торопил отца: «Бать, да чё тянуть, встанем пораньше и поедем, к двум уже у Медвежьего будем». Иваныч раздражался: «Сколь раз говорил, не плантуй!», и действительно, всё выходило по-иванычеву, опаздывал тракторист увезти груз, а у Серёги убегала плохо привязанная сучка, и в результате они выезжали только после обеда. При всём при этом Серёга был и добрый, и смекалистый, и когда ему хотелось, мог свернуть горы. Крепкий, подкаченный, следящий за собой, в драке Серёга с ходу приходил в состояние истерического бешенства, и сладу с ним не было никакого — в деревне его боялись, хотя и ценили за кураж и остроумие, однажды он пришёл в клуб на танцы с квадратной коробкой хозяйственных спичек, которую доставал из кармана пиджака с особенным уморительным шиком. Любил спать и спросонья был по-детски вялым и почти беспомощным. Любил дурачить приезжих. Однажды с серьёзным видом объяснял туристам с теплохода, что каменная гряда, которую натолкало на берег весенним льдом, — это специальная дамба для защиты от весеннего наводнения. Кто-то спросил, как же вы, мол, эти камни таскаете, а Серёга с гордой обидой отрезал: «Так вот и таскаем. Всю зиму на собаках возим».

Был он человеком настроения, и в работе при всех здравых на первый взгляд рассуждениях всё делал бестолково потому, что не учитывал сложности обстоятельств и именно своих же собственных настроений. Любил тяжёлые разовые работы, но не мог изо дня в день терпеливо тянуть одну и ту же лямку. В работе у него было два состояния: или восторженное, когда что-то получается, или кисло-истерическое, когда не клеится, и если для Иваныча главным было сделать так, чтоб не пришлось переделывать, то для Серёжки главным было побыстрее освободиться. Как-то раз Иваныч слышал, как он говорил приятелю: «Скучно здесь. Хочу заработать и не могу — негде. Батя, конечно, молодец, но в хрен мне не грюкало так здоровье гробить...» Дальше следовал рассказ о дальневосточном городе, где Серёга работал на судоремонтном заводе во время службы во флоте, и о его фантастически деловом и удачливом приятеле, с которым они катались на мощном и очень низком двухдверном автомобиле с турбонаддувом.

— А мне грюкало? Мне — грюкало? — всё не мог успокоиться Иваныч. — Тебя же, дармоеда, кормить-подымать, в тайге хребет рвать!» С хребтом у Иваныча действительно была беда. Как-то он едва нагнулся к капкану, как буквально сперло дыхание от острейшей боли, охватившей позвоночник, причём не только со спины, а ещё и изнутри, из живота. Он кое-как выпрямился и подгоняемый сорокапятиградусным морозом шаг за шагом аккуратно донёс свой отказавший хребет до избушки и там ещё несколько дней лежал на нарах, выходя на каждую колку дров, как на пытку.

Быть охотником Серёге нравилось во многом, конечно, из-за престижности этой профессии, но работал он в общем-то сносно, делом интересовался, пытал старших, в избушках с жаром обсуждал с отцом тонкости, но придя с промысла, гоняя на «Буране» по посёлку с невозмутимо расправленными плечами, короткими стремительными движениями руля поддерживая «Буран» на неровной дороге и общаясь с приятелями, за один день так отдалялся от отца и его интересов, что шли насмарку долгие месяцы общей таёжной жизни. Обычно охотники, придя из тайги, шли делиться пережитым друг к другу, а Серёга шёл к продавчихину сыну, у которого была «тёлка» в Дудинке и интересы которого вращались вокруг видеокамер, пива и сигарет, и с которым они могли часами обсуждать сорта батареек. В разговоре с этим Вовкой он даже как-то снисходительно говорил об охоте, будто эта деревянная, сырмятная, снежная, потная жизнь была не всепоглощающим потомственным делом, а лишь чудаческим дополнением ко всему остальному.

Серёгина Ленка, очень стройная, прямо ставящая ступни деваха, с пышными светлыми волосами и почти всегда опущенными глазами, стучала короткими и остроносными ре-

зиновыми сапожками по дощатому тротуару и, поравнявшись с Иванычем, быстро вскидывала глаза и бросала: «Здрасьть», будто говоря: «Ну да! Такая вот я и есть, а ты, хоть старый пенёк и уважаемый человек, а туда же». Однажды она так же вот шла навстречу, и рядом вился малец, чем-то ей досадивший, и тогда она выстрелила примерно следующее: «Здрасьть (пшёл на хрен!) эт я не Вам». Ленка работала радисткой на метеостанции, одновременно выполнявшей и функции аэропорта, а до этого радисткой на почте — у неё был ценнейший в таком деле резкий высокий голос. Ленка передавала телеграммы, и Иваныч, выписывая по каталогу запчасти, слышал за перегородкой её резкий голос: «Чехова пятнадцать! Че-хо-ва: человек, Егор, Харитон... Че-хо-ва. Дуплякиной, Ду-пля-ки-ной, — дупло! Всё? Понято», щелчок тумблера, и Ленкин смешок: «Х-хе, «прохождение»... Уши мыть надо!»

Баба она была со стержнем, за своё стояла насмерть, и чуть что — начинала орать своим удивительным голосом, пока не добивалась победы. Звали её Большеротая. Была она сирота, жила с древней бабушкой, носившей зелёные очки, и считала, что и начальник, и Иваныч, и все на свете Серёжку обижают, зажимают и норовят обделить всем чем можно. Особенно гордо и терпеливо ухаживала она за ним, когда он болел. А болеть он, по выражению Иваныча, «любил».

Сам Иваныч, да и все его товарищи, переносили «любую заразу» на ногах, а Серёга, едва хватив простуды и захлюпав носом, становился кислым, включал телевизор и заваливался на диван с книгой. Однажды у него долго болел большой палец на правой руке, после того как он богатырски, с перекидом на обушок, насаживал на топор витую еловую чурку, как шкантами стянутую сучьями, и большой палец неудачно попал между обушком топора и широкой, как наковальня, колочной колодой. Он всё потирал палец и морщился, раздражая недоверчивого Иваныча, а потом, когда приехал пароход с врачами, Серёге сделали рентген, и оказалось, что палец у него был сломан и уже сросся. Иваныч совершенно запутался в Серёгиных недомоганиях, но после случая с пальцем стал осторожней. Но раздражение оставалось, и справедливое, потому что этот палец был неспроста, и всё упиралось в эту сучкастую витую ёлку: у Серёги была манера, уже заехав на охоту, искать и валить на дрова эти самые сухие ёлки, вместо того чтоб заранее напилить листвяка или кедры, поколоть и сложить, чтоб сохли.

Ещё у Сереги всё время болели зубы. Ближайший зубной врач находился за триста километров, правда, иногда летом приезжал на недельку-другую какой-нибудь запойный зубной техник из дальнего города. Но летом Серёге обычно было не до зубов, а прихватывало его, «как обычно» — язвительно разводил руками Иваныч, зимой в тайге в самый разгар охоты, и тогда, переполошив по радиации окрестных охотников, он то тащил рассыпавшийся зуб пассатижами, то вспарывал флюс ножом, то пилил наполовину оторвавшийся мост надфилем.

Много лет они ездили на старых Иванычевых моторах, и тот рассчитывал, что Серёга на сданную пушнину возьмёт себе нового «вихрюгу», и это снимет нагрузку со старой техники, а Серёга ехал в город и покупал новый дорогой телевизор и галогеновый фонарь. Но поскольку покупал он на свою честно заработанную долю, упрекнуть его вроде было не в чем, хотя всё это было отступлением от их общих интересов. И такие отступления встречались на каждом шагу, и всё не происходило того, чего Иваныч с такой надеждой ждал — встречного участия сына в делах и постепенного переноса их тяжести на Серёгины плечи. Серега всё продолжал считать отца начальником и организатором хозяйственной жизни. Но когда тот начинал его попрекать за какую-нибудь недоделку, выпучивал свои навывкате глаза и кричал: «Я мужик! Ты чё, батя, меня попрекашь!», и закатывал пьяные истерики, а потом спал до обеда, раскинув руки с большими бицепсами, вздымая ровным дыханием красивый смуглый торс со съехавшим крестиком, и рядом на столике, где стояла пепельница с окурками и катышком жевательной резинки, всю ночь молотил магнитофон с автореверсом.

В конце концов Иваныч разделил всю технику, но, как он и думал, кончилось тем, что Серёга свою не чинил, хотя она у него была в вечно разобранном виде, и это называлось

«не видишь, я «Бураном» занимаюсь», и когда надо было вывезти дрова, шёл к отцу, у которого всё было на ходу. При этом время от времени Серёга наводил у себя в комнате тошнотворный порядок, выглядевший как издевательство по сравнению с тем, что творилось в мастерской, и Иваныч, еле сдерживая раздражение, шёл к соседу Петровичу, в небольшой хибарке которого всегда было полно стружек и прочего хлама, но весь инструмент — топоры, рубанки, ножовки и цепи — были выточены до бритвенной остроты.

Отношения усложнились, они решили разделиться уже полностью, и Иваныч сказал: вот тебе половина техники и вот тебе половина участка, делай что хочешь, ко мне не ходи, и у тебя есть такие-то вот обязанности, например, дрова, рыбалка и огороды. Тогда Серёга решил уйти от отца и жить самостоятельно, для чего надо было строиться. Однажды ночью Серёга притащил среди ночи какого-то ярцевского бича, которого ссадили с теплохода за пьянку. Через этого Стёпку Серёга решил достать строевого сосняка, которым так славились леспромхозное Ярцево. «Ну что, Степан, сделаешь мне леса?» — спрашивал он Стёпку грозным деловым тоном. У Стёпки была рассеченна губа, и в кровавом треугольнике расселины удобно лежала «беломорина». «Накосить, — отвечал он, приседая и проводя широкий круг рукой, — накосить они тебе накосят, а вот с транспортировкой — тут я пас». Эту фразу он повторил раз сто пятьдесят пять, вставая, идя на Серёгу и обдавая его перегаром.

Иваныч еле терпел этого Стёпку, но Серёга твердил: «Батя, ну человека ж не выгонишь на улицу, его и так, как собаку, выпнули». Прожил он у них два дня, надоел смертельно, и когда Серёга, отдежурив целую ночь, посадил его на теплоход и оба они, облегчённо вздохнув, сели за чай, вдруг раздался стук и ввалился Стёпка, который за пять минут успел напиться и подраться с какими-то бичами и прыгнуть в лодку к не знавшему предыстории почтарю. Стёпку в конце концов отправили, а затея со стройкой как-то умерла сама собой.

Серёга всё не мог забыть своей владивостокской жизни, по сравнению с которой жизнь, выбранная отцом, несмотря на все свои прекрасные стороны, была в несколько раз тяжелее своей непреходящей ломовой тяжестью, постоянной заботой по поддержанию существования, какой-то смертельной привязанностью человека к природе и быту, ежегодным повторением борьбы со снегом, ветром, дождём — за сено, которое съестся коровами, за дрова, которые сгорят, за лыжницы и дороги, на глазах заметаемые снегом, который весной растает вместе с лыжницами, дорогами и снежными печурками для капканов, за всех этих глухарей, тайменей, соболей, чья свежедобытая красота так восхищает душу, а в итоге как-то оскорбительно неравноценно меняется на запчасты, комбикорм и консервы, от которых тоже вскоре не остается ни следа. Всё это так угнетало Серёгу, что он тайком начал готовить себя к совсем другой жизни, которую язык не поворачивается назвать иначе, чем нормальной. Через пароходских, которым он сдавал рыбу, у него появились завязки в Красноярске, он ездил туда, и однажды зимой после охоты на подлёте к городу он испытал вдруг такое облегчение, что больше никаких сомнений в дальнейших планах быть не могло, — у него было чувство, будто он вырвался на свободу. Недельное ожидание вертолёта, очень сильные морозы, пьянка в дизельной, во время которой он напился и, заснув, стал подмерзать на цементном полу, и потом, не приходя в чувство, как зверь, переполз под тёплый ветер радиатора, опохмелка в грязной остяцкой избе, где ничего нет, кроме стола и железной печки, а потом изжога от плохой водки и боль застуженного зуба, и мрачный Иваныч, особенно жестокий в своей немногословности. Потом вертолёт снова не прилетел, и было мрачное морозное небо, в котором холодно мерцал красный огонёк какого-то другого не севшего вертолёта, а на другой день в обед он всё-таки вылетел, и в посёлке удачно пересел на диксонский рейс, и всё это — и дизельная, и изжога, и мрачное ночное небо — вдруг остались далеко позади, и сразу прошёл зуб, и были огни, и празднично освещённые витрины, и на сиденье автобуса хорошо одетая девушка с книжкой «Боевые собаки мира», и какое-то совершенное расслабление всего существа.

Однажды в конце лета он даже задержался на месяц, чем здорово подвёл отца: они договорились вместе ехать завозить горючее на зиму. Прошли дожди, поднялась вода, и случай был — грех пропустить. Иваныч подождал-подождал, да и поехал один и, вываливая двухсотлитровые бочки из лодки, закатывая их на угор, всё думал: «Что за натура! Ей-бо-

гу, вольтанутый какой-то! Может, я в чём виноват? Да нет вроде... И всё время со мной парень был. Вот у Кольки трое — и все молодцы, и хоть тот и называет их «лоботрясами» и при других разговаривает с ними свирепым голосом, живут-то они душа в душу...»

Особенно хорош был средний сын Лёшка, по кличке Дед. Звали его так за сходство со своим дедом, колькиным тестем, дядей Митей Чёрт Побери, старым, очень кряжистым остяком* с такими короткими ногами, что казалось, он по колено ушёл в землю. Лёшка, несмотря на свои пятнадцать лет, имел чёрные усики, тоже был очень кряжистый, ходил в бодрую перевалочку и всё делал на редкость ухватисто, заправски, даже с некоей юношеской избыточностью движений, но с невероятным жаром, прилаживал ли отпадающий стартер к «Дружке» или отчерпывал лодку берестяным черпаком. Дядя Митя, старый и уважаемый охотник и рыбак, когда напивался, через слово говорил «чёрт побери», причём произносил это по-остяцки отрывисто и отчётливо, сродни перепелиному «спать пора». В обычное время его особо не было видно, но, выпив, начинал бегать по деревне и с жаром здороваться со всеми двумя руками, выкрикивая отчётливой скороговоркой: «О, чёрт побери, как дела? Выпить есть, в самом деле? Всё по уму! О-о-о, чёр-т-т побери!» Примечательно, что через дом от Чёртика жил другой мужик, Николай Афанасьев, по кличке Бог, в свою очередь, прозванный так за выражение «В бога мать», тоже пожилой, но сухой, с худым и правильным бледным лицом и светло-синими глазами. Он сильно сельдючил* и отличался нечеловеческим трудолюбием и такой же нечеловеческой бережливостью, косил вручную, правда с помощниками, на десять бычков, и ходил всё время в одной, покрытой аккуратными мелкими заплатами фуфайке. У него был почти музейный жёлтый «Буран» первого выпуска, с непоцарапанной краской, на котором он возил дрова из лесу, причём оставлял «Буран» на дороге, а от поленицы они с женой, обливаясь потом, таскали дрова на нарточке. Дважды у него вылезала грыжа, и ему вызывали санзадание. Серёга одно время рыбачил с Богом промхозным неводом, и тот рассказывал сказочного колорита побасенки одного очень определённого направления, а колючих, застревающих в ячее ершей называл «гошударством». «Вон оно, ещё одно гошударство идёт», — говорил он, высвечивая фонариком надувающегося и манерно топырящего плавники ерша, и аккуратно вытаскивал его длинными сухими пальцами.

3

В ту осень Серёга, проявив необычайную прыть и изворотливость, и не без помощи Ленкиной глотки купил новый, в упаковке, трёхсотый «Нордик» финской сборки — серебристый, стремительных очертаний снегоход с дымно-голубым ветровым стеклом, похожим на леденец задним фонарём и электроподогревом рулевых ручек.

В начале сентября они с Иванычем увезли в тайгу отцовский «Буран» и бензин, и теперь везли Серёгин груз и новый «Нордик». Незадолго до отъезда Серёга гулял на водопутейском катере, и один матрос, Эдуардка Пупков, по прозвищу Бешеная Собака, с протезом переднего зуба, от которого отвалилась пластмасса и на её месте виднелась металлическая основа в каких-то очень авиационных дырочках, так вот этот вот Эдуардка рассказывал Серёге, как якобы занимался в Норильске водномоторным спортом и для повышения скорости шлифовал редуктор и винт, и Серёга, загоревшись, несколько вечеров подряд драил винт войлочным кругом, на что Иваныч только качал головой, зная, что вся эта шлифовка до первого камня. Забрасывались они на участок на десятиметровой дюралевой лодке, доставшейся им от одного охотника, skleпавшего её в городе на заводе. По бортам её были пущены две широкие доски, крашена она была тёмно-зелёной краской и

*Остяк — представитель коренной национальности — енисейских кетов.

*Сельдючить — от слова «сельдюк», житель Туруханского Енисея (по названию туруханской селёдки — ряпушки). У сельдюков особый говор, например, они произносят вместо «ш» — «с», вместо «ж» — «з», («серсавый», «нозык»). Сельдючить — это, значит, говорить по-сельдючы.

звали её «Крокодилом». На редкость громоздкий и неказистый «Крокодил» брал тонну груза и на волне ходил ходуном, как кисель, что и спасало его от перелома. Первые восемьдесят километров река текла довольно спокойно, а дальше шло несколько широких и мелких порогов, за последним из которых стояла их первая избушка. Вода была не самая, но всё же маленькая, и Илюшкины Шиверы*, и первые два порога Сергей поднял благополучно, всего несколько раз цепанув защитой — сваренным из уголка и прутьев ограждением для винта. С последним, Мучным, самым неприятным, у Серёги были свои счёты, в прошлом году у него здесь заглох мотор и он чуть не вывалил весь груз. Спасло то, что произошло это в нижней части слива. Мучной порог был самый нескладный, длиной метров сто, не столько даже мелкий, сколько с очень сильным уклоном и огромным числом камней, расположенных в шахматном порядке, так что каждый обойдённый камень перекрывал путь к отступлению. Самая пакость была вверху, где за огромным булыганом, через который белоснежными лентами валила стеклянная вода, начинался спокойнейший плёс, сквозь кристальную воду которого на многие метры виднелось выложенное плитняком дно. По сторонам от камня дрожали две выпуклые струи. В более мелком левом ходу было несколько метров ровного галечного дна, где вспененная вода текла стремительным, пугающе тонким пластом. Именно здесь обычно подымался Иваныч, с отсутствующим видом сидя за работающим на полняке тридцатисильным мотором и медленно с железной точностью и уверенностью ползя вверх. Правый ход, которым пошёл Серёга, был глубже, но требовал почти невозможного маневра, потому что как только ты входил в слив, сразу на выходе оказывался камень, и, чтобы его обойти, требовалось сделать движение румпелем вправо, но мотор тут же, откидываясь, переползал ещё один камень, и лодка, потеряв скорость, оказывалась опасно развернутой к течению. Сергей очень хорошо почувствовал через подскочивший мотор этот удар, хруст и видел, как Иваныч с перекошенным лицом пытался шестом выправить нос, а мотор в синем облаке дыма бессильно орал на срезанной шпонке, и Серёга не мог понять, почему не помогла защита. А они уже неслись, набирая скорость, и «Крокодил» с горой груза, бочками, с серебристым «Нордиком» всё сильнее разворачивало поперёк, несмотря на все усилия их шестов, и раздался один удар о камень, потом другой, и уже пронесло половину порога, и полностью развернутый «Крокодил» всей массой нёсся серёдкой на блестящий зелёный камень. Серёга зажмурил глаза, раздался страшный сложный звук, в котором слился и удар, и треск, и одновременно Иваныч отпустил веское, будто всё обрубаящее двусложное слово и вылетел за борт в обнимку с канистрой, успев натянуть на себя карабин.

Всё как-то вдруг замерло, застыло, переломленный пополам «Крокодил», колыхаясь, сидел, обнимая камень, задняя часть с «Нордиком» осела в воду, наполовину слезший с транца мотор упирался в дно, а ниже удалялся, качаясь в серебристой водяной толчее, чёрный вездеходовский бачок.

Истошно орут собаки, Иваныч, стоя по бедра в воде и держась за камень, кричит: «Ну чё опрутел?! Хватай канистру и прыгай!», а Серёга стоит в «Крокодиле» и то застёгивает, то расстёгивает ремень, не зная, снять озям* или нет. Устройство порога было таким, что они теперь оказались почти в берегу и, падая под напором воды, цепляясь за камни, быстро перебрались на берег, и, кажется, плыть пришлось один раз. «Крокодил» так и сидел двускатной крышей на камне, и из грохота воды волнами доходил собачий ор. Пока отжимались — вода ледяная, вот-вот снег пойдёт, — выяснилось, что Серёга поставил под винт только одну шпонку, что вторую бессмысленно ставить из-за канавки во втулке, и тут Иваныч от всей души обматерил его за этот отшлифованный винт с канавкой и пожалел, что не отобрал у него мотор перед порогом.

В избушке в двух километрах от Мучного они сушили и пили чай, и Серёга, который никогда ещё в жизни не чувствовал себя так гадко, после долгого молчания сказал: «Как же мы всё это гошударство вылавливать будем?» «Ладно, гошударство, — наконец усмех-

*Шивера — участок реки с камнями и быстрым течением.

*Озям, азям — охотничья суконная куртка.

нулся Иваныч, — «Нордьятину»-то мы найдём, а вот что с «Крокодилом»... — Он покачал головой: — Накосить они тебе накосят, а вот с транспортировкой...»

Стащили «Казанку», поставили «Ветерок» и поехали. Привязались к «Крокодилу», Серёга перекидал мокрых, топырящих лапы собак, подал лыжи, понягу, оружие, мешок. Когда он вытащил из противомедвежьей бочки мешок с крупой, облегчённый «Крокодил» угрожающе заходил под напором воды, и Иваныч заорал: «Режь! Утопит нас!», и Серёга вскочил в «Казанку» и перерезал верёвку, а Иваныч поймал за фал съезжающий «Крокодил», от которого тут же оторвался мотор. Они поволокли «Крокодила» по дну, видя под мощным пластом клубящейся дымчатой воды, как колыхался надорванный корпус от ударов по камням и как вывалился и потерялся из виду «Нордик». «Крокодила» они успели притащить к берегу раньше, чем их поднесло к следующему сливу, и долго на руках волокли по заваленному камнями мелководью, пока он не оказался на сухом, где выяснилось главное — дно цело, порвались только борта. Темнело, и в этот день успели лишь найти и достать мотор, казавшийся в воде изумрудно-зелёным, перетащить через порог и доехать до избушки.

Серёга никак не мог сосредоточиться, его волновало всё сразу: как искать «Нордик», далеко ли унесло бензин и как быть, отремонтировать «Крокодил» или ехать в деревню за другой лодкой, а Иваныч был спокоен, потому что знал, что надо просто всё делать по очереди. Выпили без радости, топили печку, утром намотали высохшие, затвердевшие коркой портянки и поехали к Мучному. Пока грелся чай, Серёга профукал мотор, снял маховик, вычистил каменную крошку и завёл. Оказалось, что у защиты отломился один ус, видимо, ещё в предыдущем пороге, и Иваныч опять с тоской и раздражением подумал о том, что Серёга должен был перед Мучным проверить защиту, а сам он должен был напомнить об этом ему, но не напомнил, потому что Серёга бы выпучил глаза и забухтел бы, что он «мужик» и сам всё знает.

Приготовив шест с крюком, верёвки и кошки, они уехали к порогу и начали поиск, заезжая под слив и сплавляясь на якоре. Сначала, правда, объехали самые вероятные места, выловили мешок комбикорма и видели ведро. Просматривалось всё насквозь, только отсвечивала вода, когда двигались против света. Буровили долго. Избороздили больше половины широченной реки, а «Нордика» всё не было, и уже ум заходил за разум, и было ясно, что ищут не там, и Серёга всё ворчал: «Мы здесь елозим, а он, поди, лежит себе спокойненько на камнях в Нижнем сливе». Но «Нордика» и там не оказалось, они спустили Нижний слив, за ним шла глубина метров шесть, плясала чёрно-синяя вода частоколом остроконечных волн, а ниже ходила по кругу пена в огромных чёрных воронках — и как искать там, было вовсе непонятно. Они сплывались ниже, выудили со дна ярко-зелёный армейский плащ, обнимавший камень, поехали вниз и нашли вездеходовский бак, стоявший в камнях у берега, а ниже, у Гришинского порога, — бочку с бензином. Вернувшись назад, они подняли Нижний слив и, поехав немного левее, чем обычно, вдруг наткнулись на ещё один мешок с комбикормом. Мешок вытащили крюком, Серёга заорал: «Давай дальше так же езжай!», и совсем под камнями у той стороны в хрустальной воде они увидели «Нордик», лежащий на боку во всём нелепом великолепии наклеек и отражателей. Подняли его и отволокли на верёвке мотором к противоположному берегу. «Нордик» не пострадал, капот был крепко застёгнут, поцарапалась только металлическая окантовка боковин, и разбился боковой отражатель. Серёга прокачал двигатель, завёл, прицепил лыжи и перегнал «Нордик» по пабереге за порог, откуда потом они увезли его к избушке.

На следующий день, съездив за заклёпками и досками, они собрали «Крокодил», облезлой зелёной краской и многочисленными заклёпками напоминавший старый бомбардировщик. Серёга собрал смолу с прибрежных избитых льдом ёлок, нагрел её в банке и с криком «Накосить они тебе накосят!» долил бензину, размешал палочкой, и смола вдруг сразу почернела и стала, как настоящий гудрон, только тёмно-коричневая, и Серёга подмигнул отцу, мол «могём изобрести, когда надо», и Иваныч проворно и аккуратно заливал швы «Крокодила», а Серёга размазывал гудрон палкой с намотанной тряпкой.

В избушке Иваныч сушил крупу и подсчитывал потери: не считая мелочовки, поте-

ряли только Серёгину противомедвежью бочку с комбикормом и сгущёнкой, но по-настоящему было досадно за новые «бакенские» батареи для радиостанции — старые сильно подсели ещё в прошлом году, и эти Иваныч с большими трудами выменял у Бешеной Собаки на стопку камусов*.

Иваныч с Серёгой поехали дальше. Листва с берёз облетела ещё не полностью, и ярко желтели листья. Установилась погода: по утрам ледок у берега, днём ослепительное солнце, резкие тени, блестящая синяя вода, желтизна тайги, дно в рыжих камнях и голубая гора над концом поворота.

С утра ездили за птицей. Был запотевший полиэтилен окна, и Иваныч, встав, вышел на улицу и глядел на космически синее небо со звёздами и стеклянное зарево восхода, а потом затопил печку-полубочку, она загудела, и затрепетала в такт рывкам тяги плёнка окна с зашитым следом от медвежьей пятерни.

Серёга долго грел мотор под капотом, и синий дым стелился волокнистой прядью над сизым от инея берегом, и отчаянный лай привязанных собак отдавался долгим эхом по хребту противоположной стороны. За поворотом за седой от инея каменной грядой на галечнике сидели, вытянув вверх шеи, три глухаря, какие-то особенно ненатуральные в напряженной неподвижности высоко задранных голов. Одного Иваныч убил из тозовки прямо на галечнике, а другой сел на листовень метрах в ста, и Серёга застрелил его из ружья. Обрато сплавлялись самосплавом. Припекало солнце, с шорохом опадал подтаивший ледок берегов, и на мелководье у охвостья галечного острова под выпуклым треугольником волны медленно удалялась литая торпеда тайменя.

Потом рыбачили сетями, потом Иваныч уехал вниз, а потом завернула зима, да так, что казалось, никакого лета и не было, и вообще ничего в жизни не было, кроме поочередного движения мохнатых лыжных носов перед глазами и упругого холодка капканной пружины в ладони.

Но вообще осень выдалась морозной и малоснежной, и Серёга, шарашившийся по своим дальним избушкам и ещё не видевший отца, не знал главную неприятную новость: то, что повылезали шатучие медведи и где-то сверху даже задрали двух охотников. Светло-розовым ноябрьским днём с редким сухим снежком Серёга подходил к избушке по хребтовой дороге. Несмотря на погоду, настроение было испорчено — собаки ещё с утра убежали по старому следу соболя и скорее всего вернулись обратно на Еловый, причём едва они убежали, сразу же стали попадаться свежие следы. «Ладно, если завтра не придут, сяду на «Нордик» и слетаю». Спускаясь к избушке, он увидел на старой почти задубой лыжнице неожиданно свежие крупные следы и тут же заметил, что с «Нордика» скинут брезент и нет стекла. Карабин он оставил в самой дальней хребтовой избушке, ружьё было как раз в этой, а с ним была тозовка калибра 5,6. «Блин, и собак нет!» Он постоял, помялся, сделал факел из палки и куска бересты, поджёг его для острастки, взял в другую руку взведённую тозовку и пошёл к избушке. Стояла она так, что, подходя, он видел её глухую боковую стену и выкинутые спальные, лампу, кастрюли, батареи, осколки напротив распахнутой двери. «От козлота! И собак нет!» — снова подумал Серёга. В морозном воздухе отчётливо слышался скрип развороченного пола — медведь завозился, почуяв Серёгу. Тот сделал ещё несколько шагов, и медведь вылетел в окно и на долю секунды замер, глядя на Серёгу. Серёга заорал матом, и медведь в три прыжка скрылся в лесу. Серёгу трясло, он схватил ружьё, искал патроны, не нашёл, потом зачем-то налил в собачий таз и поджёг солярку, и взялся заводить «Нордик», тот не заводился — было холодно. Натаяв в банке снега, нагрел его, полил на цилиндр, завёл и, пока тот грелся, накрытый брезентом, успокоился и поставил на подходах к избушке пару петель из троса, а потом уехал к отцу в избушку. Когда они вернулись, медведь уже сидел в петле. Всё вокруг было изрыто-испахано, снег покрыт бурой земляной пылью и бледно-зелёными клочьями мха, окрестные ёлочки и кедрушки изгрызены в щепки. «Трос не перебей», — не удержался Иваныч, глядя, как ретиво передёргивает Серёга затвор карабина. Сергей выстрелил в голову, медведь

*Камус — шкура с ног сохатого или оленя, используется для клейки лыж и для изготовления пимов (род зимней обуви, вроде коротких бокарей).

рухнул и, отдрожав мелкой дрожью, застыл рыхлой чёрной глыбой. Больше всего Серёгу поразило, что когда он уехал, медведь перебежал Сухую и забрался на угорчик — глянуть, не притаился ли Серёга за поворотом.

В избушке прибрались, привезли туда продуктов, и в общем всё кончилось удачно, единственное, что по реке было холодно ездить без стекла, и приходилось всё время останавливаться, открывать капот и греться под тёплой струей вентилятора, отдирая от бороды и усов сосульки.

Через неделю Поповы снова встретились. Иваныч пришёл поздно и застал Серёгу сидящим на нарах, беседующим по радиации с ближним соседом Вовкой Коваленко. Весь день Иваныч как-то с особой теплотой думал о Серёге, а тут снова почувствовал раздражение, увидев, как болтает Серёга, сажая еле живые батареи, тем более с Коваленко, который мог молотить языком сутками.

Коваленко обо всём говорил с небывалым жаром, всё путая и преувеличивая. На его участке, оказывающемся просто какой-то территорией чудес, всегда вываливало в два раза больше снега, давили антарктические морозы и водились особенно свирепые россомахи, которых тот называл «подругами» и которые разоряли Вовкины дороги, сжирая попавшихся соболей с особой, почти человеческой целенаправленностью. Естественно, что «подруга», если уж попадалась, то непременно каждой ногой в отдельный капкан, что называлось у Вовки «обуться на четыре ноги». Всё у него было особенное, огромные глухари или улетали из-под обстрела, будто бронированные, или падали к ногам ещё до выстрела, рыба, если ловилась, то «валила валом», и её «кое-как» удавалось перевалить в лодку вместе с сетью, а если не шла, то её непременно «как отрезало ножом». Вовкины собаки, как обезьяны, лазили по деревьям и норовили так «фатануть в хребет» за сохатым, что возвращались не раньше чем через месяц. Техника тоже у него работала по-своему, и ремонтировал он её тоже своим способом: «Ково? Колпачки? А я их ср-р-азу выбр-р-расываю! Р-р-релюшка? Ср-р-разу отр-р-рываю, напр-р-рямую всё пускаю!.. Пор-р-шня, цилиндр-р-р-а? Ср-р-разу р-р-разбираю...» и так далее — орал он на весь район, и казалось, что после столь решительных мер от мотора давно ничего не должно было остаться, кроме голого бешено вращающегося коленвала. При этом с охотой у него всегда всё было катастрофически плохо, и он опять вопил: «Да нету ни хр-р-рена! Голяк! Пустыня Гоби!», но на вопрос, «надавили» ли он всё-таки «пару десятков», не в силах удержаться, тяжело вздохнув, виновато отвечал: «Надавил».

— Ладно, Вовка, тут старшой пришёл, ворчит, как обычно. До связи, — попрощался Серёга с Коваленкой и весь вечер лежал на нарах с особенно скучным видом.

— Да ты чё скучный-то такой? — не удержался Иваныч.

— Да нет, ничего, — по-сибирски отдельно ударяя и на «да» и «нет», ответил Серёга и, сморщив лицо, потёр правый бок.

— Болееешь что ли? — насторожился Иваныч.

— Но. Есть маленько.

— Чё такое?

— В бочину отдаёт правую.

— А температура?

— Да то-то и есть, что температура.

— Большая?

— А я хрен её знат.

— На глаз надави, больно?

— Да вроде есть маленько.

— И давно?

— Да уже четвёртый день. Может, отравился чем.

— Едрит-т-т твои маковки! А чё молчишь? — сказал Иваныч и, подумав, добавил: — Завтра не ходи никуда.

Оба лежали каждый на своих нарах. Потрескивала печка. Ярko горели две лампы, и в бачках из литровых банок прозрачно желтела солярка. На стене возле Серёги было вырезано:

*Много в избушке набито гвоздей,
Здесь Серьга Попов добывал соболей.*

Кругом действительно было набито огромное количество гвоздей, на которых висела одежда, верёвочки, кулёмочные сторожки, мотки проволоки, ремешки, фитили для ламп, капканы, ножницы, старый узел перемещения от «Бурана», мясорубка, а у двери в полиэтиленовом пакете какой-то сплавленный доисторический комбиджир, который не ели даже мыши и не трогал здешний робкий молодой медведь, почему-то проверявший эту избушку только через окно. Комбиджир этот давно уже стал частью обстановки и, казалось, для того чтобы его выкинуть, потребовалась бы какая-то нечеловеческая решительность. Ошкуренные посеревшие брёвна были очень толстыми, стены рублены в точнейший паз, что вообще редкость в таёжных избушках, настоящие, как в деревенской избе, косяки были крепко влиты в дверной проём, а дверь из трёх широких плах отлично согнана. Иваныч эту избушку любил особо, он в ней начинал охотиться, она была единственной из десяти на участке, срубленной не им, и её редкостная добротность как бы с самого начала задавала тон всей остальной стройке.

— Батя, эту избушку кто рубил?

— Евдокимов.

— Но-но. Ты рассказывал... Это который кулёмки первый начал рубить. Долго он охотился-то?

— Да нет, недолго, года два.

— А потом что?

— Уехал, — сказал Иваныч.

— И стоило ради этого такое гошударство городить...

— С начальником разругался, — сказал Иваныч и перевёл разговор на кулёмки.

Иваныч сказал неправду. Евдокимов, тридцатипятилетний, бездетный, поразительно обстоятельный мужик, приехавший с бабой с Дальнего Востока и первый здесь начавший рубить вороговские кулёмки, не ругался с начальником. Избушку эту действительно рубил он, захав сюда весной. Проохотился он в ней два сезона, и под Новый год так и не дошёл до деревни — послали самолёт и нашли его в версте от этого места сидящим мёртвым на нарточке с выражением какого-то сумрачного напряжения на неподвижном лице. Иваныч помогал затаскивать его в клуб, где ему и сделал вскрытие прилетевший врач, — у Евдокимова «лопнул аппендицит».

На следующий день Серёга никуда не ходил, и вечером Иваныч решил связаться с деревней и посоветоваться с фельдшером. Серьга не возражал, но резонно заметил: «Главное, чтобы до Ленки не дошло, а то она всех на уши поставит». Иваныч попросил начальника позвать фельдшера и рассказал, что у Серёги четвёртый день «отдает в бочину» и температура. Слышно было плохо, как назло совсем сели батареи («с Коваленкой целый вечер протрёкал», — рыкнул Иваныч), и Иваныча дублировал Коваленко с присущим пылом. Фельдшер, понятно, не мог сказать ничего определённого, решили ждать и выходить на связь.

Но тут, как это выяснилось позже, в контору ворвалась Большеротая Ленка просить у начальника какие-то злополучные лампочки для метеостанции и услышала конец разговора. У Поповых как раз в это время совсем сели батареи, а когда Иваныч, перемазавшись в едкой чёрной жиже, разобрал самую живую из них, пересоединил пластины параллельно, временно добавив напряжения и вышел на связь, то с удивлением узнал, что вертолёт уже летит, потому что Ленка действительно «поставила всех на уши», угрожая, плача, матерясь и особо упирая на плохую связь и севшие батареи, припомнив и Евдокимова, и на всякий случай двух зажранных медведями мужиков и пригрозив фельдшеру, что всё равно вызовет вертолёт, как главная радистка. «Ты гляди-ка — «рано», — передразнила она фельдшера, — рана век не зарастет! — И заблуждалась на одной оглушительной ноте, не давая вставить ни слова: — Мужик мой пропадает, а вы здесь сопли жуёте! Ни хрена, слетают — не развалятся, когда им за рыбой надо — не спрашивают, кто платить будет, а вас всех по судам затаскают, если помрёт мужик!»

В результате прилетел вертолёт, и Серёгу увезли в район. Иваныч перебрал все «бакена», выбрал рабочие пластины, собрал временную батарею и иногда выходил на связь. Через две недели он с узнал, что Серёга уже в деревне и заходит на участок. Заходя, Серёга гудел в избушках у охотников, и по этому гудежу можно было следить за его перемещением. «Сколько же он водки взял? Больной... — недоумевал Иваныч. — Не всякий здоровый столько упрет». И до поры не приставал с вопросами.

Через три дня Серёга куролесил уже совсем рядом у Коваленки. Гудёж заключался в том, что оба, отбирая друг у друга микрофон, городили друг на друга всякую несусветицу. Например, Коваленко всё кричал, что, мол, мужики, спасайте, этот-то, приبلудный-то, верховской-то, аппендицитный, совсем заел, говорит, не кормишь меня, того гляди, из избушки выпр-р-рет, в катухе с собаками ночевать заставит, водку притащил, пей, говорит, собака, а мне её не наа... а «приблудный», давась от смеха и гремя кружками, отбирал у него микрофон и орал: «Мужики! Вы кого слушаете? Этот майгушашинский! Это такой пёс! Я к нему по-людски! Сидел, как швед, последний хрен без соли доедал, а тут ему выпить и закусить! Еле в избушку пустил, заморозить хотел! Слышь, бать, а? В катух! В катух к собакам, к Дружкам, значит, селит меня как бичугана! И таз! Таз суёт с комбикормом! Жри, говорит, пока лопаткой не огрел!» Тут Коваленко вырвал микрофон и заорал: «Мужики! Вы кого слушаете! Он почему в катухе-то оказался? У меня же сучка гонится! Дак этот кобель всех моих по... по... удди отсюда, пораски... пораскидал...» И тут оба завывли от хохота и временно затихли, чтобы выпить крепко разведённого спирта и закусить строганой максой — налимьей печёнкой, причём Серёга, услышав, как начальник жалуется, что не может улететь в район и третий день сидит на чемоданах, не поленился оторваться от закуски и крикнуть с полным ртом: «А че, на чемоданах нельзя улететь?»

На следующий день Иваныч встретил Серёгу на «Буране», и через полчаса в избушке Сергей доставал из поняги мгновенно заиндевевшую бутылку, пересыпающиеся с костяным стуком пельмени в мешочке и пакетик с мелким фигурным печеньем.

Серёга за дорогу так преуспел в остроумии, что уже ни слова не мог сказать нормально и на вопрос, что же с ним всё-таки было, ответил: «Этот застудил, как его, узел перемещения, короче, — Серёга хохотнул, — без стекла-то ездил и максу посадил, комбижир жрал, как индюк». Иваныч не сразу, но понял, что под узлом перемещения тот имел в виду паховый лимфоузел, а Серёга бодро налил водки и весь вечер рассказывал про главврача Тришкина, про свои залеченные зубы и про вредную, но красивую старшую сестру, за пятнистую шубу прозванную Ягуаровой. Потом Серёга пошёл кормить собак, а Иваныч лежал на нарах и, вспоминая эту осень, в который раз приходил к выводу, что опять всё вышло исключительно из-за Серёгина «дурогонства»: не поставил бы он свой дурацкий шлифованный винт с канавкой, проверил бы защиту — не утопили бы батареи, не поленился бы сделать стекло из жести — не продуло бы ему этот самый «узел перемещения», а были бы батареи — вышли бы на связь и, глядишь, не было бы никакого вертолёта и этого позора. Ну что за натура такая! И с комбижиром — какая печёнка выдержит, когда его даже мыши не едят — там нефть одна, а он на нём целую неделю хлеб жарил. Ну годик достался! Теперь, не дай Бог, случись что — и вертачину-то не вызовешь...

Потом вошёл Серёга, захотел чаю и вывалил на стол фигурные печеньюшки. Потом они выпили, разговор постепенно перешёл на излюбленную тему работы, и Серёга, который, чувствовалось, был теперь полон каких-то новых соображений, всё наседавал на отца:

— Вот ты, батя, всё сам делаешь, а на хрена, скажи, тогда профессионалы нужны?

Иваныч отвечал, что, мол, рад бы и не делать, да кто ж за него сделает, и вообще, какой ты мужик, если ничего не умеешь, а Серёга, ударяя на «да», говорил: «Да вы чё такие-то? Вот ты с «Бураном» копаешься, а любой механик всё равно лучше тебя шурупит, и так его сделает, что тот через два часа, как чугунок, стоять будет! Вот у нас Петя — на хрена он тогда техникум кончал? Пусть он тебе и делает, а ты б ему платил и от работы не отвлекался бы, и техника бы лучше ходила, и Петя бы при деле был. Каждый своим делом должен заниматься, — уже почти орал Серега, раздражённо перебирая пухлые буковки и рыбки печенья.

Иваныч тоже всё больше раздражался, чувствуя, как втягивается в какой-то пустой разговор, зашедший теперь уже о свободе вообще, причём по-иванычеву выходило, что свобода — это когда всё умеешь и ни от кого не зависишь, а по-серёгиному — когда просто много денег.

— Ладно! Как чугунок... — кричал Иваныч. — Ладно! Я хоть худо-бедно сам делаю, а ты пол-лета Петю прождал, а потом вы с ним так движок перебрали, что я до сих пор бутылки из мастерской выношу, а «Буран» как стоял, так и стоит. Как чугунок...

Серёга, не слушая Иваныча, орал свое:

— Взял, мужиков нанял, сам в тайгу, а они тебе дом рубят!

— Ладно, — продолжал Иваныч, — если б была у меня здесь мастерская, этот сервис твой грёбаный, что бы я, думаешь, мозолил бы мотор этот, как проклятый под угором, таскал бы его, падлу, взад-вперёд?! Сдал бы его на хрен, дал бы пару соболей... Вообще... Заколебал ты меня, Серьга, в корягу! — кричал Иваныч, ещё больше злясь, потому что сам не верил, в то что говорит.

— Батя-батя-батя, мозга не канифоль, — подняв палец, быстро заговорил Серёга. — Ты если б и в городе жил, и зарабатывал, и машина у тебя б была, хрен бы ты на мастерскую забил, и сам бы с ней копался, как... как всю жизнь копался, и за это люблю я т-тебя... не знай как... — Голос Серьги дрогнул, и он крепко зажал большую чубатую голову Иваныча согнутой в локте рукой и ткнулся лбом ему в висок. А потом налил, и они подняли кружки, и когда отец выпил, Серёга протянул ему китообразную печенюшку: — На вот кита тебе, — и так улыбнулся, что ещё долго светло и хорошо было на душе у Иваныча.

В декабре Поповы ещё по разу проверили капканы и поехали в деревню. У Коваленки они грелись и пили чай, а Вовка сидел на железной кровати, обдирая соболя, и по-хозяйски улыбался, а на стене висел портрет крашеной певицы из журнала с его припиской:

*Ты как будто вся из света,
Вся из солнечных лучей.
Мы с тобою до рассвета —
Сказка тысячи ночей.*

У Чёрного мыса они встретили Славку Киномошеника. Он вывозил лодку. Приходилось всё время ждать отстающих собак, и Серьга остроумно сообразил посадить их в «бардак» лодки, громко захлопнув крышку с криком «До связи!» Правда, потом на кочке люк открылся, и собаки радостно выскочили врассыпную, но это было уже возле деревни.

Весной Иваныч в который раз неважно себя почувствовал и поехал в район в больницу, где вдрызг разругался с главврачом, толстым холёным человеком по фамилии Тришкин, которого все звали Тришкин Кафтан. Тришкин не раз, казённо выражаясь, использовавший выделенные министерством лётные часы для посторонних целей, почему-то не мог простить Иванычу осеннего санзадания, грозил, что заставит оплачивать, и, выписывая направление в краевую больницу, имел такое выражение на холёном бабьем лице, будто делал Иванычу великое одолжение, а потом презрительно-авторитетным тоном заявил, что, мол, нечего здесь сидеть с такими болезнями и морочить людям голову, и раз так — уезжать надо в нормальный климат и прочее, отчего Иваныч пришёл в бешенство и сказал Тришкину всё, что он о нём думает.

Потом был Красноярск, обследование, анализы, тест на велосипед, называемый балагуристым дедком, соседом по палате, «велисапедом», потом был диагноз ишемии, потом Серёга уехал, сначала ненадолго, а вскоре совсем, причём как-то так поставив вопрос, что он не бросал отца, а наоборот, уехал в город «пускать корешки», потому что отцу, мол, всё равно придётся менять климат. Пустить корешки оказалось не так просто, но Серёга терпел, жил в общежитии у приятеля, с которым они торговали сцеплениями от маленьких японских грузовичков, а потом, использовав свои владивостокские связи, затеял с этим же приятелем какое-то уже другое дело.

По сравнению с общей бедой, когда твоё дело жизни оказывается ненужным сыну, сам отъезд Серёги был пустяком и почти не огорчил Иваныча, он даже испытал облегчение — можно было спокойно и не стыдясь чужих глаз подстраиваться под новые условия. В особо тяжёлые минуты Иваныч думал о Рае, чувствуя какое-то трогательное тепло, представляя, как она сидит рядом с ним, и это одно время помогало, а потом как-то исчерпало себя — нужно было решать что-то внутри себя, и если бы Рая даже была жива, её присутствие и поддержка всё равно помогли бы до какой-то границы. Однажды дело приняло неожиданный поворот — Иваныч вдруг вспомнил Большеротую Ленку и с каким-то злорадным сладострастьем представил её выложенное мягкими мышцами тело, длинные смуглые ноги, бёдра, плечи, её губы и тяжёлую линию челюстей, всю её сильную и теперь особенно жестокую в своей правоте красоту, и всё то, о чём никогда бы не позволил себе думать и чему был обязан только этой минутой отчаяния, единственным достоинством которой было сознание того, что никто никогда не узнает, о чём он думал. И вот, разочаровавшись в этих разовых средствах спасения, он нащупал в себе в общем-то не новое, но единственно прочное ощущение — это ощущение достойно прожитой жизни и необходимости такого же достойного конца. Самой смерти Иваныч не боялся, но в некоторые промежуточные моменты между приступами ощущал в себе унижайнейшую панику расставания со всем этим любимым миром, который, самое досадное, становился с каждым годом всё понятней, родней и благодарней при правильном обращении. А теперь он вдруг как-то очень хорошо почувствовал, что ведь дело-то обычное, ведь не первый он, ведь все те русские люди — плотники, печники, охотники, опыт которых он так берёт и с такой любовью продолжал, — все они в конце концов тоже умирали, и тоже стояли перед этим вопросом, и что если он видел смысл своей жизни в следовании их опыту, стараясь держать масть мужика с большой буквы, то это опыт-то не только плотницкий, печницкий, охотницкий, а самое главное — человеческий, самый ценный, потому что человеком труднее быть, чем хорошим охотником или плотником, — вот оно как... и так спокойно и твёрдо становилось у Иваныча на душе от этой мысли, что больше уже ничего не тревожило, кроме, конечно, Серёги.

Действительно, Иваныч как-то прискрипелся, и уже не один год прошёл с отъезда Серёги, и сейчас эта стройка так неуклонно, хоть и медленно приближалась к завершению и, действительно, будто стальной прут, выравнивала его было просевшую жизнь. Очень нравились Иванычу выстроганные стены, нравилось то, что на ту, где полук, он не поленился отобрать осину, чтоб смола не лезла в волосы, и несказанно радовала янтарным перистым рисунком отшлифованная потолочная балка со снятой фаской и овальным глазком сучка. «Всё-таки всё от земли», — с одобрением думал Иваныч, заливая фундамент, куда маленький Колька закидал специально собранные водочные бутылки. — Всё от неё, и дерево, и бутылки эти, и железяки все, — сопел Иваныч, глядя, как одним единственно-ровным образом устанавливается в квадрате опалубки зеленоватое зеркало раствора. — Всё от неё, и раствор этот, и кирпич, и глина, всё оно так, всё это понятно давно, непонятно только, — Иваныч, кряхтя, выволок в дверь пустую ванну от раствора, — непонятно дурость людская откуда берётся. А главное, что этот Матросов как всегда под утро припрётся — и выезжай к нему, бегай по трюму, как ужаленный, ищи этого Славку. И будет он не скоро, а икра пропадёт, а послать надо литра три. Так что хорошо, что Ленка едет. И рыбу увезёт, и икру. А главное, что это уже надёжно».

В самом деле было удачно, что Ленка ехал на знакомой побезимовке* в Красноярск. Самоходка простояла целый день, он не спеша погузил флягу и икру, и даже посидел в каюте с Ленкой и Лидой, его молодой женой, новым фельдшером, впервые за два года вырвавшейся в короткий отпуск. Правда, пить по случаю их отъезда он не стал, на что

*Побезимовка — тип самоходки (от Побезимово, где их делали).

Лида с профессиональным одобрением сказала: «А вот это правильно», но, сойдя на берег, с удовлетворением вычеркнул из сидящего в голове списка ещё одно дело и вернулся домой в хорошем настроении.

Так всё дальше и шло. На следующий день он уже начал класть печку — своей особой конструкции, двухтопочную каменку, где камни лежат на тракторных траках над одной из топков и прямое пламя раскаляет их добела за полтора часа. Работал он уверенно, уже зная все причуды своего здоровья, по-пустому не нагружая сердце, но и особо не позволяя себе расслабляться, и вообще чувствовал себя, как мотор, у которого было перехватило горячее, но который вот-вот уже профукается и пойдёт дальше. Через день он дошёл до разделки и установил высоченную колонковую трубу, заранее привезённую с брошенной экспедицией базы.

На пол у него давно была приготовлена пятидесятка, с ним он управился быстро — приятная работа, и ещё несколько дней ушло на дверь и косяки. Доски тоже были готовы уже давно, и дверь, самая главная и ответственная часть любого дома, с которой он, правда, провозился два дня, получилась отменная: четыре жёлтые, как сливочное масло, зашпунтованные доски-пятидесятки, согнанные с едва видными зазорами, намертво стянутые двумя косыми прожилинами и схваченные с торцов врезными планками.

Меж тем дело шло к осени, намечались новые дела, и Иваныч, управившись с полками, лавками и проводкой, решил побережь силы и предбанник отложить до весны, вкопав сейчас только столбы, чтоб не долбить потом мерзлоту.

Что печка удалась, он понял сразу, ещё когда только попробовал топить.

Стояла сырость. В пятницу после дождя всё было серым, только желтела лужа на дороге под угором и серела волна на Енисее, а над ней туча с размытым ватным краем, и белела под тем берегом полоска зеркальной воды, а вверх, в пятнадцати верстах светился освещённый солнцем свежее-зелёный мыс. Но что-то происходило, и в субботу с утра уже стояла ясная почти осенняя погода с лёгкой, очень синей рябью едва раздувающегося северка. Иваныч съездил выбрал самолетов и до обеда провозился у залитого слизью разделочного стола, складывая в таз розовые, в прожилках жёлтого жира, пласты осетрины, в то время как из чёрного собачьего ведра огромная голова с догорающими глазами продолжала судорожно выдвигать пластмассовый, похожий на кусок трубки, рот.

Посолив и спустив рыбу в ледник, Иваныч перекусил и, часок отдохнув, встал и не спеша натаскал воды в баню. Потом, чувствуя почти детское волнение, как перед долгожданным событием, наколол самых сухих, почти каменных берёзовых дров, заложил под каменку и поджёг тонко нащипанной лучиной. Печка разгорелась без единой струйки дыма наружу, слышались только треск занимающегося дерева и торопливое биение пламени за плотной чугунной дверцей. Иваныч вышел на улицу и долго глядел на трубу, из которой проворно и неопрятно валил густой сизый дым. Когда он снова подошёл к бане, труба гудела, как самолёт, и крепчающий северок загибал над нею хвост расплавленного воздуха.

Камни уже были малиново-красными, закладка прогорела, и он кочерёжкой утолкал часть углей в плиту и заложил теперь в обе топки. Дав прогореть и поймав момент, когда угли ещё сочно переливались пламенем, а камни были почти белыми, он закрыл вьюшку. Вода в баке уже вовсю кипела под крышкой. Он запарил в тазу пару веников и сходил домой за чистыми вещами и полотенцем.

Не спеша раздевшись, он вошёл в баню. Там было жарко мягким, со всех сторон охватывающим жаром. Он снял и положил на лавку сразу накалившийся крестик, погрелся на полке, мгновенно покрывшись мелким бисером пота, передохнул на улице, вернулся, надел шляпу и верхонки и, подождав, слегка поддал из ковшика. Камни свирепо выбросили струю пара, и сразу мутно потускнела лампочка в самодельном плафоне-банке. Иваныч прикрыл каменку и забрался на полку. Сразу сухо шибануло по носу, жигануло мочки ушей и тут же расплылось жарким блаженством по всему телу. Он посидел, кряхтя, отчаянно морща лицо, поддал ещё пару раз, достал из таза мягкий распаренный веник, стряхнул его и провёл по воздуху рядом с плечом, которое тут же обожгло горячей волной,

потом начал не спеша хлестаться, сначала сидя, с наслаждением отмечая, как хлётко загибается вокруг плеча веник, потом лёг на спину, ещё похлестал по груди и рукам, а потом задрал ноги и отходил бёдра, икры и с особой силой пятки, стараясь, чтоб прошло через толстую кожу, и бессознательно повторяя дедовы слова «пятки — первое дело». Потом слез с полка, сунул веник в таз и вышел на улицу. Приятно сипело в горле, и свистела кровь в висках, а по всему телу будто бегали, покусываясь, тысячи муравьёв. Он сидел на свежевystроганной лавке и глядел на Енисей, по которому уже всюду переваливались медленные валы. Отгребавшийся от берега мужик на крашенном сизой краской «Крыму»*, торопливо уложив вёсла, завёл мотор, включил реверс и, бросившись к штурвалу, прибавил газу и медленно поехал вдоль берега, тяжело разбрасывая белые пласты брызг.

Иваныч отдохнул и после раздумий поддал ещё раз, с удовлетворением заметив, что настой пара нисколько не ослаб, а даже как будто окреп какой-то обложной крепостью. Он ещё похлестался, чувствуя какую-то необыкновенную лёгкость во всём теле и особенно в горле и груди, и, ещё немного выдержав себя на крепость, вышел на улицу, и снова долго глядел на Енисей, а потом вымылся и уже в доме лёг без рубахи на диван, раздумывая выпить ли стопку или нет. И решил, что нет, потому что никогда не испытывал такой почти детской чистоты. «Не зря горбатился», — подмигнул он сам себе, а лёгкость всё продолжалась, какая-то даже сухость в груди, и в голове тоже было сухо и мягко, словно память отмякла, и свободно неслись будто промытые воспоминания, и все как на подбор такие важные и знакомые — вот Рая завершивает зарод, и последний пласт сена точно и аккуратно ложится в ямку на спине зарода, вот Серёга протягивает китообразную печенюшку, и нет на него ни зла, ни обиды, пусть живёт как знает... и ещё много всего другого... И так хорошо и ровно дышалось Иванычу его освободившимся от копоты нутром, что как был он без рубахи, так и вздремнул на диване.

А в это время всё раздувался север и что-то происходило с погодой, какая-то большая осенняя перестановка, и тётка Афимья, старый гипертоник, уже четвёртый раз просила племянницу измерить ей давление, а Иваныч уже не спал, а тяжело дыша, лежал на диване, сжимая в кулаке хрустящую таблеточную упаковку и поглядывая на свои в багровых рубцах плечи, чувствовал, что перестарался со вторым разом.

А потом настала ночь, а сжимающая и давящая боль за грудиной всё нарастала, и всё было понятно — и что Лиды нет, и придётся обойтись без укола, и что Тришкин есть Тришкин, и что надо съесть ещё таблетку и дотерпеть до утра, или на худой конец дойти до Кольки, если совсем тоскливо будет, и он ещё долго лежал, а потом встал и, выйдя во двор, вдруг упал как подкошенный, и мёртвой струйкой крови ушли в землю все обиды, раздражение, и ручейком расплавленного воздуха отлетела к небу душа Иваныча, никогда не бывавшая такой чистой, как сегодня, а за окном уже занималось утро и серебрились в синеватых листьях капусты слитки ночной росы, и Колька, собираясь с сыновьями на покос, сталкивал лодку.

Им оставалось поставить два зарода в двух километрах ниже, и они заехали на Старое Зимовье, где косили до этого, за вилами. Николай со старшим Стёпкой и с Дедом оставались в лодке, а маленького Кольку послали к зароду. Горько пахло тальниками, пряно — отцветающими травами и сеном, и маленький Колька бежал по покосу, и волочилась соломина на отрывающейся подошве мокрого ботинка, и блестела роса на солнце, и брызгала в ещё сонное лицо вода из скошенных дудок, будто говоря, может, действительно всё продолжается, пока текут реки, шумит тайга и гонит Русская земля таинственную влагу жизни.

*«Крым» — название лодки.

Памяти Сергея Есенина



АННА АХМАТОВА

Памяти Сергея Есенина

Так просто можно жизнь покинуть эту,
Бездумно и безбольно догореть.
Но не дано Российскому поэту
Такою светлой смертью умереть.

Всего верней свинец душе крылатой
Небесные откроет рубежи,
Иль хриплый ужас лапою косматой
Из сердца, как из губки, выжмет жизнь.

ВИКТОР БОКОВ

Памяти Есенина

На Ваганьковском кладбище осень и охра,
Небо — серый свинец пополам с синевой.
Там лопаты стучат, но земля не оглохла —
Слышит, матушка, музыку жизни живой.

А живые идут на могилу Есенина,
Отдавая ему и восторг, и печаль.
Он — Надежда. Он — Русь. Он — её Вознесение.
Потому и бессмертье ему по плечам.

Кто он?
Бог иль безбожник?
Разбойник иль ангел?
Чем он трогает сердце
В наш атомный век?
Что все лестницы славы,
Ранжиры и ранги
Перед званьем простым:
Он — душа-человек!

Всё в нём было —
И буйство, и тишь, и смирение.
Только Волга оценит такую гульбу!
Не поэтому ль каждое стихотворенье,
Как телок, признавалось:
— Я травы люблю!

И снега, и закаты, и рощи, и нивы
Тихо, нежно просили: — От нас говори!
Не поэтому ль так охранял он ревниво
Слово наше, светившее светом зари.

Слава гению час незакатный пробила,
Он достоин её, полевой соловей.
Дорога бесконечно нам эта могила,
Я стою на коленях и плачу над ней!

1965

БОРИС БУРМИСТРОВ

Кемерово

Подражание Есенину

Так и хочется осенью плакать навзрыд,
Или лезть в сумасшедшую драку,
Проклиная в сердцах неустроенный быт
И жалея себя, бедолагу.

Так и хочется осенью пьяному вдрызг
По разлитым, расплёсканным лужам...

Где земля — не земля, а крутящийся диск —
В этом круге лишь ветер да стужа.

Так и хочется осенью новой весны,
Отогреть бы озябшую душу,
А пока я хожу от стены до стены —
Никому в этом мире не нужен.

АНАТОЛИЙ ГРЕБНЕВ

Пермь

Сергей Есенин

Не о том ли всю ночь,
Безутешен,
Бьётся ветер
И плачет навзрыд,
Что Есенин убит и повешен,
И повешенным
В землю зарыт.

Сатанинские тёмные силы,
Превращая пустыню в страну,
Знали: в лучшем поэте России
Убивают Россию саму!

Стал для русского
В счастье и в горе
Всех дороже мятежный певец.
До сих пор у России на горле
От петли не проходит рубец!

ДМИТРИЙ ДАРИН

Москва

На Рязанщине в годовщину Есенина

Эх, мы б с тобой, Серёга, закутили,
Стихами наставляя синяки,
И добивали тех, кого бы пощадили
Отточенные лезвия строки.

Ты дело крепко знал своё, рязанец,
Но нынешние полухолуи
Из мутных душ выблёвывают глянец,
В расчёте русский дух переkreпить.

У нас, Серёж, поэтам не пробиться,
На помощь Блоков нет, один Костров.
И скукой заблокированы лица
Уставших от стихов редакторов.

Сейчас стихов никто и не читает,
Мошонки детективов теребя,
Господь людей в Любви не пытается,
Чертовски жаль, что рядом нет тебя.

Здоровых научают жить калеки,
Мы всё-таки — невиданный народ,
Давно фонарь разбивший у аптеки,
Чтоб нам лекарства не горчили рот.

Отпел молебен благостный Владыко
В Успенском небольшом монастыре,
Стояли чинно все. Крестились тихо,
Поднявши очи, как всегда, горé.

А я стоял, сжав кулаки в карманах,
Молиться на тебя — ты б не простил,
Хотя твой лик разлит везде в рязанях,
Как раз об этом ты и не просил.

Поэтом быть сейчас не так уж трудно.
Блюди размер, не слишком трогай власть...
Вот отчего поэтов ценят скудно —
Заезжим не мешают души красть.

Чтоб Родину любить — не много надо,
Достаточно поменьше воровать,
И тупо не мычать в угоду стаду,
А так... глядишь, не нужно помирать.

Твоя судьба — для нынешних наука,
Что кормят бесталанной блататой
И портят карамельками для слуха
Здоровый вкус оставшихся с тобой.

Так нынче разгулялись скоморохи,
Трещотками забив негромкий звон.
Тебе у нас, Серёж, жилось бы плохо,
Да нам самим у нас житьё, как стон.

Как помешать таким вливать отраву,
Тут надобно всё сердце изорвать.
Вот для чего нужна большая слава,
Чтоб на любовь погибель обменять.

Под сорок лет, день в день, когда устало
Тебя земля родная приняла,
Как будто ей поэтов было мало,
Меня мать в Ленинграде родила.

От гибели твоей почти полвека
Я не был до рожденья своего.
Эх, загулять бы с этим человеком
И наплевать, что пять на одного.

И пусть всю беснуются кликуши,
Ведь без таких, как ты, у нас цинга,
С которой гнилью выпадают души
На листья погребального венка.

И на Никитском ты б стоял, трезвея,
Довольный тем, что бронзой прозвенел.
Тебя в стихах я заменить не смею,
А в «Англетере» — просто не успел.

Москва, октябрь 2005

НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ

Кореновск Краснодарского края

* * *

Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою!»

С. Есенин

Как надоели разговоры:
Цинизм острот, намёков яд.
Уйду туда, где лисьи норы
И на полянах мухоморы
Галлюцинации копят.

И там, в тиши, родимым краем
Пройдусь я молча, не спеша...
А между родиной и раем
Любовь бы выбрала душа.

* * *

Только синь сосёт глаза.

С. Есенин

Пал и колокол, и пушка
Не у дел. Горят мосты.
И стоит одна Царь-кружка,
А вокруг — кресты, кресты...

А кто жив, тот обессилен —
Пала Божия гроза!
Потеряли мы Россию,
«Только синь сосёт глаза...»

АНАТОЛИЙ ЗМИЕВСКИЙ

Из поэмы «Сергей Есенин»

1

Перевернута навеки кружка,
громыхнул казённый табурет...
«Ты жива ещё, моя старушка?
А меня, родная, больше нет».

Смысла нет с судьбою препираться
и жалеть о пепле и золе;
чтоб о жизнь и смерть не замараться,
надо не родиться на земле.

Как нелеп на липах и рябинах
траур, но приходится, Рязань,
тихо вспомнить обо всех любимых,
тихо охнуть и закрыть глаза.

В грудь хозяину с растерянным упрёком
ткнулся мордой ошарашенный Пегас.

Смерть пришла как будто ненароком,
хоть и годы длился смертный час...

Загодя всё зная про развязку,
вон уже враги несут венки.
Папка со стихами нараспашку
стала фоном для качающихся ног.

Час двенадцатый, он всё-таки пробил,
и на цифре «тридцать» стрелки скрючились...
Кто-то молвил: «Сам себя сгубил».
Кто-то всхлипнул и шепнул: «Отмучился...»

Вот и всё. За розовым туманом
изрыгает сажу чёрный дым.
Русь, хранимая беспомощно и рьяно,
сторожем оставлена своим.

Онемели щебетуны сёстры,
головы склонил кабацкий сброд,
и топились в прорубях и вёдрах
звёзды в двадцать пятый год.

Канул в синь красавец златоглавый,
вписанный в поэтов жития,

где при Блоке — блоковская слава,
ну, а при Есенине — своя.

Не прося живущих огорчаться,
ввысь ушли закопанные вниз.
Никому не брошена перчатка.
Ни в кого. Лишь в собственную жизнь.

2

Подмигнув васильковым глазом
сдобной деве с медовой косой,
ты взошёл на макушку Парнаса
среднерусскою всей полосой!

И просыпал поэмы с черёмух
на античный седой кипарис!
Пусть взорвут азиатскую дрему
азиатские страстность и риск!

С орхидейной красой и отравой
пусть рябины смешается кровь,
пусть овеет всемирная слава
безымянных собак и коров!

Раздобыл ты особенных красок
для сердечных своих теремов;

высока ты, вершина Парнаса,
но не выше российских холмов!

Хоть в урочищах, прячущих женщин,
заплутал ты, всех сразу любя,
за стихов твоих каждый венчик
Сам Господь расцелует тебя!

Плачет ветер в берёзовой кроне.
Ты пришёл и ушёл налегке —
словно в сумерках солнечный промельк
пробежал по овражной ольхе.

До свиданья, мой друг, до свиданья!
«До свиданья» не значит «Прощай».
Предвещает листвы опаданье
не пургу, а заоблачный май.

1989

ГЕОРГИЙ КОЛЬЦОВ

Кашира Московской обл.

На Ваганьковском кладбище

Прохладно было. Сыро по-осеннему.
И листья в скверах дворничихи жгли.
Мы шли на день рождения к Есенину.
На кладбище Ваганьковское шли.

Шли пионеры, старики и женщины.
Тут, в напряженье каждого держа,
Вселялась в нас чуть грустно и торжественно
Бессмертных строк открытая душа.

Мы круг тесней у памятника сузили —
И приглушая в голосе металл,
Читала женщина: «Поэтам Грузии»,
А я «Письмо от матери» читал.

О чём-то о своём вдруг всхлипнул пьяница,
А старый клён листвою прошумел,
Мол, кто к стихам, хоть грубовато, тянется,
Тот нежность сохранить в себе сумел.

Смеркалось быстро. Каждому, наверное,
Хотелось с ним побыть наедине...
Мы отошли. Открыв бутылку вермута,
Глазами отыскиали в стороне,

Неровно листопадом занесенную,
Могилку безымянную с крестом,
И выпили. Сначала за Есенина,
И за Россию-матушку потом.

ЛЕВ КОТЮКОВ

Москва

Вспоминая Есенина

Было всё — и ничего не стало.
И метель упала на крыло,
Замела тропу на полустанок,
Замела дорогу на село.

А казалось — всё навек забыто.
Оказалось — помнится сполна.
Обвалилась зеркалом разбитым
В тишь и стынь полярная Луна.

Ни души!.. Метель промчалась мимо.
Как метель, полжизни пронеслось.
Думал утром свидеться с любимой —
С нелюбимой свидеться пришлось.

Только свет безумный и бесплодный,
Только уголь полночи в окне,
Только угол, где паук голодный...
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?!

* * *

Отговорила роща золотая.

Безумья сон — Россия и Есенин:
Как с яблонь дым, опал двадцатый век.
Идёт навстречу рощею осенней
С чужою бл...ю чёрный человек.

Но сгинул сон. И о стекло разбился
Холодный гул последнего дождя.
Как будто я сквозь землю провалился,
А после провалился сквозь себя.

И сквозь меня проходит, как затмение,
Чужая жизнь, а может, и не жизнь.
И бьётся небо о чужую землю,
И рвётся роща золотая ввысь.

Я ничего давным-давно не знаю,
И студит душу горечь забытья.
Отговорила осень золотая,
Отговорила, сволочь, без меня.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

Сергей Есенин

Спасибо Грузии за то,
что встретила радушно словом
и что запомнила его
красивым, золотоголовым.
За то, что русский человек
пришёл сюда в такие дали,
чтоб вспоминать рязанский снег
и улыбаться от печали.
Вперяясь в гробовой туман,
он задержался на пороге,
и на прощанье Тициан наполнил голубые роги,
как будто неба зачерпнул,
висящего над Пантеоном...
Прижизненный нестройный гул
сменяется посмертным звоном.

...Светало. Не хватало сил
для жизни. Розовело небо.
Я где-то рядом ощутил дыхание огня и хлеба.
Вошёл в пекарню. В полутьме
шла неприметная работа,
и кто-то, обратясь ко мне,
сказал приветливое что-то
и протянул горячий хлеб
и чачу в стакане гранёном...
Смолкает гул весёлых лет,
сменяется посмертным звоном.
И равнодушный свет луны
струится над земным величием,
над мерзлотою Колымы
и над Ваганьковским кладбищем.

1968

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

Сергею Есенину

Вы ушли, как говорится, в мир иной.
Пустота... Летите, в звёзды врезываясь.
Ни тебе аванса, ни пивной.
Трезвость.
Нет, Есенин, это не насмешка.
В горле горе комом — не смешок.
Вижу — взрезанной рукой помешкав,
собственных костей качаете мешок.
— Прекратите! Бросьте! Вы в своём уме ли?
Дать, чтоб щёки заливал смертельный мел?!
Вы ж такое загигать умели,
что другой на свете не умел.
Почему? Зачем? Недоуменье смяло.
Критики бормочут: — Этому вина
то... да сё... а главное, что смычки мало,
в результате много пива и вина.
Дескать, заменить бы вам богему классом,
класс влиял на вас, и было б не до драк.
Ну а класс-то жажду заливает квасом?
Класс — он тоже выпить не дурак.
Дескать, к вам приставить бы кого из напостов —
стали б содержанием премного одарённой.
Вы бы в день писали строк по сто,
утомительно и длинно, как Доронин.
А, по-моему, осуществись такая бредь,
на себя бы раньше наложили руки.
Лучше уж от водки умереть,
чем от скуки!
Не откроют нам причин потери
ни петля, ни ножик перочинный.
Может, окажись чернила в «Англетере»,
вены резать не было б причины.
Подражатели обрадовались: бис!
Над собою чуть не взвод расправу учинил.
Почему же увеличивать число самоубийств?
Лучше увеличь изготовление чернил!
Навсегда теперь язык в зубах затворится.
Тяжело и неуместно разводить мистерии.
У народа, у языкотворца,
умер звонкий забулдыга подмастерье.
И несут стихов зауспокойный лом,
с прошлых с похорон не переделавши почти.
В холм тупые рифмы загонять колом —
разве так поэта надо бы почтить?
Вам и памятник еще не слит, —
где он, бронзы звон или гранита грань? —
а к решеткам памяти уже понесли
посвящений и воспоминаний дрянь.
Ваше имя в платочки рассóплено,

ваше слово слюнявит Собинов,
 и выводит под берёзкой дохлой —
 «Ни слова, о друг мой, ни вздо-о-о —ха».
 Эх, поговорить бы иначе
 с этим самым с Леонидом Лознгринычем!
 Встать бы здесь гремящим скандалистом:
 — Не позволю мямлить стих и мять!
 Оглушить бы их трёхпалым свистом
 в бабушку и в бога душу мать!
 Чтобы разнеслась бездарнейшая погань,
 раздувая темь пиджачных парусов,
 чтобы врассыпную разбежался Коган,
 встреченных увеча пиками усов.
 Дрянь пока что мало поредела.
 Дела много — только поспевать.
 Надо жизнь сначала переделать,
 переделав — можно воспевать.
 Это время — трудновато для пера,
 но скажите вы, калеки и калекши,
 где, когда, какой великий выбирал
 путь, чтобы протоптанней и легче?
 Слово — полководец человеческой силы.
 Марш! Чтоб время сзади ядрами рвалось.
 К старым дням чтоб ветром относило
 только путаницу волос.
 Для веселия планета наша мало оборудована.
 Надо вырвать радость у грядущих дней.
 В этой жизни помереть не трудно.
 Сделать жизнь значительно трудней.

1926

ИЛЬЯ НЕДОСЕКОВ

Москва

Сергею Есенину

Тишина деревенской Руси
 Треплет рыжего клёна локон.
 Тёплый дождь, выбиваясь из сил,
 Льётся в землю берёзовым соком.

Всё здесь, плача, молчит о тебе.
 Всё здесь молится, тихо вздыхая...
 Сквозь печаль серебристых небес
 Промелькнёт журавлиная стая...

До сих пор всех бросает в дрожь
 Твоей жизни суровая полночь...
 До сих пор всюду ржавая ложь,
 Что плела фарисейская сволочь!

Лезла в душу всякая дрянь,
 И смердела упрёков плесень.
 Неужели собачья брань
 Заслонила бы свет твоих песен?!

Неужели чёрная грязь
 Разлилась бы в словесных узорах?!
 Бирюза твоих ласковых глаз
 Навсегда отразилась в озёрах...

Но завяли глаза, как цветы,
 Глядя в жадно-надменные лица...
 И гордятся слепые скоты
 Своим мифом о самоубийце...

Нет, не верю! Не верю в ваш хлам —
Мемуарам и некрологам
В вечной буре трагедий и драм
Он остался чист перед Богом!..

Отцвела белоснежная гладь...
На губах — только запах жасмина...
И недаром старая мать
Отпевала умершего сына...

ЕЛИЗАВЕТА ОВОДНЕВА

Тайшет

Памяти Сергея Есенина

Говорили, мол, Серёженька,
Не взлетай, как ястреб, к солнышку.
Обожжёшься, скинет Боженька,
Разобьёшься, словно стёклышко.

А Серёженька: «Ну, скажете!
Вон, какая красотища-то:
С высоты Русь не изгажена,
С высоты она — не нищая».

Только власть, что Божий пасынок,
Не даёт дорогу избранным:

Острой бритвою опасною
Крылья режет свыше присланным.

...Наша жизнь в предел закована
За кладбищенской оградой,
Ибо — всем нам уготовано
Жить предельною отрадой.

Там, под каменным под натиском,
Где калиточка уронена,
На великом на Ваганьковском
Пол-России похоронено.

АЛЕСЬ ПИСАРИК

Минск

На Ваганьковском

Сергею Есенину

Ясень плыл цветочною рекою —
Может, вспоминал на склоне лет
Одинокий день, когда с тоскою
Исповедь свою читал поэт.

Память превращается в руины.
Кормят Русь целковыми с руки.

На московских улочках старинных
По тебе тоскуют кабаки.

Льётся вечер с ясеневого веток,
Душу оживил нетленный свет.
Белый чуб. Седеющее лето.
Мудро улыбается Поэт.

АНДРЕЙ РЕБРОВ

Санкт-Петербург

Есенин. «Англетер»

Светло бескровное чело,
Пролом, темнеющий над бровью...
Твоё последнее тепло —
Стихи, начертанные кровью.

НИКОЛАЙ РУБЦОВ

Сергей Есенин

Слухи были глупы и резки:
Кто такой, мол, Есенин Серёга,
Сам суди: удавился с тоски,
Потому что он пьянствовал много.

Да, недолго глядел он на Русь
Голубыми глазами поэта.
Но была ли кабацкая грусть?
Грусть, конечно, была... Да не эта!

Вёрсты все потрясённой земли,
Все земные святыни и узы,
Словно б нервной системой вошли
В своенравность есенинской музыки!

Это муза не прошлого дня.
С ней люблю, негодную и плачу.
Много значит она для меня,
Если сам я хоть что-нибудь значу.

ВЛАДИМИР СКИФ

Из цикла стихов о Есенине

1. Айседора Дункан

Танцевать — суть полёта и света,
Чтоб на время набросить аркан!
Пролетела, как будто комета,
По Москве — Айседора Дункан.

Так разбойно, так мягко летела,
То кружила, то шла напролом —
И рязанского парня задела
Лёгкой туникой или крылом...

Ах, какая смертельная пляска!
Ах, какая безумная страсть!
Никогда ещё так не влюблялся,
Чтоб хотелось убить иль украсть.

А она всё пьяней вовлекала
В омут слёз, поцелуев, колёс...
Как забавно любить хулигана!
А оно оказалось всерьёз.

Словно школьник, урок повторивший,
Словно мальчик из сказки лесной,
Он летел над Берлином, Парижем
С Айседорой, с любовью, с женой.

Вот истории давней страница:
У причалов — и крики, и свист,
На поэта глядит заграница:
Хулиган! Большевик! Скандалист!

Ах, газетные волки в восторге,
Объектив — это, как пистолет...
...Хорошо поскандальить в Нью-Йорке,
Коль ты вправду — скандальный поэт.

Он повсюду кутил и шатался,
А под утро, уставший, курил...
«Никогда бы я здесь не остался!» —
Айседоре, ярясь, говорил.

...Я смотрю на него издалёка,
В сердце горечь и смута, и страх.
Как Россия светло и жестоко
Отпечаталась в этих глазах!

Сколько сини и сколько простора
От озёр и от колкой стерни...
Ты верни его нам, Айседора,
Из пропавшего века — верни!

1975

2. Августа Миклашевская

Как подобья великих нашествий,
Тополиные плыли снега.
Точно так же в окно Миклашевской
За строкою летела строка.

Ты ловила дыхание поэта...
Как в бреду, он тебя окликал...
Ты узнала в то знойное лето,
Как умеет любить хулиган.

Эти строки известными стали,
Это — исповедь, музыка, боль:
«Позабылись родимые дали,
В первый раз я запел про любовь.

В первый раз отрекаюсь scandalить...»
Это было, как будто, вчера...
Чьи-то руки с поэтом расстались,
«Чьи-то кони храпят у двора...»

У поэта пристанища нету...
Ты гадала ему «на орла»,
Ты подбросила в небо монету,
А монета «на решку» легла.

Ты гадала, а в окнах светало,
Расступалась колючая мгла...
И однажды поэта не стало:
Ведь монета «на решку» легла.

Суеверие, горечь, простуда,
Суесловие — всё стороной.
Ах, какое несчастье — проснуться
В это страшное утро — одной.

И не думала ты, не гадала,
Запираясь в четыре угла,
Что петля и кусочек металла —
Инструменты вселенского зла.

Как он больно искал сострадания
И участия близких людей...
«До свиданья, мой друг, до свиданья!»
Ты любимое платье надень...

Попрощайся со мной! Я во гробе.
Жизнь ужасна. Могила сыра.
«Не вчера ли я молодость пропил,
Разлюбил ли тебя не вчера?»

1975

3. Галина Бениславская

«Ты такая терпеливая, —
Говорили ей с опаскою, —
Ты такая несчастливая...»
Так ли, Галя Бениславская?

Ты к Есенину привязана,
Как звезда — дорогой Млечною,
Безысходностью и разумом,
И делами бесконечными.

Дарованье это редкое —
Быть любовницей и нянькою...
Нелюбима ты, но преданна
Всею кожей, всей изнанкою.

Нелюбима ты, и всё-таки
Он тобой судьбу просчитывал
И любовь твою высокую,
Словно книгу, перечитывал.

Уходил, когда ты — ласковая,
Приходил, когда ты — грустная.

Как спасала Бениславская
Босняка, поэта русского!

Что ж, вы, женщины влюблённые,
Да с поэтами распутными?!
Ах, как волосы смолёные
С золотыми перепутаны!

Золотые кудри пламенем
Или ветрами рассеяны...
Приходила ты оплакивать,
Как дитя своё — Есенина.

И случилось, как загадано,
Как задумано, завещано:
С ним осталась на Ваганьковском
Эта трепетная женщина.

В ночь декабрьскую ненастную,
Грозным веком не оценена,
Застрелилась Бениславская
На могиле у Есенина.

1976

4. Живой Есенин

Ни души в лесу осеннем,
Зачарованном, пустом,
Только прячется Есенин
За ракитовым кустом.

Кличет белку ли, синичку
Среди сосен и берёз.
Вон мелькает сноп пшеничных
Непричёсанных волос.

Сердцу страшно, сердцу сладко,
Я себе не верю сам.
Неужель со мною в прятки
Он играет по лесам.

Нет, наверно! Ведь Есенин
На земле один царит
И в своём лесу осеннем
Только с Богом говорит.

Ветки... петли расплетают,
Из стихов сияет нимб,
А земля и даль святая
Стелют Вечность перед ним.

Всю-то осень без оглядки
Я ходил за ним чумной...
В декабре — живые прядки
Стали выюгой ледяной.

2006

ВЛАДИМИР СКУРИХИН

Сергею Есенину

В этом мире поэтов немало,
Но немного поэтов в седле.
Половину из них расстреляли,
Половина погибла в петле.

И по этим же скорбным предчувствиям
Я ступаю в есенинский круг.
Непокорно-родные созвучья
От угара уводят на луг.

Знаменитый, в английском костюме,
Опрокинувший веру — в любовь,

В никому не раскрывшейся думе
В зорьных росах предчувствовал кровь.

Дом, река да бессмертная Лира
Плыли в девичьей робкой слезе.
Но утеха утех не входила
В дух бесстрашный и чуждый везде.

...Мир завидовал лёгкой походке
И тому, как вы нежны и грубы...
Перед вечностью мы — одногодки,
Перед женственностью — однолюбы.

ИГОРЬ ТЮЛЕНЕВ

Пермь

* * *

А на дворе апрель. А не февраль.
И скоро май, и ласточки к нам в сени...
А на моём столе раскрыт Есенин,
Он для поэтов Родины — букварь.

И я его люблю, как дети даль.
Другие имена — глаголы те же.

Я пью слова, как водку пьёт москаль
С любовницей на крымском побережье.

Струна любви от ветра так звенит,
Что на морском песке дрожат русалки.
И первый лучик от небесной прядки,
Расплавившись, по жёлобу бежит.

2003

ВЛАДИМИР ФИРСОВ

Москва

На родине Есенина

Ещё не поросли тропинки,
Что слышали твои шаги.
И материнскою косынкой
Ещё пестрят березняки.
И говор леса, говор дола,
И говор горлинок в лесах
Зовут тебя к родному дому,
Счастливого или в слезах.
Им всё равно, каким бы ни был, —
Найдут и ласку и привет.
По вечерам играет рыба
И бабочки летят на свет.
И розовеющие кони
В закатном отсвете храпят.
И в голубых туманах тонет
Пугливый голос жеребят.
Всё ждёт тебя.
Всё ждёт, не веря,
Что за тобой уж столько лет,
Как наглухо закрыты двери
На этот самый белый свет.
Ты нам оставил столько сини!
А сам ушёл, как под грозой,
Оставшись
На лице России
Невысыхающей слезой.

ВАЛЕРИЙ ХРАМОВ

Ангарск

Сергею Есенину

Рощи голые дремлют, Спит под снегом жнивье. Он пришёл к нам на землю — Взбудоражить её.	Белокурый повеса Из крестьянской избы.
Словно солнечный дождик Сквозь словесную глушь — Хулиган и художник Человеческих душ.	Верил твёрдо и свято В златоглавую Русь, Алым маком заката Сеял нежную грусть.
Не боялся ни беса, Ни ударов судьбы	И в любой части света, Кто в Россию влюблён, Помнят имя поэта Из далёких времён.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Памяти Сергея Есенина

Брат по песенной беде —
Я завидую тебе.
Пусть хоть так она исполнится
— Помереть в отдельной комнате! —
Скольких лет моих? лет ста?
Каждодневная мечта.

...И не жалость — мало жил,
И не горечь — мало дал, —
Много жил — кто в наши жил
Дни: всё дал, — кто песню дал.
Жить (конечно не новей
Смерти!) жилам вопреки.
Для чего-нибудь да есть —
Потолочные крюки.

Начало января 1926



НАДЕЖДА ДЕГТЯРЁВА



Таёжный чай

РАССКАЗЫ

Чужой бог

Посвящается Любови Ефимовне Синице

К новеньким в отделении привыкли все: люди приходили на день-два, кто на неделю, долго не задерживались. Вот и эта женщина, Валя из Улан-Удэ, пришла в палату, поздоровалась, быстро разложила свои вещи на тумбочку — начались разговоры. Обычно к новенькому присматривались — идёт человек на контакт или нет. Шёл — разговаривали, стараясь отвлечь от тяжёлого диагноза. Замыкался в себе — не трогали. Не каждый мог в такой ситуации весело болтать.

В палате уже лежали две женщины: Ирина, лет пятидесяти, и Любовь Егоровна, самая старшая. Ирина с Любовью Егоровной уже встречались в предыдущие курсы химиотерапии, тоже как-то лежали в одной палате. Новенькая, подтянутая, стройная женщина, чуть младше Ирины, с чёрными волосами без единой сединки, держалась стойко, в подушку не рыдала, верила, что победит болезнь. Она ездила в Иволгинский дацан, молилась там, и ей сказали служители, что она вылечится, всё будет хорошо.

Любовь Егоровна, статная женщина, красивая в своей старости, бывший медик из Братска, носила православный крестик — покрестилась уже давно, ещё до того, когда ей впервые поставили диагноз рак.

ДЕГТЯРЁВА Надежда Петровна родилась в 1957 г. в Тайшете. После школы трудилась на заводе по ремонту дорожно-строительных машин слесарем-сверловщиком. Окончила Братский индустриальный институт, работала технологом. В 1994 г. перешла на службу в мэрию, а в 2006-м — в администрацию района. В настоящее время — председатель совета ветеранов района. Первые рассказы вышли под псевдонимом Анастасии Мишиной. Печаталась в газете «Мои года», журнале «Завалинка», в альманахе «Новый Енисейский литератор».

Ирина в церковь заходила, знала много про религию, но покреститься не торопилась — тут каждый решает сам.

В больнице, где ты не один в палате, не очень-то любили, когда какая-нибудь соседка по койко-месту пыталась свои болячки переложить на твои плечи. Помочь, укрепить духом — пожалуйста, а вот ноющих выслушивать — тут уж, извините, своих проблем хватает. Валентина радовала своей бодростью, и все женщины быстро подружились, насколько это можно было в данный промежуток знакомства.

— Девочки, на обед! — заглянула в открытую дверь раздатчица. — Быстренько, быстренько!

— Ира, мне только супчик принеси, — попросила Любовь Егоровна. Она передвигалась с трудом, тарелку ей было не донести до тумбочки, и Ира, как самая шустрая среди них двоих, всегда носила еду ей в палату.

— Ну вот, опять голодовку объявляете! Как сказала врач, вам надо не просто есть, а жрать! Чтобы были силы сопротивляться! Я вам всё принесу, а вы попробуйте поешьте. Компотик будете?

Кормили в отделении много, сытно, но еда после капельниц просто не лезла в горло, и многие даже не пытались что-то втиснуть в себя...

После обеда Валентина достала из сумки какую-то маленькую штучку, взяла её в руки и что-то стала шептать. Остальные ей не мешали, просто прислушивались к бормотанию, думали о своём. Так и задремали в послеобеденной тишине.

Позже Любовь Егоровна не вытерпела.

— Что это у тебя такое? — спросила, показав на фигурку маленького божка.

— Это Хотэй, бог здоровья, достатка, удачи. Видите, он несёт полный мешок, в руке у него ложка. Он ей раздаёт здоровье и удачу. Надо попросить его об этом, потерять ему животик — и исполнится.

— А ничего, что я православной веры? Он всё равно услышит? Можно и мне его попросить?

— Да попросите! По этому поводу он вроде ко всем одинаково добрый, всем улыбается.

— Ишь ты, какой весёлый! — Любовь Егоровна, разглядывая, покрутила нэцкэ в руках, погладила пальцем круглый голый животик. — В дацане покупала?

— Там. Их много разных, каждый по-своему помогает. Это как иконки.

— Ой-ёй-ёй! Помог бы хоть, так хочется пожить...

Любовь Егоровна поставила божка на тумбочку и потихоньку, держась за стенку, вышла в коридор.

Её трудно было назвать старухой, внешностью она напоминала королеву Великобритании — гордый вид, осанка, чувствовалась стать. Только болезнь отнимала все силы, да возраст уже далеко за семьдесят. У неё был сын, живущий в Подмоскovie, дочь в Москве, внучка в Австрии. Там, где-то под Веной, родилась правнучка, которую будущим летом должны были привезти в Россию. Вот Любовь Егоровна больше всего и хотела её увидеть...

Ирина с Любовью Егоровной сдружились раньше. Именно сдружились, общность взглядов на жизнь, оптимизм, чувство юмора — всё это привело к необходимости звонить друг другу между курсами химиотерапии, переживать друг за друга, рассказывать о себе. Они любили анекдоты, которых знали множество, смешные истории из жизни. К ним в палату заходили другие больные, тоже вспоминали что-нибудь весёлое. Люди отогревались душой, смеялись, заряжаясь этой энергией жизни, и на какое-то время болезнь отступала, или про неё просто не вспоминали — в бодрой весёлой компании ей не было места... Иногда Люба и Ира пели песни. Тихо, в полголоса, пели всё, что вспоминали: революционные и лирические. Егоровна их знала много, запевала она, а Ирина подхватывала, где-то, может, немножко и фальшивила, что, впрочем, не портило песню, а придавало ей задушевность и жизненность.

К ночи отделение затихло. Уснула Валентина, тихонько посапывала, отвернувшись к стенке. Ирина покрутилась на кровати, устраивая ноющую руку с катетером, даже чуть-чуть придремала, но затем сон ушёл куда-то, уступив место мыслям, тяжёлым и нудным.

Бритая голова мёрзла без шапочки, но ужасно чесалась в ней, цепляясь отрастающими волосами за вязаные петельки. Тоненькая беленькая шапочка была специально куплена Ириной, когда ей пришлось сбрить остатки выпадающих волос, — платки она не любила. В окно палаты заглядывала ночь, фонарь под окном помогал ей, освещая палату.

«Ещё один день я вытерпела, — думала Ирина. — Завтра ещё одна капельница, затем два дня откапывания, там и домой. На четырёх курсах останутся, или ещё два добавят?»

Ей хотелось быстрее отсюда вырваться, выматывала тошнота, слабость, боль. Она боялась, что силы кончатся раньше терпения.

Шорох отвлёк её от дум. Ирина приоткрыла глаза: Любовь Егоровна встала и, протянув руку, что-то взяла с тумбочки Вали. Сначала Ира не поняла что, а потом услышала:

— Хотэюшка, милый мой! Дай мне здоровья! Чуть-чуть! Самую капельку! Вот такусенькую! Дожить чтобы до лета и увидеть правнучку. Хотэюшка, у тебя его вон полный мешок, здоровья-то, насыпь мне чуть-чуть, одну ложечку, мне много не надо. А я тебя поглажу по животику. Ты такой весёлый, радостный, ну дай мне капельку сил. Так хочется пожить ещё немного. Летом привезут Алиночку, кровинку мою, я хочу ее увидеть хоть раз, хоть одним глазком, она у меня же первая правнучка. Помогите мне, Хотэйчик, мой миленький! Я знаю, я не одна у тебя, мне всё не надо, оставь и другим. Пусть и другие будут здоровенькими, счастливенькими... Хотэюшка... Помогите дожить до лета... Пусть я увижу правнучку и умру... Пусть будет так... Я согласна... Помогите мне, Хотэюшка!

Любовь Егоровна прижала к груди нэцкэ и тихо беззвучно заплакала. Слезы её катились по щекам, маленькими бисеринками капали на лицо вечно улыбающегося чужого божка...

Дом

На краю небольшого городка жил-был дом. Не маленький и не большой. Обыкновенный дом. Необыкновенное в нём было то, что он слышал. И не только звуки ему были доступны, но и запахи, настроение, душевное состояние. Таким вот его построили. Сам момент строительства он не помнит — маленький был. Да и не сразу понял, что обозначают звуки и запахи. А подрос и понял. И оценил, что и у него есть душа. А как иначе? Чем же он тогда чувствовал настроение своих домочадцев?

Дом знал, в нём живет молодая семья. Вот тяжело, по-хозяйски, по-мужски значимо, прошёл Хозяин. Дом чувствовал, что Хозяин — главное лицо в доме по части основных решений. Где что крупное делать, тяжёлое — это он. А вот лёгкие шаги хлопотуньи — Хозяйки. Как только её шаги послышались, значит, скоро загудит пламя в печи, запахнет вкусеньким, послышится негромкое пение. Её шаги напоминали танец, даже, кажется, половицы не скрипнут под ними. Шаги были самыми первыми утром и самыми последними вечером. Дом слышал, что перед тем как лечь, Хозяйка обходит все комнаты и проверяет, всё ли в порядке. И дому казалось, что Хозяйка также слышит его, как он слышит их.

Немного погодя к шагам Хозяина и Хозяйки добавились новые шаги: шаги-топотушки. Дом до их появления обратил внимание на какие-то странные звуки: то ли мяуканье, то ли разговор, но не понятный. Его жизненного опыта было явно мало, чтобы разобраться, что к чему. И вот когда стал слышен этот беготок босых маленьких ножек, Дом всё понял. Никогда не испытанное чувство, которому он и не знал обозначения, заполнило его до крыши. Новая жизнь бегала по дому, колупала стенки, стучалась об углы, спотыкалась на пустом месте. И часто орала. Но Дом тихонько посмеивался чистыми окнами и, как мог, смягчал ушибы Маленького Хозяина. Именно так Дом звал обладателя быстрых ног.

Особое отношение Дома было к печи. Она жила своей жизнью, а её тепло было жизнью для всех остальных. Дом относился к печи с удивлением и внимательностью, и даже трогательно. Он ощущал печь как своё сердце — как сердце гонит кровь по венам, так и печь своим теплом наполняет комнаты. И летом, когда протапливали очень редко, Дом чувствовал, что печь, хотя и отдыхает от зимних забот, но тоже скучает по теплу.

Дому было приятно слушать, как, остывая, потрескивают кирпичи, как гудит ветер в трубе, ощущать, как задиристо пахнут смолёвые полешки. С печью были связаны и вкуснейшие запахи борща и хлеба, ватрушек и жареной картошки. Дом вдыхал эти божественные ароматы, мечтательно потягиваясь своими венцами.

Шло время. Здесь в Доме оно было то стремительным, то тягуче монотонным. Зимой, под тяжестью снега, съезжившись от морозов, Дом своим телом прикрывал обитателей, печь — от выстуживания, ленивого наглого кота, и даже шебуршащих мышей в подполье. И время текло какое-то стылкое, неторопливое. И только детские голоса взбудораживали Дом от сна и сумерек, когда, накатавшись на горках, напрыгавшись по сугробам, обледевшие, но хохочущие ребяташки вваливались в тепло. И тогда Дом расправлял стены, отогревал это неугомонное племя, и сам вместе с ними даже молодел.

А приход весны Дом ощущал по хлопотам. Он знал, что есть такое время — Пасха, и к этому празднику Хозяйка всегда в баке разводит известь, подсинивает её, и начинается весёлая кутерьма — побелка. В доме раскрываются окна, все суется, лишнее выносится из дома, всё чистится, стирается, мажется. Дому всегда было щекотно, когда Хозяйка белила его стены, он стеснялся этого, как бы сказать, интимного действия, но испытывал такое радостное чувство от чистоты, что готов был терпеть побелку каждый месяц. После этого наступала Весна. И Дом радовался жизни, теплу, солнышку, зелени. Воробьи скандалили под крышей, дождь стучал по листьям стоящей рядом с Домом очень старой черёмухи, окна и двери хлопали беспрестанно, городок своим шумом не давал скучать. Дом жил. И время бежало стремительно, как весенний ручеёк.

С годами шаги Хозяина становились всё более тяжёлыми, а в шагах Хозяйки появились шаркающие звуки. Шаги же Молодого Хозяина приобрели уверенность взрослого мужчины. Иногда Дом даже путал его шаги с шагами Хозяина. А затем Дом перестал слышать молодые шаги. В Доме поселилась странная скучная тишина, и всё чаще по ночам Дом стал слышать вздохи Хозяйки — она скучала по уехавшему сыну. Дом смирился. Он не имел права вмешиваться в жизнь людей, да и не мог.

Беду он почувствовал ночью. Хрип, звук упавшего тела, быстрые шаги Хозяйки, слёзы. Дом понял: случилось то естественное, но такое нехорошее, с чем примириться всегда невозможно. Были чужие люди, были слёзы, тихие разговоры. Вновь Дом услышал шаги Молодого Хозяина. Или уже просто Хозяина? Дом притих, в одиночестве переживая людскую смерть. А через несколько дней тишину нарушали только шаги Хозяйки. Они стали совсем неслышными, но такие тихие, слабые и одинокие. Перестало утрами пахнуть свежими ватрушками или драниками, да и запах борща появлялся гораздо реже. Печь топилась маленько, иногда через день. Дом ощущал, как в углах пауки стали плести свои тенёта, на полу скапливалась пыль, занавески на окнах потихоньку теряли свою белизну. Впервые Пасху и Весну Дом встретил без побелки.

А затем раздались снова шаги Хозяина, была какая-то стыдливая спешка, что-то упавывалось, выносилось. Дом сначала ничего не понял, и лишь когда послышались резкие торопливые удары молотка и наступила темнота, Дом забеспокоился, заволновался. Но ничего не смог. Ни спросить, ни удержать. Наступила тишина. А Дом надеялся, он ждал, он верил.

Прошло лето, наступила осень. Никто не топил печь, никто не утеплял окна и стены. Мыши прогрызли свои ходы в стенах, ветер скрипел открытой чердачной дверцей, сквозь чумазные пыльные окна едва пробивался свет уходящего дня. Взамен запаха хлеба появился запах плесени, сентябрьские дожди размывали крышу, и в углу, где раньше стояла кровать Хозяйки, тихо капала вода. Это плакал Дом. Он всё понял. Он умирал.

Падучая

Сознание билось в черноте, натываясь то на какие-то стены, освещённые багровым огнём, то на какие-то ужасные страшные морды невиданных чудовищ, то обрушивалось в бездну. Сердце замирало на вздохе и тут же, чуть не разорвавшись от боли, билось о грудную клетку, ломая рёбра и сминая лёгкие. Белки закатившихся глаз жутко серели из-под густых чёрных ресниц, по щеке текла сукровица из прикусанного языка, руки, стянутые судорогой, с дикой силой напрягались, делая хаотичные движения.

— Ваня, Ваня, приходи в себя! Ваня, Ваня!

Антоновна, выскочив из дома голоногая, в одних тапочках, стояла на коленях перед сыном, держа его голову руками. Приступ подкосил его как всегда неожиданно, закрутив тело по спирали и с размаха бросив на землю. Ещё хорошо, что сын упал на чистое место, а не на чурки или кирпичи, сложенные в углу ограды. А за десятилетие болезни было всякое — и с лестниц падал, и в кровь разбивал лицо об асфальт, да так, что выла она воем над ним посередине дороги, не видя обступивших их людей. Дважды сын опрокидывал на себя кипящий чайник: один раз хоть мало и на ногу, а вот второй раз — полный и прямо на голову. Хоть и смягчили ожог отросшие густые волосы, но без содрогания нельзя было смотреть на лицо, на котором маской ужаса висели коросты кожи. Слава Богу, хоть глаза не выжег себе, а вот на руках до сих пор остались выболевшие рубцы. Никаких бинтов не хватало на него, поразорвала тогда на замотки старые простыни. Сын спасался только юмором: «Ну, я теперь любую мумию сыграю!» Ловить его не всегда удавалось. Иногда, даже стоя рядом, не успевала поймать, протянуть руки, подхватить враз ставшее каменным тело.

Собаки, своим звериным чутьём ощутившие приступ эпилепсии и раньше лаявшие захлёб, сейчас скулили рядом, тыкаясь мокрыми носами в спину. Антоновна гладила лицо сына, растирала затылок, оттягивала ворот рубахи:

— Ваня, сына, давай, возвращайся! Ваня, Ваня! Дыши! Дыши!

Она твердила сыновье имя в надежде, что оно, как маячок, поможет душе вернуться назад, в тело, чтобы сознание нашло выход из тёмного тупика, чтоб он как можно быстрее пришёл в себя. А ещё, наверное, из-за того, что в данный момент она мало чем могла ему помочь...

Приступ стал слабеть, судороги всё реже корёжили тело, тёмно-синие Ванькины глаза, хотя ещё и невидящие, с сильно расширенными бездонными зрачками, выплыли из-под век, к щекам возвращалась жизнь. Спутанное сознание показывало ему картинки из детства, из фильмов, доносило какие-то звуки, голоса, тело парило в пространстве, но не свободно, а кто-то его выкручивал, ломал, гнул и тянул в разные стороны. Ему хотелось высказаться, выплеснуть накопившееся, недоговорённое, что-то доделать недоделанное, убрать то, что причиняло ему боль. Язык ещё не повиновался ему, звуки получались бессвязные, непонятные, сквозь слова прорывался смешок, мелкий, безобидный — так смеются над собой, понимая мелочность ошибки. Руки хаотично что-то счищали с одежды, царапали, хватали мать за пальцы. Сердце сумасшедше колотилось, но дыхание уже стало без хрипов, помаленьку выравниваясь. Антоновна ворошила ему волосы, теребила, пыталась приподнять с промёрзшей ноябрьской земли тяжёлое непослушное тело, посадить, затянуть к себе на колени, переживая, чтоб хоть почки не застудил.

Глаза наконец-то сфокусировались на матери.

— А? Что? А я полежу, — и улыбнулся такой беззащитной, детской улыбкой, какой улыбаются лишь маленькие дети, рано поутру распахивающие свои глаза навстречу очередному дню жизни, — мне хорошо...

А мать заплакала. Заплакала от невыносимой боли за своего ребёнка, пусть уже взрослого, но больного, от своего бессилия ему помочь, от невозможности вырвать эту чёрную болячку и облегчить его страдания. Ну, можно было бы так — легла бы рядом! И пусть бы уж её так колотило! Ей казалось, что она смогла бы победить болезнь, выстоять в этой борьбе с падучей...

До восемнадцати лет Иван и не болел чем-то серьёзным, больше как-то то ключицу сломает, то палец на ноге отдавит. Простывал и то редко. Уже и комиссию перед армией прошёл. Признали, что годен... А за два месяца до восемнадцати и стукнуло его первый раз. С друзьями дачу копал. Может, от жары, может, ещё от чего, но швырнуло его на землю и забился он в судорогах, пугая мальчишек... Они со страху и Антоновне не сразу рассказали. Потом у сестры прихватило. Та «скорую» вызвала, увезли его в неврологию, напичкали там лекарствами. Когда мать приехала, сын и имя не мог сразу вспомнить, очень уж был неадекватен. Так и пошло, почти день в день, раз в месяц стали Ивана бить судороги. «Скорая» сначала отвозила его в отделение, а потом и отвозить не стала, укол поставит — и всё. Года через четыре ей люди подсказали, что по эпилепсии ему инвалидность положена, да что в областном городе центр есть специальный, эпилептологический. Спросила она лечащего врача, почему, мол, раньше их не направляли, на что тот равнодушно сказал: «Ну, съездите».

Инвалидность ему оформили, но с лечением ничего хорошего не вышло. От лекарств ему стало хуже, приступы стали чаще, и хоть и меняли лекарства одно на другое, дошёл Ванька с ними до дрожания рук, до изматывающей диареи, до постоянного невыносимого желания сходить в туалет. Практически из дома выйти не получалось... А после того как желтеть начал, со скандалом Антоновна добилась отмены лекарств. И хоть приступы не прошли совсем, но стали пореже, да и общее самочувствие стало нормальным. Вот на перемену погоды реагировал сильной головной болью, плохим настроением да общей вялостью. Вертели его врачи, смотрели снимки, анализы, да ничего не могли толком сказать. «Сложная болезнь, до конца не изучена...» Вроде и спаяк, опухолей и каких-либо других отклонений в голове нет, а отчего... Не понятно. Стресс — вот и всё. А у него как бы всё и нормально по жизни шло.

Бабушки да народные целители кто уж что говорил: один утверждал, что это вы наследство делили, другой — по отцовской линии проклятье, третья как затряслась: «Дьявол в него вселился!», да только помочь ни у кого не получалось. И редко кто честно признавался: «Только если сам займётся своей энергетикой, сам выправит её, уберёт зажим — уйдёт и болезнь. Ну, или ищите сильного биокорректора». А кто это такой и где ты его найдёшь в захудалом провинциальном городишке? А сын устал лечиться, устал ходить по очередям в поликлиники, устал надеяться. Сильно его напрягало то, что он, молодой, внешне здоровый парень, не мог ни устроиться на работу нормально, ни водить машину, даже в реке поплавать для него было опасно.

Иногда Ванька срывался. Редко, правда, но напивался до слёз, до скандала. В такие моменты трудно ему было что-то сказать, удержать дома. Его несло куда-то к друзьям, по каким-то делам, то порывался что-нибудь с собой сделать, то грозился вообще уйти из дома, то плакал наболевшими слезами. А мать ждала его и по ночам молилась, чтоб сын по-пьяному не попал куда-нибудь в новую беду...

Антоновна вытерла слёзы, поправила Ивану задрвшую куртку:

— Всё, всё, Ваня, вставай! Пошли домой.

Напрягая бабьи силы, помогла подняться сыну, удерживая тяжёлое тело. Иван пошёл потихоньку, не осознавая ещё себя до конца, автоматически переставляя заплетающиеся ноги, стараясь по ходу что-то посмотреть, потрогать, как бы вновь всё увидев. Мир открывался перед ним как с чистого листа, всё казалось необычным, новым, ранее не встреченным...

Зайдя домой, мать с трудом сняла мокрые от снега куртку, рубаху, брюки, положила сына на диван, прикрыла потеплее. Сейчас он поспит маленько и снова встанет как бы здоровым сыном. Он забудет приступ, что было до него, что после. Эти время стёрто у него из памяти. Он будет недоумевать, почему болят мышцы и тело. И Антоновна расскажет ему. И впереди будет две-три недели, а посчастливится, то и месяц-полтора, нормальной жизни до очередного приступа. И Антоновна снова будет молить Бога и всех святых о выздоровлении или чтобы приступ случился дома, при ней, или кто-нибудь был бы рядом, чтобы сын не разбился, не обжёгся, не пострадал...

Таёжный чай

Осень уже уступила свои права зиме, первым заморозкам, первому снегу, выпавшему на той ещё неделе столь плотным слоем, умятым как-то сразу по-зимнему сильным ветром, что и мысли не было, что он стает. Деревушка сразу стала пустынной, хотя и так двадцать дворов — какие уж тут хождения!

Родительский дом стоял с прошлого года пустой, закрытый на символический замок, с покосившейся крышей, и с обидой брошенного ребёнка глядел на божий свет маленькими окнами. Илюха открыл дверь, в сенях, со света не разглядев, пинанул что-то попавшее под ноги и вошёл в избу. Свет загорелся сразу, хоть и был не по-городски тусклым. Стол, буфет, две табуретки, на вешалке старые куртки, в углу сапоги — всё как было, так и осталось нетронутым, только было ощущение, что смотришь старую фотографию, — всё застыло.

Илья скинул рюкзак, поставил сумку на пол, разделся и стал хозяйничать. Первым делом затопил печь, подмёл старым веником полы, похлопал одеяло. Ценного в доме ничего не было, даже старые альбомы были вывезены вместе с матерью к сестре в город. Мать долго не соглашалась уезжать отсюда, но заброшенность деревни и годы её всё-таки уговорили. Сестра жила с мужем в большом доме, и муж был хороший, спокойный, к теще с уважением относился, но матери душевно тяжело было бросать своё гнездо, как она выражалась, ехать в чужой угол. А у Ильи семейная жизнь уже дважды не сложилась, и он был сейчас в свободном полёте, в поисках очередного семейного счастья. Очередное семейное счастье маячило на горизонте уже три месяца, но как-то варить и стирать на взрослого мужика не торопилось, видно, само находилось в таком же поиске.

Если получалось, как вот нынче, Илья всегда старался осенью приехать в деревню. Побродить по лесу, по реке. Как он говорил друзьям, кстати, без иронии и глупой ухмылки, окунуться в детство. Он вырос здесь, любил свой дом, своих родителей, ему здесь всё нравилось, ему было что вспомнить из своего детства. Он и мать бы к себе забрал, если бы из-за своих разводов не растерял свои жилплощади и под сорок лет не оказался в маленькой однокомнатной квартирке. А сюда сбегал от шума города, проблем и приятелей, которые, сами будучи семейными и привязанными к жениным каблучкам, считали своим долгом приходить к Илюхе с «фуфыриком» чего-нибудь крепенького. Поплакаться. Ну, может, и не всегда, конечно, доходило дело до пьяных слёз, иногда это была хорошая пирушка, с музыкой и песнями, до стука соседей за полночь.

Спать Илья лёг со смешанным чувством жалости и радости. Тишина была непривычна, не шумел холодильник, не тикали часы, не стучал коготками кот. Даже пёс, лающий где-то на краю деревни, был чужой и далёкий. Но сон, помелькав обрывками воспоминаний и дневных картинок, пришёл сразу, яркий, красочный, полнометражный.

С утра, попив чаю с городскими припасами, взялся Илья за снаряжение. Лыжи были ещё крепки, камус не вышоркался, тёплая одежда вся лежала в сундуке целенькая, молью не побитая. Илью всегда интересовал этот вопро: почему в городе моли больше? Вроде в деревне, наоборот, шерсть натуральная, есть чем питаться этим пронырам. Так ведь нет, в городе на антресоли положить что-то бесполезно — всё будет источено за самые крайние сроки в мелкие дырочки! Огорчили только валенки. Вытащив их из кладовки, Илья обнаружил на одном из них приличную дырку — мышки баловались! Он поколупал пальцами дырку, хмыкнул, сунул валенки в мешок — потом пойдёт к деду Степану за ружьём (оружие Илья оставлял у соседа — возить из города в деревню не надо, да и из дома на всякий случай убрать, вдруг кто вышарит), он и подошьёт.

За готовкой обеда пролетело время, и с гостинцами, и с валенками Илья попал к деду Степану часа в три. Встречи дед обрадовался, Илью знал с пацанов, есть что спросить, есть о чём поболтать. Повертел валенок:

— Да сейчас и не получится сразу подшить, дратва кончилось. Но ежели не торопишься, то сиди, жди. Это у вас в городе для таких вещей корд из шин выпарывают, а здесь вот такая мутотень получается — вручную всё надо. Как наши деды делали.

— Подожду, куда мне торопиться, впереди ещё неделя, успею.

— Ну и ладненько. Чаю хошь? Наливай сам! Моя старушка вон в печали — разгрипповалась...

— Ну ты что ж меня списываешь? Мне ить тоже хочется на гостя посмотреть, — раздался голос из маленькой спаленки. — Вот так всегда, только приляжешь — сразу и списывают со счетов.

Из комнаты вышла маленькая старушка с детскими кудряшками надо лбом, чистенькая, аккуратненькая, как из доброй сказки, глазами заголубела:

— Илюшечка, какой ты уже взрослый! Большой, и голова уже почти вся седая! А ведь тебе ещё и сорока нет, однако?

— Девки его довели, — хихикнул дед Степан, — на детей вон не успевает зарабатывать!

— Что, много уж настрогал? — баба Поля погладила жёсткие Илюхины волосы.

— Да нет, баба Поля, всего одна дочь. Уж большая, да редко видимся. Увезла её первая жена, со вторым мужем уехала в Кострому, вот только по Интернету и общаемся. Прошлым летом и видел последний раз.

— Ну-ну, мы-то вот всё больше писем ждали в разлуке! А сейчас, видишь, какая благодать, и увидишь, и услышишь!

Дед Степан тем временем достал катушек крепких ниток, кусок вара на куске шлифовальной шкурки, нож-косяк да шило. Закатал рукав рубахи на левой руке, растопырил пальцы и стал мотать нитку на руку: от большого пальца через локоть и дальше, поочередно пропуская нить между остальными пальцами. Нитка наматывалась на руку, оплетая её, как паутина; мелькали руки в странном танце. Намотав одному ему понятную меру, дед Степан разрезал у большого пальца намотанное, сунул в руки Илье кончик и стал разматывать — с руки потихоньку разматалась длинная, в несколько раз сложенная нить.

— Ну вот, сейчас скрутим, варом намажем, мылом намылим и будем шить.

Илья с интересом наблюдал за стариком. Дед Степан был в ногах и руках худощав, лицо — зубы сквозь щёки можно сосчитать, а вот животик — кругленький, плотненький, натягивал рубаху с полным ощущением подложенной подушечки. Дед по молодости и войну застал, и кем только не переработал, и где только не был, и хоть без образования, слыл в деревне очень знающим, начитанным и умелым мужиком. Седину он свою брил на лыску, согнулся уже немного от пережитого, но был подвижным, шустрым, спорым на ногу. При мелкой работе цеплял очки на хрящеватый нос. Жену свою уважал, любил; ежели чужих баб и зажимал где в уголке, то без последствий, как он сам говорил, «для имиджу». Знал множество всяческих баек, анекдотов, историй, мог их рассказывать бесконечно. Матерился очень художественно, но не грубо, его маты были не злыми, не агрессивными, а наоборот, смешными, образными, необходимыми. Их хотелось слушать как музыку, шурясь от удовольствия. Эдакие словесные кружева! Дед смеялся: «Это меня Тимка Пуртов научил! Ты б его послушал! Поэт!»

— Что косишься на меня? Соскучился?

— Соскучился! А смотрю просто, дед Степан, вот думаю, а почему вы худой, а живот кругленький?

— Ха, сказал тоже, живот! Это сгусток нервов! От надсады это, милоч! Жили-то впроголодь, да много нас было. Ворочать по хозяйству с малолетства пришлось, а вечером что, капустой набьёшь да картошкой, да ещё не жуя, пока на столе что стоит, торопишься! Там младше меня росли, было кому лопать! Вот брюхо и растянул, и пуп вылез. Так что по крупному счёту это не пузо, это пуп у меня!

Дед Степан хитро взглянул поверх валенка, выравнивая обрезок старого войлока на подошве, снова запустил руку внутрь, на ощупь цепляя дратву на шильный крючок, затянул шажок. Подшивал он не торопясь, но споро, мастеровито, руки делали своё дело легко, без суеты.

— Ты-то что, себе каку бабёнку-то не нашёл ещё?

— Да уже не тороплюсь. Наобжигался.

— Ну, братец, крест на этом деле рано ставить.

Илья засмеялся:

— Крест-то не ставлю, жениться не тороплюсь.

— Вы, молодые, видно, жену себе выбирать не умеете! Вона, сколько вас холостых да интересных! Да и бабы все поодиночке дитёв растят.

— А как вы, дед Степа, женились? Ведь всю жизнь прожили.

— А как, как... С мужиками поспорил! На первое мая на демонстрацию сходил!

— В смысле?

— А что, в смысле! Идём на демонстрации с корешами, а впереди такая деваха кренделя выписывает! Ну, я и говорю: «Спорим, женюсь?» Ну и поспорили. Подхожу к ней: «Слабо за меня замуж выйти?» А она: «А вот и не слабо!» Пошли и расписались. В то время загсы первого мая работали, и можно было сразу расписаться, кому уж очень не терпелось. Вот и живём!

— Правда, что ли?

— Не веришь, спроси у Полинки. И штамп в паспорте стоит — «Первое мая».

— Да уж, сходили на демонстрацию!

— Да я что! Мне вон Мишка Кедров рассказывал, тот вообще, пока в сельсовете работал, взял Зойкин паспорт, печать о регистрации поставил, пришёл к девкам и Зойке говорит: «Зойка, пошли жить со мной!» Та ему: «С чего бы это?» — «Как с чего? Жена ты мне!» И паспортом трясёт, мол, посмотри. А время было какое — против власти не попрёшь, вот и прожили всю жизнь. Да видно нравилась жизнь — одиннадцать детей настроголи!

Дед Степан повертел подшитый валенок с торчащей нашлёпкой и, искоса взглянув на Илью, косяком взялся подравнивать лишнее.

— Это вы что-то всё примеривайтесь, пристраивайтесь. Сами не верите, что навсегда женитесь. А в наше время как? Женился — живи! Устраивайся, да пристраивайся на здоровье! Ответственность была! За детей, за семью!

— Ну уж, и на сторону не ходили?

— Как не ходили — ходили! Одиноким тоже кусочек счастья отхватить хочется. Но домой возвращались!

Так за разговором и работой время пролетело до сгущающей синевы за окном. Пока баба Поля чаем напоила с лепёшками, пока потрепались про городское жильё да деревенское, кто уехал, кто помер, кто женился, стемнело окончательно.

— Что, завтра с утречка побежишь?

— Да, схожу к избушке, заночую да назад. Избушка-то стоит?

— Стоит ещё, здесь её грабить некому. Город далеко. Витька летом там был, подшаманил чуть-чуть. Свечей возьми, нет наверняка. Пешком не ходи, лыжи возьми. Там хоть в лесу и мало снегу, но на дорогах и пролесках сподручнее будет. Снег уже на зиму лёг.

Дед вытащил Илюхино ружьё, боеприпасы, проводил его за калитку. Деревня устраивалась на ночь, зажмуривая редкие окна, укутываясь тишиной. Эта тишина всегда удивляла Илью. Нет такой тишины в городе. Там даже ночью всё равно где-то что-то брякнет, проедет, прогудит. А здесь была её Величество Тишина. Полная, глубокая, обволакивающая. До того уютная, успокаивающая, что хотелось свернуться клубочком здесь же, в ещё маленьком сугробе, или просто застыть посередине улицы и слушать, слушать эту тишину, боясь даже лёгким скрипом нарушить её благодать. Тишина не давила, наоборот, она поднимала душу, давала ей крылья, заставляя подняться над деревней, лесом, туда, ввысь, к тёмному небу. Огрызок луны пятном высвечивался сквозь редкие тучи, темнели дома, постройки, деревья. Илья вздохнул, улыбнулся сам себе и неспешно пошёл к своему дому.

Странно ему было ночевать в родительском доме. Нет, душевно ему было, уютно, спокойно, даже одеяло пахло ещё не забытым запахом детства. Просто ему чудились материнские шаги на кухне, отцовское покашливание, ему казалось, что сейчас зазвенит будильник, запахнет жареной картошкой, сестра затормошит его перед школой. Илья кинул поверх одеяла старый полушубок — к утру дом выстынет, и лёг. Панцирная сетка жалобно провисла под ним, принимая его в свои объятия, но выдержала. Снилось ему лето, снилась

река, и он, маленький, тощий, с ободранными коленками, брызгается водой с такими же пацанами...

В путь Илья двинулся уже засветло. Ему не надо было торопиться, не надо было следить, бежать за зверем, выслеживать кого-нибудь. Он просто шёл на встречу с лесом, на встречу с детством. Он любил такие вот походы, первобытное состояние природы, себя среди всего этого. Побывав в лесу осенью или в начале зимы, он потом до весны чувствовал себя сильным, здоровым, отдохнувшим. Ему просто надо было побыть одному, в тишине, попить чаю на костре и, как он сам говорил, причесать мысли, отстраниться от проблем, тяжёлых перетираний жизненных ситуаций. Он уже убедился, в такие минуты решения приходили самые правильные.

Лыжи бежали не то чтобы легко, — снег ещё не примялся, лыжня как лыжня ещё не проторена, — но без них было бы совсем не сподручно. Снег лежал где плотно, с достаточной глубиной, где ветром выдутый до сухой травы. День был серенький, морозик лёгкий, ветер умеренный. До избушки надо было идти километров пятнадцать, впереди был целый день, торопиться некуда. Илья углубился в лес, посматривая по сторонам, дыша чистым хрустящим воздухом. Это даже дыханием назвать нельзя было — воздух, как деликатес, просто кусался, елся, смаковался. Его свежесть, чистота ощущалась всеми клеточками тела, лёгкими, сердцем. И с каждым вздохом уходила из мыслей, из души горечь последних лет и проблем.

Лес стоял вокруг не замерший, берёзы и сосны ещё не укутаны снегом, и лишь на еловых лапах последний снегопад оставил маленькие снежки. Под большими елями виднелась земля, не занесённая сугробами; да там и среди глубокой зимы можно было найти кусочек сухой травы. Редкая синичка цвинькала, вспархивая с ветки на ветку, поглядывая на Илью; краснел шиповник, ещё не объединённый и не общипанный никем. Где-то далеко трещал дятел. Больше тишину никто не нарушал, лишь одежда шуршала при движении.

Илья запарился довольно быстро. Сказывалась и полусидячая работа, редкие хождения пешком, да и возраст откладывался по бокам жирком. По спине уже бежала струйка пота, щекоотливо пробираясь по ложбинке вниз. Конечно, по накатанной лыжне оно бы было скорее, да не в этом дело, Илья никуда не опаздывал. Он знал, что дальше в соседнем распадке есть ручей, там он и сделает привал.

На вершину горы он забрался совсем выбившийся из сил, лыжи пришлось снять — в лесу, среди валунов, где снега было мало, они только мешали ходьбе. Тайга притихла перед ним в распадке, топорщась деревьями. Склоны были местами зелёные от сосен и елей, местами чернели берёзами. Снег уже лежал внизу плотным белым сугробом, который прочерчивала чёрная кривая ручья. Местами ручей прятался в сугробе, местами выныривал наружу. Серые тучи придавали всей открывшейся картине некую мрачность, напряжённость. Природа как бы замерла перед зимой, затаилась, приготовилась к буранам и метелям. Илья присел передохнуть на валежину, смахнув снег с сосновыми иголками. Из трещинки коры выглядывала маленькая зелёная веточка брусники. Глянцевые листья не потеряли свой цвет от заморозков, лишь только чуть-чуть стали темнее. Уставшие ноги тянуло в мышцах, щёки горели от пота и ветерка, сердце бухало устало. Илья чувствовал себя на вершине горы, как на вершине мира — только он, только весь мир внизу, под ногами, а вверх — небо! Огромный купол, пусть серый, в тучах, в редких бледно-сизых прогализнах, нависал над распадком. Илье казалось: подпрыгни чуток — и сможешь рукой потрогать тучи, раздвинуть их в стороны, очистив пусть зимнее, но всё-таки голубое небо! Такое чувство было у Ильи только в детстве, когда он забирался на самый конёк крыши. Да и сейчас Илья вдруг почувствовал себя помолодевшим...

По остывшей спине пробежал холодок — пора двигаться дальше. Спуск прошел более-менее удачно, всего один раз Илья поскользнулся, ударился коленом, хорошо, хоть без последствий. Внизу тихо журчал ручей, сопротивляясь ледяным берегам, чернея тёмной стилой водой. Это был даже не ручей, а мелкая речушка, приток со странным названием Соломинка. Бывшие ключи дали жизнь ей, вот она и старается, рвётся сквозь кусты, на-

бираясь сил, всё дальше и дальше, чтобы впасть, влиться в более крупную реку. Настырность помогала ей в этой нелёгкой борьбе за выживание — только в сильные морозы она покрывалась льдом. Вниз по течению речушки и стояла избушка, куда направлялся Илья. Остаток пути он прошёл, снова нацепив лыжи, уже торопясь к месту ночёвки. Пока расчистит, пока затопит, а вдруг там что-то налаживать придётся или пойдёт что-нибудь не так, а в темноте много ли что сделаешь!

Тихо пошёл снег. Илья остановился, запрокинув голову, взглядом стал ловить снежинки. Крупные влажные хлопья неслышно падали с неба, из серой бесконечности, таяли на разгорячённом лице, цеплялись за ресницы. Никак не удавалось уследить за тем моментом, когда снежинка выныривала из небытия. Вот её не было, а вот она уже перед глазами. Распадок спрятался в снежной занавеси, тишина была такая глубокая, что казалось единственный звук — это шуршание падающих ледяных кристалликов...

Избушка оказалась целой. Действительно, народ здесь редок, даже вездесущие туристы видно не знали об её существовании, а местные берегли информацию. Дрова были в чурках, но высохшие, под навесом, хоть и дырявым, не замётённые. Илья расчистил фанериной снег перед входом, наколот дров, сходил за водой на ручей. Плечи после рюкзака и ружья свободно расправились; снежная сказка вокруг и мысли притягивала сказочные. Думалось, сейчас из-за берёзы выглянет смешливый снеговичок-лесовичок или из-за угла избушки появится повозка Снежной королевы.

«Ну вот, мне сюда ещё снежной женщины не хватало!» — засмеялся Илья своим мыслям. И крепко потянулся, подумав, а что, пошла бы с ним сюда, в таёжную глушь, по такой тропе, в эти «антисанитарные условия» его городская пассия? А ведь если б пошла, выдержала, не ворчала, то, наверное, женился бы, поверил.

Печка немного подымила, попыхтела обраткой, да и разгорелась жадно, жарко. Илюха поставил чайник, здешний, избушкинский, в своём котелке — воду на кашу. Открыл банку тушёнки, очистил луковицу. Подмёл голиком пол, проверил нары — выдержат, не завалятся ночью? Вышел, нарубил ещё дров на ночь и утро — в избушке тепло, пока топится железная печка. Зато и греется быстро. Вечер наливался синевой, ночной темнотой. Дым из трубы разгонял снежинки, нехотя поднимаясь ломаными зигзагами в небо. Илья не боялся ночевать в лесу один, без друзей, без собаки. В лесу главное, чтоб самому не повредиться, ну, там, не сломать ногу или чтоб болячка какая не хватанула, чтоб на медведя-шатуна не наткнуться. А людей здесь, в тайге, зимой, бояться странно, если кто и попадётся, то свой мужик-охотник. Это в городе гораздо опаснее: неизвестно, какую обколотую шантрапу встретишь за углом.

Зажжённая свеча, толстая, специально для длительного горения, разогнала по углам темноту, высветив торчащий мох, тёмные, топором тёсанные бревна, незастеленный маленький столик. Стёкла в оконце сразу потемнели, в них как в зеркале отразилось Илюхино лицо. Пламя свечи на фоне черноты заиграло радужным свечением, заискрилось, так, наверное, аура играет у какого-нибудь Будды. Разварившаяся гречка с тушёнкой, с луком так запахла, что Илья торопливо стал резать хлеб, доставать кружку под чай, ел он только утром, и есть хотелось уже очень сильно. «Ну и аппетит нагулял! — подумал Илья, черпая первую ложку. — Вот почему в городе такую же кашу и есть как-то не так, вкус не тот. А здесь, где зола попадёт, где мошка или веточка какая — ну нет ничего вкуснее! А чай на костре! Сказка! Из лесной лужи зачерпнёшь при случае, шелупонь сдунешь, заваришь покрепче — и в прикуску! Или с карамелькой! Видно, дух природы вкус добавляет».

С ужином он справился быстро, незаметно. Черпал кашу, черпал, пока не почувствовал, что всё, хватит. А вот с чаем надо только неспешно! Подкинул полешко, сел у раскрытой дверцы, держа в руках большую металлическую кружку из новомодных, с двойной стенкой. Подарок второй своей жены. Если первый брак у Ильи был по молодости скоропелым, сейчас трудно разобраться, вообще, была ли это любовь или просто студенческая влюбленность, или просто пришлось жениться, то второй вроде развивался уже по всем правилам, никем не писанными, с приглядками, с чувствами, объяснениями. Первая жена года через три, почувствовав зыбкость отношений, сначала поплакала, потом найдя вто-

рого мужа, уехала с ним, забрав дочку. По ней Илья больше всего и страдал. Хоть она и маленькая была, когда развелись, но всё равно эта была его кровь, его кусочек сердца. Он по жене так не страдал, как по дочери, и с годами эта боль была всё горше. Тем более, что второй его жене Бог детей не дал, и она, за восемь лет превратившись из нормальной женщины в заикленную залеченную бабёнку, решила уйти из его жизни. Что его тоже устраивало. Хотя, если бы она осталась весёлой, бодрой и жизнерадостной, то он и не разводился бы. В конце концов у него дочь есть, а материнскую любовь всегда можно направить на племяшей или творчество какое-нибудь. Или на него, любимого мужа! Илья разменял трёшку, жене приобрел хорошую квартиру в центре (всё-таки он её жалел как человека, как женщину), а сам жил теперь в старой однокомнатной квартирке. Он был уверен в себе, в своих силах, зарабатывал наладчиком на нефтекомплексе он неплохо, ну, там год-три, добавит да улучшит свои условия. Если женится. Он не был пуританином, мужиком был видным, не алкашом каким, женщины глазки ему строили, он и отвечал, но выборочно. Илья хотел нормальную семью, с роднёй, с друзьями, с «двойками» сына, с дочериными бантиками, с плюшками по утрам, с ласковой любимой женой по ночам. Ну и пусть она там с возрастом и пополнеет, морщинки появятся, он тоже старости уступает, куда ж денешься! Зато он будет знать, что его руки желанны, ласки не противны, что дети будут переживать за папку, а там и внуки топтаться по спине. И он хотел такой жизни, простой, основательной, семейной. Ему не нужны были миллиарды Абрамовича, не нужна была власть Путина, ему нужна была эта спокойная семейная жизнь, эти радости отцовства, эти глаза любимой женщины. Именно они, эти радости, были первоисточниками всей жизни. И так хотелось просто жить, без стрельбы по телевизору, без убийств на соседней улице, без бомжей и насильников, без грызни на политическом олимпе. И было дико жаль, что жизнь становилась, наоборот, ещё более жёсткой, лживой, страшно неправильной.

Илья выплеснул шару из кружки, поставил её на столик, качнув пламя свечи, и вышел из избушки. Снег перестал идти, тучи ускорили свой бег по небу, где-то вверху дул верховик, но здесь, среди деревьев, в ложбине да в чаще, ветра не ощущалось, было тихо, спокойно, будто лес оберегал человека в момент его размышлений. Мороз был нежный, не кусачий, так, первая проба. Илья присел на чурку, опершись спиной на стену избёнки, прикрыл глаза. Тишина и покой неслышно подошли, заполнили душу, внеся умиротворение и гармонию. Уходили прочь проблемы, нерешённые вопросы, отступала боль одиночества. Именно из-за этого Илья и шёл сюда, именно этого он и хотел почувствовать, ощутить, пережить. Мы все частички природы, именно к ней мы и приходим плакаться да лечить раны души...

Сидел Илья долго, не замечая времени. Мысли тягостные тихонько куда-то попрятались, уступив место лёгкому, светлому состоянию. «Причесались», — улыбнулся он сам себе, потянулся, взглянул на часы и зашёл в тепло избушки. Подкинул ещё в печку, подпёр маленькой кочергой дверцу. Снял валенки, приспособив их на торчащие из стены колья, чтоб просохли, не застыли на полу, и взгромоздился на нары, сдвинув ружьё к стенке. Свечу уже погасил, улёгшись; поёрзал, устраивая большое своё тело на лапнике, прикрытом старым чьим-то покрывалом, подоткнул куртку за спину и закрыл глаза. Усталость взяла своё быстро и бесповоротно, Илья уже не слышал, как мышки скреблись, забираясь на стол поживиться крошками, как, ухая, пролетел филин над застывшим лесом, как луна, на минутку выглянувшая из-за туч, заглянула в оконце. Он спал.

Ночью пришлось дважды вставать, подкидывать в печку, к утру мороз уже поджал по-серьёзному. Когда засветлелось в окне, Илья уже проснулся. Поставил чайник, разогрел остатки каши, позавтракал. Увидев следы мышиных зубов на свечке, на пакете с хлебом, засмеялся — тоже жить хотят! Высypал остатки крошек горкой на столе — пусть побалуются, зима длинная. Прибрал за собой, сложив поаккуратнее запас дров в угол за печку, оделся и вышел, подперев за собой дверь зимовья. Небо было высокое, солнце пробивалось сквозь кисею облаков бледным стылым пятном. Лёгкий ветерок обещал разогнать и эту преграду. Заря уже отцвела, уступив место дню. Мороз бодрил, хотя и не был по-ноябрьски свирепым.

Назад Илья шёл долго, отдыхал чаще. Вчерашний свежавывающий снег спрятал след от лыж, прикрыл валуны, укутал кусты. Любая ошибка в выборе места для шага могла оказаться чреватой и опасной. На ручье, перед подъёмом на гору, Илья тормознул, не выдержал — желание развести костёр и вскипятить чай пересилило его опасения вернуться затемно. Он быстро вытоптал площадку, наломал веточек, бересты, пристроил котелок с водой, разжёл костерок. Пол-литра воды вскипели быстро, чай вышел запашистым, вкусным, обжигающе горячим в первые минуты. Карамелька топырила щёку, разбавляя сладостью горечь заварки, сухарик хрустел на зубах. Дым маленько щипал глаза, но Илья не отворачивался, ему будет приятно потом ещё долго вдыхать запах дыма, заплутавший в куртке, в свитере. Он старался запомнить и этот вкус чая, и этот запах костра, и красоту всего лесного окружения. Выплеснул остатки чая, остудил котелок и спрятал его в рюкзак, завернув в пакет. Ногой нагрёл снега на костёр, чисто по старой привычке тушить его так, и снова двинулся в путь.

«Вот скажи кому-нибудь, что я шёл в лес просто попить чаю — засмеют. А кто-то поймёт», — голос звучал в тишине странно одиноко, звук не вписывался в лесную сказку, в кружево снега и красоты. Вынужденное молчание не тяготило Илью, он считал, иногда надо и помолчать. На подходе к деревне, километра за три, спугнул зайца — не выдержали нервы у косого, когда Илья почти прямо на него наткнулся. Подпрыгнул бедолага резко и пошёл размашистыми прыжками в сторону, в глубинку леса. Илья даже ружьё не стал снимать из-за плеча, пусть бежит! Пугнул его свистом вслед и заторопился дальше. Некогда!

Подошёл к первым постройкам в сумерках, когда солнце уже спряталось за горой, и хотя ещё не было темноты, в редких окнах зажигались огни, трубы курились дымом, собаки лениво лаяли. Деревня готовилась ко сну.

Дед Степан лопатой скрёб тропинку около дома.

— Дед Стёпа, ты что это на ночь глядя в темноте снег чистишь?

— Да это я себе заделье искал, тебя вот жду. Знаю, должен вернуться, вот и переживаю, вдруг какая-то русалка с ручья тебя умыкнёт!

— Да кому я нужен!

— Но, но, но! Не говори так! Такими мужиками раскидываться! Заходи, моя милая там драников напекла. Ждёт тебя. За дом не переживай, подтопил я его тебе, чтоб не замёрз совсем в одинокой постели.

Дед Степан пропустил Илюху в ограду, засуетился, открывая двери в сени. А Илюха... Что Илюха? У того защемило сердце, как всё-таки здорово, когда есть кому тебя ждать, переживать за тебя и печь драники...

ПОЭЗИЯ



СЕРГЕЙ ПОГОДАЕВ



Тревоги сходят в душу, как лавины...

* * *

Происходит процесс, называемый «жизнью и смертью».
И рассвет, и закат столько раз наблюдал ты, мой друг!
Закольцованный цикл, и рифмуется он с круговертью,
только, как ни верти, а для нас этот путь — полукруг.

Тоже ищешь ответ, не постигнув и сути вопроса,
ощущая нутром убывание срока и сил.
Предстоит переход — величавый полёт альбатроса.
Мировой океан попрощаться тебя пригласил.

Довернут колесо — и застынет возмыслие духа,
и другим побеждать наводимый страдательный фон.
Лишь до близких людей эхо смерти докатится глухо.
Рядового бойца потеряет Большой Марафон.

Что успеешь понять, в неизбежность глазами врастая?
Что посмеешь сказать, и с трудом подбирая слова?
Что мы сами — процесс: вместо точки всегда запятая.
Неужели умрём, неужели живём снова?

ПОГОДАЕВ Сергей Егорович родился в Братске в 1959 г. Окончил геологоразведочный факультет Иркутского политехнического института и международный факультет ИрГТУ по специальности «Реклама». Работал токарем, геологом, машинистом котельной, строителем. Стихи публиковались в журнале «Сибирь» и «Литературной газете», автор книги «Когнитивный резонанс» (2014). Живёт в Иркутске.

Мы не знаем себя, но откуда-то дальше знаем:
нас нельзя зачеркнуть, наши судьбы останутся тут.
Окончательный сон, словно гулкий вокзал, обитаем;
мы заполним собой растворившую нас пустоту.

К сожалению, да, основные изношены фонды.
Предстоит переход, и надежда нужна позарез.
И надежда дана в материнстве улыбки Джоконды —
раздвигай горизонт, продлевая пунктиром процесс!

* * *

Какое творчество — сплошной сумбур!
Я раздираем векторами тяги:
перо поэта тянется к бумаге,
но, мысли... ненадёжны чересчур!

Женюсь, и да поможет мне семья
охомутать мятущуюся душу!
Мужает пусть, таская волокушу, —
нас так пугает проза бытия.

Я — вертопрах, и суетны пока
все гонки на Пегасе очумелом.
Сейчас важней определиться... в целом:
о чём должна радеть моя строка!

Мы подвиг Льва Толстого повторим:
крылатый конь хозяйству не обуза.
И остро глянув, завтрашняя муза
промолвит снисходительно: «Твори!»

* * *

Скучаю по тебе, и всё сильнее.
Тревоги сходят в душу, как лавины.
Я понял здесь, за эти десять дней,
что мы, действительно, две половины
и связаны воздушностью корней.

Мы — долгие, и не приемлем лжи:
разлуке ли потешиться над нами?
Научен в окружающем бедламе
идиллией укромной дорожить.

Пленительна ласкающая грусть;
кармическая лирика священна.
Я пью нектар счастливого смущенья
и... молоха напрасности боюсь!

Разматывая ниточку клубка,
опять умчал, пришпоренный мечтою.
Не скоро свыкнусь с истиной простою:
перед безумцем — прежняя река.

Есть дома — ТЫ, и есть мираж побед.
Вас... примирю на поприще наивном.
Быть отрешённым я давал обет,
но в келье дум теперь свежо и дивно —
я всё сильнее скучаю по тебе!

Литературный кружок

И к солнцу не шагнуть, и в тину не зарыться;
потребностью творить томится естество.
Из мелкого кормясь духовного корытца,
удобно мнить себя значительней его.

Разбор дрянных стихов, бесплотных заморочек.
Чего тут разбирать, участники игры?
Где подлинное, где? Хотя бы пару строчек!
Откройте мне простор и новые миры!

Алмаз всегда алмаз, и массой в треть карата.
Крупинка, но она содержит бриллиант!
Заумным развлекать — чернил пустая трата.
Не можешь удивить — не ценен твой талант!

Сподоблены писать и путано, и много,
когда есть восемь слов небесной глубины:
«Изба-старуха челюстью порога
жуёт пахучий мякиш тишины».

И разделение произошло

Так началась раздвоенность моя —
слоиста расщеплённая натура.
Слои отходят, подтверждая хмуро
продольную дискретность бытия...

...Грустил я, в город воротясь родной,
наивные умерив притязанья:
район, где рос, уже другими занят —
очередною молодой шпаной.

Хохочут у подъездов, как и мы,
давно ли столь же громко хохотали.
Сместили нас, а прочее — детали.
Наш розовый угар дождями смыт.

Искать дружков по старым адресам?
На дискотеку звать? — пустое дело.
Стоял, и раздраженье зрело, зрело:
для прежних улиц я не прежний сам!

Я гнал коней, и перетёрлась прядь,
казалось бы, надёжного каната;

за обновление, что — всегда расплата?
Умнеть, взрослея, значит, и терять?

...Поздней, с годами обнажится суть:
всё постепенной подлежит замене.
Слоёв отмерших горестные тени
ко гробу явятся когда-нибудь.

И соблюдая сумрачный черёд
и равенство, лишённое иллюзий,
листы-фантомы в праведном союзе
сплотит навек тяжёлый переплёт!

...Я взвинчен был задумчиво и зло,
но миг отрыва ощутил весомо:
носитель юности решил остаться дома —
и *разделение произошло*.

Себе, вчерашнему, смотрел я вслед.
Я взглядом обтекал сторонних лица,
осознавая, что успел проститься:
«Меня здесь нет, меня здесь больше нет!»

* * *

...Вот что писал я двадцать лет назад:
шёл, мол, и шёл за призрачной судьбою
на отблески далёкого костра,
и тут — распутье, выбирать пора —
другую цель увидел пред собою!
Ошибки я боялся — не преград.

...Ещё я размышлял о непростом,
карьерную определяя участь:
мгновеньем жить, стратегией не мучась,
или, создав плацдарм, зажить потом?

Всегда дороги две, а жизнь — одна.
Чем поступаться, до сих пор не знаю.
Отвыбирался — моя хата с краю:
есть достижимое и область сна.

...И я стремился, как заведено;
блуждал и сник, но не припал к бутылке.
Вернулся, дом поставил у развилки,
ищу рациональное зерно.

...Писал: «...Хочу нести сердечный пыл
костру в пустыне, чтоб продлить свечение.
Томящий душу долг предназначенья...»
Ну надо же — я романтичен был!

Везде пустыня и везде алтарь.
Во всём сквозит тоска Екклезиаста.
Отяжелел я, если без прикрас-то!
Ионыч чеховский, Премудрый я Пескарь!

Театр

Я не обидчив — я раним
и озадачен вновь одним:
нас не на сцену приглашают,
зачем тогда наносим грим?

Загримированные в зале:
весь мир театр, и всяк актёр.
Немой счастливчикам укор:
ведь прочих-то играть не взяли!

Чуть раздражает ваш спектакль,
помпезный, словно хвост павлина,
О золотая середина!
«Стреляться надо же не так!»

Мой крик гусары-трепачи
усмешкой сверху покарают:
«Ты сопричастен и молчи,
ничтожный штатский, севший с краю!»

Привыкнуть к месту понемногу,
принять как данность то, что есть,
и не пытаться пересесть:
отсюда видно, слава богу!

Актёрство — крест, кривлянье даром:
толпу ничем не удивишь —
реальной жертвой разве лишь!
И я не смог бы стать Икаром.

Пустые мне вручили крылья:
смешные крылья чудака!
И что останется — тоска...
Быть иль не быть, Шекспир Уильям?

Но, подлокотники скребя,
для близких ставлю «Идиота».

Тяну за волосы себя:
всё выбираюсь из болота.

Я не обидчив — я раним.
Чудной накладываю грим.
К любой судьбе даётся сноска:
о чём мечтал — смотрите прим.

Высший Смысл

Постичь пытаться некий Высший Смысл,
хотеть понять, зачем живём на свете.
Мы — гибкие, и пощадит нас ветер.
Нас уводящий губит компромисс.

Зачем живём? Да нужен ли ответ?
Всё не взаправду, как-то понарошку!
И смысл искать — не чёрную ли кошку?
«Особенно, когда её там нет!»

Но должен, но обязан быть огонь,
который за туманами не виден.
Не виден, потому что он обыден
и растворён в безумии тихонь.

Хотя б узреть, насколько я далёк
от пункта устремления к зениту!
Услышать бы ту горную сюиту —
первопричину прочих подоплёк.

...Сиянье, отменяющее быт,
невыразимый долг перед пространством.
Я распростёр бы парус тайных странствий
над тем, чем сыт, чем я по горло сыт!

Жду жизни после жизни, а пока...
Заветный смысл, возможно, где-то рядом.
Работаю, тружусь я, раз уж надо.
И медленно берёт своё река...

Тоска

Иногда нападает такая тоска,
что не знаешь, куда тебе деться!
Неотступная горечь пронзает века
и поэтому нет на земле уголка,
где ты мог бы один отсидеться.

Хочешь тёплым комочком втянуться в тоннель,
по спирали обратно вернуться.
Бесконечную вдаль проводя параллель,
ищет бывший ребёнок свою колыбель,
жаждет ясности прежней коснуться.

Нависает, как небо, предъявленный счёт:
не оплатишь душой запустелой.
Скверно замысел Божий тобой воплощён,
сам теперь догадайся, что должен ещё:
непонятно, что делать, но делай!

Эти смутные муки надрывно-честны:
плачет жизнь, проходящая мимо.
Не казни себя: ты виноват без вины.
Мы, конечно, для большего все рождены,
просто миссия невыполнима.

Космос

Лежать и думать ни о чём,
жалеть себя обратным взглядом;
касаться каменным плечом,
плеча жены, молчащей рядом.

Незряче комнатке родной
прощать бесхитростность убранства;
податься чуть... и тут, Пространство
решило встретиться со мной!

...Внезапно мозг накрыла Весть:
накрыла разом, без прелюдий.
Взметённый залпом всех орудий
теперь я знал, что Космос — есть!

...Взыскующий, прямой посыл
мой разум втягивал, как малость,
и непреложным понималось
владычество небесных сил.

Столпу воздействия извне
я подчинялся поневоле,
и нечто личное дотоле,
легчая, дыбилось во мне!

А Космос властно управлял,
опутав душу длинным смерчем,
и я, беспомощно доверчив,
включался в новый ареал.

Смертельно напряглись глаза,
не осязающие цели.
Я сознавал: они смотрели,
действительно, куда-то «за».

Душа рвалась, вздымая грудь,
в ушах заложенных теплело;
свинцово-тяжким стало тело —
не мог и пальцем шевельнуть.

Разъят и чутким струнам роздан,
я гребень фазы выбирал,

и, выгнувшись, поплыл в астрал,
сквозь три квартиры видя звёзды!

...Поднявшись, среди звёзд поплыл.
Парил, восторженно-смятенный...
Я был участником Вселенной —
физически, реально был!

...Сменялись блёстки пустотой,
существуя параллельно;
и я тревожился отдельно,
оставленный перед чертой.

Чего-то ждал, а между тем,
спускался вниз уже — к земному.
Вся наша жизнь — дорога к дому:
дорога к призрачной мечте...

...С бездонностью наедине,
застыть, влекомому потоком;
в полумерцанье-полусне,
в изнеможении жестоком.

Но, морщась паникой ужа,
скреплять распятые мгновенья
и лихорадочно сужать
нависший кратер откровенья!

И комкать длящуюся нить,
дабы за всё не быть в ответе:
хотелось прежде объяснить
свою тщету на белом свете.

...Феномен трансового сна
подобное предложит что-то:
надмирность чистого полёта,
вращение веретена...

А здесь — сложнее, здесь — обряд:
нашли, подняли и вернули.
Притом энергию вдохнули
в мой собственный «обратный» взгляд

* * *

Так редко, так редко бываем собой;
так мало довольны судьбою.
Куда мы, ведя свой невидимый бой,
бредём одиночной толпою?

Совместно и порознь — два плана пути —
(на личном ты Гамлет маршруте).
А вкупе, толпу заставляет идти
химера обещанной сути.

...Старался я жить не спустя рукава:
душевную страхивал вялость.
Искал я босые слова-острова.
И где оно — то, что искалось?

Никем не услышан, не жду похвалы.
Шагаю в серёдке колонны.
Жующие рядом, хотя и милы,
внимать посторонним не склонны.

Мы общность, но связаны общей виной,
скупые на дружбу и чувства.
И я людям нёс холодок островной,
волшебная флейта искусства!

Мы всё добываем заветный зачёт,
а сверху — картинка иная:
гигантской змеёю колонна течёт,
отдельности в массу сминая.

...Дойдём, обнулив притязанья свои,
к дальнейшей возне безучастны.
Верховный Смотрящий от нас утаил
простор настоящего счастья!

...Так редко, так редко бываю собой,
так мало доволен судьбою:
среда формирует бредущих толпой —
чего, усреднённый, я стою?

* * *

Когда умру — уйду я не один:
со мною в мерность мирового шума
уйдёт всё то, о чём я не додумал, —
подхватит нас кружение белых льдин.

Я созидаю бывшее давно
и возвращаю мыслям форму строчек.
Их — сонмы — тем, боящихся отсрочек:
иного им портала не дано.



Один из ярких писателей Сибири

Альберт Семёнович Гурулёв родился 28 сентября 1934 года в г. Спасске Приморского края в семье военнослужащего, но с самого раннего детства жил в Черемхово, и этот шахтёрский город, его окрестности, реку Белую считает свой малой родиной.

После окончания школы поступил учиться в Иркутский госуниверситет на филологический факультет, затем работал в газетах Ангарска и Иркутска.

Самым важным периодом в своей жизни, повлиявшим на его будущее творчество, Альберт Гурулёв считает работу в редакции газеты «Советская молодёжь». Это были удивительные годы творческой учёбы, дружбы и познания жизни. В те времена в «Молодёжке» работали Валентин Распутин, Александр Вампилов, Евгений Суворов, Станислав Китайский и многие другие, впоследствии ставшие известными писателями и составившие костяк Иркутской писательской организации. В то же время А. Гурулёв пишет свои первые рассказы и публикует их в альманахе «Ангара», журналах «Уральский следопыт», «Наш современник», «Байкал».

В 1968 году вышел роман «Росстань», отмеченный ещё в рукописи на Всесоюзном совещании молодых писателей в Севастополе, а затем опубликованный в Иркутске и Новосибирске в серии «Молодая проза Сибири». За публикации рассказов и романа А. Гурулёв в 1969 году был принят в Союз писателей СССР.

В романе «Росстань» писатель рассказал о гражданской войне в Сибири, в Забайкалье. Он сумел сказать читателю своё слово о той легендарной поре. И было это слово правдивым, искренним, тёплым и романтическим. В повести «Чанинга» отразилась драматическая судьба деревни, переживающей очередной эксперимент по «укреплению» хозяйств, уничтожению «неперспективных» деревень.

С большим интересом читаются повести «Пожар в Перекатном», «Дом на своей земле», «Осенний светлый день», «Крик ворона». Они написаны писателем с пронзительно-тонким мировосприятием бытия, автор сумел овладеть искусством точной поэтической передачи своих чувств простыми, привычными словами. А. Гурулёв и дальше остаётся верен своей главной теме — «Человек и природа».

Герои его произведений — жители сегодняшней Сибири, охотники, рыбаки, рабочие. В журнале «Сибирь» в 2002 году опубликована повесть писателя «Выбор цветных снов», которая затем была переиздана в Москве в «Роман-журнале 21 век». За эту повесть писатель получил литературную премию журнала «Сибирь» имени А.В. Зверева.

В 2010-м издана его книга «Русское Устье» (роман, повести, рассказы).

Писатель уже более пятидесяти лет живёт на Иркутской земле, именно здесь вызрел его талант. Самобытность и незаурядность иркутского писателя родились на нашей Черемховской земле. Сибирская закваска, черемховская юность дали ему интуитивное и природное знание жизни, стали его первым жизненным университетом, духовно важным ориентиром.

Альберт Семёнович внёс свой вклад в развитие сибирской литературы, воспитывая у своих читателей любовь к родному краю, к Отечеству.

Его рассказы увлекают и радуют нас живой образностью и хорошим языком. Все книги А. Гурулева — лишь отрывки его большой повести.

Альберта Семёновича можно считать удачливым писателем. Он состоялся, достойно вошёл в литературу XX века, продолжает достойно трудиться в новом столетии. Он лауреат нескольких премий, в том числе и Губернаторской.

В юбилейные дни, посвященные 85-летию г. Черемхово, спустя полвека, по моему приглашению писатель побывал в родной школе, в литературной гостиной встретился с читателями. И эти встречи продолжают. Малая родина не забывается никогда!

*Зоя КОВАЛЁВА,
журналист, ветеран педагогического труда, г. Черемхово*

АЛЬБЕРТ ГУРУЛЁВ



На белом свете, недавно...

БЮГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ

I

Судьбы

Вечная душа... Душа не стареет, и даже на излёте человеческого века, устав и истрадавшись, остается всё той же, неизменной, готовой раскрыться свету, красоте мира, любви ко всему сущему, радости.

Стареет тело. Накопленные годами усталости гасят цвета житейской радуги, подменяют желания, приземляют полёт души. Но стоит страдающему телу заснуть иль на краткий час ощутить прилив жизненных сил, как душа, вынырнув из-под телесных немочей, воспаряет ввысь, и снова в ней звенят счастливые струны и сверкает всеми красками бытие.

Должно быть, в такие минуты и пришло ко мне душевное потребство пройтись, хоть мысленно, по годам своего изначального бытия. Я давно замечал за людьми, перевалившими определённый срок, вот это желание побывать у истоков своей жизни, побывать на земле своей малой родины. Так просит душа, готовясь к «большому кочевью».

Только где она, моя малая родина? Нет такого места, где душа, впервые осознав себя, осознала бы и свою корневую неразрывную связь с увиденными горами и долами, освящёнными жизнью и могилами предков, с малой травинкой и певчей птахой, солнцем и луной всходившими из-за памятного с рождения горизонта. Так получилось. Так сложилась жизнь.

ГУРУЛЁВ Альберт Семёнович, прозаик (род. в 1934 г. в г. Спасске Приморского края). Автор книг: «Росстань»: роман (Иркутск, 1968); «То же» (Новосибирск, 1970: Молодая проза Сибири); «Чанинга»: повесть и рассказы (Иркутск, 1970); «И был день...»: роман, повести (Иркутск, 1986); «Пожар в Перекатном»: повесть (Иркутск, 1973); «Дом на своей земле»: повести (Иркутск, 1983: Современная сибирская повесть); «Осенний светлый день»: повести, рассказы (М., 1987); «Крик ворона»: повести / в соавт. с В. Саленко (Иркутск, 1995); «Русское Устье»: роман, повести, рассказы (Иркутск, 2010). Член Союза писателей России.

Я родился в сентябре 1934 года. Рождение зарегистрировано в городе Спасске Приморского края. Того самого, из песни «По долинам и по взгорьям». Воинская часть, в которой служил мой отец, располагалась близ этого города. И потому — Спасск. Город я не помню, да и не мог его помнить: за четыре года моего первожительства семья сменила три гарнизона. Правда, все в Приморском крае. Так что жизнь я начал осваивать не только в семье, но и, в немалой степени, в доброжелательной солдатской среде, невольно осваивая и бытовой солдатский язык.

Но пришло время — и давно уже, — когда из рода отца-матери не осталось никого, кто стоял бы впереди и прикрывал меня перед Вечностью. Я теперь первый, я старший. И потому пришло время сделать хотя бы короткие записи о тех путях-дорогах, по которым прошёл род, сдвинутый с привычного места, о днях, изломавших его на этих дорогах.

Но скудны мои знания, и в немалой степени по моей вине: был «ленивым и нелюбопытным» в молодости. Но поздно сожалеть о душевной лени, и теперь — только вперёд, с тем багажом, который есть. Иначе будет утерян и он. И так...

Мои деды-прадеды жили-гуляли на самом краю земли Русской, на казачьей реке Аргуни, за которой синие сопки, распадки и реки чужеземной раскосой Маньчжурии. Хотя маньчжурская сторона чужеземьем казаками не шибко-то и воспринималась, в китайском безлюдном Трёхречье, в благодатных долинах рек Ганга, Хаула и Дербула, казаки держали свои заимки, где выгуливались стада рогатого скота и косяки лошадей. И не было непонимания друг друга — русского с китайцем — всем хватало земли и воли, и каждый народ жил своей жизнью: китайцы торговали, выстроив на аргунском заречье свои лавки, а русские пестовали животину и везли в китайские лавки мясо, масло, шкуры, верблюжью и овечью шерсть.

Были и конфликты, как теперь говорят. Меж соседями всё бывает. Иной раз маньчжурские бандиты-хунхузы, тайно переплыв реку, отбивали добрый косяк лошадей, гнали его в глубь своей территории на продажу. А казаки привычно седлали лошадей, набивали под сумки патронами и без всяких виз и дипломатических переговоров гнались за бандитами в глубь Срединного государства, пока не выдыхались кони или не догоняли нечестивцев. И тогда, если настигали хунхузов, говоря языком летописей, «была сеча зла и жестока».

Революция и чужеземное комиссарство в корень порушили Забайкальское казачье войско, хотя, быть может, и не столь кроваво, как поступили с Донским, но столь же убийственно. Немало казаков с семьями, с животинкой и самоварами, с нажитым скарбом, спасаясь, ушли за Аргунь, а другие остались, хотя трудно сказать, чья судьба оказалась горше.

Мои деды-бабки с детьми остались, но часть родни ушла за кордон. Те же братья моей бабушки, пребывавшие в полковничьих чинах.

Дед по отцу, Яков Гурулёв, не дожил до светлого будущего, умер в 1912 году, оставив шестерых малолетних детей. Моему отцу, младшему среди младших, едва в то время исполнилось два года. Без крепкой мужицкой руки справное хозяйство враз рухнуло на колени, и к завершению революции во дворе осталось только четыре малорослых косматых лошади, несколько беспородных коровёнок, да два десятка баранов и баранух. По западным «рассейским» меркам — если считать по лошажьим да коровьим головам — хозяйство кулацкое, а по забайкальским, особенно в тех местах, где скотоводство — основа жизни, это не хозяйство, а вдовьи слёзы. Так что в революцию семья отца вошла вполне классово благонадёжной.

Бабушка по отцу — Анна — была из Пинегиных. Сама фамилия указывает, что её предки пришли с Русского Севера, с реки Пинеги. Но это так, к слову. Во вдовой семье остались мой будущий отец Семён, братья Пётр, Алексей и самый старший, опора и надежда, — пятнадцатилетний Савва. Да две сестры — Агафья и Фёкла. Старший, Савва, к концу революции вызрел в крепкого парня, и бабушка моя торопливо его оженала, надеясь, что семья не даст парню забаловать, ввязаться в смуту. А когда немалая часть казаков, не принявших новую жизнь, хлынула за Аргунь, ушёл в Китай с молодой семьёй и Савва. Но не уберётся и там. Слишком много крови впитала степь, слишком свежи были взаимные обиды, слишком ожесточились души за годы смуты. То белые сделают набег из-за кордона

ради мести и угона скота, то красные нападут на поселения супротивников, опять же ради мести и добычи. Никаких ограничений этой вольности казаки не признавали. При одном из набегов на заречное поселение, в завязавшемся бою, Савва, даже не заматеревший в мужицкой сути, ещё не заведший врагов, был убит. Его вдова осталась с двумя малым-малыми девчонками, моими двоюродными сёстрами. Они вернулись в Россию уже после Второй мировой, когда ушедшим за кордон казакам снова пришло время сниматься с насиженных мест, снова бросать дома, нажитое и подаваться в бега — теперь в чуждальные Австралию, Аргентину, а другим возвращаться в недоверчивую к ним и неласковую Россию.

Новая власть, едва окрепнув, решила закрыть границу, но не встретила понимания со стороны степного люда: китайские лавки — вот они, за рекой, в них всё есть, что нужно для жизни, — сатины и ситцы, чай и конфеты, спирт «ханьшин» в деревянных банчках. А в своих лавках — шаром покати. Запрет запретом, а жизнь своего требует, и потому редкая сеть организованных пограничных застав не могла удержать мелкую, но массовую контрабандную рыбёшку. Летом, когда согревается вода в Аргуни, неспешно хлыняющему вдоль берега верховому ничего не стоило в нужный момент повернуть в реку привычного к переправам коня и, держась за гриву или хвост, через недолгие минуты оказаться в недостижимом для власти заграничье. Да и не считалось хождение за реку грехом. А зимою, вспоминала моя мама, даже ребяшня, в том числе и она, выпросив у старших курицу или какую другую мелкую живность, быстрой рысью одолевали замёрзшую Аргунь, чтобы обменять живность на конфеты.

А что тогда говорить о взрослых да конных? Запряжённый в кошеву или розвальни конь быстрее быстрого выносил на чужой берег.

Слабым местом в этом самоснабжении, которое даже неловко контрабандой назвать, было возвращение из-за кордона. Ежели прихватят «органы» сани с товаром — не отворачиваться. Потому, заметив вдалеке пограничный наряд, «нарушитель» что есть мочи гнал своего коня в ближайший посёлок. Там — спасение. И пограничники гнались за ним только до посёлка. Дальше — людей смешить. Стоило преследуемому заскочить в улицы-переулки, как он бесследно исчезал. Стучись власть в любые ворота, осматривай хоть все подворья, но не найти ушедшего от погони потного коня, ни саней с товаром. Пограничники это знали и даже для вида не пытались искать нечестивца в пропитанном глухим недоверием посёлке.

Но со временем борьба с прогулками к «классовым врагам» стала набирать обороты: укрупнились заставы, зачастили вдоль границы конные разъезды, устраивались засады. Серьёзными в своих поступках и аргунцы. Непрерывные войны последних десятилетий — с Японией, поход в Китай на погром Боксёрского восстания, Первая мировая, Гражданская — лишь совершенствовали боевую выучку. Просочиться на ту сторону при доброй сноровке не представляло труда, а вот на обратном пути легко можно было напороться на усиленный разъезд, а то и на откровенный заслон.

В застольных разговорах родственников, слышанных мною в детстве, вспоминались совсем удивительные случаи: затоварившиеся на китайской стороне казаки, зная, что дороге домой им глухо перекрыли пограничники, накапливали силы, поджидая по несколько дней вновь прибывающих за товаром, сбивались в немалый обоз и, установив на кошеве пулемёт, прорывались через кордон, стрельбой показывая свою силу. До смертоубийства дело старались не доводить. У обеих сторон хватало благоразумия — кровь смывается только кровью.

Другой мой дед — отец мамы — Андрей Ефимович Чагин, революцию пережил, но не пережил раскулачивания. К началу смутного времени семья подошла, даже по степным меркам, не просто состоятельной, а богатой. Дед — а деду и сорока годов не было — владел приличным стадом коров, столь же приличным табуном лошадей и несколькими сотнями овец. И высшим признаком степного благополучия, казачьей радостью — стремительными как ветер бегунцами.

Естественно, дед не мог обойтись без наёмных работников, но трудилась и вся семья, и, несмотря на малый возраст, все дети. Таков обычай, таков порядок.

У этого деда детей было семеро: Анна, Елизавета (моя мама, 1913 года рождения), Александра, Екатерина, Харитиния, Михаил и Пётр.

К началу смуты дед успел повоевать — было где, и особенно ему запомнился, запал в душу поход в Персию. Чем уж она так приглянулась, но со временем, в хмельном застолье, среди друзей-товарищей, бывало, объявлял:

— В Персию еду!

Друзья-товарищи пытались деда урезонить:

— И куда же ты поедешь? Вон у тебя какая борона!

«Борона» — это то, что называлось «семеро по лавкам».

Хмельной Андрей Ефимович легко решал и этот вопрос:

— Всё хозяйство жене оставляю. Бедствовать не будет.

И, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, давал распоряжение жене:

— Анна, седлай Воронка, в Персию еду!

По первости — мама вспоминала — молодая моя бабка ударялась в слёзы, веря всему сказанному.

Наутро поездка в Персию сама собой отменялась и не вспоминалась даже, а если и вспоминалась, то лишь с повинными словами.

Бабушка моя по маме — в девичестве Чумакова — из небогатого рода, и была высватана за красоту и стать. И на всю жизнь сохранила сочувствие к нуждающимся и обездоленным.

Дед Андрей по тем временам считался грамотным, выписывал газету — случай крайне редкий, — понимал, куда повернула жизнь после революции и когда началось создание так называемых коммун, он, надеясь обезопасить себя и семью, в числе первых вступил в местную коммуну, без утайки расстался с хозяйством, в принципе, создав материальную основу этой коммуны.

Но не уберёг дед семью, напрасной оказалась жертва. Когда в приаргунские и ононские степи пришла «паспортизация», т. е. высылка «неблагонадёжных» казаков в глубь Сибири, эта доля, в первую очередь, коснулась зажиточных семей. Но высылались и иные, у которых особого «богачества», кроме поросли ребятишек, никогда и не было. Изгоняемые семьи вывозились на далёкую железнодорожную станцию Борзя, грузились в «телячьи» вагоны, и составы таких вагонов, полных страха и горя, под жёсткий перестук колёс потянулись в неизвестность, в предстоящую бесприютность.

Тут самое время, я полагаю, сделать небольшое отступление. Некоторые народы нашей России считают себя репрессированными — хотя эти репрессии не всегда возникали на пустом месте — и обвиняют в случившемся несчастье русский народ. Но даже малых знаний истории страны достаточно, чтобы знать, что самый репрессированный народ, самый пострадавший и обездоленный — русский народ. Где теперь двенадцать казачьих войск — основной скрепы государства? Где многомиллионное крестьянство — хранитель кормилицы-земли, генофонда нации, народной культуры? Да и вообще, где место русскому человеку в государстве, созданном русскими, в Русском государстве?

Поезд моего деда остановился на станции Черемхово Иркутской области. Всё, приехали! «Пассажиры» с настороженностью и опаской смотрели в распахнутые двери-ворота вагонов. Так вот где предстоит жить, доразвивать ребятишек и умирать: ни реки, ни степного простора, ни домашней живности, пасущейся по многотравным еланям, — только серые неказистые домишки да островерхие терриконы угольных шахт.

Бабушка вспоминала свои первые впечатления от встречи с Черемхово... После длительного пути в тесноте, неуютстве первым делом решили просушить, проветрить шубы, войлоки и постель. Около вагонов натянули волосяные верёвки, вывесили на ветер последние остатки нажитого. Утром самых ценных для будущего выживания вещей на верёвке не оказалось. Раздались громкие голоса:

— Анна, ты чо, шубу-то уже сняла? Пусть проветривается.

Забайкальцы, не знавшие воровства, не могли себе и представить, что их просто-напросто ограбили. Приходилось привыкать к реалиям новой жизни.

Шахтам нужны были рабочие руки. Много рук. Брали всех, кто мог держать кайло, совковую лопату, толкать вагонетки. Но степняки были негожи для работы в тёмных подземельях, без неба над головой, без солнечного света. При первой же возможности, правдами и неправдами, забайкальцы стали покидать шахты, расселяясь по окрестным деревням. Мой дед Андрей не стал исключением — поселился в маленьком домике на берегу реки Белой в посёлке Мальта. Но так и не сумел пережить новых реалий бытия и умер, едва дотянув до пятидесяти лет.

Забегая вперёд, стоит вспомнить, что когда началась Великая Отечественная, «неблагонадёжные» казаки, не изменяя заповедям предков, пошли воевать, пошли отражать фашистский набег. Ушёл на фронт и не вернулся двадцатилетний дядя Миша. Добровольцем, прибавив себе год, ушёл семнадцатилетний дядя Петя и вернулся уже после войны в орденах и рваных отметидах по всему телу, отлежав в госпиталях несколько месяцев. Ушла в армию, не закончив педагогическое училище, тетя Харитиния.

Мой отец родился первого сентября 1910 года в аргунском карауле Ново-Цурухайтуе. Как я уже писал, он рано остался без отца, и семья, оказавшись без кормильца, к концу революции вконец обеднела. Как классово благонадёжный, в конце двадцатых годов отец был рекомендован к обучению во Владивостокское пехотное училище. Обучение было серьёзное — четыре года. Нагрузки тоже были серьёзными. Отец вспоминал пешие переходы в летние лагеря за сто двадцать километров. С полной выкладкой. Без всяких днёвок и ночёвок. По строгому распорядку: пятьдесят минут на марше — десять минут отдыха. Обед и ужин — в обычное время. После окончания училища продолжил службу в приграничных гарнизонах Приморского края в должности командира пулемётного взвода. Судя по всему, отец был истовым службистом. Будучи взводным, а вскорости и ротным командиром, появлялся в казарме к подъёму и покидал расположение части после отбоя. Таким он и остался на всю жизнь: чётким, собранным, ответственным и исполнительным.

Отец был хорошим командиром и успешно бы продвигался по службе, любя армию, не представляя себя вне армии. Но тут жизнь снова дала сбой. Подошли 37-й, 38-й годы, годы всевластия «органов», годы «чистки» армии. Хотя, если говорить правду, эти «чистки» России начались сразу же после победы революции. Повторяю эти общеизвестные истины лишь для того, чтобы напомнить атмосферу того времени.

Как вспоминал отец, его пригласили в так называемые компетентные органы и там провели беседу. Суть её состояла в том, что отец, выходец из бедных, вполне благонадёжен, весь наш, но вот жена у него классово чуждый элемент, из мироедов, из миллионеров. А потому, сказали, должен принять решение: разойтись с женой, родители которой были уже высланы из родных мест, или оставить армию.

Позднее, вспоминая то время, мама особо возмущалась «миллионерами».

Миллионеры! С лопатой и в коровьем дерьме! Да мы с самого детства все работали.

Отец хотел остаться в армии, но и разводиться категорически не хотел. В итоге беседы, почти сразу же, перед ним и мамой встал суровый вопрос и даже не один: как жить, на что жить, куда ехать. Решили ехать в родное Забайкалье. Думалось, своя земля, своё небо, свои люди помогут выжить.

А оно, Забайкалье, к тому времени изменилось, и крепко изменилось. Границу перекрыли, власти придавили дух казачьей вольности. Появились колхозы, народ приник от указующих окриков. А главное — уже прокатилась по степям так называемая паспортизация, многие родственные и знакомые семьи были высланы. И в дедовском просторном доме уже проживали чужие люди.

Нелегко было жить и этим чужим людям, приехавшим из отдалённых тесных мест, соблазнённым просторными землями, дармовыми домами. Главным достоинством переселенцев было их пролетарское происхождение, бедность их предыдущей жизни. А земля в Забайкалье камениста и требует от крестьянина немалых трудов. А зимы в тех краях с безжалостными, клящими морозами и жёсткими ветрами, когда воробьи, покинувшие застреху, замерзают на лету. А летом суховеи, жара, в иные дни адов зной, когда, будучи вне дома, можно приготовить к походному обеду яйца, не разжигая костра, а лишь закопав их в раскалённый песок.

Лето короткое, зима длинная. Дров в зиму надо немерено. А лес — за много десятков километров. Поди, привези. Местные, в прежние годы, топили печи ещё и аргалом — прессованным копытами животных, высушенным солнцем и ветром навозом. А чтобы был аргал, нужно иметь в своих скотных загонах много нажитой за долгие годы животины.

Переселенцы, столкнувшись с забайкальской зимой, спасая свою жизнь, рушили и сжигали в печах надворные постройки, заплоты, бани. Иные даже опиливали углы изб, выворачивали в избах полы. Всё шло в печь. Разруха и уныние охватывали край.

Работа и жильё для моих родителей нашлись в районном центре Бырке. Мама — учитель начальных классов, отец — учитель физкультуры и военного дела. Но в Бырке семья задержалась не долго. Как вспоминал отец, к окнам дома стали вечерами прикидывать какие-то люди, скрипели промороженными ставнями и тотчас убегали, стоило отцу выйти на крыльцо. А потом начались ночные «приглашения» на беседу в НКВД.

— Вот вы в анкете пишете, что у вас родственников за границей нет. А брат?

— Савва ещё в двадцатых годах был убит.

И тут следовал вопрос, чем-то напоминающий щелчок сработавшего капкана.

— А вы откуда знаете? У вас, что, с заграницей есть связь?

Ночные беседы становились всё чаще и чаще, и родители решили не искушать судьбу и бежать. А родителям в то время было ещё всего ничего: отцу двадцать семь, а маме двадцать четыре. По нынешним понятиям не вошедшие ещё в настоящую взрослость. А на руках уже двое детей мал-мала меньше. А впереди — неизвестность.

Мама вспоминала: пока добирались до железной дороги — двести верст на попутном грузовике — издрожались: вдруг догонят, вдруг вернут, и успокоились, лишь сев в поезд. А куда ехать? Только в Иркутскую область, только в Черемхово, где уже примеряли к себе новую жизнь мамыны отец с матерью, братья и сёстры.

Приехали. Казалось бы, можно и остановиться, оглядеться, отдохнуть от дорожных ветров, создать для семьи хоть малый уют и достаток. Тем более что энквэдэшная «работоспособность» пошла на убыль. Но приближалась тяжёлая череда войн: с Финляндией, Германией, Японией. А допрежь — поход армии в западные Украину и Белоруссию. Да река Халхин-Гол, да озеро Хасан.

Приехать-то приехали, и обживать стали, а душа-то никуда не приехала, осталась в Забайкалье. Тоска по родным местам, тоска по прежнему укладу жизни, да и прежняя крепкая забайкальская родственность заставляли отыскивать близких и дальних родственников, знакомых посельщиков. Я помню, как мои родители с этой целью ездили в Тулун Иркутской области, в Канск Красноярского края, в посёлки и сёла. По характерной речи, по другим малоприметным признакам безошибочно узнавали земляков в толпе. Правда, поездки-встречи стали возможны уже после войны, когда появилась хоть маленькая возможность перейти от выживания к самой, хоть и трудной, но жизни.

Все эти чувства — тоски по утерянной земле предков, по вольности казачьей, по укладу жизни — родители в полном объёме невольно передавали и своим детям. Без афиши, без громких слов, от души к душе.

Меня всегда интересовало всё, что касалось степной Даурии, где текут реки-легенды Аргунь и Онон — реки родовых забайкальских казаков. Помню, став уже взрослым, за многие дорогие книги выменял вышедшую в 1901 году книжку «Забайкальцы в Маньчжурии» генерала Орлова о походе Хайларского отряда на подавление Боксёрского восстания. С гордостью читал строки:

«Забайкальский казак... вынослив, превосходно ходит, ездит, довольствуется немногим, самолюбив».

О самолюбии... В книге упоминается и о том, что для комплектования отряда были присланы двадцать два офицера из Европейской России. Наказной атаман Мациевский сам лично наставлял новоприбывших: «Имейте в виду, что забайкальский казак самолюбив и потому рукоприкладством заниматься нельзя. Как бы не вышло несчастья».

Совет был дельным: «несчастья» случались. Пусть крайне редко, но случались.

Оскорблённый «действием» казак мог зарубить обидчика, несмотря на то, что воинская дисциплина была для него привычной и органично вписывалась в его мировосприятие.

Однажды, уже в зрелом возрасте, раскрыл я выходявшую в своё время в Иркутске газету «Русский Восток» и почувствовал, ещё даже не вчитываясь в заголовок статьи, как встрепенулась душа при виде простенькой фотографии: со снимка смотрел крепкий, уже немолодой мужик с очень уж типичным лицом коренных забайкальцев-степняков. И тут только по подписи под снимком, понял: да это же атаман Семёнов Григорий Михайлович!

Я с особым вниманием всматривался в лицо атамана. Так вот он какой!

Снимок сделан в сорок пятом году, когда Семёнов был уже арестован, вывезен в Москву и, без сомнения, знал, что его ожидает. И, тем не менее, прямой взгляд, крепкая посадка головы на могучей шее, развернутые плечи и, как уж мне подумалось, бесстрашие в глазах и готовность пройти свой путь до конца, не изменяя себе.

Снимок сопровождала статья об атамане Забайкальского казачьего войска — третьего по численности среди двенадцати казачьих войск России — о бесстрашном воине, лихом наезднике, знатоке языков. Патриоте своей страны.

Для иных, быть может, уважительные слова о Семёнове звучат несколько странно: атаман, ввязавшийся в революционные страсти, запачканный кровью по локоть. Всё это так. И патриотизм, и кровь. И не только по локоть, больше. Но...

Конечно, из уклончивых разговоров взрослых, особенно при послевоенных застольях, я с детства знал об атамане, что-то слышал о его детях, но только после девяностых годов осознал для себя его суть. Он воин, он остался верен присяге до смертного конца. Это особенно высветилось после того, как рухнула красная Империя, когда иные бывшие секретари райкомов и обкомов, преподаватели основ марксизма-ленинизма стали ярыми демократами, обличителями презренных «совков» и «коммуняк». А главный демократ уподобился козлу на бойне, приведшему стадо под нож и в нужный момент соскочившему со смертного конвейера. Такого предательства мир ещё не знал.

В начале нынешнего века в Забайкальском крае, во время проведения федерального конкурса «Имя России» для выявления национального кумира, вокруг которого могла бы возникнуть национальная идея, читинские чиновники провели и свой, региональный конкурс «Великие люди Забайкалья». На конкурс были выставлены действительно серьёзные имена: Чингисхан, знаменитый снайпер — герой Великой Отечественной войны, действующий губернатор. Но в первом туре, к растерянности организаторов конкурса, с явным преимуществом победил — кто бы вы думали? — живущий в утайливых уголках человеческой души атаман Забайкальского казачьего войска генерал-лейтенант Григорий Михайлович Семёнов. Для одних палач, для других Георгиевский кавалер, бесстрашный воин и патриот. И то и другое верно. Но стоит ещё и добавить: уроженец нашенского посёлка Куранжа, что на Ононе, казак из казаков, не изменивший своему Кресту. Имя атамана и память о нём пронесли под незаживающими болячками взаимных обид со времен братоубийственного лихолетья, под немотой в энкэвздэшные годы, под новой болью уже не рассказывания, а уничтожения русской основы, основы, которой истово служили все двенадцать казачьих войск России. Как оказалось, под пеплом чуть ли не столетней давности до сих пор таится в углях неостывший жар.

Послевоенные годы... Памятны редкие — бедно жили — застолья. Плотно, плечом к плечу сидели, спаянные родственностью и общей судьбой, мужики и равноправные с ними тётки. И помнится главное — песни. После третьего «гранёного», когда душа освобождалась от будничных оков, — песня. И первой — «Скакал казак». Скакал он всегда через Маньчжурские края. «Кольцо казачка подарила, как уходил казак в поход». Вот к этой-то казачке и стремился «всадник одинокий».

Я удивлялся особой манере забайкальских песенников. Свои родные песни они всегда начинали высоким громким голосом, почти выкриком. Звонко, светоносно взлетал одинокий голос запевалы — «ска-акал казак», и тяжело, густо, с рокотом подхватывало застолье — «чер-рез маньчжурские кр-рая». А потом песня выравнивалась, как выравнивается поток реки, вырвавшейся из узких скальных прижимов.

Потом — разговоры, разговоры. О нём, о родном Забайкалье. Вспоминались белые и красные, вспоминались без особой горечи и предпочтения: с той и другой стороны были и родственники, и соседи. Вспоминались лихие конники, лихие умельцы, способные на одной узде увести из чужого табуна сразу трёх лошадей. Вспоминались сгинувшие и потерявшиеся, рыбалки и покосы, клички оставленных на родине лошадей.

И снова песня, и опять же с выкрика: «Н-не вейтеся, чайки, над морем, вам некуда беденьким сесть, летите в страну Забайкалье, несите печальную весть. Патроны у нас на исходе...»

И мы, дети, слушая взрослых, проникались родственностью к обетованной стране Забайкалью, где жили удаль и воля, длинногривые лошади, добрые и доверчивые люди, стране, которая, подобно граду Китежу, потонула в мутных водах междоусобицы.

II Война

Она догнала нашу семью в шахтёрском Черемхово, на его окраине в посёлке ЦЭС. ЦЭС — это центральная электростанция — большой куб серого здания, гигантские бочки градилен и высокая дымная труба. Престижное, как бы сейчас сказали, рабочее место. Наша поселковая гордость, наши общественные, доступные всем часы. Утром, в определенное время, над крышей куба появлялся, как над кипящим чайником, парок, и раздавался мощный, слышимый далеко окрест, гудок. Значит, пора просыпаться, вставать. Через полчаса снова гудок. Начало рабочего дня. Гудки днём. Гудки вечером. На этой электростанции работал и мой отец. Счетоводом. Никакой другой профессии, кроме военной, у него не было.

Мы жили в коммунальной квартире двухэтажного деревянного барака, стоящего на развилке двух улиц, близ железнодорожной однопутки, по которой шли вагоны с углём. Иногда состав замирал, останавливался, и это было благом для обитателей бараков. Шустрые ребята постарше взбирались на вагоны и торопливо сбрасывали на землю тускло поблескивающие куски угля. При удаче остатки добычи доставались и нам, мелкоте.

В занимаемой нами комнате, как я теперь понимаю, было довольно тесно: отец с мамой, я с сестрёнкой, бабушка — мать отца, тётя Тина — младшая мамина сестра-студентка педучилища, и не достигший ещё совершеннолетия дядя Петя. Но тесноты я не замечал, не тяготился ею. Быт был привычным и, как бывает в раннем детстве, казался единственно возможным.

Я не помню, как была объявлена война, как всколыхнулся народ, принявший новую напасть. Не помню ни страхов, ни слёз. Скорее всего потому, что и не было их больших: народ притерпелся к бедам, тяготам и войнам. Стоит только перечислить: рассказывание, раскулачивание, высылки, энкэвэдэшные годы, Халхин-Гол, поход в Западные Украину и Белоруссию, финская кампания. Видимо, не думалось, что очередная напасть будет столь долгой и бедоносной.

Но комната как-то быстрее быстрого опустела. Ушли в армию отец, и дядя Петя, прибавивший себе год, тётя Тина, разрешив мне забрать её тетради и карандаши лишь в том случае, если она не вернётся с войны. Уехала в деревню к старшей дочери бабушка. На окнах подъездов появились наклеенные бумажные косые кресты, предохраняющие стёкла от взрывной волны. Зазвучали рвущие психику сирены учебных воздушных тревог. Исчезли продукты, вспыхнули очереди в хлебном магазине.

У нас был фанерный чемодан с округлыми углами и с небольшой выдвигающейся, как у пеналов, крышкой. В нём сохранилась мука из старых запасов. Когда солнце начинало клониться на закат и солнечное теплое пятно достигало белого бока печи, приходила с работы мама. Перемещение солнечного пятна, падающего из окна, было нашими часами. В пасмурную погоду часы не работали.

Приходила мама и готовила нам долгожданную «заваруху». Готовилась она просто и быстро. Доставалась из чемодана мука и сыпалась в подсолённый крутой кипяток. При непрерывном помешивании. Добавлялась ложка постного масла. Эта еда мне казалась очень вкусной.

И ещё у нас была школьная карта Советского Союза. Синие моря, коричневые горы. Я раскладывал карту на столе, забирался с ногами на табурет и погружался в мечты о будущих путешествиях. Я уже знал от тёти-студентки, что на юге существуют жаркие страны, а за ними опять холодно, даже холоднее, чем у нас зимой. Но я очень сомневался в тёткиной правде. Ведь на юге тепло, даже жарко, а на Севере — холодно.

Самым близким морем было Охотское. Карта размером не очень большая, и потому путь к нему представлялся совсем недалёким. Если выйти из нашего барака и идти-идти на закат — и вот он, край земли! А дальше — только вода. Я ещё не знал, что карту надо было ориентировать «головой» на Север, раскладывал её, как мне удобнее, и потому восток оказался на западе.

В сорок втором году произошло важное для нас событие: мы из барака переехали в каменный дом с паровым отоплением. Уже не нужно было столь много угля, да и водокачка была близко, буквально, под окнами. Великие блага.

И этой же осенью я пошёл в школу. У меня появилась новая суконная гимнастёрка, перешитая из настоящей военной, но я её не любил. Она была очень колючая, если надеть её на голое тело. Но других вариантов не было.

И ещё мне собирались пошить сапоги. Самые настоящие. Из отцовских сапог. Нашёлся сапожник, согласившийся стачать дорогие обулки. Он посоветовал отрезать у сапог ненужные головки и принести товар. Мы с мамой так и сделали. Так, да не так. Мы «отчекрыжили» голенища по прямой линии много выше запятника, а не по шву, испортив материал. Пришлось заказывать сапоги из старого брезента и транспортёрной ленты. Мне до сих пор жалко те несшитые и неношенные сапоги.

Потом, уже в школьные годы, появилась другая карта-мечта. На ней тоже весь Советский Союз, но и западные страны с ненавистной Германией. Эта карта висела в нашей мужской средней школе номер пятнадцать как раз напротив главного входа. Мимо уж ни как не пройдёшь, не пробежишь. На карте кривая линия гвоздиков, соединённых тоненьким красным шнурком. Это линия фронта. Когда радио жёстким голосом сообщало об освобождении от немецко-фашистских захватчиков большого города, один или несколько гвоздиков перебивались на новое место и красный шнурок переползал ближе к границе, от которой и до самой Германии было уже рукой подать. Мы, третьеклассники, — в этот год красный шнурок особенно споро продвигался на запад, — стриженные от вшей под «ноль», каждый день останавливались у карты, думая, что как только красный шнурок доберётся до Германии, так сразу наступят хорошие, сытные времена и отцы вернуться домой. Это была главная наша мечта.

Мы были уже стратегами: несмотря ни на что, мы не хотели, чтобы наше правительство заключило с немцами перемирие. Как заключали когда-то с напавшими на нас японцами, как с финнами, как... Нет уж, только не перемирие. Нужно победить фашистов. И тогда некому больше будет нападать на нас. И тогда... Тогда будет хорошо. В свои десять лет мы уже устали от войны.

Были мечты и другие, помельче. Так сказать, личного характера. Я хотел как можно скорее вырасти. Стать высоким. И в этом была насущная необходимость. Отец в армии. Мама в школе работает в две смены. Сестрёнка ещё совсем мала. Ходить за хлебом — моя обязанность. В магазине очередь и давка. Перед открытием магазина у его деревянных дверей скапливалась толпа, и к тому времени, когда подъезжала хлебовозка — зелёная будка, установленная на одноконную телегу, — толпа наливалась злым нетерпением и, едва дверь распахивалась, как в образовавшийся проём вламывался безжалостный поток человеческих тел. Лишь бы прорваться к прилавку, давануть вперёд что есть мочи, оттесняя рвавшихся со стороны.

Мне хотелось, мне надо было вырасти, и тогда не упираться лицом в чью-то спину, и тогда легче стало бы дышать в жёсткой давке. В то время я даже и помыслить не мог, что

могут исчезнуть очереди, а хлеба можно купить, сколько унесёшь или сколько хочешь. Это было за пределами самой сказочной мечты, и в таком случае единственно реальным представлялась возможность вырасти, пусть и не так скоро.

В детстве год — это неохватная временная громада: бесконечная зима, радостная весна, горячее долгое лето, мокрая осень. И снова зима. В прошлом году — это так давно, а будущий год представлялся за далёким горизонтом. А война продолжалась. Это потом жизнь начинает ускорять движение, и в старости годы мелькают, как проносящиеся мимо вагоны скорого поезда: не успел рассмотреть, а вагона уже нет. А пока...

У меня стало много хозяйственных обязанностей. Первая — отоварить хлебные карточки. Без этого никак. И не дай бог потерять их! Затем начистить кастрюлю картошки. Если картошка ещё была. Сказать «не хочу» и помысла не было. Это как не хочу жить. Картошка почему-то всегда была мелкая. Много лет спустя, вспоминая с кем-то о войне и картошке, услышал, что в те времена картошка рождалась на особицу мелкая. Боюсь, что это так и было.

Затем принести с водокачки воды. Да сходить не раз: я ещё не мог поднять полное ведро, вот и приходилось идти снова, и снова. Затем натаскать угля. Его тоже было нужно много. Были дела ещё и ещё. Сестрёнка не помощница — мала, и ходила в детский сад.

Видимо, я устал. И на меня порой накатывала недетская тоска вселенского одиночества.

Быть может, это было какое-то заболевание. Суть его заключалась в том, что мне начинало казаться, что жизнь во всём мире куда-то исчезла, вымерла и одиноко теплится лишь в нашем забытом посёлке. Я понимал, что это не так, но не мог справиться с ощущением пустоты и одиночества. И тогда я подходил к окну кухни, откуда просматривался горизонт и далёкая железная дорога, по которой, казавшиеся игрушечными, паровозы, бодро дымя, тащили такие же игрушечные вагоны. Это успокаивало: паровозы и составы шли из дальних краёв, и, значит, там, откуда они шли, была жизнь. Какая-никакая, а жизнь. Но настоящая жизнь должна начаться, когда кончится война.

И война однажды кончилась. Это было утро. Тёплое и солнечное. И большая чёрная тарелка радио вдруг чётким и торжественным голосом объявила, что мы победили и войны больше нет. Я был дома один, мне не с кем было поделиться с обрушившейся на меня радостью, я заметался по кухне, распахнул окно, влез на подоконник и, увидев женщину с коромыслом и вёдрами, заорал:

— Тётка, война кончилась!

Тётка замерла... А я продолжал кричать: «Война кончилась, война кончилась!..»

И мечталось-виделось, что вот уже на днях придут домой все, кто воевал. Ну, не на днях, так через неделю: а что ещё там делать, в кого стрелять, если война кончилась?

Я ещё не знал, что скоро начнётся другая — на востоке. Игрушечные паровозики и составы на горизонте вдруг зачастили и всё больше на восход, на восход. И стало известно, что это сплошь идут военные эшелоны: в теплушках солдаты, на платформах танки и пушки. Народ потянулся к железнодорожной насыпи встречать и провожать солдатиков, с надеждой увидеть промелькнувшее мимо родное лицо. И поговаривали, что кто-то видел своих.

Бегали смотреть на военные эшелоны и мы, ребята, выстраивались шеренгой вдоль насыпи, махали руками теснившимся у распахнутых настежь дверей теплушек победителям. Стальной перестук колёс, поднятый составом ветер, солдатские лица... Торопливые эшелоны шли по обеим колеям в одну сторону, это было непривычно и потому тревожно.

О картошке

Главной спасительницей от «глада и мора» во время войны, да и в столь же насытые первые послевоенные годы, была, конечно, картошка. Без неё, родимой, никуда, не выжить бы. Это как без воздуха. И потому уже весной сорок второго, едва пережив угрюмую

зиму — её особенную, морозную лютость, гибельные вести с фронта, — поселковый люд, освоивший горький опыт великой скудости, ударился раскапывать ближние и дальние целинные неудобья. Взялись за лопаты и мы с мамой, стараясь увеличить уже имеющийся у нас участок. Работа, как говорится, на пределе сил, на износ. Хотя изнашиваться-то особо и было нечему. Через несколько минут такой работы, даже моя маленькая лопата, переделанная из саперной, наливалась свинцовой тяжестью. Но как бы то ни было, а участок в несколько соток мы подняли, картошку посадили. И это была радость.

Так что радость жизни из каких-то утайливых мест, где она всегда прячется, пробивалась и в те наши дни. Помнится в ту весну голубое небо, тёплое солнце и звонкая, трепещущая счастьем песня жаворонка в высоте. Я слышал эту песню впервые.

Осенью мы накопили картошки неожиданно много, вполне достаточно, чтобы одолеть приближающуюся зиму. Особо мелкую перетерли на крахмал, а остальную, мешков двенадцать, а то и больше, засыпали в кладовку под лестницей.

Картошка и осенью досталась нам непросто. Выкопать её по теплу не успели — мама работала уже в две смены, — а тут выпал ранний снег. Я до сих пор ладошками помню снеговую грязь, холодные, в мокрой обливке клубни, волглые и заглубевшие до брезентовости мешки.

Пишу эти строки без всякой жалобы на судьбу. Только излагаю факты, что было, но быльём не поросло. Да в то время, как помнится, нам не нужна была чья-то жалость. Скорее всего жесткости требовало время и сама жизнь. И желание выжить. Хотя вряд ли это осознавалось.

Летом второго года войны мы переехали в кирпичный дом, где было паровое отопление — великое благо. Крошечная котельная согревала три дома. А в начале декабря в котельной что-то сломалось. Пока её ремонтировали, народ как-то перебился около своих кухонных печей, а наша картошка, засыпанная под лестницу первого этажа, превратилась в камень. Не надо иметь слишком богатое воображение, чтобы понять, что всё это для нас значило.

Что было в тогдашнем народе, так это умение противостоять всяким бедам-напастям. Кто-то надоумил маму, как можно обойтись с замёрзшей картошкой. Сама она вряд ли бы об этом догадалась. Это был опыт тех, кто уже хорошо хлебнул лиха. Из замёрзших клубней надо стряпать лепешки, а так как самим всё не съесть — излишки продавать на базаре, а на вырученные деньги хоть что-то покупать из еды.

Процесс стряпания мерзлотики весьма несложный. Нужно принести ведро картошки и залить её теплой водой. Вода хоть и подогретая, но тут же превращается в лёд. Правда, в мокрый и не очень крепкий. Выколупнуть клубень из ледяной капсулы нетрудно. И кожура снимается под пальцами легко. И вот она, картошечка, беленькая, чистенькая. Теперь её нужно отварить с солью и растолочь. И из этой массы печь лепёшки. Лепёшки получались даже красивые, пышные, подрумяненные. Рецепт как это сделать без масла, мною напроочь забыт. Есть их было можно, но... лепешки из картошки, перезимовавшей в поле и найденной при весенней копке земли, были много вкуснее.

Была у нас на недалеком пустыре торговая толкучка, названная в народе «Хитрым рынком». Вот туда я и нёс кастрюлю горячих лепёшек. Это была самая дешёвая еда, и кастрюля быстро пустела. Но с тех пор для меня что-либо продать — мука. А любовь к картошке жива до сих пор. Правда, не к мороженой.

Война и школа

С некоторым душевным напряжением приступаю к этой главке, которая в разрез идёт с новомодными требованиями: ювенальной полицией, толерантностью и прочими сегодняшними изысками. Я пишу о тех, семидесятилетней давности, временах. Но для меня это было вчера.

Школа наша, по поселковым понятиям, была большая — двухэтажная, каменная, многолюдная. Одних первых классов несколько. Директор — Пётр Степанович Пальчик. А прозвище у него среди школяров было Петро. Скорее всего потому, что в его речи при-

существовал крепкий украинский акцент. Шла Великая Отечественная война, и он остался единственным мужиком среди учителей. В армию его не взяли скорее всего из-за возраста. Или по какой другой причине. Был он лысоват, излишне грузен и имел громкий голос. Но вот что удивительно: буйное школьное безотцовство он в полном мужском одиночестве умело держал в страхе и повиновении. «Училки» не в счёт. А вот у Петра не забалуешь.

Вспоминается не раз виденное. Идёт урок. Усталая «училка», измотанная жизнью, не смогла удержать порядок: даже из коридора слышны шум, смешки, выкрики. Но внезапно дверь класса распахивается во всю ширь и в проёме появляется Петро. И в классе обвально устанавливается стерильная тишина. Петро вглядывается в ряды стриженных голов, какое-то время молчит и безошибочно называет особо буйствовавших.

— Иванов, Петров, берите сумки и идите обрадуйте маму, што вас выгнали с уроков.

Меня всегда поражало, да и до сих пор удивляет, это его умение точно вычислить «вождей беспорядка».

Названные безропотно собирали учебники и опасливо пытались проскочить в узкий проём в дверях, оставшийся от фигуры Петра. И было чего опасаться: иной раз каждый мог получить обидный шлепок по затылку или толчок в спину. В нынешние времена стоило бы пожаловаться родителям на «избиение младенцев», как тут же бы налетели с разных сторон комиссии, и директора школы немедленно выгнали бы с работы.

Случалось, жаловались и родителям в те жёсткие годы. Помню случай. Достался шестикласснику «за выдающиеся заслуги» не один тычок, и он сообщил отцу: меня Петро побил. Отец, скорее всего, работал под землёй, в шахте, был «под бронью» и потому не в армии, отреагировал вполне в духе времени. Он выслушал «пострадавшего», оценил его заслуги, сгрёб парня, зажал его голову между колен и «отчесал» широким ремнём. Нашкодил — отвечай, а не жалуйся.

Был у меня школьный товарищ по имени Юрка. Был он старшим — следом ещё двое — сыном директорши начальной школы, с великим трудом вытягивающей семью из нищеты на скудную зарплату. Юрка, цыганистый на вид, вертлявый, плохо управляемый и гораздый на хулиганские выдумки. Из песни слова не выкинешь: он из уличного туалета устраивал ловушку. Вбивал в дверь гвоздь, как раз против колоды, но не до конца, а лишь прошивал дверцу и, спрятавшись за углом, поджидал жертву. Едва прохожий оказывался в «заведении», как Юрка одним ударом молотка загонял гвоздь в колоду. Не надо большого воображения, чтобы понять ощущения прохожего. Об этом я рассказал лишь для того, чтобы лучше представить Юркины шалости.

Однажды Петро появился в Юркином классе и буднично сказал моему приятелю прийти в директорский кабинет после уроков. Юрка пришёл.

Пётр Степанович замкнул дверь и вытащил из-за шкафа заранее припасённый ремень. Юрка не помнил своего отца, и порка ремнём была для него совершенно новым ощущением. Юркины крики, сопли и слёзы оставляли Петра Степановича спокойным и деловым. Закончив экзекуцию, он аккуратно повесил ремень на гвоздь и сказал устало:

— Передай маме, что я её просьбу выполнил.

Я уже говорил, но ещё раз повторюсь, что город наш в те времена был излишне криминальным, выпивка и умение смолить самокрутку почитались как признаки самостоятельности, достатка и взрослости. А безотцовщине ой как хотелось стать взрослыми! И потому над нашим школьным туалетом, стоящим в глубине двора, во время перемен плавал синий табачный дым.

Петро, стоя около входной школьной двери так называемого чёрного хода, в окружении малышни, вычислял курильщика.

— Иванов, поди сюда. Курыл?

— Нет, Пётр Степанович, не курил, — истово утверждал «подозреваемый», глядя честными круглыми глазами.

Петро вздыхал и вытаскивал из кармана газету.

— Вот тебе газета. Выворачивай карман и труси на газету, шо у тебя там есть.

На бумаге иной раз вырастала приличная горка махры.

— Ну, а теперь завертай соску, — Петро отрывал изрядный кусок газеты. — Табачку не жалея.

Мелкота из начальных классов густой толпой колготилась вокруг директора, ожидая продолжения действия. Самокрутка у курильщика получалась по-клоунски большой и несуразной.

— Ну, а теперь куры сколько хошь, — разрешал Петро и услужливо зажигал спичку.

Курить по чужой воле, да под гогот малышни, удовольствия не доставляло, но Петро продолжал:

— Куры, куры, ты же любишь курить. Пусть и другие на тебя полюбуются. Поучатся. А курильщик, уже бледно-зелёный от махорочного дыма, того и гляди, заплачет.

Вот тогда наступало время короткой лекции о вреде курения, о его пагубности и объяснения состояния «наглядного пособия». В завершение Петро участливо спрашивал «наглядное пособие»:

— Может, ещё сигарку засмолишь?

Надо было видеть, как пугался парнишка новой сигарки!

Многое можно было рассказать о методах воспитания, процветавших в мужской школе военного и послевоенного времени, но изображение школьного быта было бы слишком односторонним, если не сказать ещё об отношении Петра к старшеклассникам. Восьмикласснику минимум пятнадцать лет. Не ребёнок уже. Да, в те нелёгкие времена быстро взрослели. Стричься под «ноль» не надо, можно иметь аккуратную причёску, но не патлы. На приветствия теперь Пётр Степанович подчёркнуто уважительно, каждому персонально, желает доброго здоровьичка.

Шёл, если не ошибаюсь, сорок четвертый год, до конца войны ещё далековато, но победа была предопределена, и из армии стали демобилизовывать учителей. Руководство страны приняло мудрое решение: школа нуждается в помощи и ей нужно помочь, в школу должны прийти мужики, без них не вырастить полноценных, нужных государству граждан, готовых к труду, к обороне. В нашей школе появились историк, физик, математик. Даже в наш третий класс пришёл настоящий герой, фронтовик с двумя орденами Славы. И мы очень гордились, что у нас такой учитель. Правда, вначале к нам пришёл молодой парень. На одном из первых уроков наш новый учитель прикрепил к доске картинку, на которой был изображен симпатичный колючий ёжик, и велел написать, как называется это существо. Я так и написал — ёжик. Учитель подошёл ко мне первому, посмотрел и сказал, что я ошибаюсь и надо писать: ёршик. Я заерепенился. Учитель тоже и приказал исправить написанное. Тогда я, желая доказать свою правоту, плюнул. На парту. Запоздало каюсь теперь, нехорошо поступил, показал недостатки поселкового воспитания. Учитель, горячий человек, схватил меня за плечо и приказал слизать плевков. А вот это уже было не по нашим понятиям, я смахнул плевков рукавом, и приказ лизать парту потерял всякий смысл.

Годы спустя, вспоминая этот эпизод, я понял, что наш новый учитель был родом, скорее всего, с южных окраин России, русский язык совершенствовал уже в армии, и какой-нибудь сержант-сверхсрочник намертво вбил ему в голову слово «ёршик». А «ёршик» — это щётка для чистки стволов, стрелкового оружия.

Но этот период — перехода количества в качество — закончился довольно быстро, отсеялась полова, и у нас в школе, появились прекрасные учителя литературы, математики, истории. И военного дела. К восьмому классу мы отлично умели собирать-разбирать затвор трёхлинейки, умели обращаться с гранатами, правильно выполнять команду «Длинным колю» — есть такой приём в штыковом бою, и много чего другого.

И знали, зачем это нам надо.

Хотя стоит рассказать об одном трагическом случае, произошедшем не у нас в посёлке, а в соседнем городке. Там учитель военного дела принёс в класс, за неимением учебной, боевую ручную гранату. Как уж и почему это случилось, никто не скажет, но предохранительная чека оказалась выдернутой. В таком случае должен последовать взрыв. И он последовал. Но учитель успел сунуть гранату под себя и упасть на пол... Больше никто не пострадал.

Как ни печально, но это тоже был урок: никогда не расслабляйся, если имеешь дело с боевым оружием. И сам погибай, но товарища выручай.

Без названия

Работая в журнале «Сибирь», наткнулся я на рукопись бывшего соотечественника, а ныне проживающего в Западной Европе. В рукописи рассказывается о трудном детстве, о голоде, холоде, о переселении в Казахстан, в степи. И, действительно, переселенцы хватили лиха сверх меры. И всё, что описывается, — правда.

Читая рукопись, я вспоминал и своё детство, военное детство, и тоже, не меньше этого автора, мог бы рассказать о голоде, холоде, о нищете быта. Я бы ему, моему сверстнику, поведал о том, какую чудную еду во время копки земли можно было приготовить из сморщенной, выжатой морозом и дождями, случайно не найденной прошлой осенью картофелины, как можно питаться сосновыми побегами и какой съедобной казалась «вата» у незрелых подсолнухов. Я бы мог рассказать об отёкших от голода моих одноклассниках, о их заплывших лицах. Мог бы рассказать о том, что в пионерском лагере медицинская комиссия, осмотрев несколько сот ребятшек, только двоим не поставила диагноз «дистрофия».

Но речь сейчас не о военных лишениях, о другом. Речь о ненависти этого бывшего мальчика, росшего в благополучной семье директора школы, не к фашистам, напавшим на Россию и выбившим из жизни целое поколение обездоливших, оставшихся в живых, а к России, русскому народу.

Вот цитата из рукописи бывшего соотечественника:

«До сих пор основная масса российского народа не в курсе жуткой истории своей любимой бандитской родины...» Вот так, ни много ни мало — бандитской! Целиком и полностью.

А вот ещё «шедевр» ненависти к стране: «Люди, как и вся тупорылая, гнусно прославленная страна, искали виновников всех своих неудач...»

Что это? Поздно вызревший яд или иллюстрация к русской пословице «Сколько волка ни корми — он всё равно в лес смотрит»?

А этого обиженного, исключая времена военного бедствия, кормили неплохо. Несмотря на «дикие унижения и притеснения», он успешно закончил среднюю школу, а затем и институт, и со временем стал большим начальником. И так его долбила «тупорылая» страна, что он стал даже депутатом Верховного Совета СССР! Снова задаю себе вопрос: что это? Особое состояние души?

Я сознательно не называю его имени. Немало ещё из живущих в России помнят этого человека.

Но закончим цитирование бывшего соотечественника ещё одной цитатой. Тут уж прямо указано, кто виноват в его бедах. «Не стоит забывать, что коммунизм строился именем, волей да и в основном руками «старшего брата» — русского народа. И как бы сегодня ни пытались обелить и затушевать вину за это, факт остается фактом. И он подлежит осуждению...»

Так и хочется сказать: хорошо, что только осуждению. Спасибо. Но это я пишу уже в разбуженной «благодарности» за его «благодарность» моему народу, пережившему и переживающему, пожалуй, самые тяжкие беды, доставшиеся на людскую долю.

Я помню войну. И знаю, и пережил почти всё, что пережил автор упомянутой рукописи. Повторюсь: моего деда, состоятельного забайкальского казака, репрессировали, новая власть забрала у него всю животину, усадьбу, а самого с детьми-подростками выслала без всяких средств существования в Предбайкалье. Дед не вынес муки, обиды и вскоре умер совсем молодым. Но началась война, и мои подростки дядя добровольцами ушли на фронт. Они пошли защищать свою землю, хотя обид от власти получили не меньше, чем автор попавшейся мне рукописи.

Пришла победа, наши пришли в Берлин. И без малого передыха полыхнула война на востоке. Нам — мне и моим сверстникам — было уже по одиннадцать лет. Из стальных

трубок мы с приятелями изготавливали «поджиги». Это что-то похожее на старинный пистолет. Мы готовились защищать свою горькую родину. И считали это единственно правильным.

Два эпизода

Когда началась перестройка, когда в пыль и хлам превратилось большинство заводов и фабрик, когда конницей Мамая прошла по сёлам голодная беда-разруха, приказали долго жить и государственные книжные издательства. Немало писателей, потерявших связь со своим читателем, опустили руки, впали в творческую кому. Но свято место не бывает пусто, и появились толпы издательств, больших и малых, но уже с другим подходом к автору. Нет теперь при общении с этими издательствами прежних «совковых» трудностей, когда от автора требовалась какая-никакая художественная одарённость, знание русского языка, отсутствие похабщины. Теперь эти трудности преодолены. Можно опубликовать любое косноязычие. К автору лишь одно требование — оплати расходы издательства, дай заработать издателям. И потом делай со своей книгой — со своей, ты ведь оплатил — что хочешь: хоть с кашей съешь, хоть подари друзьям и знакомым, или продай, если сможешь.

Деньги на производство книги требуются немалые. Хоть и ужимается автор с тиражом до неприличного минимума, а всё одно набегают неподъёмная денюга, которую с обычной зарплатой, или того хуже — пенсией, и за два десятка лет не собрать. Один выход — спонсора искать. И ищут.

Дело это не простое, требующее, мягко говоря, определённого душевного настроя. Иные, редкие, весьма преуспели в этом деле. Но мне эти деяния, требующие определённых актёрских навыков, всегда представлялись подвигами незабвенного Шуры Балаганова.

Хотелось и мне в своё время издать свою книгу. Но, мысленно нарисовав картину, как я незвано вхожу в незнакомый кабинет, вижу настороженного человека и начинаю разговор — если меня будут слушать, — суть которого весьма откровенна: дай денег. И сразу каменеет душа и мозг, защищая психику от перегрузки, выключает картинку, не желая её развивать. Картинка исчезает, но остаётся тоскливо-паскудное послевкусие.

Шёл первый год большой войны. И на посёлки, и на города разом обрушился голод. Деревня его ещё не ощутила. Свои огороды, свои куры, коровы. А вот промышленные поселения, где ничего этого не было... Отцы в армии, матери на работе, а мы, дошколята, целыми днями мотались на улице. Или сидели в непогоду по домам. И всё бы ничего, если бы не муки желудка. Однажды наше шкетское содружество набрело на столовую какой-то военной организации. Трудно сказать, что это были за люди: в военной форме, но без должной аккуратности. И порядки у них были не слишком жёсткие, без построений, без хождения «в ногу». Привлечённые запахами еды, мы толпились около столовских дверей, заглядывая в глаза выходившим из столовой. Иные, редкие, протягивали нам маленькие кусочки хлеба. Как я теперь понимаю, они и сами были не сыты. Еда у них была скудной.

И что-то во время того стояния у столовских дверей во мне, семилетнем, сломалось, заставило душевно маяться. И я не ходил больше к дверям той столовой. Мне было стыдно самого себя.

Все мы родом из детства — непреложная истина. Я не могу просить. Говорят, что времена изменились и нужно принимать жизнь такой, какая она есть. Всё это так. Времена изменились. Но я-то не изменился, я из прошлого века, я из своего детства.

И о том, что слом в душе не поддаётся нашему «волевому» лечению, хочу привести ещё один пример из жизни. Я, корреспондент областной молодёжной газеты, летел на маленьком самолёте из строящегося Братска в Иркутск. Лёту из Братска до Иркутска всего ничего, меньше двух часов, и волноваться, вроде, не было основания, но где-то через полчаса самолёт стал вибрировать, содрогаться и вдруг, завалившись носом, пошёл к земле. И надо же мне было до этого где-то вычитать, что Ил-12, вставший в пике круче 45 градусов, не выходит из него. В иллюминатор хорошо было видно, как несутся навстречу, вырастая,

лесистые хребты, и мне ничего не оставалось, как вдавиться ногами в переборку — я сидел впереди — и встретить неизбежное. Но где-то близ земли самолёт всё таки выровнялся и снова набрал высоту. Весь полёт его время от времени трясло как в лихорадке.

Мы прилетели в Иркутск. Я выбрался на асфальт аэродрома и долго сидел на травянистой обочине, не испытывая ни страха, ни радости. Только безмерную пустоту.

Лет пятнадцать с тех пор я не входил в самолёт. И самый страшный сон — я в аэропорту. Это был даже не страх, а ужас. Я научился потом заставить себя летать. Но просить — не получается до сих пор. Ау, госиздательства!

Сказка о золотой рыбке

Вот пришлось позаимствовать, заголовок у самого Свет-Александра Сергеевича. Правда, моя рыбка никаких материальных чудес не производила, но тоже была почти из сказки, одарила подарком, достойным владычицы вод — светлой страстью к рыбалке, пронесённой через все колдобины жизни. Тем более что подарок был «вручен» в послевоенный год, когда житийных радостей ой как не хватало!

Мне было лет двенадцать, и я впервые поймал настоящую рыбку — большого серебристого ельца, вполне уважаемого в Сибири обитателя чистых вод. Это поворотное событие случилось на реке Белой, где в маленькой лесной деревушке Кекурки обосновался наш спартански обустроенный — в крестьянских амбарах, с соломенными матрацами — пионерский лагерь. Лагерь лепился к земле на высоком скалистом холме, недоступном любому половодью и потому позволившему себе приблизиться к реке вплоть. Это было удобно. Купание рядом, вода для кухни рядом, и даже, помнится, умываться мы бегали к реке. Изредка на берегу появлялись рыбаки. Чаще других приходил крепко глуховатый старик, привечавший ребятню усталой улыбкой и готовностью отвечать на вопросы. Так что теоретически, как делать рыболовные снасти, я знал.

Я сам смастерил свою удочку. Выменял у знакомых деревенских парнишек прядь из хвоста молодой кобылицы — лучший волос для лески, сплел её, как сплетал хлыстики для бича. Нашёл для удилица в ближайшей таёжке выросшую в тесноте и тени больших деревьев сосёнку, тонкую и высокую. Привязал к леске великую ценность, единственный у меня рыболовный крючок. Дополнил сооружение выпрошенной у доброго старика картечиной и поплавком из красной коры. Удочка получилась не шибко красивой, особенно портили неуклюжие узлы на леске в местах сращения, но это была моя удочка, и сделал её я сам.

При первой же возможности я убежал к реке. Неумело насадил на крючок заранее припасённого дождевого червя, удивившись его лихой увёртливости. И приступил к рыбалке. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Заброс я сделал, как потом стал понимать, крайне неумело. По-глупому даже. Не в омут, не на границу стрежени и затишья, а просто в воду. Мой червячок сиротливо лежал близ берега на мелководье, на чистом песочке, там, где никакой рыбы и не предвиделось. Но чудо случилось. Видимо, хозяин реки оценил моё рвение, проявил милосердие. В ясный день из чистых струй реки, как из волшебной сказки, вдруг выплыл на пустынное мелководье серебристый елец и напрямик, как по струне, стриганул к моему червяку. Я не углядел, дернулся ли поплавок, да этого было и не нужно, но я видел, как елец деловито ухватил червячка и потащил его в глубину. Взмахнул удилищем и ощутил рукой, всей своей сутью, и запомнил на всю жизнь трепетный толчок и сопротивление пойманной рыбы. Мой елец стремительно вылетел из воды, промелькнув над головой, упал на зелёную траву. Я думал, что в этот момент хозяин здешних вод, если ему ещё не надоело смотреть на неумеху, неодобрительно покачал головой: рыбалка требует такта и не любит топорных движений!

Меня била дрожь. Я не мог совладать с руками и, пожалуй, впервые услышал, как стучит сердце.

Больше я никогда не испытывал такого потрясения. Нет, все было — азарт, непомерное порой волнение во время растянувшихся на полвека байкальских подлёдных рыбалок, на щедром монгольском Хубсугуле, на речках Сахалина, на молодом Братском водохранилище. Всё было. Но без полуобморочного излишества.

Тут надо бы ещё сказать, что я, несмотря на свою радостную привязанность ко всему, что имеет отношение к рыбалке, остался в рыбацком деле дилетантом. Просто любителем. Я не постиг многих тайн и тонкостей, известных настоящими мастерами удочки и спиннинга. Но страсть, азарт и радость никуда не ушли, остались со мной.

В то же лето я освоил ещё один способ рыбалки, имевший немалое практическое значение, — ловлю шук-травянок на проволочные петли. Молодых щучек в те времена на реке Белой водилось во множестве. В солнечные и безветренные дни щучки выходили на мелководье, к берегам, где много травы, и утайливо замирали, сморенные теплом. Пятнистые, они чем-то напоминали сытых котят, улёгшихся на солнцепёке. Снасть для ловли задремавших травянок довольно проста: удилище и петля из сталистой тонкой проволоки, привязанная к удилищу вместо лески. Успех зависит от сноровки. Нужно как можно раньше углядеть хищницу. В своём боевом камуфляже, среди травы, в солнечных бликах, она мало заметна. Добытчик должен с индейской осторожностью, бесшумно как тень, не взбуйкнув водой, подобраться как можно ближе и завести петлю на туловище рыбы. И подсечь. Но это только при удаче. Заподозрив даже малую опасность, щурёнок торпедой исчезал в глубине, оставив на поверхности воды маленький круговорот. Тут уж кто осторожнее, кто ловчее — тот победитель. Всё по закону.

И это была не игра, это была жизнь. В те насытые годы итог такой рыбалки был крайне важен. При удачной охоте — а действие это и рыбалкой-то трудно назвать — мы разжигали костёр и запекали шурят, нанизав их на прутья. Между рыбалкой и сытостью была прямая связь. И в этом была её правда.

Много-много лет спустя я оказался в Штатах и однажды убедил своих кураторов тамошней жизни отвезти меня на рыбалку. И в ближайшую субботу мы оказались на озере, прекрасно оборудованном: добротный причал, лодки с электрическими моторами, разделочные столы с водяными шлангами. Я возрадовался, увидев на этих столах крупных и красивых рыб неведомых мне названий.

— Мы удачно приехали, — сказал мой куратор. — Сегодня в озеро выпустили большую цистерну рыбы. А это делается не каждый день.

У меня обесцветился всякий интерес к рыбалке.

— Так это озеро что, искусственное? И рыбу сюда привозят?

Я потом сам себя мысленно отругал: а чем тебе устав этого монастыря не понравился? Прекрасные условия: рыба есть, удочки есть, чистота, комфорт, на берегу благоустроенный туалет. Живи не хочу.

Так-то оно так. Но... не так. Ну вот, к примеру, не обрадовался бы я и шашлычку из овечки Долли. Помните, была такая Долли? Моей вольной рыбки в том «аквариуме» не было.

А вечером я ещё и фильм посмотрел. Про рыбалку. Сидит мужичок на катере, рыбку ловит. По-моему, ленка. Завидная рыбалка. Но поймает рыбку, вытащит у неё из пасти кованный тройник, прикинет на руке и... отпустит за борт, в родную стихию. И снова берётся за спиннинг. И снова удача.

Так и хочется крикнуть экранному удачнику: да что ж ты делаешь, вражина? Садист ты, а не рыбак. Ради какой радости рыбу уродуешь?

Я так и остался в прошлом веке со своим постулатом, что рыбалка, как и жизнь, должна быть естественной.

Мы казаки?

Этот вопрос я задал своей бабушке, заставив её вскинуться от испуга и замереть словно в ожидании беды.

Уже война шла... И меня, школяра начальных классов, от поселковой бескормицы отправляли на лето в деревню Средний Булай, где учительствовала младшая мамина сестра Шура и жила моя бабушка. Вернее, не отправляли, а отводили за двадцать километров. Другой возможности добраться до деревни в то время не было — только пешком. Для подтощавшего за зиму школяра путь, помнится, не всегда давался легко, но зато впереди ждала радость вольной и почти благополучной жизни: огород с морковкой и огурцами, яркий, как радуга, гвардеец-петух со своими курами и главная опора безмужичьей семьи — корова по имени Вэнька. У Вэньки был совсем не по-коровьи вспыльчивый нрав, была она с чужими людьми бодлива, и потому, от греха подальше, навешивали ей на рога лёгкую доску, мешающую видеть супротивников. Белая, крутобокая, пахнущая молоком Вэнька была удойливой, и её любили все домашние.

Тот разговор я подслушал совершенно случайно. Да и не подслушивал вовсе, просто, затихнув за каким-то своим важным делом, я был не замечен бабушкой и её гостьей, соседкой, скорее всего тоже вдовой, так как деда соседки я не помню. А товарки разговаривали за «жисть». И довольно часто в разговор вплетались слова «а вот раньше», которые, я знал, означают другую, не похожую на нынешнюю, хорошую, но потерянную жизнь. И повторялось ещё слово «казаки». Я, быть может, и не обратил бы на разговор соседок никакого внимания, но голос бабушки был необычно тихим, утайливым, и эта необычность заставила меня вникать в чужую беседу.

Кое-что для себя я вынес из этой беседы, но многое требовало и разъяснения. И как только соседка ушла, я подступил к бабушке с вопросами:

— А мы что, казаки?

Я никогда не видел бабушку столь испуганной и не мог понять, чем её так напугал. И только потом, годы спустя, кое-что узнав и осознав, уразумел состояние бабушки в тот момент и оценил её ответ. Совершенно бесцветным голосом, останавливающим разговор, она коротко ответила:

— Все наши мужчины служили в казачьих частях.

Именно так она сказала. Именно эти слова и в таком порядке. Это я хорошо запомнил.

Бабушка сказала мне правду, почти ничего не сказав, и почти погасила мой интерес. Я тогда даже обиделся на неё: как же так, моя добрая ласковая бабушка, главный мой друг, отнеслась ко мне так холодно, как к чужому. Но, как мне теперь кажется, я почувствовал, что подошёл к какой-то запретной двери, которую нельзя открывать и за которой нет ничего, кроме страха.

Бабушка ушла от опасной темы, а я по младости забыл о том разговоре на годы. И только потом уже, после войны, когда по праздникам стали собираться уцелевшие родственники и друзья родителей, из застольных разговоров многое узнал, узнал, кто мы и откуда, вспомнил тот давний вопрос к бабушке и понял её страх.

В природе существует такой действенный способ защиты жизни — затеряться, раствориться среди себе подобных, стать невидимым, стать, как все, ничем не выделяться, не привлекать к себе внимания. Так спасаются от хищников в косяках океанские рыбы, олени в стадах, человеки в толпе. Древний страх за свою жизнь диктует это поведение. Много позже, уже под старость, став осмысленнее интересоваться своим родом, своими корнями, понял, почему у всех моих родственников не сохранилось ни одной фотографии, ни одной бумажки из той, дореволюционной, жизни. А они, фотографии, должны быть. Я уже писал, что дед — отец моей мамы — был состоятельным казаком, грамотным, выписывал газету, со своим конём-паратником побывал в далёких краях, в той же Персии—Иране.

Новая власть объявила, что нет казачьего сословия, все равны, а те, что цепляются за прошлое, — враги будущей светлой жизни. Даже Георгиевские кресты — знак героизма, лихости в бою — наследие проклятого царизма, и если ты их хранишь, значит, ты душой на стороне тёмного прошлого, и ты скрытый враг. Люди избавлялись — тоскуя — от всего, что выдавало бы их суть: от бережно хранимых погонов урядников, хорунжих и сотников, от фуражек с жёлтым околышем, от шаровар с лампасами, от фотографий родичей в этих погонах и фуражках. Всё ради спасения!

А страх был всеобъемлющ, принимая порой очень странные формы. В дни, когда я делал вот эти самые записи, позвонил старый товарищ, мой ровесник, корнями тоже из Забайкалья, и без всякого повода стал вдруг рассказывать, что он по метрикам о рождении и паспорту носит имя, под которым мы его знаем, чужое, не настоящее, в действительности же при тайном крещении он получил другое имя. И он назвал имя почитаемого святого. Но чтобы избежать неприятностей от властей, чтобы не осложнить будущую жизнь пришедшего в мир человека — а у него ещё и родной дед был священником, — записали парня под нейтральным именем. Так настоял его отец.

У тех казаков и их потомков, которых напрямую не коснулась метла «зачистки», фотографии сохранились. Пусть не все, пусть не на виду, не в настенных рамках для родовой гордости, но сохранились. Хотя и им, оставшимся в родных степях, стало известно много нового от новой власти, что казаки — это цепные собаки царизма, которые только и делали, что кроваво подавляли забастовки рабочих, стремящихся к счастью, к всемирной революции.

Я прикидывал, мысленно вживаясь в те угрюмые времена, могла ли новая власть быть благосклонной к моим родственникам? Вряд ли. Даже к семье отца, обедневшей к годам революции из-за потери кормильца. Я уже писал, что у моего деда по отцу, умершего ещё до революции, было четверо сыновей. Так вот, старший, Савва, ушедший с семьёй в Китай, был убит при набеге красных. Второй — Алексей — сидел за принадлежность к неизвестному, скорее, мифическому, Союзу восстановления казачества. Младший, мой отец, кадровый военный, был уволен из армии за отказ развестись с женой — дочерью обобранного и высланного с границы «мироеда-кулака». Тем более власть не доверяла семье этого «мироеда».

Но началась Великая Отечественная война, и все мои родственники призывного возраста надели армейскую форму. Да и не могло быть иначе. Не тот замес, или как теперь говорят, менталитет. Свою землю, свою отчину нужно было защищать. Уже после войны прошелестели слухи, что даже атаман Семёнов в самые тяжкие месяцы войны предлагал правительству свою помощь, собираясь отправиться на фронт во главе уцелевших в Китае забайкальских казаков. И тем слухам верили.

Кончилась война. С запада и востока вернулись солдаты, подрастерявшие страх. Куда-то исчезла сверхбдительность отдельных граждан, в застольях зазвучали природные песни. В открытые окна на улицы шахтёрского посёлка вырвался песенный казак, скачущий через Маньчжурские края, зазвучала песня о том, как казаки гибнут, но не сдаются и просят чаек лететь в «страну Забайкалье» и сообщить о беде.

Послышались в застольных разговорах опасные прежде воспоминания. Об арестах, о расстрелах. О каком-то Абрамке — православное имя, — то ли атамане, то ли командире, лихо рванувшего через китайский выступ, чтобы сократить путь в погоне, или в отрыве от погони. Вспоминали и о бесстрашном и талантливом конокраде, умевшем на одной узде увести из чужого табуна сразу трёх лучших лошадей.

— Н-но, паря, ты чо, — возражали рассказчику. — На одной узде?

— Так он петли на узде делал и коням только передние зубы захлёстывал...

Я слушал. И в мечтах выпукло и красочно видел вольные степи, полноводную Аргунь, длинногривых лошадей, каменистые сопки и зелёные елани — свою прародину, так и не ставшую из-за бед и напастей моей малой родиной, но теперь ожившей для меня в душе, в мечте о несбывшемся.

III

Возвращение

Таинственно и непредсказуемо зарождаются в неведомых пределах ветры судьбы, несущие человеческую душу то по унылым кругам наполненных рутиной дней, то вдруг

уносящие её за привычные горизонты. Распахиваются солнечные двери в мечту, и нет и не может быть в этот день-час других путей и возможностей. Только вперёд!

На восьмом десятке моего личного летоисчисления открылась нужная дверь, и мы, отдавшись давней мечте, генетической памяти, едем в «страну Забайкалье». Мы — это моя жена Светлана, внучка сосланного казака с Онона, мой племянник Игорь, правнук караульского казака с Аргуни, и я.

Вообще-то в начале предполагалась поездка только в Монголию. Хотелось погулять по вольным степям, пожить в палатке на первозданном берегу рыбной реки, посмотреть древнюю столицу монголов Хархорин, ну и, конечно, нынешнюю — Улан-Батор.

Так оно и было. На своём жигулёнке мы намотали по дорогам и бездорожью заповедной Монголии несколько тысяч километров, ощутив радость бытия при виде древней степи, полудиких табунов лошадей, гордых верблюдов, потоков овечьих отар и прочей живности, и уже собирались было повернуть на север, на Кяхтинский пограничный переход. И вот тут-то и подул ветер судьбы в сторону Забайкалья. Не помню, кому первому пришла идея направиться не на север, а на восток, а потом повернуть к северо-востоку и выйти на пограничный переход в среднем течении Онона. А это уже Забайкалье. И все трое с недоумением смотрели друг на друга: а как же это мы раньше-то не додумались до такого решения? Тут же прикинули маршрут: выйти на Акшу — один из центров забайкальских казаков, пройти вдоль Онона на Борзю. А там и до Аргуни рукой — в двести километров — подать. Таким образом мы увидим родовую прародину Светланы и нашу с Игорем. И уже ничто не смущало в принятом решении: ни крайняя скудость времени на это путешествие, ни дальность пути к Ононскому переходу, ни бездорожье Восточной Монголии, ни накапливающаяся усталость от кочевой жизни.

Через двое суток пути мы вышли на затерянный за степями, сопками, а затем и лесами тихий и уютный пограничный переход в Россию. Это вам не Кяхта с её толчеей, многолюдством, автомобильными очередями и многочасовыми ожиданиями. Там в то утро «перейти границу у реки» собирались, включая нашу, лишь две автомашины. И после недолгой процедуры досмотра и паспортного контроля, вначале на монгольской стороне, а потом и на российской, мы покатали по особенной земле, по особенному краю — по земле дедов и прадедов, по своей прародине, по земле Забайкальского казачьего войска.

Испытывал ли я какие-то чувства? Конечно, испытывал. Жадное любопытство и ответственность ко всему видимому: к реке, сопкам, небу. Хотя за окном автомобиля привычный нам в путешествии пейзаж не изменился: та же Монголия — степи, сопки, река, синее небо. Хотя — стоп! — отличие от монгольских степей есть, и отличие грустное: они здесь, если можно так сказать, маложизненны. Зияют поодаль от дороги пустыми промоинами окон, ребрами голых стропил — как после бомбежки — бывшие колхозные и совхозные животноводческие фермы. Исчезли так радующие глаз и душу густые табуны лошадей, потоки овечьих отар, стада коров и коз. Если быть точным, всё это есть, но по сравнению с Монголией — сиротски малочисленно и слабо. Но всё равно хорошо на нашенской земле. Хотя бы потому, что она помнит наших предков, и их души наверняка не забывают свой край и порою собираются у невидимых, но тёплых костров.

Много лет назад меня удивил один случай. Был я в лесу, вернее, в узкой полосе старого сосняка, отделявшего перенесённую из зоны затопления деревню от водохранилища. Полоса узкая, крепко уже истоптанная людьми и животной. И вот чудо — однажды, буквально в сотне метров от дома, увидел глухаря. Глухарь — птица таёжная, к человеческому жилью не стремится, а тут такое... И подпустил близко, дал в волю себя рассмотреть. С ума, что ли, птица сошла? Что ей делать здесь, в неуютстве, шуме, близ проезжающих машин, собачьем лае?

Но объяснение вскоре нашлось. Простое и одновременно удивительное. Оказывается, в этом бору, когда здесь не было ни деревни, ни водохранилища, а была полная жизни, не тронутая цивилизацией тайга, существовал большой глухариний ток, где по весне бурлила глухарина страсть. Но пришли люди, вырубили деревья, построили дома и разогнали родовой ток. И все же время от времени на это место прилетают молодые глухари. Как они

его находят, что их влечёт сюда, на токовище своих прапрадедов? И мы, как те таёжные птицы, помним сокровенные места своего рода?

Вот и мы прилетели... Что здесь будем искать? Спроси — не ответим. Но что-то большое нам нужно увидеть, а, главное, почувствовать. И скорее всего — приникнуть памятью к ушедшему роду, ощутить себя не случайной искоркой, мигнувшей в вечности ночи и унесённой холодным ветром, а частью большого света, согревшего когда-то жизнь этих степей, почувствовать эти степи родными.

Вот он, Онон, — справа по ходу машины, бурлит, свивает струи, будит воспоминания о небылом, о неслучившемся в твоей жизни: гудит степь под копытами конских табунов, дымится у берега костры косарей, рысят на лохматых широкогрудых лошадках люди в фуражках с жёлтым околышем.

На первую ночёвку на земле предков остановились в тальниковых зарослях на реке близ Акши, большого посёлка, одного из центров забайкальских казаков, где уже в конце позапрошлого века было двухклассное, а потом и четырёхклассное училище, приличная библиотека, игрались спектакли. Мы поставили палатку, развели костёр, достали из багажника машины бутылку монгольской водки и славно отметили встречу с землёй, рекой и небом, тоску по которым через всю свою жизнь пронесли наши деды и родители. А на реке плескалась рыба, пошумливал ветер в кустарнике, ярко светили звёзды. И мне порой, без усилия над собой, мнилось, что к земле приник не двадцать первый век, а девятнадцатый, а всё нынешнее лишь приблизнилось в горячечном нездоровье.

Мы хорошо выбрали маршрут: Акша — Куранжа — Усть-Лиска. Каждая «точка» интересна по-своему, и всё время путь вдоль реки. Утром, едва рассеялся туман, мы привычно разобрали палатку, залили костёр и попылили дальше.

Куранжа — это деревня, по-казацки — посёлок, где родился атаман Забайкальского казачьего войска Григорий Михайлович Семёнов. Обычная, ничем внешне не примечательная деревня. По-современному — поселение сельского типа. Деревянные дома и домишки, широкие улицы. Мы и не стали въезжать в Куранжу, а проехали по тракту, обходящему поселение, и остановились на взгорке, откуда вся долина была видна как на ладони. По крышам, особенно хорошо видимым с увала, я пытался прикинуть, какой дом мог быть домом атамана, но потом подумал, что его скорее всего нет — кто бы стал его сохранять, не рискуя впасть в опасную немилость у власть предержащих? Атаман Семёнов числился кровавым палачом.

Крови в той сваре хватило вымазаться и по локоть, и по самые плечи. Только вот ещё что важно: атаман забайкальских казаков до конца пронёс свой крест и до конца остался верен данной им однажды присяге. А это в наше время дорогого стоит.

Семёнов все силы и жизнь положил на защиту отечества, своего строя, своей правды. И то, что атаман победил в конкурсе «Великие люди Забайкалья», оттеснив самого Чингисхана, вполне правомерно. Чудовищный, не принимаемый разумом воровской переворот в отечестве, когда всё — заводы-пароходы, земля, вода и кажется даже сам воздух — досталось коdle оборотней, заставил искать кумиров в прошлом. А Семёнов был из того времени, когда честь была честью, когда воровство было грехом, когда Даурские степи были полны жизни.

И там, на увале по-над Куранжей, где как и век назад ветер пропитан запахами степных трав, особенно легко было мысленно пройти по вехам жизни атамана Семёнова и понять, почему он стал атаманом.

Вот он, двадцатилетний, только что надевший погоны хорунжего, как знаток монгольского языка командирован в беспокойную Ургу, решившую стать самостоятельной и «отпасть от Китая». И Семёнов, со своим взводом казаков, ввязался вроде бы в чужую свару. Местные власти отблагодарили молодого хорунжего деньгами, четырьмя пудами чая и десятью откормленными бычками. А командование приказало немедленно покинуть Монголию и явиться в полк для серьёзного расследования самовольства.

Трое суток гулеванил будущий атаман со своими монгольскими друзьями, отмечая отъезд, а потом, чтобы выполнить приказ и вовремя вернуться в полк, в зимнюю стужу, в

гололёд, в одиночку, меняя по уртонам (станциям) усталых лошадей на свежих, за двадцать шесть часов одолел триста пятьдесят вёрст от Урги (Улан-Батора) до Троицкосавска (Кяхты), совершив, в принципе, невозможное.

Или вот ещё совершенно фантастический эпизод, за который он получил в Первую мировую первый орден. Со своим разездом, всего в десять коней, он напал на эскадрон противника, рубил и гнал его, пока не устали лошади, взял много пленных и отбил у немцев сто двадцать обозных телег.

И мы поехали дальше. Через полчаса пути, на околице посёлка, а теперь деревни Усть-Лиска, затихла-задумалась Света. Что Усть-Лиска, что Куранжа, что другие небольшие поселения степного Забайкалья схожи — дома, заборы, широкие улицы. И судьбы многих людей, оставивших не по своей воле эти каменистые степи, во многом одинаковы. Когда-то в Усть-Лиске жили дед Светланы, его братья с семьями и частоколом ближних и дальних родичей, владели в полном достатке разной живностью, а главное — сердечной отрадой и мерилом благополучия — лошадьми. В памятные годы братья с семьями были лишены всякого достояния и высланы в разные закоулки Прибайкалья и Казахстана.

Усть-Лиска выглядела пустынной и как бы даже не жилой, и мы медленно, черепашьим шагом, двигались по улице, выискивая хоть какую-то осмысленную зацепку для остановок. Нам повезло — обочь скрипнула калитка, и появилась старуха.

— Остановись, — сказала Светлана и выбралась из машины.

Нашей новой знакомой больше всего подходило это неласковое слово *старуха*: высокая, иссохшая, как иссыхает одинокая лиственница под ледяными и горячими ветрами, с приподнятыми тунгусскими скулами, обтянутыми серо-коричневой кожей. Узнав, кто да почему, да зачем появился на их улице заезжий люд, оживилась глазами и высказала неожиданное:

— Жили здесь Черных, жили. Я с ихней девчонкой Надей ещё играла. Нам ково там было, лет по шесть...

— Дак это ж тётка моя! — выдохнула Светлана.

Вот она, память, вот они, угли неостывшие, невидимые под пеплом. Память глубинная хранит в себе не только атамана, всколыхнувшего край, но и девчонку Надю, высланную вместе с родителями в неизвестность. Больше семидесяти лет прошло... Годы прошли, и жизни прошли, а память осталась.

После Борзи пошли земли-степи наших с Игорем дедов, прадедов. Я всматривался в холмы и сопки, в крошечные речушки, в небогатые травы. Вот этой дорогой, по которой сейчас гудит наш жигулёнок, мой отец в ранней молодости много раз проходил с обозом на далёкую станцию. Везли груз на верблюдах. Отец вспоминал, как местные лошади, при виде мерно вышагивающих неизвестных им горбатых животин, бились в страхе, ломали оглобли. А рядом с санями шли люди в косматых папахах, привычно одолевшие двухсотвёрстный переход через закаменевшую от мороза степь.

В приаргунский посёлок, родину отца, мы въехали ночью, крепко умотанные долгой дорогой. По-доброму, надо бы было остановиться на ночлег много раньше, где-то в степи, чтобы отдохнуть и встретить родовое «токовище» при дневном свете. Но время, отпущенное на поездку, беспощадно истаивало, а впереди ещё дальний путь до Читы, а потом и до Иркутска. Так что выбирать не приходилось, день ли, ночь ли.

Шёл дождь. Вспыхивали молнии, обвально высвечивая приземистые дома, чёрную при слепящем свете реку, неровную линию увалов на заречной, уже китайской, стороне. Гремел гром тяжело и раскатисто. Пора было подумать о ночёвке, но не остановишься же на проезжей улице насквозь мокрого посёлка и не притулишься к чьим-либо воротам, не опасаясь всполошить сторожких собак, а следом и их хозяев. Но кто ищет, тот найдёт. Закончились дома и по правой стороне, при свете молнии, а затем и автомобильных фар, высветился широкий прогал, полого ведущий к воде. Почти у самого уреза мы и остановились, не без основания полагая, что здесь никто — ни мы, ни нам — в эту глухую и мокрую ночь мешать не станет.

Всё, приехали! Как говорится, «рельс кончается, дальше поезд не идёт». Вот она, Аргунь-река, а дальше — только Китай. Спуск к воде в этом месте вполне удобен — хоть с вёдрами подходи, хоть на коне с бочкой на телеге въезжай прямо в реку, — определённо посещаемый поселковым людом и, конечно, по этому спуску бегал в своём детстве мой отец, ходил мой дед.

Здравствуй, прародина!

Ночевать пришлось в машине, даже не раскладывая сидений. Донимали русско-китайские, выросшие в пограничных условиях, особенно по-боевому настроенные, комары. Крупные, не знающие пощады. Пришлось задраить окна машины и вступить с ними в конфликт.

Не успели разобраться с комарами, как выяснилось, что в тесном автомобиле спать сидя получается плохо. Так что не уснуть. Полудрёма сменяется обрывками то сновидений, то раздумий.

...Столько лет прошло, а нас, как тех молодых глухарей, влечёт на родовые просторы, душа хочет слышать глухой перестук копыт бегущего по твёрдой земле лошадиного табуна, душа просит степной воли. Душа хочет быть под надёжной защитой своего рода. Это ощущение жило здесь, в этих местах, и ушло-развеялось вслед за людьми. У моего деда было четверо сыновей. Это сколько было бы у него здесь внуков, не дай жизнь народа трещины!

Но и усталость брала своё. Думы фрагментами, на грани забытья и бодрствования. Мой отец... Детство его пришлось на Первую мировую, революцию, зрелость — на Вторую. Такова его жизнь.

Моё детство пришлось на Вторую войну, мировую. А потом на борьбу с разрухой и ожидание хорошей жизни. Зрелость — на перестройку, снова переломавшую жизни людские, экономику, мораль, расплотившую обездоленность ради чьей-то корысти. Времена мало чем отличающиеся от большой войны.

И думалось, а права, видно, народная правда, что в огненные годы, когда надо спасать свою землю, в тяжкие годы перемен, в первую очередь принимают на себя удар и гибнут лучшие люди — совестливые, суть и основа племени. Сколько их, молодых, чистых душой, готовых принять смерть за други своя, за край отчий, приняли её в годы революции, рассказывания, большой войны! И думается мне, не случись те проклятые беды, не будь коренных потерь людских, ослабивших генофонд, не позволили бы, они чистые и умные, оставшись живыми, кучке высокопоставленных прохиндеев, потомков другой части народа, ограбить страну, свергнуть людей в нищету и суметь подать свои деяния как благо.

Течёт Аргунь. Вот она, за стеклом машины, полыхают на её чёрной ночной воде всплески небесного гнева, содрогается небо утробным рыком.

Эх, огородиться бы предкам копьями, засеками, заставами, караулами от всех мировых и немировых непотребностей и прожить жизнь свою, свою, а не навязанную лукавым! Но это я так, о несбыточном...

Утром, чуть забрезжил свет, чуть высветились хребты, выбрался из машины, спустился к Аргуни, омыл руки, поплескал на лицо, мысленно единясь с теми, кто был допрежь меня на этих берегах. Не знаю, было ли ощущение, что я вернулся в свой, пусть давно выстывший, сиротски пустой дом с заколоченными окнами? Но я, пожалуй, впервые с пронзительной тоской ощутил, что мне уже давно идёт восьмой десяток. И что я всего лишь случайный прохожий, и нет здесь дома, где меня ждут, в который я бы мог постучаться...

Пора было настраиваться на обратный путь. По-прежнему шёл дождь, но гром уже отгремел.

ПОЭЗИЯ



ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ

Теперь ты к нам приходишь лишь во снах



Эти стихи я посвящаю светлой памяти нашей Юленьки Гаврусевой, любимой дочери, внучки, сестры, племянницы, преждевременно ушедшей из жизни 2 ноября 2015 г. в результате автомобильной катастрофы

У весны свои законы

Внучке Юленьке

У весны свои законы —
Вот по ним я и живу.
Жизни солнечные звоны
Сердцем слышу наяву.
Я по ним сверяю чувства —
Потому душа светла.
Жизнь вне всякого искусства
Мне особенно мила:
Каждый день свои цветочки —
С жизнью солнечная связь.

Например, у старшей дочки
Дочка Юлька родилась.
Над кроваткою у Юльки
Зайчик солнечный дрожит,
За окном звенят сосульки,
Жизнь весенняя бежит.
Я по ней сверяю чувства —
И душа моя светла.
Жизнь вне всякого искусства
Мне особенно мила.

КОРНИЛОВ Владимир — член Союза писателей России, Международной Гильдии Писателей, Международной федерации Русских Писателей, член Европейского Конгресса Литераторов. Окончил Литературный институт. Дважды Лауреат Международных фестивалей «Звезда полей» им. Николая Рубцова; лауреат Международных фестивалей литературы и культуры «Славянские традиции» 2010–2012» с вручением к дипломам Почетных литературных премий им. Владимира Даля и им. Юрия Каплана; лауреат Почётных премий им. русских поэтов: Алексея Кольцова и Николая Некрасова и мн. др. международных поэтических конкурсов. Книга избранных стихотворений «Исповедь» Корнилова на международной книжной ярмарке в Лейпциге в 2015 г. отмечена Дипломом «Золотой лауреат» с вручением к нему именной медали.

Июньской ночью

Мир сияньем озарился,
В ароматах утонул.
Ветерок — и тот сморился,
В дремных зарослях уснул...
Душно в комнате. Не спится.
Ночь черёмухой хмельна.

С неба огненной жар-птицей
Смотрит рыжая луна...
Тишь вокруг, лишь в нашем доме
Слышно: «Баюшки-баю...»
Тает ночь... и в сладкой дреме
Клонит голову мою.

* * *

*Посвящается Юленьке на её первую
годовщину со дня рождения, 30 октября 1993 г.*

Родилась не в солнечном июле,
Ближе к ночи, а не на заре,
Всё равно назвали внучку Юлей
В том промозглом сером октябре.
Сам октябрь последние мгновенья
Щедро новорожденной дарил.

С этой ночи Юлин день рожденья
Мы внесли в свои календари.
...Октябри, конечно, не июли —
Свой в природе здесь круговорот...
Лишь бы дни рождения у Юли
Счастьем наполняли каждый год.

Карандашики

Нынче в классе ни души —
Лишь одни карандаши:
Юли, Кати, Дашеньки —
Ай да карандашики!
...Самый скромный карандаш —
Это Ступин Дима наш.
Очень любит синий цвет —
Всё у Димы синее:
Солнце, бабушкин портрет
И пейзажи зимние.
...А у Сахаровой Светы
Нарисованы конфеты —
Шоколадный мармелад.
Цвет его — коричневат.
...Ярко-жёлтым мир воспет
У Желтковой Насти —
От рисунков тёплый свет
Даже в дни ненастий.
...Ну и карандашики!
Юли, Кати, Дашеньки!
У Беловой — всё бело,

В белом вся планета,
Словно снегом замело
Солнечное лето.
У Зелёнкиной Алёны
Мир раскрашен весь в зелёный —
Тигры, зайцы, облака
И зелёная река.
А у Гаврусевой Юли
Красно всё, как дни в июле:
Люди, небо и скворцы,
Красны даже огурцы.
...Самый бойкий и проворный
Карандаш, пожалуй, чёрный.
Все зовут его «Брюнет» —
Это Вова Подобед.
Он цвета не признаёт,
Но рисует, как поёт.
...Ай да карандашики!
Юли, Кати, Дашеньки!
Здесь душа не устаёт —
Каждый мир свой создаёт.

Хрупкий мир

Мы с внучкой бродили в лесу,
Устали, но были счастливы:
Видали живую лису
И ёжика взгляд молчаливый.
Там заяц под елью дремал
И прядал ушами трусливо.
«Как мир всё же хрупок и мал!» —
Подумал я вдруг боязливо.

Подует ли осени хлад,
Иль зимние вьюги нагрянут —
Не слушать нам птичьих рулад
И буйные краски завянут...
Так хрупкой Природы язык
До вешнего солнышка дремлет,
Чтоб снова и щебет, и рык
Восторгом наполнили землю.

Котёнок Тёмка

Я утром проснулась, а тапочек нет,
И платьица нету на стуле.
Кто это со мною играет в секрет,
Коль вещи мои улизнули?
Я всю обыскала квартиру у нас,
Смотрела в шкафу, за диваном —
И плакать уж, было, совсем собралась,
Но кто-то мяукнул вдруг в ванной!
Мне мама забыла сказать, что вчера
На рынке купила котёнка.

Вот он и мяукает, видно, с утра.
И я назову его Тёмка...
Я дверь приоткрыла, а он на меня
Как фыркнет — и шёрстку взъерошил.
Живёт он у нас со вчерашнего дня,
Хоть сердится, но он хороший...
Я на руки нежно котёнка взяла,
И он мне мурлыкнул на ушко,
Что тапочки мама моя прибрала,
А платье он спрятал в подушках.

Рысь

Раньше мы держали кошку,
Я могла сказать ей: «Брысь!»
Мне теперь не понарошку,
А взаправду купят рысь.
Молочка налью ей в блюдце,
Дам лапшички и мяска,
Сыты рыси не дерутся,
Знаю я наверняка.

Приручу её, как кошку,
Будет с бантиком играть
И царапаться немножко,
И мурлыкать, и урчать...
Шёрстка вся у ней пятниста
По бокам и по спине.
...Подружусь я с новой киской,
Когда купят её мне.

Предновогоднее настроение

У Юли губы тюрючком*:
Она на маму сердится.
А мама платье шьёт молчком
Своей любимой вреднице.
У внучки праздник на носу,
Но ждать его — лишь маяться.
А Новый год застрял в лесу
И к ней не появляется...
Снегурки с Дедом тоже нет,
Скорей бы с ними встретиться!

Они надарят ей конфет,
И ёлочка засветится...
И праздник нужен ей сейчас,
А не через полмесяца!
Но Дед Мороз не кажет глаз
К своей внучатой крестнице...
У бедной губы тюрючком,
И слёзы градом катятся.
Она их сушит кулачком,
Чтоб не намокло платьице.

*Тюрючком — бантиком (диалектное слово).

Божья коровка

Божья коровка лежит кувырком*	Трогает пальцы, щекочет ладонь.
В красненькой блузке — сама босиком.	Блузка на солнце горит, как огонь.
В чёрную крапинку спинка у ней.	...Мир этот хрупок — мы помнить должны —
С ней я дружу уже несколько дней.	Божьи коровки нам очень нужны!
...Летом у реки, где донник цветёт,	Каждая в целом — одно из чудес.
Там она в домике светлом живёт.	Мир красоты без неё бы исчез.
Утром проснётся, пройдёт по лучу,	С виду малютка, но, может быть,
Словно артистка, — и я хохочу!..	в ней — суть равновесья вселенной моей?
Крылышки выпустит — вдаль улетит.	...Летом у реки, где донник пьянит
С ней, разлучаясь, мой взгляд грустит...	Запахом мёда, утро звенит
К вечеру снова вернётся она,	Солнцем в прохладной зернистой росе —
Сядет мне на руку — дружбе верна.	Я поклоняюсь ей — божьей красе.

Юлин день рождения

Проходите, детки,	Ешьте, детки, груши,
К нам на день рожденья!	Пейте сок из дыни!
Здесь для вас конфетки,	Вот блины в сметане,
Фрукты, угощенья.	Сочные пельмени.
Ждёт вас торт, сладёны,	Подвигай их, Таня,
Спелая клубника.	И себе, и Лене!..
Проходи, Настёна!	Тут же мёд, варенье
Не стесняйся, Вика!	Налиты в розетки —
...Все ль пришли к застолью —	Просто объеденье
Или кто-то дома?	В них макать конфетки!
Вижу Лёшу с Толей.	Сладко фрукты дразнят,
Ну а где же Рома?	Словно дни июля, —
Опоздавшей Ксюше —	Нынче внучкин праздник —
Стул придвинем к Нине.	День рожденья Юли.

Внуками трижды богат

С Юлей меня возвеличили дедом.
С Ромочкой — дважды я дед.
С Анечкой — трижды, но страх мне неведом —
Дедом быть в зрелости лет.
Это святое для каждого рода
С гордостью званье носи!
Так сохранить мы сумеем породу —
Истые корни Руси.
...Анна Сергеевна!* Милый голубчик!
Как же я искренне рад!
Трое теперь у меня «почемучек»,
Значит, я трижды богат.

**Лежит кувырком* — так необычно назвала 6-летняя внучка Юленька лежащую на спинке божью коровку.

**Анна Сергеевна* — так в шуточной манере назвал Владимир Корнилов свою младшую внучку Анечку, по имени её отца, Сергея Гаврусева.

Молитва

1

Дай мне, Бог, святого вдохновенья!
Сыну — счастья, дочери — любви!
Ну а внуку — хрупкое растение —
Красотой земной благослови!
Чтоб росла всегда весёлоглазой,
Чистотою радуя своей...
Чтоб ромашки над хрустальной вазой
Ранним утром улыбались ей.
...А наступит время озаренья,
Вспыхнут чувства в девичьей груди —
Дай ей, Бог, высокого прозренья,
От судьбы нелепой огради!

2

В сердце у бабушки радость аукнула:
Двадцать тебе уже, милая, стукнуло.
Стала ты стройной и очень красивой —
Быть тебе, внученька, самой счастливой!
Чтобы в душе расцветали июни —
Солнечных дней тебе и полнолуний!
Пусть твои дни на весах-коромыслах
Будут наполнены божьего смысла!..
Господом нашим с рождения до веку
Десять заветов даны человеку.
Их соблюдай — и душа сохранится
Нравственно чистой, как божья страница,
Славя земное в трудах бытия.
...Да воссияет в них имя твое!

Теперь ты к нам приходишь лишь во снах

*Светлой памяти нашей
любимой Юленьки*

Можно ль смириться бабушке
С горем внутри себя?
Внученька, в каждой девушке
Я узнаю тебя...

Смех ли звенит девчоночий —
Мнится мне голос твой,
Девушку ль встретив с чёлочкой —
Вижу тебя живой...

Вспомню ль пальто зелёное,
Синий в накидку шарф...

Памятью обострённую
В сердце твой каждый шаг...

Вот ты летишь стремительно,
Чтобы успеть к авто, —
Как тебе изумительно
Это идёт пальто!..

Модница, но не вредница —
Мамина с папой плоть.
...Кто их лишил наследницы, —
С них ты взыщи, Господь.

* * *

В жизни была ты весёлой и нежною,
И беззаботна юна...
Как же случилось с тобой неизбежное —
Чья в твоей смерти вина?

...Боль по тебе никогда не излечится —
И не забыть эти дни...
Пусть твоя душенька в страхе не мечется.
Сном непорочным усни.

...Нам же молитвы творить бесконечные,
К Богу взывая в раю,
Чтобы в пределах, где Царствие вечное, —
Душеньку принял твою.

* * *

Разбилась ты, как ангел, — на лету!
Судьбу свою, доверив, и мечту
Тому, кто смел нетрезвым сесть в авто —
В тот миг его не удержал никто.
...Как оглашенный, он в ту ночь летел
Со скоростью, превысившей предел...
Две жизни враз поставил под удар,
Не обергёт он этот Божий дар.

Родных и близких горем опалил —
Не воскресить нам впредь вас из могил.
...В слезах отец твой и в рыданиях мать —
Им век о дочке бедным горевать.

...Теперь ты к нам приходишь лишь во снах,
Да чтёт молитвы по тебе монах.

Сергей Корнилов, Владимир Корнилов



Родовое гнездо Владимира Корнилова: в первом ряду справа налево внучка, Гаврусева Юленька



АЛЕКСАНДР ЛАПТЕВ

Колымские пути-перепутья

В октябре 2015 года я посетил город Магадан. И вот теперь, четыре месяца спустя, «пишу записки впечатлениям вдогонку» (по образному выражению Владимира Высоцкого). Но с первого же шага дело застопорилось, передо мной встал вопрос: с чего начать? И как втиснуть в короткий очерк всё то, что я увидел и запомнил за семь дней пребывания на суровой колымской земле? Впечатлений невероятно много, материала — тьма-тьмушая! Почти тысяча цифровых фотографий, несколько часов высококачественной видеосъёмки (большая часть фото и видеоматериалов была мне подарена жителями Магадана — Павлом Ждановым и Натальей Ивановой, за что им сердечное спасибо). Множество встреч и разговоров с необычными и очень интересными людьми, преодоление полутора тысяч километров по суровой Колымской трассе, и все эти заброшенные в чёртову даль посёлки с почерневшими от времени бараками, эти угрюмые безлесные сопки, тянущиеся на тысячи километров во все стороны света, это бездонное колымское небо, от которого разит холодом, эти странные цвета и кружащие голову острые запахи неведомой земли — как обо всём этом рассказать на тридцати страницах? Тут нужна книга — отменно толстая, с подробностями и отвлечениями, со множеством фотографий и ремарок, с авторскими отступлениями и историческими справками. А ещё лучше — многосерийный фильм, такая сага о Колыме из двадцати полновесных серий. Да и то будет мало. Обо всём рассказать невозможно.

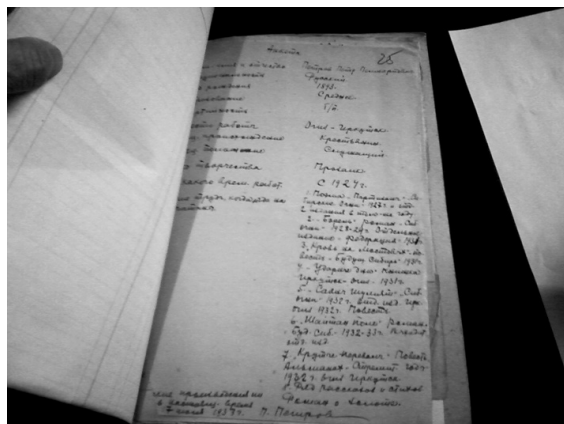
Но что-то сказать о своей поездке я всё равно должен. И я решил, не мудрствуя лукаво, по возможности точно изложить хронологию событий. То есть как прилетел в Магадан, что там делал и почему так быстро вернулся в родной Иркутск (а не остался в бухте Нагаева загорать и купаться). Но прежде следует сказать о цели моего путешествия, о мотивах и замыслах. Ведь странно это: вдруг взять и поехать на самый край земли — туда, куда ещё совсем недавно людей везли через всю страну в битком набитых столыпинских вагонах с решётками на окнах и вооружённой до зубов охраной, и откуда все они страстно мечтали вырваться. Но вырваться посчастливилось не всем. Сотни тысяч невинно осуждённых людей навеки остались лежать в холодной колымской земле. Среди этих сотен тысяч — наш земляк, знаменитый писатель-партизан, именем которого назван Иркутский Дом литераторов. Я говорю о Петре Поликарповиче Петрове, расстрелянном на Колыме 23 октября 1941 года (по приговору Военного трибунала от 26 августа 1941 года, как сказано в замечательном очерке В.П. Трушкина, «как подобает истинным бойцам»; очерк включён в книгу «Друзья мои...», изданную в Иркутске в 2001 году в издательстве «Сапронов Г.К.»).



Пётр Поликарпович Петров

ятных сибирских просторов, под родным небом, лечь в ту же землю, где уже лежали его деды и прадеды. Но грянула революция! Как позже писал Петров, «революция перевернула, разбила вдребезги сложившиеся понятия о жизни, о законченности исканий». В 1917 году он находится среди защитников Белого дома в Иркутске, до последнего сражается с юнкерами и чудом остаётся жив. В 1919-м Петров — один из руководителей мощного партизанского движения, охватившего огромную территорию Красноярского края и Восточной Сибири. В 1924-м он заканчивает Красноярский институт народного образования, а в 1927-м публикует первое своё произведение — поэму «Партизаны» (встретившую горячий отклик читателей). В 1931 году он уже известный писатель, ведущий активную переписку с Максимом Горьким и пользующийся его поддержкой. В середине тридцатых Пётр Поликарпович Петров — один из столпов сибирской литературы, член Правления Иркутской писательской организации и редколлегии журнала «Будущая Сибирь», делегат писательских съездов и непререкаемый авторитет не только в писательских кругах, но и во всех других кругах, какие тогда были. Ему уже за сорок, жизнь кажется удавшейся, единственно верной и незбылемой.

Но 8 апреля 1937 года его неожиданно арестовывают. И сразу начинают «шить дело» о вредительстве и терроризме. Однако добиться от бывшего партизана чистосердечного раскаяния следователи не могут, к тому же самих следователей вскоре объявляют врагами народа (и расстреливают одного за другим — капитана ГБ НКВД Рождественского, капитана Исакова и лейтенанта Котина). Эта же участь постигла и начальников Областного Управления НКВД, возглавлявших это ведомство с 1930 по 1940 год (И.П. Зирниса, М.И. Гая, Г.А. Лупекина и Б.А. Малышева); все они были объявлены заговорщиками и тогда же казнены.



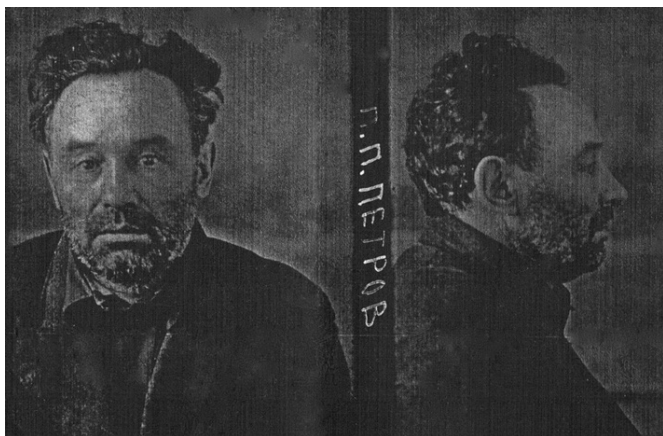
*Анкета Петра Поликарповича Петрова
(из писательского архива; предоставлено Н.С. Сухановой)*

Как же так случилось, что такой уважаемый человек был признан врагом народа, вредителем и террористом, а потом отправлен на Колыму и там казнён? И что это за странные зигзаги судьбы? То он крестьянин, то писатель, то всеми уважаемый человек и герой Гражданской войны, а то законченный негодяй и враг народа?! Как такое может быть?

Приведём здесь основные факты биографии П.П. Петрова.

Пётр Поликарпович родился в 1892 году в глухом таёжном селе Перовское Енисейской губернии. До 1915 года он сеял с отцом рожь и пшеницу, объезжал коней и делал всё то, что делали несколько поколений его предков. Судьба казалась определённой и ясной, как летний солнечный день, как бесконечная даль над безбрежным русским полем. Он готовился жить и умереть там же, где родился, — среди необъ-

Попутно заметим, что в апреле 1937 года были арестованы ещё три ведущих писателя Восточной Сибири — поэт Александр Балин (руководивший центральным литературным объединением Иркутска), председатель Правления писательской органи-



Пётр Поликарпович Петров. Фото из следственного дела
(предоставлено Н.С. Сухановой)

зации Михаил Басов и старейший иркутский писатель Исаак Гольдберг (отбывавший ссылку ещё при царе). Все они очень быстро признались в несуществующей вине и были расстреляны: Александр Балин — в декабре 1937-го, Михаил Басов — в июне 1938-го, Исаак Гольдберг — в декабре 1939 года. Все трое покоятся на так называемой «Даче лунного короля» — в месте массовых захоронений возле посёлка Пивовариха под Иркутском

(в тридцатые годы здесь была спецзона УНКВД, остатки колючей проволоки до сих пор можно увидеть на деревьях). В 1937 году в Иркутске также были уничтожены руководители партийных и советских органов: секретарь оргбюро ЦК ВКП(б) Восточно-Сибирского края Ф.Г. Леонов, первый секретарь крайкома ВКП(б) М.О. Разумов, его первый заместитель Коршунов, секретарь горкома ВКП(б) Казарновский, второй секретарь крайкома ВКП(б) — Козлов, второй секретарь Иркутского ГК ВКП(б) — Н.М. Горбунова, председатель Иркутского горсовета и член ВЦИК Н.В. Камбалин, секретари городских райкомов партии: Шеметова, Сахарова, Жук, секретари крайкома и обкома ВЛКСМ — Кушаковский, Захарова и Беспрозванных, секретарь Иркутского ГК ВЛКСМ Игнатов и многие, многие другие. По сведениям, содержащимся в открытых источниках, в застенках Иркутского Управления НКВД было расстреляно: в 1937 году — 11 707, в 1938-м — 11 517 человек. Всего 23 224 человека. И это за неполных два года! Тела их, кое-как присыпанные землёй, вот уже почти восемьдесят лет покоятся в огромных рвах-накопителях возле Пивоварихи.

Ну а Петру Поликарповичу, можно сказать, повезло. Его не расстреляли сразу. Следствие по его выдуманному, насквозь фальшивому делу длилось долгих три года — с апреля 1937-го по апрель 1940 года.

Сохранилось его заявление на имя Сталина, написанное 16 марта 1939 года, вот его начало:

«Я арестован 8 апреля 1937 года. Почти два года длится следствие, и конца его я не вижу. Писать Вам лично вынуждает крайняя необходимость и то, что я еще не утратил веру в справедливость, в Советскую власть. Представьте на минуту положение человека, в течение двух лет не знающего, что с ним будет, ежедневно ожидающего неведомых бедствий, внушающего себе самый ужасный, кошмарный конец. До сего дня я не прочел в тюрьме ни одной книги, не имею никакого труда, содержусь в камере (бывшей одиночке) без естественного света, в сообществе 6-10 человек, с внутренней парашей, которая зачастую течет от переполнения. К тому же за время заключения я совсем не имею возможности пользоваться ежедневной прогулкой, хотя бы по несколько минут. На неоднократные просьбы к прокурору и Управлению о разрешении мне заниматься литературным трудом я также не получил ответа.

Это полное неведение своей судьбы невольно приводит к пагубной мысли, что в одиночной камере одиночного корпуса я кончу свои дни. Иных перспектив не вижу. Может быть, я ошибаюсь, но таков строй мыслей арестанта, законсервированного на годы, поставленного в самые тяжелые условия, не знающего за собой никакой вины...»

И ещё цитата из этого же заявления; из этого отрывка видно, как в Иркутском УНКВД образца 1937 года добывались признания подследственных:

«В начале ареста (в апреле 1937 г.) следствие предъявило мне обвинение в том, что я состоял в контрреволюционной организации бывших красных партизан, возглавляемой Яковенко. В мае и июне того же года обвиняло, что я участник контрреволюционной организации, возглавляемой местным крайкомом и крайисполкомом. В те же дни следствие потребовало назвать лиц, которых я завербовал. Таким образом, получалось, что я состоял в трех организациях. Но когда мною было заявлено следствию, что никаких контрреволюционных организаций мне даже во сне не снилось, начальник отдела капитан Рождественский угрожающе сказал: если я буду «запираться», то немедленно будет арестована моя жена, дети и из меня «вымотается» не только душонка, но и кишки. «Вы должны дать мне не менее как пятьдесят контрреволюционеров», — категорически потребовал он. После указанного допроса меня забросили в камеру без естественного освещения, с промерзлой стеной и не вызывали до сентября 1937 года».

Это заявление не имело для П.П. Петрова никаких последствий, несмотря даже на то, что капитан Рождественский вскоре был признан врагом народа и расстрелян 19 июня 1938 года. Логика во всех этих следствиях и приговорах нет никакой; как будто работала без устали огромная разделочная машина или какое-нибудь чудовище глотало и перемазывало живых людей и всё никак не могло насытиться человеческой кровью.

В 1940-м Петра Поликарповича судит так называемое Особое совещание в Москве и заочно (в глаза не видя обвиняемого) определяет ему срок наказания — восемь лет лагерей (по универсальной 58-й статье). И уже через несколько дней его отправляют поездным этапом на страшную Колыму, где он за неполный год успевает сменить два совершенно жутких лагеря, побывать в Центральной колымской больнице (где он получил инвалидность) и совершить побег с Арманской обогатительной фабрики, расположенной на реке Армань в районе Тенькинской трассы в двухстах километрах севернее Магадана). Но бежать на Колыме некуда (да и после золотого забоя не шибко-то побежишь). Через три недели Петрова поймали, судили военным трибуналом и расстреляли (место расстрела неизвестно до сих пор). А шестнадцать лет спустя, в марте пятьдесят седьмого, последовала полная реабилитация Петра Поликарповича Петрова. Невиновен! Убит напрасно. Все обвинения в терроризме и вредительстве — вздор и дичайший поклёп на честного гражданина своей родины. Ещё через тринадцать лет на доме, в котором жил Петров (ул. Марата, 29), была установлена мемориальная доска (митинг, посвящённый этому событию, открывал ответ-секретарь писательской организации Л.А. Кукуев).



Мемориальная доска на доме в Иркутске по ул. Марата, 29

А когда в 1978 году на улице Степана Разина открылся Дом литераторов, ему с полным основанием присвоили имя Петра Поликарповича Петрова. Именем Петрова также названа одна из иркутских улиц, его имя носит школа в селе Партизанское Красноярского края (бывшее село Перовское, в котором Петров родился), а в Красноярском литературном музее создан целый отдел, посвящённый жизни и творчеству Петра Поликарповича (здесь я должен поблагодарить начальника отдела информации, публикации и научного использования документов Госархива Иркутской области Елену Ильину, также ведущего специалиста

Красноярского краевого краеведческого музея Галину Толстову и руководителя краеведческого музея в посёлке Усть-Омчуг Инну Васильевну Грибанову — за предоставленные материалы о П.П. Петрове и об Арманской обогатительной фабрике).

Произведения Петрова до сих пор привлекают внимание ведущих критиков. Совсем недавно крупное московское издательство выпустило в свет его роман «Борель». Известный сибирский литературовед и книголюб Василий Прокопьевич Трушкин самым внимательным образом изучал творчество писателя, он затребовал два следственных дела Петрова — из Иркутска и Магадана, а затем написал несколько великолепных статей и очерков, в которых не только разобрал литературные достоинства произведений Петрова, но и его судьбу — трагическую и во многом поучительную. Однако последний год жизни писателя — самый страшный год — всё-таки остался для нас тайною за семью печатями. Мы почти ничего не знаем ни о лагерях, ни о побеге, ни о казни Петра Поликарповича Петрова. И я решил ехать — туда, где по воле злого рока побывали миллионы советских граждан и где до сих пор безымянные могилы хранят нетленные трупы сотен тысяч безвинно убиенных людей.

Варлам Шаламов писал в своих «Колымских рассказах»: *«На Колыме тела предают не земле, а камню. Камень надежней земли. Вечная мерзлота хранит и открывает тайны. Каждый из наших близких, погибших на Колыме, — каждый из расстрелянных, забитых, обескровленных голодом — может быть еще опознан — хоть через десятки лет».*

Да, тела лежат в насквозь промерзшей колымской земле. Но нет ни памятников, ни могил — в нормальном понимании этого слова. Проехав полторы тысячи километров по колымской трассе, я видел лишь два памятника: «Маску Скорби» — грандиозный монумент, установленный на месте пересыльного лагеря в шести километрах от бухты Нагаева, и скромный памятник на месте «Серпантинки» — знаменитой следственной тюрьмы в Ягоднинском районе близ посёлка Хатыннах (надпись на памятнике гласит о том, что в тридцатые годы *«здесь были казнены десятки тысяч репрессированных граждан, прах которых находится в этой долине»*). Я был на этом жутком месте, никак не мог его миновать — дорога на прииск имени Водопьянова (где Петров провёл несколько осенних месяцев 1940 года) вела мимо этого места, многожды описанного в литературе, упомянутого в воспоминаниях бывших узников ГУЛАГа. (Тот же Шаламов писал о «Серпантинке» в одном из рассказов: *«Бригады уменьшались в числе — по дороге на «Серпантинку», на расстрельную командировку Северного управления, день и ночь проходили машины, возвращавшиеся порожняком»*.)



Аэропорт Сокол. 6 октября 2015 г.

Но я всё время забегаю вперёд. Это потому, что впечатления слишком сильны: стоит припомнить деталь, назвать событие — и сразу разворачивается целая цепь событий, тянущая за собой длинную историю, которая так и просится на бумагу.

И всё же после столь длинного вступления я начинаю излагать хронологию событий.

В Магадан я прилетел шестого октября утром. Прямой рейс из Иркутска занял четыре с половиной часа. Полтретьего ночи самолёт взлетел из иркутского аэропорта — среди ночной тьмы и призрачных огней, а в девять утра (по местному

времени) — благополучно приземлился в магаданском аэропорту Сокол — на обширной равнине, окружённой невысокими горами, под ярким солнцем и безоблачным небом. Переход был слишком резок. То была глухая ночь и родная Сибирь, а то вдруг яркий свет, необычайный простор и ветер, свободно гуляющий по необъятному лётному полю, а ещё довольно ощутимый мороз в семь градусов.

В тридцатые годы до Магадана добирались за несколько месяцев: сначала восемь недель поездом до Владивостока (где возле бухты Золотой Рог был знаменитый пересыльный лагерь на двадцать тысяч человек — «Вторая речка»), а потом полторы-две недели — плава-

ние на огромном грузовом пароходе до бухты Нагаева. О том, как заключённых везли через всю страну в забитых до отказа вагонах, а потом в железной утробе парохода по бурным волнам Японского и Охотского морей, следовало бы рассказать подробнее, но это тема для другого очерка. Да и написано уже об этом очень многими. Могу порекомендовать рассказ «Этап» известного актёра Георгия Жжёнова, совершившего путешествие в Магадан на пароходе «Джурма» (*джурма* — слово эвенкийское, в переводе означает «светлый путь»; в утробу этого «светлого пути» набивали зараз по двенадцать тысяч заключённых). Приведу здесь воспоминания автора «Крутого маршрута» — Евгении Гинзбург, совершившей путешествие на этой самой «Джурме» в августе 1939 года: *«Наконец-то мы в трюме. Здесь плотная, скользкая духота. Нас много, очень много. Мы стиснуты так, что не продохнуть. Сидим и лежим прямо на грязном полу, друг на друге. Сидим раздвинув ноги, чтобы между ними мог поместиться еще кто-нибудь. Ах, наш седьмой вагон! Как он был, оказывается, комфортабелен! Ведь там были нары.*

Но лишь бы скорее отплыть. Нам кажется, что пароход сейчас отвалит... Но нет, самое страшное было еще впереди. Первая встреча с настоящими уголовниками. С блатнячками, среди которых нам предстоит жить на Колыме.

Нам казалось, что в наш трюм нельзя больше вместить даже котенка, но в него вместили еще несколько сот человек, если условно называть людьми те ищадия ада, которые хлынули вдруг в люк, ведущий к нам в трюм. Это были не обычные блатнячки, а самые сливки уголовного мира. Так называемые «стервы» — рецидивистки, убийцы, садистки, мастерицы половых извращений. Я и сейчас убеждена, что таких надо изолировать не в тюрьмах и лагерях, а в психиатрических лечебницах. А тогда, когда к нам в трюм хлынуло это месиво татуированных полуголых тел и кривящихся в обезьяньих ужимках рож, мне показалось, что нас отдали на расправу буйнопомешанным.

Густая духота содрогнулась от визгов, от фантастических сочетаний матерщинных слов, от дикого хохота и пения. Они всегда пели и плясали, отбивая чечетку даже там, где негде было поставить ногу. Они сию же минуту принялись терроризировать «фраерши», «контриков». Их приводило в восторг сознание, что есть на свете люди, еще более презренные, еще более отверженные, чем они, — враги народа!»

Но вернёмся в наши дни. Аэропорт Сокол расположен в пятидесяти пяти километрах от Магадана. И путь мой лежал из аэропорта не в Магадан (на юг), а в другую сторону — на север, в посёлок Ягодное, до которого почти пятьсот километров пути. Установлено, что Пётр Поликарпович Петров был привезён на Колыму в июле сорокового года. Полтора месяца пробыл в магаданском пересыльном лагере (расположенном в шести километрах от бухты Нагаева — на сопке Крутая; теперь на этом месте высится «Маска Скорби» — грандиозный монумент Эрнста Неизвестного). Затем Петрова увезли в Ягоднинский район — на прииск имени Водопьянова, расположенный в долине реки Хатыннах, — это было уже в первых числах сентября.

Во времена оные до Ягодного заключённых заставляли идти пешком! Вот свидетельство Шаламова:

«Зимой 1938 года начальство решило пешком отправлять этапы из Магадана на прииски Севера. От колонны в пятьсот человек за пятьсот километров к Ягодному доходило тридцать-сорок. Остальные оседали в пути — обмороженными, голодными, застреленными».

Радуюсь, что мне не нужно идти пешком пятьсот километров, я заплатил пять тысяч рублей водителю микроавтобуса и занял место в салоне, где было тепло и играла музыка. Ещё не было десяти часов, а мы уже ехали по Колымской трассе, той самой, которая «на костях». Но я уже говорил — ни костей, ни могил я не видел. Земля надёжно хранит свои тайны.

А дальше всё было довольно однообразно. Один и тот же пейзаж за окном — округлые сопки на горизонте, частично покрытые чахлой растительностью (кедровый стланник, травка и кустики), а частью — вовсе беслесные, буро-серого цвета, с осыпающимися каменистыми склонами. Сама дорога тоже не ахти какая.



Колымский тракт. Фото из окна микроавтобуса. 6 октября 2015 г.

Первые сто тридцать километров покрыты асфальтом, а дальше — обычная грунтовка, тряская и пыльная (так что пыль после проехавшей машины стоит столбом по несколько минут). А ежели навстречу попадётся машина, так потом с километр едешь вслепую из-за густой белой взвеси. Но водители на Колыме опытные, дело своё знают, гонят со скоростью сто километров в час — так весь

путь до Сусумана (а это на 100 километров дальше Ягодного). Первый населённый пункт по Колымской трассе — посёлок Палатка (83-й километр). Когда-то здесь было целых три лагеря. А теперь здесь довольно крупный (по местным меркам) посёлок городского типа с четырьмя тысячами жителей; этакий миниатюрный город — с автобусным сообщением, с гостиницами, детскими игровыми площадками, иллюминацией, несколькими фонтанами, скульптурами, памятниками и церковью. Но в Палатке мы не задержались — до Ягодного ещё очень далеко — 440 километров.

Следующий населённый пункт — Атка, 208-й километр. Тоже обозначен как посёлок, но никакого сравнения с многоэтажной благоустроенной Палаткой. Население посёлка — 415 человек.

Тут уже нет асфальта. В посёлке несколько пятиэтажек, сохранились каменные строения 1950-х. Когда-то здесь была перевалочная база Дальстроя, работала крупнейшая на Дальнем Востоке автобаза. Были тут свои коровники и свинофермы. В годы войны недалеко от посёлка добывали уголь. Было и своё крупное нефтехранилище, к которому вёл топливopровод от бухты Нагаева. Посреди обширной равнины разбросаны там и сям видавшие виды деревянные строения; иные до половины скрыты высокой травой и кустарником, там и сям торчат почерневшие доски с гвоздями, рамы с выбитыми стёклами, кучи мусора.

Всё в целом производит донельзя унылое впечатление.



Палатка. 83-й километр Колымской трассы



Посёлок Атка — 208-й километр

Первое (полпорции солянки) — двести пятьдесят рублей. Второе (котлета с гарниром) — столько же. Чай — тридцать. Кофе — пятьдесят.

Следует сказать, что Атка находится уже за Яблоновым перевалом, который отделяет относительно тёплый район побережья Охотского моря от холодного высокогорья континентальной Колымы, начинающегося, примерно, со 170-го километра трассы. И это чувствовалось — в Атке было заметно холоднее, чем в Палатке. А небо было всё то же — тёмно-синее, глубокое, и солнце светило так, что больно было смотреть. И кругом всё то же — волнистая цепь серо-бурых гор, окаймляющая относительно ровную безлесную равнину диаметром в несколько километров. Собственно говоря, вся Колымская трасса петляет меж таких сопок. Строители трассы шли по пути наименьшего сопротивления, и правильно делали. Зачем лезть в гору, когда можно проложить дорогу по относительно ровному рельефу, обходя возвышенность и минуя овраги и глубокие распадки. Все реки на земле, какие ни есть, прокладывают себе путь по такому же принципу, подчиняясь закону всемирного тяготения и упрямо скатываясь под уклон. Не случайно Колымская трасса тесно соседствует с речками, речушками и ручьями и снабжена множеством больших и малых мостовых переходов.

Расстояние между населёнными пунктами на Колыме совсем не те, что у нас в Сибири (тем более, в европейской части страны). После Атки мы ехали три часа без остановки. За это время промелькнули мимо лишь два небольших посёлка — Оротукан (360-й километр) и Спорное (400-й километр), этот последний уже сошёл на нет, жителей в нём практически не осталось. Остановку сделали на 423-м километре в посёлке Дебин, что стоит на берегу легендарной Колымы.



Атка. Объявление на столбе

Зато тут есть два придорожных кафе, возле которых все останавливаются. Возле одного кафе висит деревянный столб с наклеенным объявлением: «Куплю дорого! Бивни мамонта, рога лоса, оленя, снежного барана». Я это объявление внимательно прочитал и даже сфотографировал. Так, на всякий случай. Вдруг попадётся где-нибудь мамонт или снежный барс. Глядишь, не с пустыми руками домой приеду.

В кафе я зашёл, но обедать не стал. Глянул на цены.

В этом посёлке когда-то располагалась Центральная больница УСВИТЛа (известная под названием «Левый берег»), в которой спасался от золотых забоев, а потом работал фельдшером Варлам Шаламов (с 1946 по 1951 год). Вот что он сам пишет об этой больнице в рассказе с довольно странным названием «Прокуратор Иудей»:

«...Пятого декабря тысяча девятьсот сорок седьмого года в бухту Нагаева вошел пароход «КИМ» с человеческим грузом — тремя тысячами заключенных. Впрочем, на пароходе



Больница в Дебине («Левый берег»). 70-е гг.

даты, кадровые войска окружили мол, и выгрузка началась. За пятьсот километров от бухты все свободные приисковые машины двинулись к Магадану порожняком, подчиняясь зову селектора. Мертвых бросали на берегу и возили на кладбище, складывали в братские могилы, не привязывая бирок, а составив только акт о необходимости эксгумации в будущем. Наиболее тяжелых, но еще живых — развозили по больницам для заключенных в Магадане, Оле, Армани, Дукче. Больных в состоянии средней тяжести везли в центральную больницу для заключенных — на левый берег Колымы. Больница туда только что переехала с двадцать третьего километра. Приди бы пароход «КИМ» годом раньше — ехать за пятьсот километров не пришлось бы».

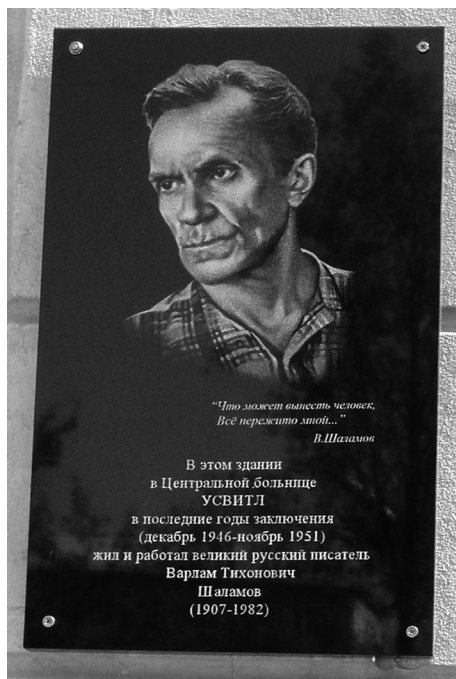
Такие вот реминисценции. А теперь что? Да ничего. Больницы уж нет, не осталось никаких следов или памятных знаков. Просто посёлок, который не сразу и разглядишь за пылью и тряской. Почти такое же придорожное кафе и с такими же ценами, как и в Атке. Мне даже показалось, что продавщицы за прилавком — те же самые (одна пожилая, полноватая, другая молодая, стройненькая). Но это, конечно, был самообман, следствие ночного перелёта и многочасового переезда по усеянной камнями трассе.

Тут, в Дебине, я впервые увидел прославленную на весь мир реку. Колыма! (В этом месте следует помолчать несколько секунд...)

Колыма оказалась довольно широкой и полноводной (чем-то напоминает наш Иркут). Через Колыму перекинут современный бетонный мост — высокий и красивый, сделанный крепко и хорошо (по воспоминаниям заместителя начальника Дальстроя В.В. Волкова, этот, второй уже мост, построенный на быках предыдущего моста собирали и клепали зимой 1952/53 года, в пятидесятиградусные морозы). Тут же неподалёку (в 40 километрах южнее) расположена Колымская ГЭС (по мощности не уступающая Иркутской ГЭС!), есть и посёлок энергетиков с красивым названием Синегорье. Когда ехали по трассе, видели вдали очень красивые заснеженные горы.

Горы были синие, величественные, почти что сказочные. А сам посёлок (как я позже узнал) — небольшой, в нём проживает чуть больше двух тысяч человек (обслуживающих ГЭС). В Дебине и того меньше — около семисот. А самый крупный посёлок на моём пути — Ягод-

были привезены не гости, а истинные хозяева этой земли — заключенные. Рейс был последний, навигация кончилась. Сорокаградусными морозами встречал гостей Магадан. В пути заключенные поднимали бунт, и начальство приняло решение залить все трюмы водой. Все это было сделано при сорокаградусном морозе. Все начальство города, военное и штатское, было в порту. Все бывшие в городе грузовики встречали в Нагаевском порту пришедший пароход «КИМ». Сол-



Мемориальная доска на здании бывшей больницы в Дебине



Мост через Колыму в районе посёлка Дебин

ное, в нём почти четыре тысячи жителей. В этот посёлок я и стремился, стало быть, всей душой.

Весь путь от аэропорта до Ягодного занял девять часов. И вот он — 523-й километр Колымской трассы (тянущейся аж до самого Якутска, а это ещё полторы тысячи километров).

Шестое октября 2015 года. Седьмой час вечера. В Ягодном уже темно и очень холодно (минус двадцать, примерно). Я попросил высадить меня на улице Транспортной возле дома под номером пятнадцать. Ещё в Иркутске я навёл справки через Интернет и узнал,

что в Ягодном живёт замечательный человек — Иван Александрович Паникаров. Он по своей личной инициативе создал прямо у себя на дому музей памяти жертв политических репрессий, назвав его «Память Колымы». Это человек известный на всю страну, к нему едут родственники репрессированных, и он всем оказывает помощь. Я списался с ним, узнал его телефон и вдруг появился в Ягодном.

— А вы почему не предупредили заранее, что едете? — спросил он, когда я позвонил ему на сотовый телефон, стоя среди ночной тьмы и холода на улице Транспортной.

— Да так вот, как-то так получилось, — сконфузился я. В самом деле, я мог позвонить ему из Иркутска накануне. Но почему-то не позвонил. А вдруг бы его сейчас не оказалось на месте?

— Ладно, — смягчился Иван Александрович. — Я сейчас подойду. Вы где находитесь?

Я объяснил, как умел, и через полчаса увидел в темноте невысокого плотного человека в меховой шапке и в тёплой куртке. Приблизившись, он критически оглядел мою спортивную куртку на рыбьем меху и выдавшие виды джинсы и чуть заметно усмехнулся.

Я опускаю весь последовавший разговор, скажу только, что Иван Александрович проявил максимум сочувствия и сделал для меня всё, что только мог сделать: без промедления устроил в частную гостиницу, потом пригласил к себе домой и показал экспонаты своего музея — фотографии, кайла, лопаты, гвозди, проволоку, посуду, инвентарь, табличку, одежду, рукописные тетради — много всего.



Синегорье. Красивейшие пейзажи



Посёлок Ягодное, одноимённый ручей. Вид на север.
Там, за сопками, в 40 километрах, — страшный Хатыннах

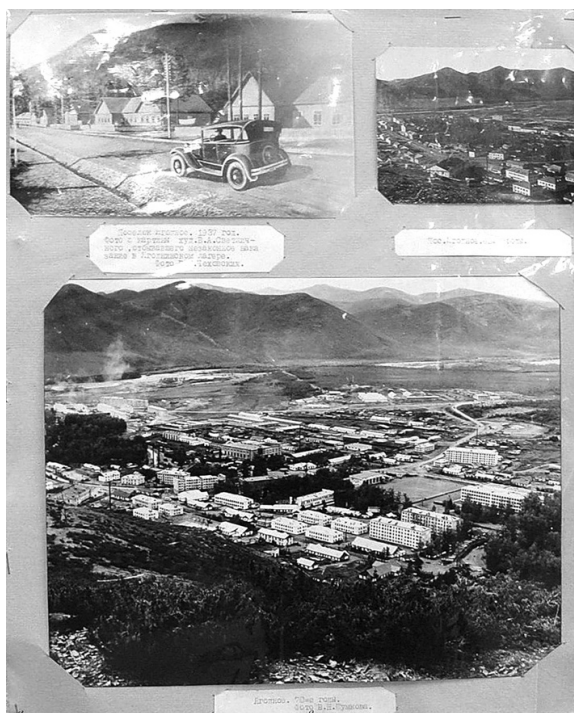
Но дома была лишь десятая часть экспонатов, остальное Иван Александрович хранит у себя в гараже. Во всём посёлке (где есть даже семизэтажные здания) не нашлось служебного помещения для этих бесценных экспонатов.

В тридцатые годы посёлок Ягодное был средоточием золотодобычи целого района; вокруг этого посёлка было создано множество самых страшных лагерей Колымы, среди которых штрафной прииск Джелгала, в котором едва не погиб Шаламов. («Как изолятор был карцером для джелгалинской

спецзоны, Джелгала была карцером всей Колымы, а сама Колыма была карцером России». В. Шаламов, «Колымские рассказы»); тут же неподалёку находился прииск имени Горького, на котором произошло восстание заключённых, описанное Шаламовым в рассказе «Последний бой майора Пугачева»; здесь же уже упоминавшаяся «Серпантинка», которой пугали всех заключённых Колымы, и здесь все эти смертные лагеря, в которых здоровые мужчины за несколько недель превращались в инвалидов: «Ледяной», «Штурмовой», прииск им. Водопьянова, прииск им. Челюскина, «Партизан», «Дикий», «Малютка», «Туманный», «Аврора», «Свистопляс», «Одинокий», «Ветвистый», «Таскан», «Мылга», «Эсчан», «Бурхала»... все лагеря трудно перечислить (в одной только Магаданской области было более 400 лагерей; а вся магаданская область занимает менее 5% от колоссальной территории северной части Дальнего Востока с границами: от Магадана на юге до Певека на севере, и от бухты Провидения на востоке до Якутска на западе; относительно тёплые районы Приамурья, Хабаровска, Владивостока и даже остров Сахалин, где тоже были лагеря УСВИТЛА, я сюда не включаю). Достаточно сказать, что на всех приисках, ОЛП и «командировках» лишь одного Ягоднинского района Магаданской области одновременно работало более двухсот тысяч человек.

Вот свидетельство Шаламова:

«В лагере для того, чтобы здоровый молодой человек, начав свою карьеру в золотом забое на чистом зимнем воздухе, превратился в доходягу, нужен срок по меньшей мере от двадцати до тридцати дней при шестнадцатичасовом рабочем дне, без выходных, при систематическом голоде, рваной одежде и ночевке в шестидесятиградусный мороз в дырявой брезентовой палатке, побоях



Ягодное. 70-е гг. (фото из музея И.А. Паникарова)

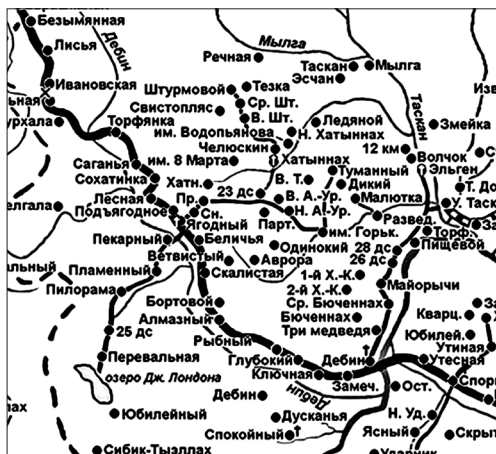
*Посёлок Ягодное. Вид с высоты птичьего полёта
(справа налево проходит Колымский тракт, на север ведёт дорога на
Хатыннах, внизу русло реки Дебин)*

Что-то похожее произошло и с П.П. Петровым. 16 ноября 1940 года он отправил жене своё последнее письмо с прииска им. Водопьянова, в котором были такие строки:

«Что я могу ответить на ваши вопросы? Солнца я вижу больше, чем следует. Климат суровый. Уже сейчас морозы доходят до 40 градусов... О вашей поездке сюда и думать нечего. Если бы я имел две жизни, то обе отдал бы только за то, чтобы вы сюда не ездили». Можно лишь догадываться о том, что пришлось вынести немолодому уже человеку на этом прииске, где он был отправлен на общие работы — забойщиком в золотой забой — махать кайлом и лопатой.

Утром седьмого октября вместе с главой Ягоднинского МО Аллой Михайловной Смальной и Иваном Александровичем Паникаровым мы отправились на прииск Водопьянова, расположенный в 37 километрах к северу от Ягодного. Прииск располагался в полутора километрах от Хатыннаха.

Сам посёлок стоит на берегу одноимённой речки, протекающей по огромной долине, тянувшейся на десятки километров с юга на север. Вся эта долина в тридцатые-сороковые



Фрагмент карты колымских лагерей. Окрестности пос. Ягодное. Жирной линией показана Колымская трасса. Точки — лагеря. Тонкие линии — реки (карта из архива И.А. Паникарова)

годы была густо усеяна лагерями; золото тут было «бешеное» (по воспоминаниям очевидцев). Но и порядки тоже были «бешеные». Я уже упоминал «Серпантинку». Дорога возле неё вьётся как серпантин — отсюда и название. Мимо этого жуткого места мы никак не могли проехать и, конечно же, остановились. Поднялись на пригорок, подошли к памятнику и стоящему рядом кресту. Всё небольшое, скромное. А вокруг — тишина и безлюдье. Заснеженные склоны с редкостоем. Студёный ветер свободно гуляет на просторе — и ни птички кругом, ни живности. Словно умерло всё. Невозможно себе представить, что когда-то на этом месте день и ночь целых два года расстреливали людей. И все эти люди лежат тут же, в нескольких десятках метров, вот



*Памятник на месте «Серпантинки».
Вдали видна долина реки Хатыннах*

в этом овраге, тянущемся на сотни метров вверх по пологому склону. В девяностые годы здесь пробовали искать золото. Но когда ковш экскаватора первым же зачерпом вынул из земли грунт, перемешанный с костями, черепами и стреляными гильзами от патронов, все рабочие наотрез отказались от работы в этом трижды проклятом месте. С тех пор сама собой возникла традиция: все проезжающие мимо машины сигналият возле памятника, отдавая долг памяти всем тем, кто лежит в этой стылой земле, кто уже никогда не вернётся домой.

От «Серпантинки» до Хатыннах всего пара километров. Мы переехали небольшую речку Хатыннах по деревянному настилу и через пять минут уже были в посёлке.

Я отошёл от машины и стал крутить головой, словно надеясь увидеть караульные вышки, бараки и заключённых, бредущих на работу в окружении вооружённого конвоя. Конечно, ничего этого не было и в помине. Ещё в пятидесятые годы все вышки были сломаны, километры колючей проволоки смотаны со столбов, сами столбы повалены и сожжены, чтоб и следа не осталось. (Во всей Магаданской области теперь всего три колонии и один следственный изолятор; для сравнения: в Иркутской области находится двадцать четыре колонии и четыре СИЗО.) Места, где на Колыме были лагеря, теперь почти невозможно отличить от окружающего пейзажа. Даже если тебя подведут к месту и покажут рукой, всё равно ничего не разглядишь в высокой траве, в разросшихся деревьях, в осыпавшихся склонах, в береговых очертаниях каждый год меняющегося русла. Можно лишь представить, что было здесь восемьдесят лет назад, как людей утром гнали на работу в золотые забои, и как там истощённые от голода люди по двенадцать часов кряду долбили мёрзлый грунт, наваливали его в тачки и вагонетки, а потом катили на промывочный прибор, в бутару; всё это и в зной, и в пятидесятиградусный мороз, в снег и в дождь. При этом не было никакой медицинской помощи, зато были ежедневные избиения со стороны бригадиров (выбивающих из своей бригады план), со стороны уголовников (отбирающих у «контриков» пайку и все тёплые вещи); ну и конвой регулярно упражнялся в рукоприкладстве, дробя зубы у лежащего на земле заключённого — своими коваными сапогами, тыча стволом в бок и ломая рёбра, давая подзатыльники и всяко. Немудрено, что в самое непродолжительное время Пётр Поликарпович утратил остатки здоровья и был вывезен с прииска, отправлен в Центральную колымскую больницу на 23-й километр Колымской трассы. Об этой больнице ничего не сказано в очерке В.П. Трушкина. Но данный факт мне подтвердили в Управлении МВД Магаданской области, куда я обратился сразу по возвращении из Ягодного. Там мне показали следственное дело Петрова (хотя в руки дело не дали), при этом подтвердили верность всех указанных в очерке Трушкина сведений о Петрове, прибавив лишь сведения о пребывании Петрова в Центральной колымской



*Посёлок Хатыннах.
Теперь здесь работает старательская артель
«Новый путь» (приiski «Штурмовой» и «Хатыннах»)*



Административное здание постройки 1940 г.

лагере находилось от двух тысяч до нескольких десятков тысяч заключённых, как, например, в «Бутугычаге», в котором сидел поэт Анатолий Жигулин, написавший автобиографическую повесть «Чёрные камни».) Гораздо проще было оставлять всех доходяг тут же, при лагере, и здесь же их и хоронить — сваливать в какой-нибудь овраг, а потом присыпать снегом, камнями, ветками — чем придётся. Вот ещё одно свидетельство бывшего узника: *«Из Магадана регулярно подвозили новые партии заключённых. Мертвецов не успевали хоронить, потому что хорошую забойную бригаду не поставишь на рытьё могил. Доходяги и освобождённые по болезни на могильных работах не имели энтузиазма: знали, что через несколько дней они сами будут лежать в этой вечной мерзлоте. Тогда администрация лагеря нашла выход — покойников стали складывать штабелями в верхней пустующей палатке, которая была накрыта брезентом, но не имела железных печек».* (И.А. Плахин. Очерк «Колымские этапы» // «Краеведческие записки». 1989. № 16. С. 111. Речь идёт о прииске «Скрытый», располагавшемся в 700 километрах к северу от Магадана, описываемое время — декабрь 1938 г.)

Но Петру Поликарповичу повезло — его каким-то чудом отпустили из лагеря, доставили за пятьсот километров в больницу, где он пережил колымскую зиму. А если бы он остался на прииске Водопьянова, то, конечно, там бы и умер. Морозы в этих краях достигали шестидесяти градусов, а заключённые работали без выходных, кое-как одетые, по двенадцать-четырнадцать часов в сутки. Немудрено, что люди умирали массово. Всё добытое на Колыме золото обильно полито человеческой кровью. Об этом не надо бы забывать.

А о Хатыннахе что сказать? В посёлке сохранилось каменное здание, построенное в 1940 году. В этом здании была канцелярия, и наверняка в этой канцелярии бывал П.П. Петров.



Внутри здания.
Здесь, видно, было что-то вроде КПЗ

больнице в течение трёх месяцев — с декабря 1940-го по март 1941 года. В этой больнице Петров был комиссован и получил третью группу инвалидности (порок сердца). Также у него диагностировали ревматизм, пеллагру и цингу. Само по себе попадание в эту больницу можно признать огромной удачей. Больница, хотя и большая — на тысячу коек, — всё же не смогла бы вместить всех доходяг Колымы, всех обмороженных и покалеченных. Это ведь при каждом лагере надо было строить такую больницу, да и то бы она не справилась! (А в каждом колымском

Я сфотографировал это строение без окон и дверей, прошёл по сломанным полам, поднялся на второй этаж, выглянул в окно... Пусто, тихо. Мирно светит осеннее солнце. Облезлые стены хранят молчание о том, что видели и слышали, — множество лиц и судеб канули в Лету. Чьи-то отцы и мужья, братья и сёстры, чьи-то дети, которых растили не для золотых забоев Колымы, а для долгой счастливой жизни... Кто нам теперь о них расскажет?..

На следующий день, рано утром, я покинул посёлок Ягодное. В половине девятого занял место в микроавтобусе, и под радостным утренним солнцем мы понеслись по



*Начало Тенькинской трассы.
85-й километр Колымского шоссе*

лес, чёрный кустарник, темнеющие низины и волнистая линия гор на горизонте. Горы иногда приближались и вырастали, так что приходилось задира́ть голову. Но смотреть было особо не на что: везде осыпающиеся породы, крошащийся скальник, где-то скудная растительность, где-то снежные шапки, а в целом всё ужасно уныло и однообразно. Провести среди этих гор хотя бы год я бы не захотел. Хотя люди везде живут. В том же Ягодном родился и вырос Игорь Высоцкий — известный боксёр, олимпийский чемпион и победитель легендарного кубинца Теофилло Стивенсона. Солист ДДТ Юрий Шевчук — тоже уроженец Ягодного. Диана Арбенина провела в Ягодном детские годы. Такой вот неказистый посёлок на самом краю света. Как говорится: мал золотник, да дорог!

Но хватит о Ягодном. Ведь есть и другие интересные места на Колыме, например, Магадан, куда я прибыл поздно вечером восьмого октября. Перед этим я сделал неудачную попытку самостоятельно добраться до Мадауна (расположенного на 72-м километре Тенькинской трассы). Тенькинская трасса отходит от Колымской сразу после Палатки, в районе 85-го километра. В этом месте я и попросил высадить себя, когда мы проезжали мимо. Водитель микроавтобуса удивился, но вида не показал. Вообще, народ на Колыме очень сдержанный. Улыбается крайне редко и эмоций не выражает. Все серьёзные, собранные, вежливы. Но если тебе потребуется помощь, обязательно помогут. Взаимовыручка здесь на высшем уровне.

В Мадаун я попал чуть позже — через два дня. А тогда, вечером восьмого октября, я почти два часа гулял по Тенькинской трассе — по самому её началу, разглядывал речку Хасын, топал ногами по деревянному мосту, проверяя прочность, вдыхал странные запахи колымской земли и поднимал руку всем проезжающим машинам. Водители смотрели на меня круглыми глазами и проносились мимо (за два часа проехало пять машин). Поняв, что до Мадауна мне в этот день не добраться, уже в темноте я снова вышел на Колымскую трассу. Через четверть часа меня подобрал добрый человек на видавшей виды «Ниве» и подбросил до Палатки. Там я почти час окопачивался на автовокзале, дожидаясь последнего автобуса до аэропорта Сокол. Потом ехал в этом автобусе (за 109 рублей). Потом ждал в аэропорту автобус до Магадана. Поздно вечером уже, в десятом часу, я ока-

пыльной Колымской трассе на юг — в сторону Магадана, до которого было (согласно километровому столбику) 523 километра. Про то, как мы ехали, я не буду подробно рассказывать. Было всё то же, что и накануне, только в обратном порядке — Дебин, Спорное, Оротукан, Атка, Палатка... Опять была остановка в Дебине, и был обед в придорожном кафе. Опять слушали разухабистую музыку всю дорогу (заливался некий Назар — темы всех песен лагерные), снова ярко светило солнце, а по обеим сторонам мелькали уже поднадоевшие пейзажи — серая пожухлая трава, реденький невысокий



Магадан. Улица Ленина



*Александр Лаптев и Павел Жданов
в порту бухты Нагаева*

Юрьевичу Жданову. Он сразу откликнулся, велел мне идти на другой конец города, по направлению к морю, в медицинский колледж, где можно не очень дорого снять приличный номер. Я не стал брать такси, спросил у первого встречного, как добраться до колледжа, и, после путанных объяснений, пошёл примерно туда, куда меня послали. Шёл я по замысловатой траектории (как теперь понимаю), и вместо двадцати минут затратил на путешествие целый час. Но колледж всё-таки нашёл и в одноместный уютный номер за 1600 рублей в сутки заселился.

Двенадцатичасовой рейс от Ягодного до Магадана и две незапланированные прогулки по Тенькинской трассе и по ночному Магадану вконец меня измотали. Я думал тут же лечь спать, но в этот момент мне позвонил Павел Юрьевич и пригласил на ночную прогулку по Нагаевской бухте. Он спросил при этом, остались ли у меня ещё силы? Я ответил бодрым голосом (чтоб не подводить сибиряков): конечно, остались! И стал собираться на ночную прогулку по студёному Охотскому морю. Да и чего тут было думать? Выспаться всегда успеешь, а вот выйти ночью в открытое море, да не где-нибудь, а в той самой бухте, воды которой бороздило бесчисленное количество судов — это бывает не каждый день. И не с каждым человеком.

Об этой ночной прогулке я не буду много писать. И о том, как на следующий день я бродил по городу, гулял по песчаному берегу бухты Нагаева, рассматривал старый деревянный причал, фотографировал плавающих в воде медуз, поднимал с песка чёрные ракушки и пытался представить, как по этому причалу сходили на песок люди — множество лю-

дей. Они поднимались во каменистой тропе в гору и уже не возвращались никогда — десятки, сотни тысяч людей. Что они чувствовали? Этого нам знать не дано. Шаламов в рассказе «Причал ада» так описал свои впечатления от Нагаевской бухты, куда он прибыл этапом в августе 1937 года:

«Тяжелые двери трюма открылись над нами, и по узкой железной лестнице поодиночке мы медленно выходили на палубу. Конвойные были расставлены густой цепью у перил на корме парохода, винтовки нацелены были на нас. Но никто не



Бухта Нагаева. «Причал ада». 2015 г.

обращал на них внимания. Кто-то кричал — скорей, скорей, толпа толкалась, как на любом вокзале на посадке. Путь показывали только первым — вдоль винтовок к широкому трапу — на баржу, а с баржи другим трапом — на землю. Плавание наше окончилось. Двенадцать тысяч человек привез наш пароход, и, пока выгружали их, было время оглядеться. После жарких, по-осеннему солнечных владивостокских дней, после чистейших красок закатного дальневосточного неба — безупречных и ярких, без полутонов и переходов, запомнившихся на всю жизнь... Шел холодный мелкий дождь с беловато-мутного, мрачного, одноцветного неба. Голые, безлесные, каменные зеленоватые сопки стояли прямо перед нами, и в прогалинах между ними у самых их подножий вились косматые грязно-серые разорванные тучи. Будто клочья громадного одеяла прикрывали этот мрачный горный край. Помню хорошо: я был совершенно спокоен, готов на что угодно, но сердце забилося и сжалось невольно. И, отводя глаза, я подумал — нас привезли сюда умереть».



Магаданский краеведческий музей.
Вход в экспозицию, посвящённую ГУЛАГу

Эти альманахи я теперь перечитываю каждый день. А стоили они до странности дёшево — по 15 рублей за выпуск. Теперь этот альманах почему-то не выпускается. Очень жаль. Колыма — это ведь не только ГУЛАГ и репрессии. Это ещё и уникальная природа, это поразительные находки палеонтологов — древние артефакты, возраст которых исчисляется сотнями миллионов лет! Когда-то здесь плескалось тёплое море, обитали тропические организмы — прародители всего живого на Земле. Теперь окаменелые останки этих организмов находят здесь во множестве. Всё это щедро представлено в Магаданском краеведческом музее. Посмотреть есть на что. И есть о чём подумать. Жаль только, что времени у меня было очень мало — всего несколько часов. И не за древними организмами я ехал сюда за три тысячи километров. Гораздо более близкая к нам эпоха оказалась для нас более закрытой, нежели та, которая была миллионы лет назад. Такие вот парадоксы современной цивилизации.

Но времени для размышлений у меня не было. Уже на следующий день, в воскресенье, одиннадцатого октября, в пять часов утра (!) за мной заехал транспорт, и я отправился в составе целой экспедиции (больше десяти человек на трёх машинах) — в тот самый Мадаун, в который не смог попасть накануне. Путь предстоял неблизкий: сначала 85 километров по Колымской трассе, затем поворот налево, на Тенькинскую трассу, и ещё 72 километра по грунтовке до Мадауна. Но и это ещё не конец пути! Мы планировали попасть на Арманскую

В этот субботний день я посетил Магаданский краеведческий музей.

Экспонаты музея произвели на меня очень сильное впечатление. Один этаж музея полностью посвящён ГУЛАГу. Тут и тачки из лагерей, и лопаты, и кайла, и фонари, и патроны, посуда, одежда, макеты лагерных строений и даже настоящая лагерная вышка; множество фотографий, книги и рукописи. Всё это я фотографировал, сделав несколько сотен снимков на свой телефон.

Тут же я приобрёл шесть выпусков альманаха «Краеведческие записки», издававшиеся музеем в восьмидесятые — девяностые годы.



Лагерная посуда (УСВИТЛ)



Долина реки Армань. Руины обогатительной фабрики

треть Тенькинскую трассу и её окрестности! Кстати сказать, в Магаданском УВД мне сообщили такую подробность: Петров с товарищем (а бежали они вдвоём) некоторое время прятались на Голубом озере, что в семи километрах на север от лагеря. И вот же совпадение: та команда, что взяла меня с собой, запланировала пеший поход фабрики именно к этому озеру! Это получилось случайно, но я увидел в этом высший знак. Словно незримая сила мне помогала все эти дни. В Ягодном оказался такой замечательный человек — Иван Александрович Паникаров. Там же и глава поселковой администрации Алла Михайловна Смалько; лишнего слова не говоря, она вызвала своего водителя и лично сопровождала меня и Паникарова до Хатыннаха и обратно (не взяв с нас ни копейки). В Магадане мне на каждом шагу помогал упоминавшийся выше Павел Жданов. И ночную прогулку по заливу он организовал, и в гостиницу удачно поселил, и в областное МВД помог пройти, а теперь вот организовал целую экспедицию на место Арманской обогатительной фабрики, куда давно уже никто не ездит — дорог туда нет, и никто там близко не живёт. Место заброшенное, глухое, хотя и по-своему красивое.

Достаточно сказать, что от Мадауна до фабрики мы добирались на ГАЗ-66 целых два часа — а это всего 27 километров. То по руслу реки Армань, то по изломанному льду, то по кочковатому берегу — я удивляюсь, как мы не перевернулись и никто не выпал из кузова. Но до места мы таки добрались. Это было уже в полдень. Выпрыгнули на песок и сразу увидели огромные бетонные блоки — так называемые бремсберги — устройства для спуска руды и подъёма на гору пустых вагонеток (Арманская фабрика обогащала касситерит, в просторечье — «оловянный камень»; здесь добывали так нужное стране олово). Сама гора снизу казалась не очень большой, но мы потратили целый час, пока взобрались на её вершину, откуда открывался изумительный вид на все стороны света. Хорошо просматри-



Лаптев и Жданов на месте Арманской обогатительной фабрики. Съёмку ведёт оператор областного ТВ Рустам Ахметов

обогатительную фабрику, которая располагалась в 27 километрах севернее Мадауна. Именно туда в марте 1941 года был привезён П.П. Петров из Центральной колымской больницы. С этой фабрики по обработке касситерита (при которой был лагерь на несколько тысяч заключённых) он совершил побег 31 мая этого же года. На 161-м километре Тенькинской трассы он был пойман 26 июня — всё крутилось вокруг этих мест. Как же было не побывать в Мадауне, и на самой обогатительной фабрике, не осмо-

валось русло реки Армань, виден был и ручей Светлый, уходящий на северо-запад. Вдоль этого ручья нам и предстояло пройти семь километров до Голубого озера. Этот же путь проделал П.П. Петров 31 мая 1941 года. Побег он совершил в обеденное время, по всей видимости, в хорошую ясную погоду. В следственном деле есть такие подробности: из продуктов у беглецов были три рыбины горбуши, две буханки хлеба и полкило сахара.

Тут следует сказать, что побегов на Колыме было довольно много.



Развалины барака на Арманской обогатительной фабрике

можно укрыться и переждать погоню. Всё открыто, всё нараспашку, на виду. И, главное, непонятно — куда следует двигаться. На север? Но это три тысячи километров по голым сопкам, по вечной мерзлоте. Да и что там, на севере? Известно что: Северный Ледовитый океан, где тоже нет ни жилья, ни цивилизации и никакого исхода. На восток тоже не пойдёшь — там огромный холодный залив Шелихова (того самого Григория Ивановича Шелихова — знаменитого мореплавателя и основателя «Русской Америки», похороненного в Иркутске на территории Знаменского монастыря); за этим заливом — полуостров Камчатка, ещё дальше — Берингово море. Если на запад взглянуть, так это несколько тысяч вёрст совершенной дичи аж до самого Байкала. А на юге — Магадан и Охотское море. Ну нужно иметь в виду, что на всех дорогах стоят оперпосты, что там и тут — лагеря, что весь этот край напоминал огромную казарму, где не было гражданского начальства, а посёлками и лагерями командовали офицеры ГБ НКВД (почти все посёлки на Колыме начинали свою историю с лагерей). У Шаламова есть рассказ про одного вольного инженера, который поехал в соседний посёлок проветриться, но забыл взять с собой паспорт. Так его остановили на первом же оперативном посту и посадили в изолятор — думали, что он беглый ээк. Избили для порядка, отобрали все деньги. Через неделю приехал его начальник и не без труда вызволил его из этой заварухи. Инженер этот вскоре после этого случая покончил с собой (таков финал рассказа под названием «Серафим»). Так то — гражданское лицо, инженер — прилично одетый и нормально питающийся, с повадками вольного человека. А если увидят обросшего оборванного человека с воспалённым взглядом где-нибудь в кустах или на обочине? В такого сразу стреляют (потом отрубают кисти рук и несут для идентификации в учётную часть — таких случаев полно). Вот и беги после этого.

Но я несколько отвлёкся. Осмотрев гору со всеми её развалинами, подобрав с земли ржавые кайла, лопаты, гвозди и костыли (часть из них я привёз с собой), мы двинулись к Голубому озеру.

Тропа пролежала среди довольно густого леса, в котором росла даурская лиственница, попадалась чизеня (род ольховых), под ногами был густой мох, брусничник и целый ковёр из мелких жёлтых иголок. С одной стороны высилась крутая гора, с другой — тёк ручей Светлый. Через каждые сто метров на тропе попадались медвежьи кучи. В целом, всё было довольно мрачно, почти зловеще. Я представил, как по этой тропе шли на работу заключённые



*Долина Армани.
Здесь, на склоне горы, добывали касситерит*



Озеро Голубое.

Здесь скрывался во время побега П.П. Петров в июне 1941 г.

До озера мы дошли за полтора часа. Последний отрезок вёл в гору по каменной россыпи. Поднявшись метров на триста, мы попали в заросли кедрового стланика, преодолеть который оказалось очень непросто. Но продрались кое-как (а кто-то обошёл вокруг), и тогда увидели это самое озеро. В длину оно около километра, а в ширину — метров пятьсот. Образовано стекающими с гор тальми водами. Никаких рек или ручьёв в него не впадает. И ничего из озера не вытекает. Такая естественная чаша. Стоит вода — ну и ладно. Вода, кстати, холоднющая. Рыбы в озере нет. А наколоть льда для чая — это, пожалуйста. Пейте на здоровье!

Точно неизвестно, сколько дней П.П. Петров провёл на этом озере. Но ушёл он отсюда на северо-запад по направлению к Тенькинской трассе. Когда его поймали и спросили, куда он направлялся, он назвал Усть-Омчуг — крупный посёлок, расположенный на 181-м километре Тенькинской трассы. В Усть-Омчуге тогда располагалось Тенькинское горно-промышленное управление, это был крупный административный центр, управлявший множеством приисков, лагерных пунктов, командировок и подкомандировок, построенных по всей Тенькинской трассе (протяжённостью в 472 километра). (Непосредственно в посёлке был лагерь «Комендантский», он стоял на берегу речки Детрин — при-

тока Колымы.) Весь этот район позже получил красивое поэтическое название Золотая Тенька. Знаменитый писатель Олег Куваев (который числился в Магаданской писательской организации) — автор нашумевшего, переведённого на многие языки романа «Территория», описывает в своей книге очень колоритную фигуру — начальника геологического управления Илью Николаевича Чинкова (по прозвищу Будда). В романе сказано, что в «посёлок» (а это в действительности посёлок Певек на Чукотке) Чинков приехал из некоего золотого оазиса, за открытие которого он получил «орден, Государственную премию и окончательное признание». Так вот, этим Чинковым в действительности был Чемоданов Николай Ильич, а золото своё он откры-



Стенд на фронтоне Центральной библиотеки Магадана (Олег Куваев — во втором сверху ряду, второй слева)



Привал возле Голубого озера. Журналист Анастасия Якубек, оператор Рустам Ахметов, Александр Лаптев, Андрей Осипов. Каждому есть о чём подумать

вал как раз в районе Тенькинской трассы — это посёлки Омчак, имени Гастелло, Матросово, Кулу, Нерючи, Хатыннах (другой Хатыннах, не тот, который расположен севернее Ягодного).

Но я снова отвлёкся. На Голубом озере мы провели два часа, напились чаю из растопленного на костре льда, поели печенья, снимали окрестные виды. Отойдя в сторону, я включил микрофон и записал тишину. Ту самую тишину, от которой звенит в ушах (а потом делается жутко). Да, мне стало там не по себе. И от этой тишины, и от каких-то неземных

пейзажей, от острого чувства заброшенности, страшной удалённости от живого и тёплого мира. Всё здесь было холодное, огромное, недружелюбное. Хотелось поскорей вернуться домой.

С облегчением мы собрали свои манатки, погрузились в кузов ГАЗ-66 и поехали обратно. И ещё, я забыл сказать, что в этой поездке нас сопровождала съёмочная группа Магаданского телевидения. Они готовили фильм, который впоследствии был показан по местному телевидению.

В Магадан я вернулся в десять вечера. Вошёл в тёплый гостиничный номер и долго стоял в каком-то отупении — так резок был переход от пугающих просторов Колымского нагорья к уюту современного жилища, в котором мягкие ковры, цветной телевизор с пультом, мягкие кресла и холодильник, в который можно положить всё, что душе угодно, хоть колбасу, хоть курицу (было бы желание). Но желание было только одно — поскорее упасть на кровать.

На следующее утро, в понедельник, я отправился в областное УВД к самому главному начальнику. (Это ведомство располагалось, как нетрудно догадаться, на улице Дзержинского.) Начальник принял меня с вежливой улыбкой, выслушал просьбу и обещал помочь.

Опускаю часть событий, но после обеда в этот же день я имел обстоятельную беседу с сотрудницей информационного отдела УВД по имени Светлана Владимировна. Это была очень милая женщина лет тридцати. Она держала в руках следственное дело Петрова, ни за что не хотела выпустить его из рук. Но согласилась ответить на мои вопросы. А ещё (в первый свой приход) я оставил в УДВ книгу с очерком Трушкина о Петрове. Светлана Владимировна очерк прочитала и нашла его верным в главных деталях. Но кое-чем дополнила, в частности, сведениями о пребывании Петрова в Центральной колымской больнице на 23-м километре — с декабря 1940-го по март 1941 года.

Но она не смогла ответить на один из главных вопросов: где был расстрелян Петров и где он захоронен. В следственном деле об этом ничего не



Центральная Колымская больница на 23-м километре (современный вид)

сказано. Но рассуждая логически, мы пришли к выводу о том, что П.П. Петров был расстрелян в Усть-Омчуге и там же захоронен. Осенью 41-го года уже действовали военные трибуналы, они выезжали «на места» и там проводили выездные заседания. В обвинительном заключении по делу Петрова было сказано:

«Работая на обогатительной фабрике № 6 ТГПУ, откуда в целях сознательного уклонения от исполнения установленного режима в ИТЛ НКВД и с целью отказов от работ для умышленного ослабления деятельности Дальстроя 31 мая 1941 года с места работы совершил групповой побег. Принятыми мерами розыска 26 июня 1941 года на 161 километре Тенькинской трассы задержан». В этом же обвинении содержались такие формулировки: «работал плохо, от работы уклонялся под видом болезни, настроен антисоветски».

26 августа 1941 года Петров П.П. приговорён к расстрелу (военным трибуналом). Приговор приведён в исполнение 23 октября 1941 года.



Кладбище возле лагеря «Днепровский» (примерно 260-й километр Колымской трассы, недалеко от пос. Мякит)

Я не очень понимаю, за что Петрова проговорили к смертной казни. Ведь он никого не убил, ничего не украл из лагеря (за исключением трёх рыбин и двух буханок хлеба). Он не совершил никакого вредительства и не помышлял совершить террористический акт. По всем признакам, это был акт отчаяния — шаг человека, доведённого до крайности, уже не отдающего отчёт в своих действиях. Но всё это было истолковано в сугубо негативном смысле, в обвинении два раза повторено страшное

слово «умышленно». Умышленно ослаблял деятельность всемогущего Дальстроя, «сознательно» уклонялся от установленного режима. И вот, на основании таких зыбких обвинений человека приговаривают к смерти. И расстреливают. Что тут скажешь?..

До сих спорят о том, сколько на Колыме погибло людей. Цифры называют разные. Кто-то говорит про сто тысяч. Кто-то — про два миллиона. В купленных мною «Краеведческих записках» (выпуск № 16 за 1989 год) содержится статья Ивана Алексеевича Плахина, узника колымских лагерей, а впоследствии — члена Комиссии по пересмотру дел осуждённых в эпоху «культ личности». Так вот, Иван Алексеевич пишет в своей статье о том, что в годы репрессий на Колыме погибло семьсот тысяч заключённых! И эта цифра не кажется преувеличенной (если в одной только «Серпантинке» расстреляно несколько десятков тысяч (в некоторых источниках называется точная цифра — тридцать тысяч расстрелянных) — и это за неполных два года её существования, с 1937 по 1938 год!). А ведь расстреливали почти во всех лагерях Колымы! Да и без всяких расстрелов люди замерзали насмерть (так что трупы складывали в пустые сараи — до весны), заключённых по любому поводу убивали уголовники. И огромное количество заключённых погибло от голода, от слабости и от болезней. Возле каждого колымского лагеря были безымянные кладбища.

Приведём свидетельство Шаламова:

«За весь 1937 год на прииске «Партизан» со списочным составом две-три тысячи человек умерло два человека — один вольнонаемный, другой заключенный. Они были похоронены рядом под сопкой. На обеих могилах было нечто вроде обелисков, у вольного повыше, у заключенного пониже. В 1938 году на рытье могил стояла целая бригада. Камень и вечная мерзлота не хотят принимать мертвецов. Надо бурить, взрывать, выбрасывать породу. Целая бригада стояла только на рытье могил, только общих, только «братских»,

с безымянными мертвецами. Впрочем, не совсем безымянными. По инструкции, перед захоронением нарядчик, как представитель лагерной власти, привязывал фанерную бирку с номером личного дела к левой лодыжке голого мертвеца... Врачи боялись написать в диагнозах истинную причину смерти. Появились «полиавитаминозы», «пеллагра», «дизентерия», «РФИ». Здесь РФИ — «резкое физическое истощение», шаг к правде. Но такие диагнозы ставили только смелые врачи, не заключенные. Формула «алиментарная дистрофия» произнесена колымскими врачами много позже — уже после Ленинградской блокады, во время войны, когда сочли возможным хоть и по латыни, но назвать истинную причину смерти. «Горение истаявшей свечи, все признаки и перечни сухие того, что по ученому врачи зовут алиментарной дистрофией. И что не латинист и не филолог определяет русским словом «голод». Эти строки Веры Инбер я повторял неоднократно. Вокруг меня давно не было тех людей, которые любили стихи. Но эти строки звучали для каждого колымчанина.

Работяг били все: дневальный, парикмахер, бригадир, воспитатель, надзиратель, конвоир, староста, завхоз, нарядчик — любой. Безднаказанность побоев — как и безнаказанность убийств — развращает, растлевает души людей — всех, кто это делал, видел, знал... Конвой отвечал тогда, по мудрой мысли какого-то высшего начальства, за выполнение плана. Поэтому конвоиры побойчей выбивали прикладами план. Другие конвоиры поступали еще хуже — возлагали эту важную обязанность на блатарей, которых всегда вливали в бригады пятьдесят восьмой статьи. Блатари не работали. Они обеспечивали выполнение плана. Ходили с палкой по забою — эта палка называлась «термометром», и избивали безответных фраеров. Забивали и до смерти. Бригадиры из своих же товарищей, всеми способами стараясь доказать начальству, что они, бригадиры, — с начальством, не с арестантами, бригадиры старались забыть, что они — политические. Да они не были никогда политическими. Как, впрочем, и вся пятьдесят восьмая статья тогдашняя. Безднаказанная расправа над миллионами людей потому-то и удалась, что это были невинные люди. Это были мученики, а не герои» (рассказ «Как это началось»).

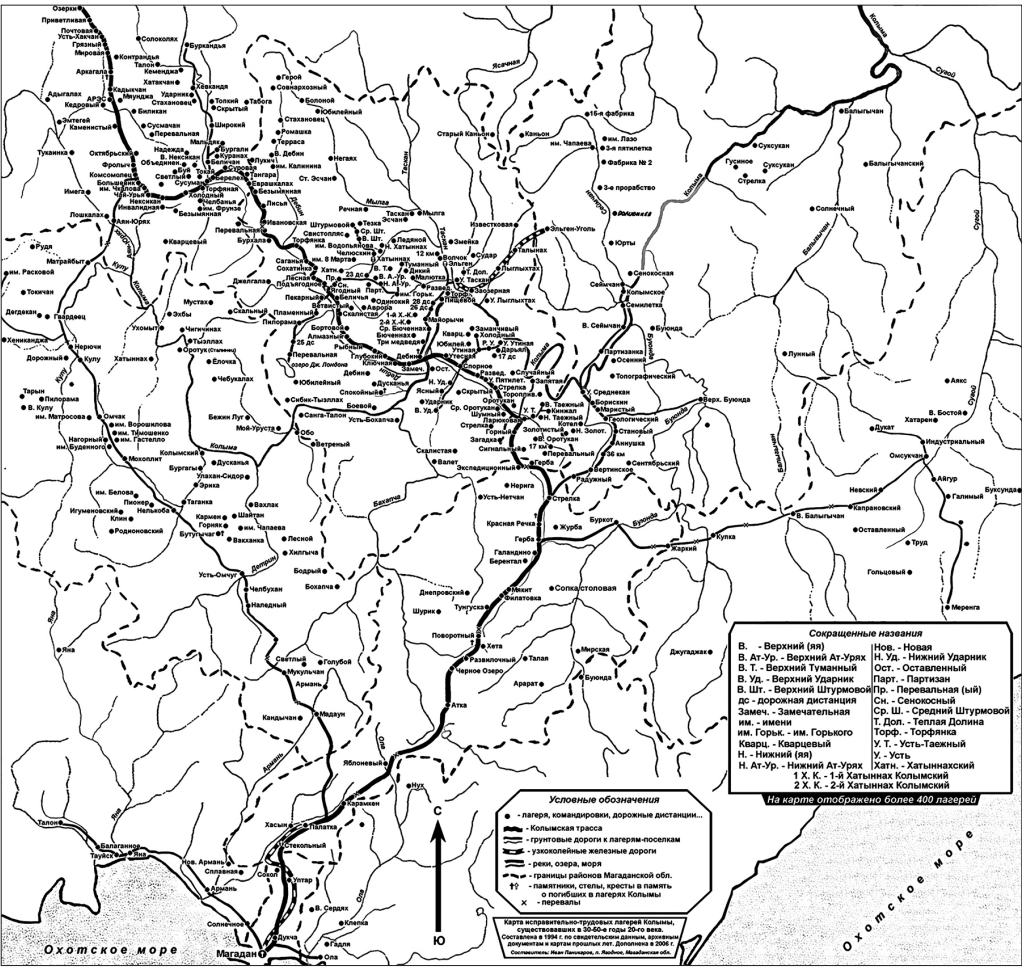
Да, люди были невинны. До сих пор никто не может объяснить, по какой причине они были уничтожены. Наверное, потому, что такой причины нет и не может быть. Содеянному нет ни оправдания, ни прощения.



«Маска Скорби» — памятник-скульптура Эрнста Неизвестного.
Установлен на месте бывшего пересыльного лагеря в 6 км от бухты Нагаева. Сопка Крутая

В тот же понедельник, только уже вечером, я увидел своими глазами знаменитую «Маску Скорби». Это и в самом деле грандиозное сооружение высотой метров двадцать. Этот памятник стоит почти на том самом месте (только чуть выше), где располагался пересыльный лагерь, в который прибывали этапы с материка. Вид отсюда открывается очень красивый — и на город, и на две знаменитые бухты — Нагаева и Гертнера. Вот только до

красот ли было всем тем, кто сидел в этом лагере в ожидании этапа на север, в какой-нибудь Хатыннах, или в «Партизан», или в «Джелгалу», или в «Бутугычаг». Вернулись оттуда немногие. Нашли в себе силы рассказать о пережитом — единицы. Среди них Варлам Шаламов, Анатолий Жигулин, Георгий Жжёнов, Евгения Гинзбург и некоторые другие.



Карта лагерей Магаданской области. 30 — 40-е гг. (из архива И.А. Паникарова)

Следующим утром я должен был вылететь в Иркутск. Но перед этим я ещё успел дать обширное интервью корреспонденту Магаданского радио Валерию Петровичу Кадцину. Несколько часов мы говорили о судьбе Петра Поликарповича Петрова, а также о судьбах миллионов простых советских людей, попавших под молот репрессий. Результатом этой беседы стал цикл радиопередач, прозвучавших по магаданскому радио. Потом я узнал, что на основании этой беседы в газете «Магаданская правда» была напечатана статья о П.П. Петрове. Я пишу об этом не из хвастовства, а чтобы подчеркнуть тот интерес, который был проявлен к моим исследованиям. Дело тут не во мне, а в том огромном и страшном пласте нашей общей истории, который до сих пор мало изучен и недостаточно осмыслен. Сотни тысяч окоченевших тел до сих пор лежат неопознанными в вечной мерзлоте Колымы. Незвестны их имена, родственники понятия не имеют о том, где похоронены их близкие и какими были последние часы их жизни. Всё это ещё предстоит расследовать — не для того, чтобы наказать виновных. Все виновные давно уже на том свете. И если только действительно будет Страшный Суд, то все они получат то, что заслужили. Но дело уже не в них. Мы сами должны что-то понять в себе, быть может, поправить, чтобы подобные злодеяния больше никогда не повторились. Но для начала нужно назвать вещи своими именами. Это как минимум. Это исходная предпосылка для самоочищения.

Тринадцатого октября, во вторник, в десять часов утра я уже сидел в кресле аэробуса. Место было у окна в третьем ряду. Погода солнечная, видимость идеальная. И я всё смотрел на лётное поле, на далёкие сопки, на глубокое осеннее небо и не верил, что через несколько часов я буду за три тысячи километров отсюда — на родной Иркутской земле. Потом самолёт взял разбег и взмыл в воздух. Курс — на запад. Лайнер быстро набрал высоту, и уже через несколько минут я ничего не мог разглядеть на грешной земле. Впрочем, почему грешной? Земля ни в чём не виновата. Этой земле миллионы лет. Она богата золотом и оловом, нефтью и углём, в ней сокрыта вся Периодическая таблица элементов! А ещё в ней есть своя красота, своё очарование. Нужно только получше присмотреться, повнимательнее прислушаться. Когда-нибудь над этой землёй снова взойдёт тёплое южное солнце. Льды растают, а сопки покроются роскошными лесами, полными живности и движения. В тёплых водах поплывут диковинные рыбы, а над водой будут парить белоснежные чайки. Обширные территории будут заселены цивилизованными людьми — нашими счастливыми потомками. Будет всеобщая радость, а горя больше не будет. Не будет жестокости, несправедливости, унижений.

Жаль, что мы этого не увидим.

22 февраля 2016 года



АРТЁМ ЗАБОЛОТИН

Усть-Кут

Капучино для Дездемоны

Закрой глаза и просыпайся.
Смотри, как вспять восходит солнце,
цепляясь за фаланги пальцев
берёз, и постаревший Моцарт
ключи скрипичные роняет,
заслышав юного Сальери,
котом учёным по роялю
бредущего на крайний сервер,

туда, где смысл уже не важен
и мир подёрнут дымкой сонной;
где на щеку один из стражей
твоих видений пал со звоном —
и над упавшею ресницей
склонился любящий Отелло...
Открой глаза, пускай приснится,
что этот кофе белый-белый.

Путешествие в Петербург

В калейдоскопе дат, имён, фигур,
наверно, бес попутал расписанья:
столкнулись по дороге в Петербург
из Золотого века на Сапсане
два господина. Первый — говорлив,
блестят глаза, и кожа цвета кофе;
второй, напротив, бледен, как налив,
лысеющий, но юный Мефистофель.
Под шум колёс, влекущих в никуда
нейтроны глаз, молящих не мешать им
смотреть в окно, плыл ток по проводам.
Они замкнули цепь рукопожатьем —

И понеслись разезды, городки.
Столбы сверяли километры судеб
со взмахами ухоженной руки,
которая, забыв себя, рисует
движение мысли, музыку стиха
сердцебиенью в такт, сродни дыханью...
И потому, коль первый отдыхал,
второй, конечно, говорил стихами
о том, что было. Будет. Есть. Держись
за данное и взмыленное слово:
на станциях нас догоняет жизнь
и убивает, словно Льва Толстого.

Идущий без зонта и босиком
по крышам привокзальной черепицы
дождь в окна бьёт им ломаным крылом
и исчезает в сторону столицы
купеческой, где выше куполов
кутируются акции Газпрома;

где власть сидит меж птичьих двух голов
сиамских близнецов — Фомы с Ерёмой;
где каждый — и банкир, и трудовик —
на сале глянца с чернью жарят порно;
где памятник себе впотьмах воздвиг
Никитка-царедворец из попкорна.

Да мало ли о чём, чего не счесть,
они в пути вдвоём ни размышляли.
О том, как отстояли россы честь,
и как уподоблялись сами швали.
Серпом ли свастикой косили б нас,
Бог возвращал России дух и милость.
Затем с любовью вспомнили Кавказ:
ужели там ничто не изменилось!
со времени их ссылок, с той поры,
когда Тамара в Терек эдельвейсы
бросала? Но в ответ раздался взрыв —
Сапсан сошёл, корёжа судьбы, с рельсов.

...Как небо рвёт на части облака!
Как безучастны солнце, птицы, сводки!..
А на столе полупустой стакан,
и пустота горчит сильнее водки.
Не вытеснить её, но грудь тесна,
и к горлу подступает... Хотя явитесь
во сне! Так безутешна ночь без сна.
Как запоздалы выплаты правительств!
Отечество! Глаза снедает дым.
Но сладок он, скажу тебе, едва ли.
Здесь будет всё: бабло, тепло родным.
Но тех двоих... Двоих не опознали.

Ассасин

Есть уши, что не внемлют пенью птиц,
глаза есть, что не видят, как красиво
ты мог бы принимать сто тысяч лиц,
и лишь одно был вынести не в силах

лицо. Оно сокрыто темнотой
под капюшоном бурь всегда песчаных.
Утёсы скул могильною плитой
оттиснуты как знаменье печали.

Но древко дух сдержал в твоих руках,
опёрся об него и оперился.
В лохмотьях туч ты — дервиш в облаках.
А ведь когда-то был наследным принцем.

Всё это в прошлом. Ныне, ассасин,
ты для людей отребье гор и нечисть.
Твой дар — проклятье. Жёлтый сумрак зим,
который назовут потомки — Вечность.

Блудный дождь

Полдень палит из пушки, и ты идёшь
в шелест листвы под тень городских аллей.
Пárom заплечным дышит вчерашний дождь.
Солнце из чащи туч, как ручной олень,
на поводке выходит, бежит вослед,
но обгоняя, лижет рекламный щит;
по тротуару цок — и ведро монет
медных рассыпав и подобрав лучи,

звонко смеётся многоголосьем лиц,
птиц, площадей; зонтами дневных кафе
мимо идёшь ты детских садов, больниц,
школ, универа, рынка, как подшофе.
Привкус свободы всё же горчит виной.
Раз не отстал ты, так обогнал всех без
права вернуться. Время тебе стеной...
Ты б сквозь неё прошёл, но уже исчез.

* * *

Оборвана строка стихотворения
и пауза за нею, как лассо,
длинней, чем жизнь, но ближе, чем Каренина,
застывшая меж рельсов и рессор
скупого дня, где в точь по расписанию
идут дела, минуты и дожди.
Там, подчиняясь прихоти Дизайнера,
прошли мы от любви и до вражды.
Благодарю. Что сшито, стало порвано.
Застыло циферблата шапито:

жонглёры, акробаты, тигры, клоуны —
всё сжалось вдруг в обойное пятно.
И, погружаясь в эту тьму обойную,
как в паз обоймы смазанный патрон,
я битый час себе твержу: не больно мне.
Лишь пустота теснит со всех сторон.
В ней места нет для плача Богородицы
под рявканье расстрельное команд.
И медленно, тягуче долго взводятся
курки секунд в похеренный роман.

* * *

Когда часы длиннее дня,
а мысли слов короче,
и все будильники звонят
тебе «спокойной ночи»;

когда гранит устал ты грызть,
раз серость выше радуг,
где глупость, зависть и корысть
насильничают правду;

когда по рёбра в полынью
завяз на пару с бесом,

иль ищешь истину в вине,
а стыд отправил лесом;

когда горят твои мосты
над ледяною бездной,
а друг шепнул тебе «остынь»,
и ты ему не съездил...

Тогда сверяй часы, ножи
в диапазоне меццо-сопрано.
Верь, твой путь лежит
до остановки «Сердце».

ТАТЬЯНА ЛЕШКЕВИЧ

Иркутск

Старые письма

Письма в нижнем ящике стола. Давняя история. И всё же... Я тогда совсем другой была. Нет, не лучше, чем теперь. Моложе.	Где ты, что ты? Столько лет прошло! Изменился? Или не особо? Время между нами намело Непреодолимые сугробы.
Мчатся годы, не щадя ни дня, И всё старше штемпели и марки. Были эти письма для меня Как судьбы заветные подарки.	Стала география для нас Вовсе не единственной преградой. Злые шутки, взгляд недобрых глаз... Люди, люди... Что вам было надо?
Сколько здесь замешано страстей! Та ещё «шекспировская» драма. Друг от друга ждали мы вестей И желали редких встреч упрямо.	Стрелки жизнь давно перевела, Но о письмах я не позабыла. Я тогда счастливая была — Я любила.

Той, что любила цветы

Памяти моей мамы

Передрягам всем наперекор, Чуть не весь засаженный цветами, Наш уютный, милый старый двор, Как сейчас, стоит перед глазами.	Яркие, без всяческих прикрас, Осенью всю бушуют астры. Красоте цветочной не указ Никакие строгие кадастры.
Мальвы, колокольчики, жарки, Марьины коренья и космеи, Пламенных настурций лепестки И ромашек выгнутые шеи.	Хмель, сплетённый, словно кружева, Мамины любимцы-георгины И дельфиниума синева — Кажется, красивей нет картины.
В цветнике, что прямо у крыльца, — Ноготки для маминой аптечки И ещё «разбитые сердца» — Розовые мелкие сердечки.	Невозможно уложить в слова Буйство красок и богатство цвета... Мамы нет. Душа её жива И цветы выращивает где-то.

* * *

Фонарной лампы жёлтый ореол
Бросает свет в безмолвное пространство.
Забор и старый яблоневый ствол —
Немые атрибуты постоянства
За вечно не зашторенным окном,
Тревожащим полуночных прохожих...
Где грань между бессонницей и сном,
Меж сном и явью — где она быть может?

Прощание с осенью

Солнце, подобно кольцу,	Нет, что душа говорит,
Катится из-за туч.	Не передать на словах.
Мельком скользнул по лицу	Стылый прибой шумит,
Его рассеянный луч.	Слёзы сверкнули в глазах —

Снова холодом дышит	Трудно сказать, почему:
Ноябрь — поздняя осень.	От боли, тоски, разлуки...
Ветер деревья колышет,	Всё сводится к одному —
Мимо снежинки проносит.	Ко мне протянула руки

Голые ветви берёз	Осень, идущая вдаль,
Переплелись в хороводе.	Словно прощения просит,
Тихо ступая, мороз	Серую поднимая вуаль.
Жгучую песню заводит.	Осень уходит, осень...

* * *

Осень шагнула уверенной поступью в город,
Запорошила, засыпала листьями низкие крыши,
Каплей дождя угодила кому-то за ворот,
Новый сезон открыла, расклеив на тумбах афиши.

Вновь под окном неустанно скрежещет метла:
Дворник с утра ходит с нею наизготовку.
На «легковушке», в углу лобового стекла,
Лист прилепился, как штраф за плохую парковку.

Луж избегая, с опаской иду по проулку —
Разом промокнув, отстали подошвы у туфель —
И в обувной мастерской завершаю прогулку.
— Экий, однако, мадам, вы носите фуфель! —

Мне говорит сапожник, имея в виду «фуфло»,
То, от которого ломаются наши прилавки.
Там ведь и вправду одно только лишь барахло,
Но зато нет нигде ни очереди, ни давки.

Парк попритих. Колесо обозрения сдали в утиль.
И кроме пасмурных сумерек нет никого на аллеях.
Чуть в стороне — монумент: героический стиль,
На постаменте — фигуры в кожанках и португелях.

Скоро стемнеет. Старинных церквей купола
Взмыли навстречу вечернему серому небу.
Тёплый октябрь. Зима бы такой же была,
Резвой и взбалмошной, осени на потребу.

ЕЛЕНА КИРИЛЛОВА

Иркутск

Отгремели, затихли бои

Отгремели, затихли бои, Отпылали, погасли зарницы. Только память у сердца стоит, Только строчки на жёлтых страницах.	Но солдаты стояли стеной, Защищая родные просторы. Защищая всех вдов и сирот, Защищая берёзки в распадке, Города, что построил народ, И подсолнух у деда на грядке.
В этих строчках — бои день за днём. В этих строчках — мы вновь молодые На колонну из танков идём, Прикрывая собою Россию.	Мы прошли сквозь бушующий смерч Из огня и свинца до рейхстага. Мы сумели Россию сберечь — Нам всегда помогала отвага.
Из снарядов лил дождь проливной, Смерть легла на долины и горы,	

Командир

Забор, ограждение, лай сытых собак
И пьяные крики немецких вояк.

Концлагерь для пленных. Неравным был бой,
Но надо нам выжить, товарищ, с тобой!

В бреду командир, он всю ночь напролёт
В атаку бойцов непогибших зовёт...

О, только б патруль не услышал его...
— Подайте воды! Больше нет ничего...

Очнулся к утру, хоть и не было сил,
Блеснули глаза, он гранату просил...

Поник головой и затих на века...
Как наша потеря была велика!

Мальчишкам 40-х посвящается

В деревне опустели хаты: Мужчины призваны на фронт. Мы думали, войны не хватит На наш мальчишеский народ.	Нас матери благословляли — У всех приписаны года... Войну мы смутно представляли, Мы были молоды тогда.
Но время шло, мы подрастали. И вот прощались мы, юнцы. На нас смотрели, будто ждали, В боях погибшие отцы.	Но после первого сраженья Добыли мужества в душе. Увидев смерть и разрушенья, Мы стали взрослыми уже.

Прошли круги большого ада
И побывали в чёрной мгле.
С боями шли от Сталинграда
По мёртвой выжженной земле.

В Европе — страшная картина:
В дыму — Варшава, Бухарест...

Война дошла до стен Берлина
И получила смертный крест.

Тогда мы были все в ответе,
Чтоб снова мирным стал рассвет.

И мы мечтали, чтобы дети
Не знали горестей и бед.

Цыганка

Цветастые юбки, осанка,
И сыплется дробь каблук:
Поёт и танцует цыганка
Пред публикой у кабака.
Пусть девушка скромно одета,
Но очи блестят, и опять
Ей в чашку кидают монеты,
Кто — рубль, кто — копейку, кто — пять.
Лишь юноша в модном жилете
Не может никак подойти.
Цыганка, закончив куплеты,
Сказала ему: «Уходи.

Не будет нам счастья с тобою,
Цыгане не любят чужих».
Но парень тряхнул головою:
«Любовь выбирает двоих».
«Ты, барин, не сможешь на воле,
А я не смогу под замком,
Без звёздно-бескрайнего поля,
Без танцев, согретых костром.
Расстанемся, барин, друзьями.
Я знаю, разлука горька.
Не строй ты мосты между нами —
Уж слишком бурлива река».

ТАТЬЯНА СТРЕЛЬНИКОВА-БЕЛЯВСКАЯ

Ангарск

Таёжный чай

Таёжный чай необычайно вкусен!
Не повторю такого вкуса дома —
В тайге чай с приправой ягод-бусин
И ароматных трав с костром знакомы.
Огонь, дымок — волшебники лесные —
Своё искусство берегут в секрете.
...Но что за ароматы, столь родные,
Летят из кухни на глухом рассвете,
Когда ещё, как в детстве, сладко спится
И дождь баюкает, не будят птицы,
Но будит запах нежной голубицы,
Смороды пряной, чабреца, душицы?

Ах, да! Мне подарило бабье лето
Попутчика, поклонника Байкала,
Чтоб от ненастия в пути до Леты
Таёжным чаем нас оберегал он.

Призрачные кони

Вы откуда, гривастые кони?
Вас каким лешаком занесло
В парк, где сосны морозные стонут,
Словно лодки живое весло?

Но я с детства не верю примете:
«Лошадь в яблоках встретишь в пути —
Неприменно с тобой по планете
Долго будет удача идти».

Тёплый запах ваш снова находит
Потаённую память во мне,
И знобит, и во времени водит,
Как бывает в предутреннем сне;

Без ответа, как будто привычно
Разлетаются тени коней...
Сосны снова вздыхают обычно.
Отчего мне дышать всё трудней?

Истончая реальности стены,
«Но, холеры!» — доносит! И храп...
И седые гривастые тени
Наряжаются в яблочный крап.

Ах, зачем к бабьей осени ближе
Вы так странно догнали меня?
Неужели сказать, что увижу
Ясный свет в нищих сумерках дня...

Лоскутная Россия

*Моим дедушке, бабушке, их большой крестьянской семье,
совсем небогатой и... раскулаченной в 1933 году*

В старинном бабушкином крепком шифоньере
С резьбой на дверцах из особенной фанеры,
Что мягко открывались, но с плачевным стоном,
Любила прятаться в углу укромном, тёмном,
Когда малые с сёстрами-кузинами
Мы вечерами бесконечно-зимними,
Чтоб деду не мешать, играли тихо в прятки.

А в ящиках его объёмных и тяжёлых
Лежало множество бордовых, серых, жёлтых
Сатиновых обрезков в стопках-«одноцветках».
Но больше лоскуты, что с птицами на ветках,
С ромашками в лугах, с цветными мальвами.
Подолгу разбирать не уставали мы —
В них лето видели, а не для кукол тряпки.

Над ними «колдовали» бабушка и мама —
Полоски дивные сшивали и часами
То песни пели, то частушки затевали.
И, словно в сказке, появлялось покрывало —
Весёлое, большое, очень крепкое.
О память, память, въедливая, цепкая...
Совсем на детские, казалось бы, «заплатки».

Лоскутной вдруг увидела я и Россию —
Для недругов загадкой русской, непосильной.
Какой порвётся лоскуток, его латаем,
Иль новый, более надёжный, крепкий ставим.
...Из Тугуши* в Читу пришли голодные
Крестьяне-предки, как враги народные...
Позор и славу знали... Дней не знали сладких,
С бедой России не играли в прятки.

*Тугуши — деревня в Красноярском крае.

* * *

Снились голубые города,	До неё дотронуться рукой
Строились дома, дворцы, заводы...	Оставался жест — всего вполсилы...
Канули за что и в никуда	Только пьёт народ за упокой
На мечту потраченные годы?!	Счастья своего... Эх, ма, Россия!

НАДЕЖДА КАЛИНИЧЕНКО

Усть-Кут

* * *

Как осень прекрасна!	Как осень чудесна!
Как воздух опасен,	Во всём поднебесье
Напитанный мёдом опавшей листвы!	Дыхание жизни нежнее, чем сон.
Нет слаще соблазна.	И кротко-прелестна
День звонок и ясен,	Печальная песня,
И полон сиянья хрустальной травы.	Которую с небом пою в унисон.

Дед

Мой дед вернулся с той войны.	Но не смотреть он их не мог!
Принёс награды и раненья,	Глаза в экран впивались, в титры,
И памяти стальные звенья...	И он взрывал глазами «тигры»,
С тех пор он не любил весны.	Как будто нажимал курок...
Не потому, что был не рад	А позже, ночью, он кричал
Живой весне и Дню Победы,	Со стоном — глоткой пересошей,
В нём снова обнажались беды	И полз контуженный, оглохший...
И оживал простой солдат.	Дед умирал... и оживал...
Дед вспоминал военный май,	И просыпался... В темноте
Вокруг звучали поздравленья,	Крутил сигарки из газеты
А память скованные звенья	И, сгорбившись, встречал рассветы,
Рвала и лилась через край.	С душой, распятой на кресте.
По всем экранам о войне	Мой дед вернулся с той войны,
Опять показывали фильмы,	Пройдя у смертушки по краю.
И снова сердце билось сильно,	Он жизнь любил. Но я-то знаю,
И было тяжело вдвойне.	Как дед мой не любил весны.

Лунный водопад

Ей было так странно, томительно, душно...
А сердце внимало чему-то послушно.
Вот только чему? Было Ей невдомёк,
Да, видно, настал предназначенный срок.

Как знать, что должно непременно случиться?
Вот ветер чуть слышно в окошко стучится.
Вот дверь отворилась и шепчет: «Иди...»
И эхо поёт, или вторит: «Найди!..»

Безликая ночь настороженно дышит.
И ждёт чёрный кот, притаившись на крыше.
Бесстрашно ступает Она за порог,
Ей путь указывает незримый Сварог.

Кто знает, что есть далеко или близко?
Тропа — это травы, что стелются низко.
И каждая тропка куда-то ведёт
Того, кто её в час урочный найдёт.

Опушка лесная тропу поглотила —
На силу любую находится сила...
Не видя дороги, застыла Она,
Во тьме совершенной, как прежде, одна...

Луна безмятежная яблоком спелым
Вкатилась на небо. Сиянием белым
Заботливо, нежно окутала лес —
Лешак замурлыкал, зажмурился бес.

Могучие кедры вздохнули блаженно —
Для них полнолунное время священно.
А свет — отражение лунной души —
Низвергся потоком с небесных вершин!

В безмолвие мир опрокинулся навзничь,
Как в сече погибельной падает княжич...
Средь кедров мелькнула бесшумная тень —
К потоку идёт белорогий олень.

Склонив горделивую голову к свету,
Он — пьёт, словно воду, текущую в Лету.
А рядом волчица, которой нет лет,
Лакает струящийся северный свет.

Бесшумно скользнуло змеиное тело,
Исчезло в потоке сияюще-белом.
Взлетел мотылёк, опоённый Луной,
Чужой обречённый томиться виной.

Она подошла. Оглянулась волчица —
Из глаз лунный свет тонкой струйкой сочится.
Олень белорогий беззвучно вздохнул,
В траве мотылёк беспробудно уснул.

Склонилась к потоку — ни дна, ни течения,
Нет в свете просвета и нет отраженья.
Глотками пила Она Вечности тлен,
Луне отдаваясь безропотно в плен.

Греховный сон

Невозможно, просто невозможно...
Лишь глаза закрою — снова ты.
В мои сны пробравшись осторожно,
Будишь сумасбродные мечты.

Невозможно сладко я целую
Губы, те, что вьвявь не целовать.

Твою нежность гроздьями краду я,
Ту, что наяву не испытать.

Утром эта пытка прекратится,
Но другая боль придёт, хоть плачь.
Буду ночи ждать. Авось, приснится
Мой с руками жадными палач.

* * *

Зима прекрасна! Она искрится,
Она сверкает огнём холодным!
Ах, как же просто в неё влюбиться!
Летят снежинки — они свободны,

Свободен ветер, что их разносит
И круговертит в блестящем танце.
Вздыхает небо и снова просит
Его занежить в лиловом глянце.

И белый воздух хрустит на вдохе,
На выдох — бьётся с зеркальным звоном.
Осколки — песни морозной крохи —
Летят, врезаясь в сугроб с разгона.

И в каждом — солнца лучи сияют!
Теряя холод и белоснежность,
Вселенной строгой зима являет
Замёрзших песен святую нежность.

ПАТВАКАН ВАРДЗАРЯН

Армения

Наши мальчишки

(Реквием)

Мои года — года суровые,
От них не стало мне теплей.
Стою недвижно и взволнованно
Я у иркутских тополей.

Давным-давно мальчишки-школьники,
С пушком на лицах молодых,
Несуетливые, спокойные,
Перед войной сажали их.

И рядом девушки старательно
Их поливали из ковша.
Светило солнце, и внимательно
Смотрела русская душа,

Как вдалеке судьба жестокая
Уже ломала деревца,

А здесь девчонка светлоокая
Сияньем грела их сердца.

Мальчишка шёл родной сторонкою,
Потом он пел. Закат дремал.
Под тополем гитару звонкую
Он, как девчонку, обнимал.

Уже недолго длиться вечеру,
Терзая гитарную струну,
Замолкнут скоро птицы певчие,
Уйдут мальчишки на войну.

Они вдали сверкнут погонами,
Развернется двадцатый век.
Уйдут мальчишки. Им на головы
С небес посыплет чёрный снег.

Перевёл с армянского Владимир Скиф



«Он не умер, он ушёл в зари»

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПИСАТЕЛЯ ГЕННАДИЯ ПАВЛОВИЧА МИХАСЕНКО

16 февраля 2016 года писателю Геннадию Павловичу Михасенко исполнилось бы 80 лет. К огромному сожалению, жизнь его земная оказалась гораздо короче — скончался он 4 июня 1994 года, прожив всего 58 лет. Но в Братске, которому он отдал и посвятил всю свою взрослую сознательную жизнь, где его литературная стезя обрела всесоюзную известность, писатель и сейчас живёт в памяти братчан, и является эталоном литературного творчества. Проводимые порталом «Имена Братска» опросы показывают, что и в наши дни жители ставят имя писателя в число самых популярных людей города. Да и не будем ограничивать известность Геннадия Михасенко рамками Братска — этот город просто стал питательной средой его творчества, его рабочим кабинетом. А его творчество известно всей стране и за рубежом.

Мне выпало счастье более двадцати лет быть в приятельских отношениях с Геннадием Павловичем. Мы часто встречались на разных городских мероприятиях, но больше в узком кругу друзей и близких, в его уютном писательском кабинетике (обычной жилой комнате) в доме на улице Наймушина, в жилом районе Энергетик города Братска. Осталось много воспоминаний от наших встреч, характеризующих, по моему мнению, Геннадия Михасенко, в первую очередь, как человека простого, незаметного, но с высокой внутренней чистотой и культурой, незаурядного, с незамутнённым взглядом на жизнь и подкупающей интеллигентностью и открытостью. Я часто достаю с книжной полки книги с его автографами, дружескими и лаконичными, и в памяти воскресает наше прошлое, дружеские застолья и беседы, и на душе становится тепло. Вот, к примеру, на книге «Милый Эп» надпись: «Васе Скроботу! Бойцу одного фронта. С радостью». Подпись. 12.04.75. г. Братск

Книга «Гладиатор дед Сергей» подписана моей дочерью: «Веронике — маленькой от деду Гены — большого!» Подпись. 12. 05. 83.

Приятные для меня слова на книге повестей: «Василию Скроботу! Великому генератору хороших идей». Подпись и дата.

Когда в Братске в 1973 году было организовано литературное объединение «Истоки», я позвонил Геннадию Павловичу. Встретились у него дома, я поделился своими соображениями. Мы долго разговаривали, по-домашнему за чаем, и с этого дня он стал добрым и мудрым наставником для творческой молодёжи Братска, участвовал в обсуждениях, в подготовке литературных публикаций, в выступлениях на телевидении и по радио. По сути, Геннадий Павлович стал, и все годы был, постоянным членом нашего творческого коллектива.

Участие Геннадия Михасенко в литобъединении для начинающих поэтов и прозаиков Братска стало школой их творческого становления. Он своими советами помог многим сделать первые творческие шаги и в будущем стать профессиональными литераторами, а Братское литобъединение тогда стало широко известно не только в Иркутской области. Подборки стихов братчан появились в коллективных сборниках областной писательской организации и Москвы. При его непосредственном участии в качестве одного из авторов, и как составителя, в Восточно-Сибирском книжном издательстве в 1982 году была издана книга под названием «Мы — братчане», которая открывалась словами: «Книга для чтения о делах и людях Братска, написанная самими братчанами». А в 1994 году Иркутским книжным издательством «Символ» был издан сборник стихов братчан «И пальцы про-

сятся к перу...». Одним из авторов этой книги, а также составителем и редактором был Г.П. Михасенко. Мало кто знает, что первым литературным опытом Геннадия Михасенко был тоненький тридцатистраничный сборник стихов для детей «Фантазёр», хотя, на моей памяти, он его нигде официально не афишировал. Но стихи в его творчестве всю жизнь занимали совсем не последнее место.

В начале книги «И пальцы просятся к перу...» во вступительном слове «От составителя и редактора» Геннадий Павлович пишет: «Идея этой книги родилась в недрах нашего литературного процесса. Возрастного ценза для авторов, естественно, не устанавливалось, приглашались все: от школьников до ветеранов войны и труда. Критерий был один — поэзия! Кто в той или иной мере блеснул оригинальной мыслью, новым образом, неожиданным поворотом темы, смелой пейзажной зарисовкой, тот и попал в книгу. Сборник рассчитан на простого, не искушённого в поэзии читателя, и поэтому главным требованием к стихам была ясность и внятность языка. Смута жизни и смута в душе поэта не означает смутности письма, ибо всякую сложность всегда можно изложить с достаточной простотой».

Думаю, редко кто из читателей знаком со стихами Геннадия Михасенко, поэтому позволю процитировать несколько строк из его подборки в этом сборнике:

*Быть после Пушкина поэтом —
Чушь! Скажут мне наверняка.
И пальцем шевельнут при этом
У ожиревшего виска.
Но вместо робости угрюмой
Огонь пролетел по волосам!
Да если б Лермонтов так думал,
То кто бы «Парус» написал?*

И ещё одно, отражающее его философское мышление:

*Бывают встречи иногда,
Когда я обращаюсь к Богу:
— Скости, скости мои года!
Скости года хотя б немного!
Бывает и наоборот,
Когда молю я Провиденье:
— Накинь мне, Бог, хотя бы год —
Для мудрости и вдохновенья!
И в этом перепаде грёз
Проходит жизнь дымком летучим,
Без Бога, то с наплывам слёз,
То с сухостью в глазах колючих!*

Хочу сказать, что вместе с Михасенко нам помогал советами и самобытный писатель Иннокентий Захарович Черемных. А среди учеников были Владимир Корнилов, Анатолий Лисица, Юрий Розовский, Владимир Монахов и другие поэты и прозаики Братска. В этой плеяде особо выделялся уже тогда широко известный поэт Юрий Черных. Можно сказать, что благодаря участию Геннадия Павловича творческая литературная жизнь в Братске была на высоте. Кроме участия в литобъединении, он организовал и вёл на Братском телевидении телепередачу для детей «Золотой ключик», которая пользовалась огромным интересом у братчан, и не только детского возраста, но и у взрослых.

Геннадий Михасенко после окончания в Новосибирске института начинал работу в Братске инженером-конструктором на комбинате «Братскжелезобетон», но увлечение литературой взяло верх. «Трудно стало совмещать два увлечения, да фактически две профессии, — рассказывал он, — инженера и писателя, настало время выбирать что-то одно». И он поменял место работы — стал сторожем. И это был знаменитый в Братске сторож —

автор широко известных книг, член Союза писателей СССР, владеющий несколькими иностранными языками, высокоэрудированный и совсем не отвечающий житейским нормам обычного, в понимании людей, человека такой профессии. Особо хочу отметить, что он не только не чурался своей работы, а наоборот, когда кто-нибудь после знакомства спрашивал о том, кем он работает, он с гордостью отвечал: «Сторожем». Именно сторожем, а не писателем, хотя в те годы профессия «писатель» была официальной профессией, редкой и престижной. Но «сторож», тем более, «сторож» в знаменитом юношеском военно-морском лагере «Варяг», в устах Геннадия Павловича звучало вроде как «академик». К тому же он ещё совмещал эту, может быть, самую прозаическую работу с выполнением функции «комиссара» этого широко известного учреждения.

Полностью посвятив себя литературе, Геннадий Михасенко для совершенствования своего литературного образования, да и тяготев к постоянной учёбе, постижению новых знаний, поступил и окончил Высшие литературные курсы при Литинституте имени А.М. Горького.

Встречи на его знаменитой даче, а это был маленький домик примерно в пятнадцать метров квадратных, построенный лично его руками и по его замыслу, как «домик на курьих ножках» из сказки, всегда превращались не просто во встречу товарищей, а в какой-то сказочный скоморошеский сбор легкомысленных взрослых дядей (я не помню, чтобы на таких встречах были женщины), с байками, хохотом и стихами. Этот «домик на курьих ножках» знали все дачники Зябы (это местность на берегу Братского водохранилища сразу за плотиной Братской ГЭС, где тысячи братчан, работая и отдыхая, проводили выходные дни). А его так называемую «дачу» называли просто «домик на курьих ножках Михасенко».

Я всегда удивлялся искренней доброте и скромности писателя, его житейской непосредственности и маленьким хитростям, да даже не хитростям, а мудрым находкам. Так, в его квартире всегда можно было видеть на стенах, на холодильнике, на столах, шкафах маленькие листки бумаги, не только обычной для писания и печатания, но и от использованных почтовых конвертов, конфетных обёрток, салфеток, с какими-то фразами, причём на разных языках (так он изучал иностранные языки). Также Геннадий Павлович фиксировал удачные слова, мысли и фразы своих новых рассказов и повестей. И из этих листков рождались, а потом становились широко известными повести «Кандаурские мальчишки» (это его первая изданная в Новосибирске повесть), «Милый Эп», «Неугомонные бездельники», «Пятая четверть», «В союзе с Аристотелем», «Я дружу с бабой Ягой» и другие повести, рассказы, пьесы и сказки. По мотивам повести «Милый Эп» был снят художественный фильм.

Особая атмосфера была в «домике на курьих ножках». Летом всегда на кусках фанеры или досках сушились аккуратно нарезанные кусочки хлеба, оставшиеся после еды. «Выбрасывать хлеб — великий грех, — говорил Геннадий Павлович. — Птичек тоже надо кормить».

В 1975 году в посёлке Звёздном на БАМе первостроители, чтобы сохранить память о первых шагах этой грандиозной стройки, о первопроходцах, в только что первой построенной школе собрали фотоматериалы, записи, какие-то вещи и инструменты и пригласили на открытие первого на БАМе музея Геннадия Михасенко и меня из Братска. Зима, мороз под сорок. До Усть-Кута добирались на поезде, дальше — по зимнику на уазике в посёлок Звёздный. Морозный туман, сотни хвостов улывающего в небо дыма над свежесрубленными домами и времянками на склоне сопки на берегу речки Ния заворожили нас, и я видел, как Геннадий Павлович притих и как будто не находил слов от изумления и восторга. Это была сказочная красота, и мы впитывали в себя эту явь. На открытие музея собрались, наверно, все жители посёлка, и мы, осмотрев экспонаты музея, делились с ними своими впечатлениями, отвечали на вопросы. Геннадий Павлович был в ударе и весь запас своих восторженных слов (я его таким видел не особенно часто) он выплеснул на собравшихся, покоров всех своей эрудицией и в то же время простотой и скромностью. Он сразу стал своим, стал одним из строителей, и это все сразу почувствовали и приняли

его в свою семью. Не просто было уехать, но нас ждала машина, и эта поездка, встреча, музей сопровождали нас всегда, оставались в нашей памяти. А для меня она послужила ещё одним счастливым случаем общения с писателем в довольно необычной обстановке, открыла новые грани его характера, стала хорошим уроком и примером. В память об этой поездке на книге «Неугомонные бездельники» автор оставил мне такой автограф: «Васе Скроботу! В память путешествия по БАМу». И подпись.

В конце восьмидесятых годов, участвуя в областной конференции «Молодость, творчество, современность», мы договорились с членами литобъединения Усть-Илимска (тогда Усть-Илимск представляли Лев Аврясов, Михаил Рябиков, Владимир Пламеневский и другие молодые авторы) хотя бы изредка обмениваться визитами, проводить совместные обсуждения стихов, выступать в библиотеках и клубах. И вот мы созвонились и договорились о том, что мы, братчане, приедем. Руководство Братского завода отопительного оборудования (директор Пётр Николаевич Самусенко и его заместитель Виктор Соломонович Сербский были известными почитателями литературы) обеспечили нас транспортом. Я позвонил Геннадию Павловичу — ну как же без него?! Он с радостью согласился, задав только один вопрос: «Когда выезжаем?» — «Завтра утром». — «Жду».

Коллектив подобрался дружный и весёлый. Кроме меня и Михасенко — Володя Корнилов, Толя Лисица, Саша Хрульков, Юра Черных, и поездка, с подспорьем стихов, анекдотов и, конечно, подкреплённых парой бутылочек водочки, пролетела незаметно и стала полезной для всех. Это был настоящий литературный праздник, на котором Геннадий Павлович был не только искусным тамадой, но и литературным корифеем. Но мне в этой поездке на всю жизнь запомнилась его житейская простота и мудрость в обычных условиях жизни. Так, устроившись по приезду в Усть-Илимск с проживанием, мы с ним решили пройтись по городу, посмотреть, как говорится, жизнь своих соседей. Как-то так получилось, что пошли мы двое — кто-то решил пойти к знакомым, кто-то отдохнуть. Идём по улице, впереди — магазин. Зайдем? — Зайдём. Смотрим по витринам, прилавкам. Видим, на полке стоит растворимый кофе, а тогда это был дефицит. Переглянулись, поняли без слов, что надо купить. Но я ему говорю:

— Завтра купим, чего таскаться с ним!

Геннадий Павлович наклонился к моему уху и прошептал:

— Ты чего? Надо сразу покупать, завтра не будет.

Купили мы по паре банок этого напитка и с сеточками в руках пошли на экскурсию дальше. На следующий день мы зашли снова в этот магазин с целью пополнения дефицитного напитка. И что? А ничего — кофе не было! Михасенко хитро посмотрел на меня и сказал поучительную фразу, смыслу которой я следую всегда: «Никогда не откладывай, покупай сразу, завтра не будет».

Его разностороннюю одарённость я наблюдал всегда. К примеру, в Братск в те годы постоянно приезжали группы иностранных туристов и деловых людей, и Михасенко часто приглашали для участия в экскурсиях и встречах. И он очень быстро становился среди них своим, тем более, что владел языками. Когда приезжали разные правительственные чиновники или делегации партийных или советских органов, Геннадий Михасенко общался с ними на равных. Но, по-моему, самое комфортное состояние было у него тогда, когда он находился среди простых людей. Это была его среда, и здесь он чувствовал себя как рыба в воде.

У писателя было и осталось много друзей, и не только в Братске, а, что касается знакомых, то им, конечно, нет числа, и я среди тех, кого знал, не встречал ни одного недоброжелателя — все к нему относились с уважением. Он был и остаётся примером порядочности и честности. И это потому, что и он сам относился к людям с почтением и вниманием, независимо от занимаемых должностей и статусного положения. В «Эскизах к портрету» Геннадий Павлович пишет об одном из своих друзей: «Крупные люди, целиком отдающие себя делу, не умирают, а погибают, по крайней мере, у нас, в Братске, где, например, для того чтобы провести планёрку на подчиненном предприятии, руководителю нужно лететь на самолёте или вертолёте или мчаться на машине 250 километров, как минимум, раз в

неделю. Так погибли Наймушин, Янин, Кузьмичёв, Перк и многие другие ниже рангом, это жертвы технического прогресса, которому они служили верой и правдой. К ним относится и тот, о ком пойдет речь, — Игорь Авштолис. Он погиб не в дороге, а дома после напряжённого трудового дня от инфаркта, вторичного. А разве разрыв сердца в тридцать пять лет, на половине жизненного пути, в расцвете творческих сил, это не дорожная катастрофа?..»

Так он начинает записи о своём друге, но я бы эти его рассуждения отнёс и к жизни самого писателя, который буквально сгорел за своим рабочим столом, погружённый в бездну творческого водоворота. И тоже в расцвете сил, в подготовке к новым темам, на бегу. И тоже от вторичного, но — инсульта. Разве это не дорожная катастрофа?

Братчане хранят память о Геннадии Павловиче Михасенко. К 70-летию со дня рождения ему посмертно присвоено звание «Почётный гражданин города Братска». В 1998 году имя писателя присвоено библиотеке-филиалу №1 города Братска, где в 2011 году был открыт музей Геннадия Павловича. Кстати, на открытие музея и к юбилейным датам в Братск всегда приезжает из Новосибирска вдова писателя Галина Васильевна. А братский писатель Анатолий Казаков по доброй воле, и стараясь сохранить память о своём талантливом земляке, ведёт в Братске активную работу по пропаганде творчества писателя в школах, библиотеках и клубах и бескорыстно самостоятельно взял на себя святую обязанность — поддерживать порядок и ухаживать за последним местом упокоения — могилой писателя.

Братская поэтесса Женни Ковалёва в день смерти писателя написала: «Он не умер, он ушёл в зарию», и эти слова выбиты на могильном камне, выполненном в форме раскрытой книги с изображением Геннадия Михасенко.

Думаю, что эта строка — реальная действительность.

*Василий СКРОБОТ,
член Союза писателей России*

Чтоб «родная земля не скудела»



Писатели Крыма — проза и поэзия

ВЯЧЕСЛАВ КИЛЕСА

СИМФЕРОПОЛЬ



Девушка

Тот день торопился закончить собой август, и было в нём, кроме летней теплоты солнца, чуткое ожидание осени, когда от трепета ветерка листья на деревьях приподнимаются и смотрят по сторонам, словно отыскивая укрытие от спешащих где-то вдалеке ноябрьских холодов, — и вновь поникают, провисая к земле — неизбежной своей обители. Старенький автобус, наполненный сквозняками из открытых окон и следами пребывания многочисленных пассажиров, позаботившихся увековечить свои имена на когда-то белой, а сейчас начинающей желтеть краске металлических стен, хрипел, взбираясь на очередной подъём дороги, и его становилось жалко, как старика, живущего на последнем этаже многоэтажного дома без лифта. Кроме меня и Ольги Ивановны, в салоне сидело ещё пять человек, по каким-то своим причинам ехавших из города в село, а, может быть, просто возвращавшихся домой, к глинобитным и каменным домам под красной черепицей и сероватым шифером, ограждающим стенами от постороннего любопытства зеленеющие сады и чернеющие ямками от выкопанного картофеля огороды.

КИЛЕСА Вячеслав, член Национального Союза писателей Украины, Союза писателей России, Международного Союза писателей СНГ, Союза писателей Республики Крым. Публиковался в журналах «Наш современник» (Москва), «Радуга» (г. Киев), «Алые паруса», «Фанданго», «Черное море», «Ковчег-Крым», «Литературный детский мир», «Крымсуша», многочисленных газетах, литературных сборниках. Автор книг: *«Сказки бабушки Даши»*, *«Калейдоскоп»*, *«Хроника одной семьи»*, *«Провинциальные рассказы»*, *«Наша вся жизнь»* (под псевдонимом «Вячеслав Сергеев»), *«Весенний снег»*, *«Провинциальные рассказы»*, *«Истории, рассказанные вчера»*, *«Лестница любви»*, *«Оглянуться, остановиться»*, *«Сид»*, *«Детективное агентство «Аргус»*, *«Юлька в стране Витасофии»*.

Я сидел на переднем сиденье, том самом, где табличка с надписью разрешала располагаться исключительно инвалидам и пассажирам с детьми, и чувствовал себя неловко, занимая это место в силу своего двадцатилетнего возраста и несомненного здоровья явно не по праву, и только настойчивость Ольги Ивановны и пустота большинства автобусных мест заставили меня опуститься на это широкое, удобное для моих длинных ног, сиденье, развернутое к салону лицом, что затрудняло созерцание проплывающего мимо пейзажа, зато позволяло изучать пассажиров, чей облик, впрочем, не страдал избытком оригинальности, — и это заинтриговывало меня, наталкивая на мысль, что бесцветность лиц — маска, скрывающая глубину их душевных переживаний. Последнюю неделю я перечитывал Экзюпери, выписывая в тетрадку его афоризмы и был охвачен романтической идеей о неисчерпаемости духовного содержания каждого человека: нужно лишь в него всмотреться, что я и делал всё свободное от хозяйственных дел и размышлений время.

Внезапно автобус начал замедлять движение. Приподнявшись, я посмотрел вперёд, желая узнать о причине, заставившей водителя нажать на тормоз, — и увидел девушку. Она стояла на обочине, слегка приподняв руку, и солнце, освещая её стройную фигуру в короткой, выше колен, чёрной юбке и белой блузке, придавало ей нездешний вид, заставляя думать об инопланетянке, спустившейся по солнечному лучу на пыльную землю. Она стояла, не сомневаясь, что, приподняв руку, остановит рейсовый автобус, заставив водителя нарушить распорядок движения, запрещающего остановку в неположенных местах: так королева привычно применяет власть к своим трепещущим, радующимся подчиниться слугам.

Автобус замер; лязгнув, открылась дверца. Пассажиры приподняли головы, наблюдая, как девушка, легко взойдя по ступенькам, поздоровалась, поблагодарила водителя, одновременно положив в его раскрытую руку какую-то мелочь и уверенно переставляя стройные загорелые ноги в белых босоножках, направилась в заднюю часть салона. Захлопнулись дверцы; автобус дернулся, набирая скорость. Покачнувшись от толчка, девушка быстро миновала последнее сиденье и остановилась, схватившись рукой за поручень; окончательно устроившись, окинула внимательным взглядом сидевших к ней спиной пассажиров и с удивлением натолкнулась на моё взволнованное, не сводящее с неё глаз, лицо.

О любви я начал мечтать в седьмом классе, когда классный руководитель представила нам на одном из уроков новую ученицу по имени Надя, и я моментально в неё влюбился, хотя она не узнала об этом ни тогда, ни позже, потому что это была тайна, которую я скрывал от всех, в том числе и от неё, тем более что через год Надя уехала в другой город — её отец служил военным, и его перевели в другую часть. В девятом классе на школьном новогоднем вечере я рискнул пригласить на танец десятиклассницу Таню, жившую на одной улице со мной и тревожившую сердца многих мальчишек, — и был удивлен, когда понял, что Таня обрадовалась этому приглашению, а также тому, что я танцевал с ней все танцы подряд, объясняя подходившим кавалерам, что им пора обратить внимание на тоскующих у стен красавиц. Шутками и смешными историями я веселил Таню до упаду. Наше хорошее настроение не нарушило даже сообщение моего друга Вовки, что после бала меня собираются бить, и очень серьёзно, — мы просто сбежали, воспользовавшись открытым окном пустого класса, а потом долго стояли у Таниной калитки. Блаженство длилось полгода, заполненное мечтами, «гляделками» на школьных переменах, почти ежедневным приходом Тани ко мне домой в гости, где она решала мои задачи по математике, слушала мою декламацию стихов и никак не могла понять, почему я не решаюсь её поцеловать, не догадываясь, что я не знал, как это делается. И когда однажды Таня не пришла на свидание и стала проходить мимо, лишь слегка кивая головой, я подумал, что причина её ухода — моя наивность и неумелость, и лишь после объяснения, состоявшегося между нами двадцать три года спустя, я узнал, что Таню напугал мой ум и сложность характера, что ей оказалось трудно быть рядом и она предпочла отойти в сторону — к простоте, но не к счастью. А я ещё долго любил её: в школе, и потом, когда год работал на стройке, и на первых курсах Одесского университета, хотя и слышал о Танином замужестве и о том, что у неё родилась дочка, поэтому и вкладывал свою боль в сочинение стихов и искал девушку, в

которую может влюбиться моя требовательная, начитавшаяся Александра Грина, натура. И сейчас мне показалось, что в автобус вошла та, которую я искал, и я смотрел на неё, смутившуюся от моего пристального взгляда, и находил всё больше черт в лице и фигуре, подтверждающих моё предположение.

Девушка была красива, но не той красотой, которая, отталкивая всех, спешит утвердить своё первенство, и не глянцевицей оттенков, характерной для расположившихся на страницах журнала светских львиц, а, скорее, мимолётностью душевного состояния, наполнившего её лицо непрístupно-задумчивой мечтательностью, а глаза — ожиданием чуда. Её красота была подобна аромату распускающегося цветка: её хотелось положить на ладонь и прижать к сердцу.

Мой взгляд смущал и тревожил девушку; она отворачивалась, глядела по сторонам убегающей назад дороги и вновь поворачивала ко мне голову, и на её лице, первоначально удивлённом и сердитом, проступало явственное выражение вопроса: как у человека, неожиданно зашедшего в дом к знакомым и пытающегося понять, будут ли ему здесь рады.

Внезапно во мне возникло ощущение неловкости. Я представил себя со стороны: высокого, худого, с прищуренными, близорукими глазами, одетого в старенькую рубашку и выцветшие от частых стирок серые брюки — уродину, посмевающуюся обратить взор на растущую в чужом саду розу, — и покраснел от смущения. Сидевшая напротив Ольга Ивановна о чём-то заговорила, я односложно ответил; догадавшись, что я не хочу поддерживать беседу, Ольга Ивановна замолчала, погружившись в свои мысли: то ли о том, много ли кизила в лесу за селом Пролом, куда мы ехали, то ли о своей матери, Анастасии Александровне, умершей месяц назад от рака желудка, то ли о чём-то другом, необходимом и насущном, и все же ни к чему, кроме суеты и старения души и тела, не приводящем.

Скользнув осторожным взглядом по пассажирам, я задержал его на руках девушки, цепко обхвативших поручень, потом перевёл взгляд выше, к лицу. Девушка смотрела на меня. Я сконфуженно отвернулся и вдруг понял: девушка глядела на меня с сочувствием, словно ощутив робость моей души, привыкшей отказываться не только от чужого, но и от своего, мою бедность, которую я делил только с собой, не вовлекая сюда посторонних, — и, как следствие, мою безумную гордость, обрекавшую меня на постоянное одиночество.

Наши взгляды встретились и остановились. Она смотрела на меня так, как смотрят на спящего ребенка, в её зоре была доброта, нежность и что-то ещё, непонятное и прекрасное.

Автобус остановился. «Пролом. Кому выходить?» — крикнул водитель. Схватив моё и своё ведро, Ольга Ивановна устремилась к выходу. Я поднялся и замер, глядя на девушку. Она колебалась, словно размышляя, выходить ей или ехать в Васильевку, куда она брала билет, потом вопросительно взглянула на меня, и я почувствовал её невысказанную просьбу остаться.

— Быстрее, Славик! — стоя на тротуаре возле автобуса, закричала Ольга Ивановна. — Нам нужно кизил успеть собрать, чтобы не опоздать на автобус.

Я заметался, переводя глаза с Ольги Ивановны и обратно, решая извечную проблему между возможным журавлём в небе и синицей в руках, между мечтой и действительностью — и шагнул к выходу.

Автобус, свернув налево, покати́л в село Васильевка. Видневшийся в заднем стекле силуэт девушки уменьшался и терял резкость, как при неудачной фотосъёмке. Отвернувшись, я вслед за Ольгой Ивановной направился к ждавшему нас кизилу, стараясь уверить себя, что незамеченное никем происшествие в автобусе — сон и мираж, что я, как всегда, ошибаюсь и моя попытка знакомства с девушкой была бы встречена насмешками и презрением, оставив щемящее чувство обиды, а её у меня и так уже было достаточно.

Кизила в лесу оказалось много, и собрали его быстро. Спасаясь от разговоров Ольги Ивановны, я залез на скалу и долго сидел на краю обрыва, созерцая покрытые деревьями и кустами горы, долину, белевшие в отдалении маленькие, похожие на игрушечные, домики села Пролом и нависшее над нами огромное синее небо.

В двенадцать часов мы возвращались обратно. Автобус был переполнен, и нам пришлось стоять. Ольга Ивановна сердилась и ругала не желавших уступить ей место под-

ростков. Потом был дом, улыбающаяся, довольная моей поездкой мама, тишина комнаты, настроение которой определялось расположившимся в углу книжным шкафом — моей главной, непреходящей ценностью.

Прошли годы. Умерла от рака желудка Ольга Ивановна. Постарела и осунулась мама. Барахтаясь в том, что называется жизнью, я всё чаще обращаю взор в прошлое, пытаюсь понять причину неудач, превративших меня в плывущий по течению обломок. Я давно осознал, что у каждого человека есть звёздные часы, определяющие, в какую сторону горизонта повернёт его жизнь. Обычно — это встречи, странные и неожиданные.

Я влюблялся часто, и мои чувства не всегда оставались безответными. Но мгновения, какие бы ни были счастливыми, так и оставались мгновениями, после которых неизбежно наступали дни, заполненные пустотой и разочарованием.

И сегодня, стоя на сложенной из неудач вершине, я опять вспоминаю летнее утро, спешащий в Васильевку старенький автобус и всматривающуюся в меня девушку. Я не знаю, был ли это мой, теперь уже пропущенный звёздный час любви, зато понимаю, что обстоятельства создали тогда удивительную, похожую на чудо встречу, не состоявшуюся по моей вине. Не преодолев свою робость и нерешительность, отступив — в который раз — перед устоями морали и быта, я остался трусом навсегда — и получил ту жизнь, которой живу.

АРИОЛЛА МИЛОДАН

КОРЕИЗ



МИЛОДАН Ариолла, член Союза писателей Республики Крым. Лауреат Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон» (г. Саки, 2015 г.). Заканчивает математический факультет ТНУ им. Вернадского. Преподаватель восточных танцев и экскурсовод. Автор двух сборников стихотворений и эссе. Ариолла о себе: «Я захотела быть умной. Попробовала. У меня получилось. Но мне не понравилось...»

Философские раздумья о множествах Мандельброта

Ветреной осени рыжей фрактальностью
Выстелен путь от меня и до прошлого.
Веток обугленных строгой детальностью
Вычерчен вечер... Сырой и взъерошенный.

Осень, скажи мне, а правда ли, надо ли
Так бесноваться, единственность празднуя? —
Множества полнились, множества падали,
Множества царствуют... Броские, разные.

Множества луж. Антрацитные, рыжие,
Серые с синью и с проседью, кажется...
Кажется, улицы лужами выжжены —
Осень опять с Мандельбротом куражится.

Множества листьев. Пурпурные, жёлтые,
Яркие с хрустом и блеклые с шорохом...
Капли развеяны, грани расколоты —
По ветру — каплями, под ноги — ворохом.

Множества нас... Захлебнулись подобием! —
И повторяем их пляски! — Но подле них
Мы — только копии, копии, копии...
В прошлом, быть может, имевшие подлинник.

Осень безумна, правдива и образна
Листьями, синью, фракталами, временем...
Взглядом из прошлого, осень, ты можешь знать,
Что делать нам, единицам потерянным?

Станут ли лужи и листья ответами?
Будут ли правдою? Примем ли это мы?
Звонко мурчит, не терзаясь вопросами,
Рыжая кошка... Она не из осени.

* * *

Белый — это всего лишь сгущенный чёрный.
Знаешь, а я ведь так и живу:
Всеми бы тропами — только не торной!
Всеми бы мифами — да наяву!
Всеми бы песнями — да так, чтоб сердце навыйлет!..
Но мелодия — комом в горле, а слова — на губах песок...
А кто увидит, услышит — разве осилит
Этот дикий, въедающийся в висок,
Смысл? Жизни ли? Смысл. Речи ли?
Привкус мяса и крови, звук рвущихся жил,
Терпкий запах земли... Похоже, мною перечили
То ли демоны — Богу, то ли ангелы...
Потому что — свет! Потому что — тепло!
Хоть под ногами пожарища...

И из самого горя, из самой беды — в любовь.
А небо — в сердце, небо — в товарищи...
Так невозможно. Но так уж легло...
Как волны у берегов...
И ни при чём откровения. Впрочем, захочешь — вот оно.
Первой строчкой вроде даже обещано:
Я — всего лишь помесь божества и животного...
И это чаще всего называют — «женщина».

Театральный критик

«Театр как поиски лучшей жизни...»
А может, в это не стоит верить?
А может, просто служить отчизне,
И ум, и чувства в идею вперить?

Увы. Мы даже не святотатцы:
В нас нет горения и нет отваги.
Мы не решаем: уйти? Сражаться?
Мы перелистываем бумаги...

«Театр как поиски совершенства...»
А может, мы не достойны сказок?
Ведь избавляемся от блаженства,
Как избавляются от заразы!

Но от отчаянья знать, что будет,
Так странно глупость не всех спасает!
Театр полон. Теснятся люди.
Надежда гаснет... И воскресает.

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ

СИМФЕРОПОЛЬ



ПОЛЯКОВ Юрий, член Союза писателей Республики Крым. Обладатель Золотого диплома Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» в номинации «На лучшее произведение для детей» (Москва, 2009, 2010); лауреат Международного поэтического фестиваля «Чеховская осень» (Ялта) в номинации «Стихи для детей» (Ялта, 2010); обладатель премии Гран-при Всеукраинского поэтического фестиваля «На берегу Муз (Евпатория, 2011); победитель Первого Международного конкурса детских авторов «Серебряный ручеек» (Сочи) в номинации «Сказки и истории в стихах» (Сочи, 2011); лауреат Международного литературного фестиваля «Под небом рязанским» в номинации «Литература для детей» (2012); победитель Международного литературного конкурса издательства М. Волковой «От 7 до 12» (Челябинск, 2012), Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон» (Саки, 2015).

У реки

В городке небольшом протекает река.
Не сказать, широка,
Не сказать, глубока.
И бежит,
Спотыкаясь о камни,
Вода,
Непонятно, зачем,
Неизвестно, куда.

У реки
С длинной удочкой, зная, неспроста
Вечерами парнишка
Сидит у моста.
Не клюёт!
Без улова сегодня опять!
Но уйти не спешит —
Чего ждёт — не понять.

Городок тихий наш, как и все города...
Можно встретить гусей
У реки иногда.
И корова,
Что щиплет у речки траву,
Говорит важно:
— Му-у-у, —
Непонятно, кому.

...По мосту мимо парня девчонка пройдёт.
Он посмотрит ей вслед,
Безнадёжно вздохнёт.
А она...
И не взглянет она на него.
А он снова вздохнет —
Не понять,
Отчего...

Мечтательный слон

В одном зоопарке, в вольере одном
Мечтательный слон обитал.
Он был очень добрым ушастым слоном
И целыми днями мечтал.

Бывало, и ночью не мог он заснуть:
Всё думал и думал о том,
Что с лёгкостью сможет однажды вспорхнуть
Над скучной землёй мотыльком

Ах, это чудесно! Свободно, легко,
Не зная забот и печали,
Ушами взмахнуть — и взлететь высоко
В бескрайние синие дали.

Ах, это прекрасно! Присесть на цветок
И, уши сложив, словно крылья,
В душистый нектар опустить хоботок,
И снова взлететь без усилия.

Но как-то приснился слону странный сон:
Как будто на крыльях мечты
И вправду взлетел лёгкой бабочкой он,
Совсем не боясь высоты.

Над лугом резвился, над полем порхал,
Над клумбой кружился азартно,
Вдруг, сзади подкравшись, какой-то нахал,
Да-да, невоспитанный грубый нахал
Сачком его сцапал внезапно.

Вновь утро настало. Рассеялся сон,
Умчался в туманную даль...
Но только с тех пор тот мечтательный слон
Совсем не мечтает.

А жаль...

Лунатское

Ноча-ночами светлыми	Мальчи-мальчишки носятся
Печальна и бледна	Ватагой за мячом,
Висит, с земли приметная,	Девчонкам корчат рожицы,
На небесах Луна.	И всё им нипочем.
Луна-луна-лунатики	А луно-луно-взрослые
На той Луне живут:	Без усталости бранят
Девчонки любят бантики	За шалости несносные
И песенки поют,	Лунатиков-ребят.

На базар строем шли башмаки...

На базар
Строем шли башмаки:
Скрип-скрип!
И шаги у них были легки,
Как звенели монетки
В кошельке и барсетке —
Десятюнчики и пятаки:
Дзынь-дзынь!

На базаре
Себе башмаки:
Скрип-скрип!
За монетки купили шнурки,
Чтоб, пыля по дороге,
Ты не стёр себе ноги,
Не набил невзначай синяки:
Шмяк-шмяк!

Потому,
Начиная свой путь:
Топ-топ!
Ты шнурки завязать не забудь.
Но не менее важно
Честным быть
И отважным,
И с дороги прямой не свернуть!

ЛАРИСА АФАНАСЬЕВА

БЕЛОГОРСК



* * *

Над городом дымящийся закат —
Жгут мусор по привычке старики,
А листья глупые, как мотыльки,
Не от костра — они к огню летят.

Одна — ещё из пушкинских времён —
Акация оранжево-лимонна,
Но пышная уже редееет крона
Над скопищем домишек и племён.

* * *

Октябрь — не август. И тепло
Недолговечно, ненадёжно.
Проглянет солнце осторожно
Сквозь запотевшее стекло
Уныло-пасмурного дня,
И снова дождь задёрнет шторы,
Размочит пёстрые узоры
На акварелях октября.

АФАНАСЬЕВА Лариса, член Союза писателей Республики Крым. Печаталась в газетах и журналах Крыма, в сборниках «Вдохновение», «Крымские литературные встречи», в альманахе «Россыпи», в журнале «Алые паруса». Автор сборника стихов *«Написалось, как спелось...»*. Лауреат Международных фестивалей «Боспорские агонии», «Пристань менестрелей», Всеукраинского песенно-поэтического турнира «Рыцари слова». Лауреат Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон» (Саки, 2015). Живёт и работает в Белогорске.

Ноябрь

Лисьи шапки тополей
Треплет осень.
Резвый ветер журавлей
Вдаль уносит.

Научиться просто жить,
Как мечталось,
Чтоб добро в душе копить —
Не усталость...

Вьются в пляске вихревой
Девы-ивы.
Вот бы мне да их настрой —
Стать счастливой.

Только жизни нашей круг
Всё быстрее
Вертит мудрый враг и друг
Лекарь Время.

* * *

На холод кричит вороньё,
И детками сыплет каштан.
Чужое окно — не моё,
Как парус из сказочных стран,

Распахнуто в синюю даль —
Попутного ждёт ветерка.
А вербу укутали в шаль
Белее зимы облака.

* * *

Наверное, всё-таки вечер
Закончится тихим дождём,
И тополя рыжие свечи
Заплачут о лете былом.

Грустит потемневше-зелёный
Сосновый немолкнувший лес,
И звёзды на веточки клёна
Упали с осенних небес.

Осенние наброски

Долго держится тополь зелёным,
Ждёт с надеждой бывшего тепла.
Только хвостиком рыжий бельчонок
Замелькал — значит, осень пришла.

* * *

Ещё не предзимье, а просто октябрьский мороз.
Поспешно сбиваются в стаи опавшие листья.
И хочешь тепла, только дома никак не сидится,
Когда журавли растревожат мне душу до слёз.

* * *

Как слёзы осени печальны,
И безнадежны, и прощальны,
И застывают на лету.
Как быстро гаснет этот вечер,
И тополей чернеют свечи,
И звёзды рвутся в высоту.

* * *

В молочно-опаловом небе закат разметал
Коралловые острова неоткрытых Америк,
И волны прибоя багряно стремились на берег
Меж огненных рифов и дико-причудливых скал.

* * *

Сиреневая мгла ещё
Не отдала права рассвету,
И речка сонная течёт,
В туманы пышные одета.

* * *

Шевелюрой осенней расцветки
Старый ясень гордился, пока
Не набросила ночью на ветки
Осень первые пряди снежка.

* * *

Пугала предстоящая зима
Своим непредсказуемым капризом.
Фальшиво мысли кутались в слова...
Финал цветенья был обидно близок.

ВИКТОРИЯ АНФИМОВА

СИМФЕРОПОЛЬ



* * *

Я очнулась от странного сна.
Осень листья в лицо мне бросает,
И туман по утрам истончает
Проникавшую в душу до дна
Червоточину. Странное счастье.
Вкус печёной айвы из духовки,
Тихий ветер, смущённо-неловкий,
Рыже-белой кошачьей масти.

Я очнулась — и странное дело,
Нет ни писем, ни слов, ни эмоций,
Мирозданье на части не рвётся —
Я, наверное, просто болела.
Мне ноябрь принёс к изголовью
Хризантемы песочного цвета.
Я ему благодарна за это,
И ответчу чуть позже. Любовью.

АНФИМОВА Виктория, член Союза писателей Республики Крым, Союза писателей России. Дипломант Всеукраинского поэтического фестиваля «Пушкинское кольцо-2008», лауреат Международного поэтического фестиваля «Пристань менестрелей-2010». Дипломант литературной премии им. Н.А. Кобзева.

* * *

Густые ресницы тумана
Проникли в ночное окно.
Жалеть обо всём слишком рано
И поздно исправить всё, но
Цепляюсь за фразы, за мысли,
За строчки стихов, что уже
Написаны вчерне... Повисли
В окне на шестом этаже
Немые вопросы бессонниц,
Вплетаюсь в тончайшую вязь

Следов ассирийских конниц,
В полуночном свете пылясь.
Я слышу гортанные звуки
Вчера отшумевших речей,
Я вижу проворные руки,
Стремительные, как ручей...
И воздух, что полон тумана,
Пьянит, как колдуньи отвар!
Но спать не могу, как ни странно,
Под действием сумрачных чар.

Послевкусие

Фальшь всегда остается фальшью,
Я себя обмануть не сумею.
Что нам делать с тобою дальше?
В небе месяц, тускло желтея,
Притаился кусочком сыра,
Что забыт на столе хозяйкой.
На душе, как на улице, сыро.
Стану, видимо, скупердяйкой:

Ни к чему отдавать своё сердце
Там, где хватит и двух поцелуев.
След оставить — солью ли, перцем —
Не сложнее, чем бросить все
Имя Бога... Но старые шрамы
Заживут, превращаясь в коросту.
В наших душах — фальшивые храмы.
Только наши кресты нам по росту.

* * *

Я устала бродить между сотен
Безнадёжно запутанных слов.
Так в музее средь многих полотен
Вдруг нащупаешь времени шов,
И приходит к тебе понимание,
Что года, как слоёный пирог,

Что разлука, любовь, расстояние,
Вдохновение, начало дорог —
Только краски, которые станут
Новым слоем на старом холсте...
Лишь слова никогда не обманут.
Знать бы, найдены именно те...

* * *

Переделкино. Поздняя осень.
Я иду по дорожкам пустым.
Мы у Бога столь многого просим,
И так мало на деле хотим —

Чтобы мама поменьше болела,
Чтоб любимые были верны,
И родная земля не скудела,
Малышам снились добрые сны.

А ещё — чтобы жёлтые листья
Так же падали медленно вниз...
Переделкино. Тонкою кистью
Осень пишет жизни эскиз.

Байкал и люди



«Все чувства превратить в любовь»



Я любил Байкал, считал, что
его никто так не любил, как я.

Леонид Бородин

Путешественник, решившийся пройти пешком 80 километров Кругобайкальской железной дороги, никогда об этом не пожалеет и эту дорогу забыть не сможет. Каждый из этих километров станет для него открытием, соприкосновением с чудом, с вечной красотой. Он увидит горы, заросшие деревьями и цветами, упирающиеся в небеса живописнейшими скалами, увидит опрокинутое отраже-

ние этих гор в огромном чистейшем зеркале воды, их отроги, уходящие в недостижимые прозрачные байкальские глубины. Ослепительным летним днём золотые от солнца рельсы приведут его к чёрному portalу длинного туннеля, он с волнением зайдёт в его гулкую прохладу, поживаясь от сквозного холода. Чем дальше он будет заходить в туннель, тем больше будет погружаться в черноту его, затем перестанет различать прямоугольники камней, из которых сложен туннель, услышит звуки собственных шагов, усиленных тёмными сводами и разносимых эхом в подземной пустоте, сильнее почувствует ледяное дыхание тьмы. Есть места в туннелях, где не видно их начала и конца. Там царствует полная темнота, она чернее всех ночей. Возможно, путешественника охватит безотчётный страх. С радостью он выйдет опять к свету, который на мгновение ослепит его после кромешной тьмы. Ощущения, которые он испытает, сродни разве только ощущениям человека, неожиданно увидевшего полное солнечное затмение.

А на выходе из туннеля снова ждёт ласковое солнце, так же горят огнями цветов горы, так же открываются всё новые и неожиданные по красоте скалистые ансамбли, созданные великими зодчими: мощными байкальскими ветрами, сильными снегопадами, ливневыми дождями. Тихонько рассказывает о чём-то нежными всплесками море. Иногда покажет над водой голову нерпа, очаровательное дитя Байкала, а потом нырнёт и уплывёт играя в подводные дали.

И вот снова туннель, который среди этого ослепительного блеска невиданной красоты представляется проводником в иной мир, человеку неведомый, где, наверное, и жи-



Туннель у станции Маритуй, сооружённый в 1914 г.

вут души тех людей, могучих, умелых, кто строил эту дорогу, строил настолько гениально, что невозможно поверить, что эта золотая байкальская цепочка — сооружение рук человеческих. (Так же, как трудно поверить в то, что людьми были возведены египетские пирамиды, а легче поверить в их строительство с помощью добрых космических посланников.) Создавать так, как создаёт природа, возвести такой колосс, как Кругобайкалка, не

испортив величественных картин природы, а, напротив, украсить берега золотой нитью уникальной железной дороги – великое творчество, вершина мастерства и гениальности. Теперь дорога отдыхает от большого магистрального движения, и по ней можно спокойно идти и удивляться увиденному, любить всё вокруг. А в первой половине XX века Кругобайкалка едва справлялась с потоком железнодорожных составов, мчавшихся мимо девственных байкальских гор. Какой диковиной должно было казаться полотно с вершин гор, с их скалистых престолов, в первой половине XX века до 1956 года: вдоль синей воды по двум блестящим ниточкам едут в облаках дыма крошечные паровозики-работяги, пыхтят, упираются, тащат за собой длинный хвост вагончиков, исчезают под зелёной горой и появляются вновь. Встречаются, приветствуют друг друга, а затем исчезают в необъятных просторах Сибири... Восьмым чудом света называли люди Кругобайкалку, тем самым показав, что количество архитектурных чудес не ограничивается числом семь. А на Байкале это чудо, сотворённое людьми, растворяется во множестве чудес байкальской природы. Рукотворное и природное, реальное и сказочное на Кругобайкалке так переплетены, что между ними не видишь никакой грани. И тому, кто идёт вдоль байкальского побережья по столетней дороге, то щурясь от яркого солнца, то погружаясь в вечный мрак туннелей, держащих, как Атлант, на своих каменных спинах неимоверную тяжесть старых скалистых гор, очень легко поверить в чудо. Такая она, Кругобайкалочка, — чудесный фильм двух режиссёров — природы и человека, волшебная сказка, которую каждый бывающий видит и читает по-своему. По-особенному открывается байкальская земля людям, которые умеют вслушиваться, всматриваться, замолчать при виде таких красот, а порой и забывать себя...

Маленького мальчика, Бородину Лёню, привёз на Кругобайкалку в посёлок Маритуй железнодорожный состав с ревущим и дымящим паровозом. Родители Лёни приехали сюда жить и работать учителями вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Мальчик сразу полюбил эту землю, понял, что здесь его дом, его родина. Здесь он уверовал в чудо, дышал и жил байкальской природой, байкальскими сказками и легендами. А через много лет он, уже известный писатель Леонид Иванович Бородин, рассказывал в повести «Год чуда и печали», как их семья приехала в посёлок ночью, когда было совсем темно, как утром он увидел Маритуй. *«Проснулся я как в сказке, совсем в другом, новом мире. В комнате было ослепительно светло, на стене напротив меня — это первое, что я увидел, — косой и тёплый квадрат солнца». И первые ощущения не обманули: детские годы, проведённые здесь, были годами тихого счастья, солнечного тепла, интересных открытий, байкальских чудес. «Теперь я уже точно знал, что вся моя жизнь в этом месте будет сопровождаться чудесами, предчувствие бесконечной новизны сделало меня радостно-спокойным», — писал Леонид Иванович.*

В своей повести «Год чуда и печали», которую критик Валентин Курбатов назвал светлейшим произведением XX века, автор называет невезучими людей, у кого не было в жизни даже самого пустякового чуда. И он вызывался им запросто помочь. Для этого всего-навсего нужно сесть в электричку «Иркутск — Слюдянка» и проехать по-над Байкалом.

«Внезапно распахнутся горы, и не расступятся, а именно распахнутся сразу на три измерения — вверх, вдаль, вниз, и тотчас же откроется необычайное, окажется, что поезд ваш идет по самому краю вершины высоченной горы, а точнее, по краю обычного мира, за чертой которого, если вверх, то синева дневного космоса, если вдаль, то беспредельная видимость горизонта, расписанного орнаментом бегущей с севера на юг кривой линии остряков вершин Хамар-Дабана, но вниз если, то там откроется ослепляющая взор страна голубой воды и коричневых скал, и это так глубоко внизу, что вы можете забыть относительно того, где же вы сами в этот момент находитесь: на поезде или на самолете, или на орбите незнакомой планеты. Для вас исчезнут стук колес, тряска вагона, для вас исчезнет само движение, потому что по отношению к необъятности открывшейся панорамы скорость поезда смехотворна, и вы как бы повиснете на краю фантастического мира, и вместе с движением поезда прекратятся и мысли, и чувства, и все ваше суетное бытие преобразится в этот миг в единое состояние восторга перед чудом! Чудо, что откроется вам, если вы сядете в иркутскую электричку у окна по ходу поезда, зовется Байкалом...»

Электричкой «Иркутск — Слюдянка» часто приходилось ездить Бородину. Из Слюдянки он отправлялся в Маритуй, расположенный на середине Кругобайкалки. Если Кругобайкалку называют «золотой пряжкой», то посёлок Маритуй можно назвать «золотым язычком» или «драгоценным камнем этой пряжки». Валентин Распутин говорил, что Маритуй — самый большой и красивый посёлок на Кругобайкалке, картинно и весело протянувшийся по долине реки почти на километр. Строился Маритуй в основном в начале XX века, строился и украшался, казалось, на долгие времена. Один за другим вставляли по берегам речонки, от которой посёлок получил своё название, прочные красивые дома, начинаясь от Байкала и убегая по излучине долины в леса. Большинство домов располагилось по правому, солнечному, берегу речки Маритуй. Посёлок состоит из двух частей: станции и долины, расстояние между которыми около километра. Они и образуют две маритуйские улицы, которые всегда были безымянными. Поезда в Маритуге всегда делали две остановки.



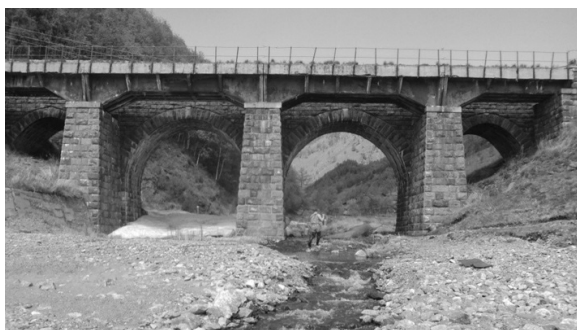
Маритуйская долина. 1967 г.

Маритуй в основном возводился в один этаж, несколько домов были двухэтажными. В посёлке была и ныне существует почта, были своя больница, школа, клуб, поселковая библиотека, читальный зал, метеостанция. Был посёлок и местом практики студентов-биологов Иркутского государственного университета. Одним словом, Маритуй был культурным центром на Кругобайкальской железной дороге.

Украшением посёлка является неглубокая, но быстрая речка Маритуй. Она бежит, то прячась в тени кустарников и деревьев, то совершенно открыто, и наполняет звонким журчанием всю долину.

Через речку перекинута несколько деревянных мостиков, с них хорошо смотреть на каменистое дно, на белеющие буруны, на берега, желтеющие блестящим зверобоем и зеленеющие разлапистым борщевиком. Вода с гор довольно холодна даже летом. Эта небольшая речка часто зимой проявляла норовистый характер. Блуждая под ледяным панцирем и стремясь убежать из-под него, она разливалась, но оставалась в плену и лишь увеличивала ледяной покров. Подтапливала огороды и дома. А весной, когда кругом уже всё было зелёным, на речке медленно таял потемневший лёд. Особенно долго он таял возле железнодорожного каменного моста, который является украшением посёлка и частицей кругобайкальского чуда. Ещё в жаркие июньские дни на маритуйском мосту охватывает ледяной «туннельный» ветер. Минувя этот вековой мост, речка радостно устремляется в Байкал.

В долине речки находились пять домов, в которых частями размещалась самая большая на Кругобайкалке школа. При школе был интернат на 180 мест, который находился на левом, мало освещённом берегу, у горы, в самом конце маритуйской улицы, лежащей в долине. Интернат был на первом этаже двухэтажного дома, а на втором находились несколько классов и там же в двух угловых комнатах поселилась семья Бородиных. Интернат собирал в свои стены всех ребят по железной дороге с посёлков, начинающихся от Култука и до Porta Байкал, где была тогда только четырёхлетка. В Маритуге же была семилетняя школа.



Маритуйский мост. 2015 г.



Интернат в посёлке Маритуй

руки Ивана Захаровича. До приезда Бородининых школа отапливалась с помощью печей. Иван Захарович перевёл школу на паровое отопление, сделал тёплый туалет. В школе держали свиней. Местные жители, у кого были коровы, обеспечивали школу молоком. Ученики дежурили по столовой, головы дежурных девочек были покрыты чистенькими отглаженными платочками. В те годы в стране ещё ощущалась нехватка продуктов, но в школе кормили детей хорошо. Бывшие ученики говорят, что еда была вкусной, правда, съедали всё, тогда ещё не было у детей привычки привередничать. А вечером от поезда на коне привозили свежий ещё тёплый хлеб, и ребятам казалось, что на всей земле нет хлеба вкуснее этого.



Школа посёлка Маритуй



В школу везут уголь

Валентина Иосифовна работала учителем истории, заведовала богатой по тем временам школьной библиотекой. По воспоминаниям бывших её учеников, она была очень справедлива и строга. На её уроках никто не разговаривал, да и в интернате было всегда тихо. Вспоминает Светлана Владимировна Косинова, ученица Бородининых: «Привели школьников как-то в клуб. Все очень шумели. Вышла Валентина Иосифовна. Она не произнесла ни слова, но в зале стало стихать. Вскоре наступила полная тишина. Вот как уважали этого учителя. Да и вообще учителей в то время уважали».

Некому было вести музыку, и Валентина Иосифовна стала вести и этот предмет. Она хорошо играла на пианино, на гитаре, могла настраивать инструменты. Организовала в школе хор. И в небогатом доме Бородининых пианино было самой ценной вещью.

Вспоминает бывшая ученица Маритуйской школы Екатерина Владимировна Ляскина: «Как только Бородины приезжали в поселок, — а они приезжали сюда работать три раза, — школа оживала. Сразу находились средства на ремонт, начиналась деятельность, школа преображалась».

В Маритуте работали прекрасные учителя, некоторые были родом из Маритуты, другие (в их числе Бородины) приехали сюда из разных мест Иркутской области. Случалось, приезжали издалека. Из Брянска приехал учитель Михаил Митрофанович Голайдо, он очень



Валентина Иосифовна
Иван Захарович Бородины

полюбил Мариту, школу, Байкал, сибирскую тайгу, в которую ходил и летом и зимой. Давно уехал он из Маритуя, но не забывает о нём и спустя много лет собирается побывать здесь в этом 2015 году. Эдуард Васильевич Лесик, преподававший в школе математику, приехал из Ужгорода. Ему так понравился цветущий багульник, что он хотел поделиться этой красотой с женой. Эдуард Васильевич отправлял посылки жене с нераспустившимся багульником, который расцветал в Ужгороде. Все учителя школы № 47 были интересными людьми, любили своё дело, были очень дружны, а, уезжая, не забывали друг друга, обменивались письмами, фотографиями. «Учителя дали нам всё» — так говорят выпускники школы, вспоминая любимых преподавателей.

Учебный процесс был организован очень хорошо, серьёзно. Благодаря стараниям учителей и воспитателей все ребята делали домашнее задание, не было невыученных уроков. Самым большим наказанием для маритуйских школьников был запрет идти в кино. Кинозал был самым любимым местом школьников, он находился в одном здании с библиотекой и читальным залом. Недаром в повести Леонид говорит, что с мальчиком Юркой все хотели дружить, потому что брат его был кинемеханик. (Младшего брата на самом деле звали Вовой, а брат его — Виктор Михайлович Ляскин.) Кино было притягательным волшебным миром, и чтобы туда отпустили, из школьной жизни изгонялась лень.



Иван Захарович, Валентина Иосифовна, Лёня (за отцом слева) и его одноклассники

Школа быстро стала родной для Лёни Бородина. В школе был его дом, здесь работали его родители, учились его друзья, одноклассники. Учился он с удовольствием. Когда в мае 1952 года седьмые классы — их было два — заканчивали учёбу в Маритуйской школе, они пришли на берег Байкала. Лёне захотелось искупаться в ледяной байкальской воде, которая была не выше пяти

градусов, ведь Байкал очищается ото льда только в конце апреля или начале мая. В этом поступке скрыты доверие и любовь к Байкалу: *«Я вырос на твоих берегах. Сегодня очень важный для меня день, и сегодня я пришёл к тебе, Байкал, со своей радостью и печалью»*. Лёня очень замёрз и после купания сильно дрожал, не мог согреться. Девочки на берегу сняли с себя кофты и надели на него. Потом все пошли в любимый кинозал смотреть фильм. Всем было и весело, и грустно одновременно, они окончили школу, и им скоро придётся расстаться. А Лёне пришлось расстаться и с Маритуем, и с Байкалом, потому что их семья отсюда уехала. Но не навсегда.

Через несколько лет Маритуя снова позвал Бородины, и они, очень скучавшие по посёлку, приехали сюда вновь, уже без Леонида, потому что он был осуждён за диссидентство и отбывал свой срок. Он находился далеко, но мысли и душа были в Маритуте, потому что в тюрьме писал он повесть о своём детстве «Год чуда и печали». Родители приехали с маленьким Сашей, братом Леонида. Бородины поселились на этот раз в большом доме,

у самой речки. А сразу за речкой через мостик — интернат, где они жили раньше. Дом оказался солнечным, просторным, высоким, рядом большой огород. Сейчас этот дом называют домом Леонида Бородина, потому что он тоже тут жил, когда вышел из тюрьмы. Бывшего заключённого никуда не брали на работу. Выручил и согрел родной Маритуй. Леонид нашёл работу монтажника пути на Кругобайкалкой железной дороге. И семья Бородиных в полном составе стала жить в доме, который оказался жизнестойким. Он мало изменился, и в 2015 году выглядит так же хорошо, как и в 1967-м.



Дом Бородиных. 1967 г.

ные жители вместо слова «ущелье», говорили «падь», вместо «кедровник» — «кедрач», туннель употребляли в женском роде, рельс тоже был женского рода, говорили «рельса». И Леонид Иванович выбирает этот, привычный ему с детства язык. *«Пусть уж мне простится, что так буду писать»*. И писал о людях, которые его окружали, которых любил: соседях, одноклассниках, солдатах, охранявших железную дорогу. Здесь мальчик, с самого раннего детства привыкший к слову «война», видел солдат и в мирное время. В «Повести о Нефёдове» он рассказывает об охране туннелей: *«Кругобайкальские туннели охранялись солдатами, потому что шла война с Японией и японские диверсанты или самолёты могли добраться до железной дороги. А вывести её из строя труда не составляло, дорога шла среди крутых высоких скал, около 50 туннелей на пути. Около каждой туннели «грибок», и под ним круглосуточно солдатик стоит — винтовка с примкнутым итыком, патрон в патроннике, — и имеет право солдат стрелять без предупреждения, если кто подозрительный попытается проникнуть в туннель или опять же подозрительно высунуться из окна проходящего пассажирского поезда. А чтоб такого не случилось, как только пассажирский поезд трогался со станции Байкал в нашу туннельную сторону, проводники замыкали тамбуры вагонов, окна вагонов тоже замыкались особым ключом и занавесками закрывались, а пассажиров предупреждали, чтоб не смели паяться в окна и тем более пытаться открывать их»*. Но ребята, и Лёня в том числе, ходили куда хотели, потому что солдаты местных ребят знали в лицо.

В повести «Год чуда и печали» Леонид Бородин рассказывает, как произошла его первая встреча с Великим Байкалом. В то первое на байкальской земле утро он осматривал мари-



Дом Бородиных. 2015 г.

туйские окрестности, забрался на гору и сделал вывод, что горы существуют для того, чтобы на них забираться, а достигнуть горных вершин на вертолётке казалось ему кошунством. (И потом, став взрослым, не раз убеждался, что жизненные вершины нужно покорять самому, а не ждать когда тебя туда кто-нибудь подбросит.) С вершины крутой горы Лёня вдруг увидел в плотной завесе тумана «белое ничто».

туйские окрестности, забрался на гору и сделал вывод, что горы существуют для того, чтобы на них забираться, а достигнуть горных вершин на вертолётке казалось ему кошунством. (И потом, став взрослым, не раз убеждался, что жизненные вершины нужно покорять самому, а не ждать когда тебя туда кто-нибудь подбросит.) С вершины крутой горы Лёня вдруг увидел в плотной завесе тумана «белое ничто».



Жарки на байкальской горе

Это был Байкал, начисто скрытый от любопытных мальчишеских глаз. Байкал в первое для Лёни утро на этой земле словно играл с ним в прятки. В сказках бывает так: самое важное всегда скрыто для глаз, самое прекрасное некрасиво или незаметно. Это «ничто» сначала заставило мальчика удивиться, замереть на месте и фантазировать, а что же там? А потом плотная завеса становилась лёгким флёром, и открылся сказочный Байкал во всём

божественном великолепии, во всей мощной красоте, и озеро стало для него всем: темой книг, родиной, жизнью, чудом, непреодолимым магнитом на всю жизнь.

Лёня с каждым днём любил Байкал всё больше. Ему понравилось, что Байкал, и только Байкал, называют славным морем. Это название ему казалось ласковым и торжественным одновременно. Байкал не уставал удивлять Лёню, а Лёня не уставал удивляться. Удивлялся, как может сковать мороз такое могучее озеро-море. Наичуднейшим зрелищем называл он тонкую границу между зимой и весной по побережью. Весной бывает так: Байкал ещё скован игольчатым льдом, а на горах цветут подснежники и багульник. Поляны удивляли разноцветьем белянок, жарков, колокольчиков, которых было в мае — июне так много, «будто кто-то по весне семена в кулек накидал, а потом горстями веером разбрасывал».

Удивляло богатство байкальской земли ягодами и орехами. Удивительными казались красные от брусники кочки в сентябре, удивляло, что заготавливали её в огромных количествах и использовали для многих целей. Удивлялся, насколько вкусны недозрелые варёные шишки, и сравнивал их желтизну с цветом новорождённых птенчиков. *«Передо мной и подо мной лежала страна голубой воды и коричнево-желтых скал. Передо мной был не просто красивый вид вдаль — передо мной был мир красоты, о которой мало что можно сказать словами, от него можно только пьянеть и терять голову. Чувствовать красоту мира — ведь это значит — любить! Это значит все прочие чувства на какой-то миг превратить в любовь, которая становится единственным языком общения души с красотой мира».*

Байкал подарил Лёне и чудо первой любви, о которой он проникновенно рассказал в повести «Год чуда и печали». Мальчик полюбил Римму Бархатову, которая училась в параллельном классе. В повести Леонид называет местом её жительства 80-й километр Кругобайкалки. На самом деле она жила в Порту Байкал (73-й километр КБЖД). В Порт Байкал Лазаревы (фамилия отчима Риммы, отец Риммы в годы войны был танкистом и погиб в Польше в 1945 году) приехали из Иркутска, когда девочке было десять лет, она перешла в третий класс. В посёлке тогда была только начальная школа, а после четырёхлетнего обучения часть детей уезжала учиться в посёлок Листвянку, а дети железнодорожников ехали в Маритуй. В Порту Байкал она проучилась два года. А в пятый класс пришлось отправляться в Маритуй и жить в интернате. Леонид сразу обратил внимание на Римму. Она была красивой девочкой, серьёзной, сдержанной, молчаливой, вдумчивой, казавшейся взрослее других. *«Со всеми остальными девчонками мы обходились запросто, не особенно выбирая выражения»*, — писал Леонид Иванович. А с Риммой такой тон был невозможен, ей нельзя было сказать: «Эй, Римка, кинь книгу!» Многие ученики тоже чувствовали характер девочки, они также замечали необычность Лёни Бородина, который очень сильно отличался от ребят. Одноклассница Леонида Галина Ивановна Зотова говорит, что Лёня был очень начитанный, употреблял в речи такие слова, которые маритуйским ребятам были неведомы. Римма тоже обратила внимание на Лёню Бородина, он отличался от других учеников тем, что очень много читал, многое знал на память: если задавали учить отрывок из большого стихотворения, он учил его всё и запоминал надолго. Особенно любил Лермонтова. Знал наизусть целые поэмы. Он стеснялся говорить Римме о своих



Ученица Римма Бархатова

вызволяет её из плена старухи Сармы. Ри становится ученицей Риммой, забывает своё божественное прошлое, забывает Лёню и очень холодна с ним. А Лёня считает часы и минуты до того момента, когда сможет увидеть Римму в школе, выходные без неё — пустое время, а каникулы просто страшны. И мальчик с нетерпением ожидает конца выходных и каникул, хотя школьники, наоборот, с нетерпением ждут их прихода.

Наверное, в такие дни, когда Римма Бархатова уезжала из Маритуя, и слагал Лёня красивые легенды о Байколле и его прекрасной дочери Ри, и сам становился их героем. Через много лет эти детские фантазии и ощущения станут основой повести «Год чуда и печали», где мы увидим Лёню, маленького худенького мальчика, при виде которого старуха Сарма только хохочет, а потом всё-таки освобождает Ри из своего плена, но лишает героя счастья, обрекает его на безответную любовь. Двойника Сармы герой видит среди маритуйских жителей — это старуха Васина, которая лечит болезни травами и заговором. Внешнее сходство — вот всё, что объединяет Сарму и Васину. Сарма жестока в своём мщении, Васина добра, продляет людям жизнь. Сарма пугает мальчика смертью родителей в случае, если он выдаст тайну, а Васина говорит: «Таких тайн нету, что дороже отца с матерью!» Пробразом симпатичной автору героини повести стала маритуйская жительница, которую ещё хорошо помнят старожилы, фамилия её на самом деле была Васина, а звали Анной. И она действительно знала травы и лечила людей, лечила и заговорами, то есть врачевала словом и целительными силами байкальской земли. А на Байколлу, с его длинной, похожей на байкальскую пену бородой, в повести очень похож дед, кото-



Римма Бархатова в конце 60-х гг.

чувствах, не решался пригласить её погулять после уроков, а мог только сказать: «Давай я тебе стихи почитаю». И девочка с удовольствием слушала стихи и удивлялась начитанности и отличной памяти Лёни. Она и сама любила читать книги, но времени на чтение не хватало. Вечером в интернате гасили свет, включать его после отбоя было нельзя (никто и не пытался), Римма же под одеялом включала фонарик (фонарики давали ученикам родители, чтобы они шли к поезду по тёмному Маритую) и читала книги, стараясь, чтобы никто не увидел свет.

Римма в повести Леонида «Год чуда и печали» не простая девочка, она юная богиня Ри, дочь князя Байколлы, то есть самого Байкала, и младшая сестра Нгары, то есть Ангары. Она так красива, что на неё можно смотреть всю жизнь и жить только этим. И он, простой маритуйский мальчик, преодолевая страх и боль,

того же Бородин называет Белым Дедом. Этот дед тоже жил в Маритую на самом деле, но, к сожалению, старожилы не смогли вспомнить его фамилию. Скорее всего, звали его Григорием, так как Васина называет его Гришей, а имена маритуйских жителей в повести сохранены. Получается, что героев и, по всей видимости, события повести мальчику подарил Маритуй, Байкал. Только очень бережно облёк он реальность в нежную золотистую обёртку сказки.

Когда уход в мир поэзии и природы не спасал и ждать Римму становилось совсем невыносимо, Лёня, спрятавшись в товарном вагоне, приезжал в Порт Байкал и иногда видел издали

свою «божественную» девочку, не показываясь ей на глаза. Когда ей сказали, что Лёня приезжает в Порт Байкал, она спросила его, зачем он ездит в её посёлок, а он не решился признаться и сказал, что просто катается на поезде.

И вот уже перелистнута маритуйская страница жизни. Римма учится в Иркутске в школе военных техников, живёт в общежитии. Леонид тогда учился в Улан-Удэ. Он приехал к Римме в Иркутск, пришёл в общежитие, — она в это время с девочками собиралась идти в кино, — спросила Лёню, как он здесь оказался. Он ответил: «Так просто, проходил мимо, зашёл». Римма с подружками ушла в кино. Так закончилась эта встреча.

И только будучи совсем взрослым, Леонид Бородин скажет Римме Бархатовой, что любил её. Он подарит ей книгу с автографом: *«...Если на минуту представить, что не было в моем детстве всего того, о чем рассказываю, то жизнь моя потеряла бы цвета, то подумалось бы, что я прожил жизнь при пасмурной погоде, ни разу не увидев солнца, что будто исчез бы чистый свет, теплым и грустным лучом сопровождавший меня всю жизнь по непрямым дорогам жизни!»*

Хранит Римма Семёновна Щербакова книгу, изданную в Австралии, которую давно прислал ей по почте Бородин. На книге автограф:

«Римма! Эти строки ты встретишь в книге, которая, конечно же, — фантазия. Но главное в ней — правда! И ты ее узнаешь, несомненно. Все эти годы мне хотелось хоть как-то отблагодарить девочку Римму Бархатову за то, чем она была в моем детстве. Очень хочется думать, что мне удалось это сделать. Спасибо тебе. Бородин».

А Римма Семёновна написала в своем альбоме с фотографиями: *«Леонид Бородин, писатель, написал удивительную книжку о нашей жизни в Маритусе, о нашем детстве, я ему очень признательна».*

Как-то она пришла на вечер Леонида Бородина в Иркутске и подарила ему цветы. Поговорили мало, Леониду Ивановичу нужно было срочно улетать в Братск.

Жизнь у Риммы Семёновны сложилась. Она вырастила троих детей. Долгие годы была в женсовете Иркутска, сделала много хороших дел для города. Активная сторонница озеленения родного города — наверное, любовь к зелени вынесла из байкальского детства. Из окна своей квартиры любит смотреть на лесок, посаженный её руками.

Интересную, богатую делами и впечатлениями жизнь, хотя и тернистую, прожил Леонид Бородин.

Разошлись дороги этих людей. Вот, кажется, и вся история. Нет Леонида Ивановича. Но остались его чудесные книги о детстве, о чуде неразделённой первой любви. И в жизни не кончились чудеса, ещё одно произошло летом 2015 года. Римма Семёновна неожиданно получила приглашающий билет в своё детство. Её пригласили в Дом литераторов на детский спектакль по повести «Год чуда и печали». Они с двоюродной сестрой Леонида Бородина, Ниной Леонидовной, которая в детстве и юности бывала в Маритусе, с удовольствием посмотрели спектакль, увидели картины своего детства. Римма Семёновна и Нина Леонидовна были очень благодарны всем, кто работал над спектаклем, а после спектакля сфотографировались с юными артистами.



Р.С. Щербакова (справа), Н.Л. Никоноренко с юными артистами

После спектакля они, конечно, вспоминали детские годы, которые пролетели-промчались быстрым поездом...

Ярким жарком горел семафор на Кругобайкалке, тысячами семафориков светились жарки, полыхала багульником гора за школой, радуясь вместе с детьми окончанию каждого учебного года, ярко горело и тихонько, день за днём, отгорало пионерское детство маритуйских ребят. Вы-



Маритуй. 2015 г.

когда-то рядом со школой. А на месте интерната сохранился только фундамент. Ровных площадок, где когда-то стояли дома, немало. Сейчас в Маритуе чуть более десятка жилых домов. Давно нет ни школы, ни больницы, ни клуба, ни даже магазина. Старики, доживающие там свой век, вынуждены ездить за продуктами в Слюдянку и проводить в дороге целый день. «Нет Маритуя», с болью в голосе говорят местные жители.

Не хочется верить, что Маритуй доживает последние дни. Больно за посёлок, воспитавший и взлелеявший замечательного писателя. Это земля Леонида Бородина. Если кто приезжал к нему в Москву из Сибири, он спрашивал: «Ну как там Байкал?» Значит, и Маритуй — посёлок, который так любил Леонид Иванович, считал своей родной землёй, постоянно навещал, а, приехав в Маритуй, был одухотворён, светел. А светлые люди светлы везде и при любых обстоятельствах. Тёмными ночами в тюрьме пишет свои светлые книги. Девочку, не отвечающую на его чувство, боготворит и благодарен судьбе, за то, что она была в его жизни. Военное и послевоенное детство считает самым светлым временем, наполненным чудесами. Замечательно сказал писатель о своей родине: «...В моей привязанности к байкальским местам было нечто чрезвычайно счастливое, и это с очевидностью выявлялось всякий раз, как удавалось попасть в родные места: я получал реальную поддержку для продолжения жить и быть самим собой...»

Хочется надеяться, что Маритуй возродится, воссияет его звезда, пусть в каком-нибудь другом качестве. Ведь здесь живёт душа Леонида Ивановича Бородина. Этот посёлок он любил больше тысячи других и сделал его бессмертным в своих произведениях.

Лежит у подножия Маритуя, как прежде, голубой Байкал, а Леонид Иванович говорил, что голубой цвет воды — это улыбка Байкала. Вблизи посёлка есть голубые скалы, голубые от растущих на них незабудок. Может, скалы тоже улыбаются? И всё помнят? Потрясают светлые сосенки, растущие на голых скалах, настоящие адаманты наших дней. Значит, есть надежда...

растая, они покидали Маритуй. А вместе с ними уезжали и многие коренные маритуйцы, потому что после строительства обходного железнодорожного пути работы становилось всё меньше.

Сейчас от пяти школьных домов не осталось ничего. Часть этих домов была разобрана на дрова, часть — на бани, часть вывезена в Слюдянку для строительства. О школе напоминает только ровная площадка да тополя, стоявшие



Сосны на скалах

Ирина ПРИЩЕПОВА,
педагог

Саянская тетрадь



ИГОРЬ АБРОСКИН



* * *

Я слышу,
как в тело города
тычутся мои стихи.
В его поры, в этот холм,
эхом вспоротый,
где проспекты-просеки
перпендикулярят
со мной на «ты».
А в Саянске
кожа улочек
в оспе ям.
Саянск, ты самый лучший,
куда Куйтун и Уян
стекли стихами

и прозой,
где срез брёвен
упёрся в бетон,
и звук по стеклу ползает,
ища колокольный звон.
Да колокола,
ложью мечены,
сеют благовест
сквозь сито мелких имён.
А по небу — Путь Млечный,
а под небом — сосны беспечные,
«время колокольчиков» мечется
между ночью и днём,
между высью и дном.

АБРОСКИН Игорь Викторович родился в 1958 г. в Баку. Окончил Днепропетровский университет. Служил в армии. Работал в «Оргхиме» при строительстве «Саянскимпрома». В восьмидесятых был одним из создателей Литературного кафе в Саянске и неформального литературного объединения «Помост». Печатался в иркутском альманахе «Стихи по кругу» (1990), в альманахе «Серебряный Саянск» (1995) и «Саянск-2000», «Ковчег» (2009), «Иркутское время». Автор сборника «Все?..» (1998). Живёт и работает в Саянске.

* * *

Чуешь, как дует ветер? Он выдувает смысл. Мне солнце под правую светит, а слева — сумрак и свист.	а на станции Дно сумерки гибель чертят. Дно! — это наше дно! Всех — от младенца до архиерея. Но! На плечо бревно — и рассвет костром алеет.
Пятый этаж в бетоне, работа с восьми, всё в бытовухе тонет. Забудься, усни...	Взят перевал, взят. В долине тихо. Пик лавиной объят. Спит. Он озяб. Ой, не буди лихо.
Чушь и бабло, чуешь? — На перевале скулят черти,	

* * *

Туман из ненаписанных стихов застыл неслышным одиночеством. Мой бурелом, мой зов, мой вздох... Всё — вздор, уж ничего не хочется.	Нет! Хочется! Как хочется! А вдруг прочтут, услышат, примут, войдут в туман из ненаписанных стихов и воспарят, иль сгинут.
---	--

* * *

Волчицей под пах похмелье и водка. Как пахнет река с перерезанной глоткой? Бедра разлилась	и опухла потехой... Я жив твоим млечным эхом, убитая мной, человеком, вечная Ангара.
--	--

* * *

А в пойме плоско,
как перед расстрелом.
Небо — кусок доски.
Жухлые берега,
дух прелый.
Топором
отсекаю
рассвет от тоски.

Тоски извечной
по невечному дню,
по теплу скоротечному,
по июлю и сентябрю.

Тоски неизбывной.
Рассвет — только миг,
но всё-таки был он,
как выдох, как крик.

* * *

Последний глоток съёс душу,	из себя волка выволочь.
и ветер заплутал в запахах.	Я хочу умереть
Я хочу Русь сделать сушей	у реки предков,
для тонущих в Западе.	впадающей в Дон.
Я хочу дворником	Я хочу зёрнышком,
осколки колокола	веткой
к паперти припереть.	уютиться,
Я хочу волоком	обрести дом.

* * *

От донника налево,	Залив и небо слились
и там недалеко,	в белесой жаркой мгле,
душа моя горела	и высь, и ил — всё «или»,
не грея никого.	всё тонет в Ангаре.

* * *

Осень.
Из форточки,
как из горлышка,
наклонив комнату,
пью ночь.

Переговорный

Страсти накаляются.
Чувства разлетаются.
Жизнь моя бежит по проводам.
Тоненькие ниточки,
всплески электричества,
немота натянутых мембран.

* * *

Любимая! Любимая!
Что же я наделал?
Я же никогда не лгу!
Просто лето сеял,
просто пил и верил,
просто бился на весеннем льду...

* * *

Сытенькие!	Под лезвием
А ну,	розовой плесенью —
пощупаю песней,	жир!
есть ли	Глубже!
у вас душа?!	Да нет ни шиша!

* * *

Гоню минуты с восьми до пяти, и они ковыляют, дряблые, равнодушные. Рассвет и закат — две красных культи, меня обнимают, вот-вот задушат. Но я вырвусь из этого скопища уродцев бетонных, химии, суеты, я даже знаю,	сколько ещё бросать в этот город. Ты, лысый и плоский, влажной присоской впился в губы изнасилованной Ангары. Ты — скука, подачка, полугород, полусело, ты за прошлое просто сдача, прокукарекали — и вот рассвело.
---	--

Курлику

Сосны- сестрёнки
сожраны жаром,
ржавые вжались в бугор.
Лишь тишина не убита пожаром,
ходит и ищет мой двор.

* * *

Когда вырастет тут черёмуха, буду я уж устало-старым, неумелость, надрыв, неуёмных! Дилетантище — божьим даром! Вот и ставеньки крашены охрою, струган стол и полны стаканы...	неминуемо сдохну я... Неминуемо? Странно. И здесь вот, под этим эхом, полукрика, полустихов, рядом с отжившим веком лягу легко.
---	--

* * *

Подсчитаны мешки, и грядки, как надгробья. Прошла пора мошки, октябрь у изголовья. Дары да по труду, живот зимы бездонен.	И всё ж, зачем мы тут: собаки, люди, кони? Из праха в прах, а между — крепки пока гужи — с надрывом и надеждой дотянем до межи.
--	--

Твербуль

В такой вот осенний день, когда небо серостью нудится, когда и невмочь, и лень, и в Чистых прудах долгопрудится	моя немосковская тень, в такой вот осенний день давайте сделаем пузатую, пьяную паузу.
--	---

* * *

Так брага моя светла,
как майская ночь Петербурга,
в сентябрь
Сибирь-сестра
восходит по жёлтым буквам.

* * *

А снег валил,
какими хлопьями!
И ветер рвал,
крушил, метал!
Без шапок,
жалкими холопами...
А бес шептал,
как бес шептал!

* * *

Я перестал спать
не от грехов.
Я постелил гать
их шороха и стихов.

Шёлком шуршит ночь,
кружит над алтарём,
я ухожу прочь
в мерцающий окоём.

В последний, негромкий свет
тих и размерен ход,
не через тысячу лет,
но точно не в этот год

* * *

А думалось, всё успеется:
любовницы, кутежи...
Один на кухне у пепельницы
да бумажные миражи.

Аллегорова — кошка подвальная,
какой фальшивый экстаз,
тоска июньско-нормальная.
Пушкин,
с рождением Вас!

Тост

Чернильница, песочница, сургуч.
Пустой диванчик, ложечка морошки...
За небеса,
за чистый ключ,
за Пушкина!
До доньшка,
до строчки.

июнь 2004 г.

* * *

То ли дым,
то ль сирень
за зеленью.
То ли ты,
то ли зелье
бременем.

На безмен
зари —
боль безверия.
Кровь из вен
солю
серым временем.

В парусах роса.
Август флагоманом!
Да июль пока пережить бы нам.

* * *

Дым змеится по пальцам.
Ветер, схватившись за платье,
пьяным бредёт домой.

* * *

Безучастны к чужой беде,
равнодушны к печали и радости,
ледяны удила на узде,
ледяно всё в моей избе,
с января и до самой старости.

* * *

Какой печальный сочельник!
Иду, бормоча стихи.
Безденежья строгий ошейник —
отшельнику за грехи.

* * *

Для шута я уж слишком стар,
хочется водки с перцем.
Заболел, или просто устал
телом и сердцем.

* * *

Другу-художнику

Брат,
нарисуй воронов.
Брат, нарисуй крик.
Чёрным сквозящим холодом
покрась натянутый миг,
а холст заштрихуй хохотом...
Ну, постарайся, старик!

* * *

Ветер стих.
Вечер сир.
Серединный,
сибирский август.
После бури
усталый мир
поправляет
желтеющий галстук.

СВЕТЛАНА ФРЕЛИНА



* * *

Начните с чистого листа
Прикосновеньем акварели —
И проступают
Люди,
Звери...
И отступает
Пустота.
Начните с чистого листа!

Возьмите кисть.
Или — перо.
Коснитесь струн
надмирной лиры.
Доверьтесь
голосам Олирны:
Познавши Зло —
твори Добро!

Возьмите
кисть или перо!
Начните с чистого листа.
Недопроявленные дали...
Чуть слышный шёпот стихий...
Вам кажется, душа пуста?
Начните
С чистого листа!

ФРЕЛИНА Светлана Георгиевна (25.12.1950–13.07.2009). Родилась в 1950 г. в Волгограде. В Саянск приехала, когда химзавод только строился. Работала в «Оргхиме», прошла трудовой путь от оператора пятого разряда до инженера-технолога. В литературу вошла уже пенсионеркой. Автор стихов, пародий, эпиграмм. Печаталась в альманахе «Ковчег», в периодических изданиях города Саянска.

* * *

Перезрело шуршат колосьями
Злаки дикие на пути...
Друг мой давний! По многим осеням
Так вот, об руку, нам идти!

Ведь немало было наверчено
В неухоженной нашей судьбе,
Чтобы стали друг к другу доверчивей,
Чтобы сделались строже к себе.

Бабье лето горит над плёсами —
Наших будничных дней холсты
Расписало мазками броскими.
Мы с ним нынче во всем — на «ты».

Подари мне своё дыхание,
Испытующий взмах ресниц
И к душе моей неприкаянной
Поздней радостью прикоснись.

Листопад

Гортанный шёпот...
Растрёпа-Осень
опять ворожит.
И так я знаю,
сезон минувший
не праздно прожит:
Сама платила
за все удачи
и — неудачи!
Что ж дальше будет?
Что — оплачу́ я,
а что — опла́чу?

Кого утешу?
Кто помешает?
А кто — поможет?
...Гортанный шёпот...
Растрёпа-осень
вовсю ворожит!
Всё мечет карты
Из поределей
своей колоды.
На три дороги...
На перекрёстки...
На повороты...

* * *

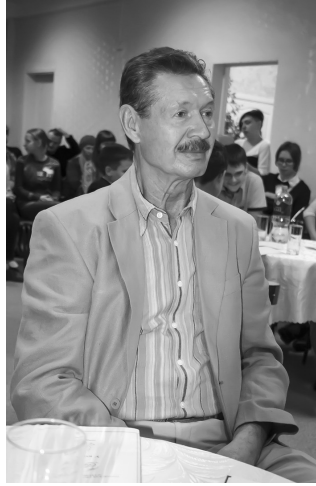
Чаёк из чаги с травами.
Костёр — от мошкеры...
С проблемами отравными
Расстались до поры.

Тихонько речка плещется.
Ночная жизнь кругом.
И чудится-мерещится,
Что обретён свой Дом:

Костра живой заставою
Очерченный мирок...
Молчать, в огонь уставившись,
С собаками у ног.

Пить воздух холодающий
Да леса голоса
С рукою, отдыхающей
На голове у пса...

АЛЕКСАНДР ГАЛЫГА



Отзвуки детства

Андрею Степановичу Корниенко

Я помню, как пахнет талинника куст,
как каплет, мутнея, берёзовый сок.
И запах полыни, и щавеля вкус
я в отзвуках дальнего детства сберёг.
А ты ощущаешь, как дышит трава,
тонка и прозрачна небес акварель,
как прееет, слоясь подо мхами, листва
под звон тишины?
Неожиданно трель
расколет распадок, уйдёт рикошетом,
и предощущение красоты
возникнет, и трудно сдержаться при этом
чтоб не закричать, не запеть...
Впрочем, ты,
наверное, любишь свой город не меньше

с его суетою и праздной тоской?..
Но только на фоне любой деревеньки
беззвучно тускнеет пейзаж городской.
Не архитектоника звука и света,
там лепет черёмух, вселенские сны
и лёгкая грусть уходящего лета,
и клёкот прощальный: до скорой весны!
Уже в октябре остывают поля
и ёжится пашня под первой порошей,
задиристо-весел морозец хороший,
и неповторима родная земля.
Мечтаю дощатым пройти тротуаром,
себя ощутить человеком сполна,
и снова увидеть: над старым амбаром
большая, как в детстве, восходит луна.

ГАЛЫГА Александр Андреевич родился в 1948 г. в пос. Новые Броды в семье учителей. Окончил Тулунское педагогическое училище и Иркутский государственный университет. Стихи пишет с 10 лет. Автор поэтических сборников: «Шивера Арзама» (1992), «У Красного яра» (2000), «Предзимние росы» (2001), «Когда давали имена» (2003), «Байкальская мелодия» (2005), «Избранное» (2008). Бард. Живёт и трудится в Саянске.

Морской этюд

Николаю Рашидовичу Комкову

На Чёрном море тишь и гладь стоит.
Проворным визажистом ветер лижет
шелковицы. Всё лето мирно спит
Нептун могучий. Полным штилем дышут
морские дали. Утром, взяв мольберт,
с темрюкского шагаю побережья
в Тамань и прихожу в обед,
оставив позади лиманы. Спешно
пишу этюд, другой на берегу
с ухоженной хижинкой поэта.
Потом иду в музей и не могу
уйти. И с Лермонтовым где-то
так близок я родством души своей,
из зёрен золотую середину
выхватывая и палитру всей
картины собирая воедино,
испытываю вновь, что испытал поэт,
глядевший в даль лазурную над морем,
хотя с времён тех много знойных лет
минуло здесь, но в голубом просторе
всё та же синь и солнечная пыль,
самановые мазанки меж вётел,
и жизнь течёт, как вековая боль
сквозь сети, вдоль баркасов, подле вёсел.
И цепкий взгляд мой уловил, едва
заметною на горизонте гранью,
полоску шторма. Первыми, сперва
засуетились чайки над Таманью
и закричали вдруг... И полетел
их крик тревожный выстрелами к суше...

И буруны пошли, что я хотел
за лето в море, тщетно, обнаружить.
В какой-то миг такая тишина
повисла над подавленной Таманью!..
Умолкли чайки, будто их вина
была причиной их переживаний.
И вот, достигла берега, сполна
слизав с откоса высохший песчанник,
ударила тяжёлая волна
и утопила крики белых чаек.
И парусник вздымался на волнах,
и уходил в коричневое море...
Там дерзость побеждала дикий страх
в восторженно-бушующем просторе.
Летела пена белым вороньём
стремительно над сумрачной Таманью,
пах йодом воздух, и сверкали в нём
так близко звёзды. В молоко тумана
к утру улёгся шторм. Издалека —
я видел — появился Крым — отшельник
с белёсыми глазами Судака,
и Керчь биноклем трогал за ошейник.
Вблизи дельфинов стайка, над водой
изяществом движений привлекая...
И нарождался месяц золотой,
свои рожонки в море полоская.
Мальчишки шли по отмели вдали...
Я помню всё: тот день, ту ночь, то утро...
Я их спросил потом: чего нашли?
В ладонях были зёрна перламутра...

В Уяне

Анатолию Ананьевичу Сизых

Нежданный гость уже вторые сутки
хозяином гуляет по двору,
бубнит, бормочет шутки, прибаутки,
в одну ему понятную игру
играет он, а вроде занят делом
с утра до ночи, с ночи до утра.
За сутки столько шалостей наделал:
тропу к колодцу превратил в овраг,
наполнил бочки, тазики, ограду,
в саду залил осевший напрочь стог,
не чтоб проехать, а пройти по тракту
проблематично стало без сапог.
Смотрю в окно. Не видно крыш соседских,
бывают и сильней дожди, хотя

я не припомню со времён советских
такого неуёмного дождя.
Набрякли прясла старого забора
и пожелтел меж них зелёный мох...
Неугомонных воробышек свора
толкается, запрытавшись под стог
и под навес у погреба всей стаей...
Во мгле подвижной дождевой пыли
теснятся на колодине, слетая
почистить перья в пухуне земли.
К обеду потеплело. Солнце, близко
к земле пробившись, уронило жар,
освечивая двор и низко-низко
по-над землёю заструился пар...

И засмеялись индюки в ограде,
заржали кони у солончаков,
и, надо полагать, не шутки ради
завыл мотор у пьяных рыбаков.
А дождичек всё силился, стараясь
вновь лужи пузырить, плясать в песке,

но луч, меж туч всё чаще прорываясь,
сулил конец безделью и тоске
двух дней воскресных. Закрываю книгу
и следом за детьми иду во двор
улаживать дождливую интригу...
Нежданный гость, он всё-таки не вор.

* * *

*Ветеранам волейбольной команды
саянских строителей*

Я нападал. Разбег, прыжок, удар!
Вениаминыч выдал пас изящно.
И заработал зал. Двенадцать пар
надёжных рук играли в настоящий
великолепный старый волейбол...
Блок, блокировка. Выше блока «кол»!
Он в «лапы» лёг Петровичу в подкате...
Подъём мяча, полупрострел в азарте.
Серёжа! Пас! И снова белый шар
штурмует сетку. Снова передача
на левый край. От блока в сеть удар
не держит бечева... И наудачу
летят мальчишки... Сколько ж надо звёзд,
чтоб каждому хотя б одну лелеять?
Игра игрой. Но в жизни так всерьёз
свою игру найти, срастить и склеить —
в великой обезумевшей стране,
где десять лет одни чертополохи...
Но держат мяч на этой стороне
надёжно парни... И, дела их плохи,

когда они уронят этот мяч...
И будет фол над нулевой отметкой,
тогда сливай раствор, и плачь не плачь,
не вымахнуть уже по грудь над сеткой.
И потому азартно и легко
работают мужчины на площадке...
До пенсии не так уж далеко...
Денисыч! Поднимайся, всё в порядке!
Не каждому дано так срезать мяч,
не всякому дано вот так резвиться,
лишь только не проспять свой звёздный матч...
И всё на свете снова повторится...
И город, что построили шутя,
и та страна, что вынесли из ада...
Андреич! Спишь... И снова, не щадя,
в простреле мяч летит куда не надо,
куда-то по кривой, в тартарары,
уносится в свободное пространство...
Я обожаю риск и постоянство
Мужской, по-настоящему, игры.

* * *

Сергею Семёновичу Селеванову

Я люблю мой Саянск, в августовские росы одетый,
и весной, в ожерелье багульника, добрый, хмельной.
По еловым распадкам, по тропам извилистым летом
я лунатить люблю под большой серебристой луной.

Это звёздное небо с полярной звездой над лесом,
с той надеждой, что льёт мне таинственно свет из ковша...
Я люблю, когда солнышко утром приходит воскресным,
освещая мне комнаты, ласково и не спеша.

И по будням, и в праздники эти знакомые лица,
что приветливым взглядом, улыбкой согреют своей...
И надолго уехав, скучаю. И город мне снится,
город юности, счастья и город надежды моей.

И опять вспоминаю с теплом и надеждою тоже,
как приветливы люди в глубинном сибирском селе...
И когда возвращаюсь, то чувствую, нету дороже
и уютней Саянска на этой огромной земле.

Сочи

Н.В. Юртаевой

В дивном парке Ривьера, где цветы на магнолиях тают,
в направлениях разных, где гуляет туристов толпа,
на аллеях поэтов многолюдно и не зарастает
к ним, певцам и пророкам, живая людская тропа.

Изваянные в камне, у фонтанов диковинных, звери
отражаются в глянце цветных лазуритовых плит...
В дивном парке Ривьера и история царств, и империй
со своими потомками, с нами опять говорит.

Восхищают видения и тревожат сознание и память...
И я думаю, глядя с надеждой в людские глаза:
Сколько надо любви, чтобы стали кавказские дали
так же щедро всегда синевой наполнять небеса?

Чтоб холста не хватало на великие эти пейзажи,
чтобы не на войну приходили поэты сюда...
Чтоб какой-то мальчишка в восторге воскликнул однажды:
«Мир прекрасен!», поверив, что мир и спасёт красота.

Стрижи

Галине Павловой

В амбразурах счастья быть не может,
думал я о суете стрижей,
смелых птиц, на ласточек похожих,
виртуозах дерзких виражей.

Маленькая птица вырывалась
из норы, устроенной в стене
над водою. И стрелой взмывала,
с силою, неведомою мне.

Но не это привлекло внимание.
Слишком неприметные они,
истинные божие создания,
без шумихи, драк и болтовни.

А сегодня стайками зависли
возле норок, бьются и кричат...
Это же они на первый вылет
вызывают маленьких стрижат,

на откос выталкивая смело.
Те же, вниз сползая, вот беда,
вспархивая робко, неумело,
крутят головёнками. Куда?

По откосу в гору? Только где там?
Вниз к воде? Там буруны кипят.
И птенцам осталось только небо,
и они взлетают и, летят,

зависая над шальной водою,
испытав и первый страх, и риск,
и призывы птиц над головою,
крыльев их бодрящий шум и свист.

И уже почувствовав движение,
воздух тонким крылышком поймав,
вопреки земному притяженью
рвутся вверх на зов пернатых мам.

Высотёнку наскребя, кто где там,
то и дело обрываясь вниз, —
полетели... Известил об этом
их победный, оглашенный писк...

Так вот и душа небесной птицей,
вопреки житейской суете
взлётов и падений, вновь стремится
вверх, к непокорённой высоте.

ЮЛИЯ БУТАКОВА



* * *

Когда камыш сгибает спину
Под натиском июльских гроз,
Скучает дед по карабину
И в лес поглядывает пёс.

Обоим лет уже немало:
У одного — верстак, чаёк...
Обкусанное одеяло
Другому согревает бок.

А где-то, в сумраке раздолий,
Синильга чинит торока:
Её жених в эдем соболий
Наметил путь. Но спит пока.

От богатырского сопенья
Дрожат брусничные ковры.
И дед наш грезит до Успенья
Душистой насушить махры,

Которой нынче — полнадела.
А вот бывали времена:
И он, и пёс, сходяв на дело,
Всю ночь коптили кабана.

И омуль был крупнее раньше,
Туман сырее, легче речь...
«Сходить мне, что ли, выпить к Паныше?
Чего здоровье зря беречь...»

Но Паныша на иных широтах
Давно уже. И дед встаёт,
Газетку стелет, хлеб и шпроты
С далёкой полки достаёт.

Пусть пир таёжников сегодня
Продлится до прозрачных рос.
Вдруг, очень скоро скрипнет сходя
И возвратится сын-матрос?

БУТАКОВА Юлия родилась 2 февраля 1975 г. в Ангарске в семье служащих. В Саянске живёт с 1979 г. Печаталась в «Новых горизонтах», в областной газете «Родная земля», журнале «Сибирь», «Литературной газете», в печатных изданиях Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Ставрополя. В 2004 г. выпустила свой первый сборник «Начало», лауреат в номинации «Литература. Поэзия» в 17-м областном конкурсе «Молодость, творчество, современность». В 2009 г. вышел сборник стихотворений «Тридцать три!» В 2010 г. окончила Литературный институт им. А.М. Горького.

* * *

Какое мне дело до кедров и мёда,
До тёмной воды в незамерзшей реке!
Латунная осень десятого года
Сжимает нещадно меня в кулаке.

А век Золотой, он грядёт или канул?
Я — миг во вселенной. Как жить и когда?

Лишь рыжий сезон наступает по плану
И закономерно темнеет вода.

Мохер куржака обозначил границу
Меж хаосом ночи и логосом дня.
Зима свою руку суёт в рукавицу
И по эстафете сжимает меня.

* * *

Маяк мигает на холме.
Прилив диктует стансы небу.
И я, спокойная вполне,
Пишу сейчас не на потребу

Врагам, газетам и земле,
А небесам, тебе и дружбе.
Раскрытый томик Дю Белле
Листает ветер — южный, чуждый...

Ты далеко. Ты не один.
Где вызов небу неуместен.
И твой новорождённый сын
Ещё не знает, что известен

Его отец уже давно,
И любит женщину другую.
Я дегустирую вино
И вещи не спеша пакую.

Но что-то снова не даёт
Стихи прервать, к тебе вернуться —
Меня пугает самолёт
И вдруг разбившееся блюдце...

Определившись, наконец,
Я остаюсь, припоминая,
Что ты творец, поэт, мудрец,
А я — лишь женщина земная.

Похвали меня, папа...

Похвали меня, папа,
За скворечник, сколоченный мною.

В куртке тонкого драпа
Ты любил прогуляться весною.

Обними меня крепко:
Я не «папенькин сын», я «весь в папу».

Восьмиклинная кепка
(Мне б такую! Не надо и шляпу).

Ты приснись, когда сможешь.
Буду ждать тебя каждую ночь.

Никогда не уложишь
Спать свою нерождённую дочку.

Если там её встретишь —
Расскажи про меня и про маму!..

...Взрослый сын вспоминает
Свою давнюю детскую драму.

АЛЕКСАНДР КАШИЦЫН



* * *

Кончилось лето уже,
похолодало до срока,
в опустошенной душе —
холодно, чисто, далёко.

Не находя рубежа,
дна, высоты и предела,
не беспокойся, душа,
тем, что ты так опустела,

не дожидайся с утра
ни суеты, ни азарта,
нынче уже не вчера,
но ведь ещё и не завтра.

Перед дорогой присядь,
горстью попей из колодца...
Всё повторится опять,
и никогда не вернётся

то, что уходит спеша,
взору представши едва лишь...
не беспокойся, душа,
ты туда не опоздаешь.

КАШИЦЫН Александр Александрович (31.12.1948 — 1.11.2007). Впервые опубликовался в областной газете будучи школьником. Учился в Пермском университете, Институте водного хозяйства, Литературном институте. Жил и работал в Саянске более двадцати пяти лет. Автор сборника «Слепой поводырь» (1993), составитель и редактор альманаха «Серебряный Саянск» (1995), литературно-художественного детского альманаха «Свободная тема», автор и составитель периодического школьного альманаха «Окно» для одаренных детей, руководитель гимназического факультатива «Практикум поэтического языка». Занимался редакционно-издательской деятельностью.

* * *

Между землёй и небом,
кроме глотка воды,
кроме горбушки хлеба,
нету ни в чём нужды.

Мы и его дождёмся,
хлебом, травой, дождём,
тысячи раз вернёмся,
тысячи раз уйдём...

И в опустевшей роще,
среди осенних дней
это гораздо проще,
это куда видней.

Ну, а пока что веруй
в то, что не скрыть от глаз,
ибо всё это в первый
да и последний раз...

Хлеб убирают с нивы,
хлещет вода в песок,
значит, и будем живы,
значит, не вышел срок.

Ветер, прогнавший тучи,
слёзы не стёр со щёк.
Что же тебя так мучит,
что же тебе ещё?..

* * *

Спасибо, что судьбой к тебе заброшен,
и ты, мне милосердье оказав,
не пристрелила загнанную лошадь,
увидев жеребёночье в глазах.

что, полубозначившись, мерцало,
в такой непостижимой глубине

Спасая наши души от разлада,
нам в эту ночь досталось на двоих
великое паденье снегопада,
безгрешного, как помыслы твои.

или звездою по небу летело,
и на неё смотрели, не дыша,
извечные враги — душа и тело,
соединившись тело и душа.

Едва возникнув, слово замирало,
не в силах объяснить тебе и мне,

В какие их пространства уносило,
в какие заповедные края...
За всё, что оказалось им по силам,
благодарю, хорошая моя.

* * *

К горизонту на подъём пологий,
в сумерки, неведомо куда,
человек уходит по дороге,
а над ним вечерняя звезда.

там и тот, кто, крикнув:
«Наконец-то!..», поспешит скорее отворять...

Человек уходит, чтобы к сроку,
как бы ни был путь его тяжёл,
подойти к какому-то порогу
и сказать: «А вот и я пришёл...»

Он, небритый, но необходимый,
в горле ком проглотит как-нибудь...
«Где же ты так долго был, родимый?»
«Это я к звезде искал свой путь».

Там его единственное место,
маета его и благодать,

И звезда та станет зоревая,
притушив сияние своё,
может быть, о том подозревая,
что достиг он именно её.

* * *

Предошущение любви
приходит, поздно или рано,
но ожидающим вдали
предошущением обмана.

В трёх соснах не переплутать,
хотя, вот именно под осень,
всего сильнее тянет взять
и заблудиться между сосен,

не опасаясь, как-нибудь
одним движением неловким
очарование спугнуть
очаровательной чертовки,

за колдовским сияньем глаз
пойти и сгинуть в глухомани...
И, может быть, в последний раз
удостовериться в обмане.

* * *

Ну что же, милая, пора!
И челядь мебельная бдяще
следит за тем, чтобы игра
не стала чем-то настоящим.

Пора слепым поводырям,
ведущим к пропасти друг друга,
во всем доверившись дверям,
уйти из замкнутого круга,

где мы недвижны и немые,
и нелюдимо, и неловко,
как будто челядь при ней мы,
а не при нас мебелировка...

А за окном, в финале дня,
твои влюбившиеся сёстры,

шалые головы сломя,
напропалую гаснут звёзды.

Еще до Страшного Суда,
за всё свершённое в ответе,
они погаснут без следа,
неосторожные, как дети.

А мы, весь вечер просидев,
свои порывы подытожим,
в квартиры собственных судеб
вернувшись мебелью всё той же,

где столько лет уже подряд
спиною чувствую сутулой
такой отчаяннейший взгляд
перепросиженного стула.

* * *

Давно оттанцевала на балу,
но всё ещё, глазищи свои целя,
является: «Я рана. Я болю.
Ты обманулся — я не панацея».

И в самом деле, свыкнуться пора
с тем, что она тревожит неустанно,
бог весть уже с каких позавчера,
казалось, зарубцованная рана.

И инвалид скрипит зубами, хоть
волком вой, от боли сатанея:
его несуществующая плоть
с годами всё больнее и больнее...

Мне кажется, я жив наоборот:
пока она болит во мне, сквозная,
прикинув к ней, и вижу наперёд,
и знаю то, что даже сам не знаю.

В такую пропасть запросто упасть,
хоть все моря на свете поколенны,

коль губит человеческая страсть,
любить, очеловечив, манекены.

Ах, Галатеи из папье-маше,
я сочинял вас, не ища поживы,
но вы грозите вслед моей душе
за то, что на мгновенье были живы.

И в левой стороне груди порез,
и встречные персты влагают в рану,
и нету счастья, если в стельку трезв,
тем более, его не видно спяну...

То суета бездельничанья дел,
то свист в лицо, а то соблазн оваций,
то встретишься, с кем вовсе не хотел,
так и не встретив, с кем хотел встречаться.

Но в том ещё прекрасная юдоль,
что, выпрямив крутые повороты,
ко мне она является: «Я боль,
какую б чушь, мой милый, ни порол ты».

* * *

Минуй тебя чаша сия,
бессонниц тревожные ночи,
и жуткой тоске одиночеств
дырою в тебе не зиять.
Минуй тебя чаша сия!

Минуй тебя беды, и пусть,
когда настигают обиды,
да будут они истребимы,
ты всё-таки счастлива будь.

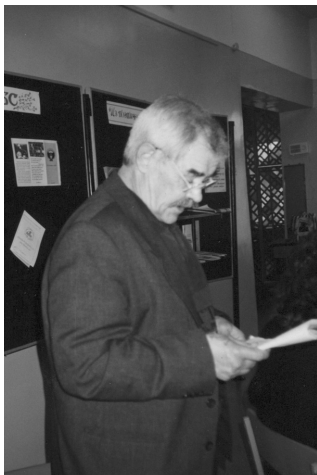
Какие порой холода,
душа каменеет ледышкой,
а если её и отдышит,
то только твоя красота...
Минуй тебя зло и беда!

А встреченная любовь
пусть будет высокой и чистой,
мы так от неё беззащитны,
не надо б тебе эту боль.
Храни тебя люди и Бог!

Наш мир обнажённо-раним,
и если уж чем-то спасаем,
то только такими глазами,
а ты состоишь лишь из них.
Господь же тебя сохрани!

Удача досталась не мне,
я мимо пройду... Бога ради,
пусть будет счастливый избранник
за избранность счастлив вдвойне,
за то, чтобы не могла
холодных печалей изведать...
Минуй тебя всякие беды,
дай Боже любви и тепла!

ВАДИМ КИКИРЕВ



Они звенят в тебе

Порою чувствуешь — прекрасно!
А вот попробуй-ка, запой!
Но вдруг они приходят властно,
неотвратимо, как запой.

Они сияют, как вершины...
Ты лишь пиши, пиши, пиши,
когда волнуются глубины
твоей разбуженной души.

Тогда не надо много думать
и что-то, тужась, сочинять,
они звенят в тебе, как струны,
их только надо записать.

Какая дивная отрада
насквозь пронзит тебя на миг.
И силы рая или ада
ума вращают маховик.

КИКИРЕВ Вадим Алексеевич (07.01.1939 – 30.06.2008). Работал водителем, проехал Сибирь, Чукотку, Колыму. Стихи посвящал друзьям, хорошим людям, природе, Родине. Автор поэтических сборников: *«На старой стоянке»* (издан в Магаданской области, 1993), *«Пятая сторона света»* (Саянск, 2000). Регулярно печатался на страницах местных периодических изданий.

* * *

Неожиданна чёрная весть
среди ясного неба чукотского,
словно чья-то нелепая месть —
больше нету Володи Высоцкого!

Огорошила, смяла, смела...
Как же так? Ведь недавно мы слушали,
и веселою песня была,
когда правил он тройкой над кручами.

Пошевеливал лихо кнутом,
зорко целился в дебри болотные,
и на самом верху на крутом
почему же вдруг встали, залётные?

И не стронет их с места рука,
не потянется к струнам, привычная...
Неужели теперь навсегда
забодает нас песня приличная?..

Милый сын нашей Русской земли,
как старатель, ты мыл её золото,
гнал сквозь бури свои корабли.
Не поэтому ль сердце расколото?

Над чукотскою тундрой тишь.
Слышу я, что ты кем-то не признанный.
Только в сердце моём ты стоишь
рядом с Пушкиным, даже не изданный.

На старой стоянке

Вот и снова меня судьба
привела на стоянку эту.
Здесь у каменного столба
вспомнил я далёкое лето.

Как давно он прошёл, тот дождь,
что в палатку гудел, как бубен,
и смотрел я, скрывая дрожь,
как твои улыбались губы.

Ты была молода тогда,
да и я был, пожалуй, молод...

Здесь от прошлого нет следа —
в дикой хвое лишь мрак и холод.

Накатила на сердце грусть,
как осенняя непогода.
Десять лет я писал свой путь
гусеницами вездехода.

Улетела в другой простор
и, наверное, вышла замуж...
Десять лет я берёг костёр,
где золы не осталось даже.

* * *

То песня,
то всплеск весла,
то ветер пройдёт осокой,
то крик на краю села
взлетит над рекой широкой.
То ястреб взмахнёт крылом
и сгинет меж сосен сонных,
то катер стальным углом,
как кит, проутюжит волны.
То девочка на мостках
помашет и мне, и лодке.
И — радость в её глазах,
и щедрость её в походке.
За плечи б её обнять,

коснуться б волос руками,
и, за руку взяв, бежать
за белыми облаками!
Проносит меня река
мимо лесов, обрывов.
Девчонка
издалека
всё ещё так красива!
Ну разве не чудо —
жизнь?
Зной глаз и лесов прохлады,
и глубина,
и высь...
Чего же ещё мне надо?..

Камнига

Лежит недочитанной книгой
в далёком моём далеке
таёжный посёлок Камнига,
посёлок на Маме-реке.

Гольцы неподвижно и строго
застыли над Мамой-рекой,
в верховьях крутые пороги
тревожат таёжный покой.

Сияньем прекрасного лика
над временем встала она,
моя незабвенная Вика —
она на Камниге жила.

Чуть старше, а может, моложе,
но всё же меня поумней,
поэтому память дороже
и благодарней о ней.

Смыкал я усталые вежды,
шумела от дум голова:
к чему мне пустые надежды,
одетые ветхо слова...

Я помню, как тихо и страстно
мне Блока читала она,
как было все это опасно,
ведь Вика — чужая жена.

И гладил я тонкие пальцы,
к горячим губам прижимал.
— Не надо, не надо, мой мальчик! —
и голос её затухал.

Во взгляде печальная ласка
запомнилась мне навсегда.
Как всё это было прекрасно,
но звали меня поезда.

Последняя встреча на Маме,
пожатые холодной руки.
Последними были словами:
— Пришли мне, мой мальчик, стихи.

Лежит недочитанной книгой
в далёком моём далеке
таёжный посёлок Камнига,
посёлок на Маме-реке.

* * *

Всё лето качались горы
над маленьким вездеходом,
проехали мы на котором
через леса, через воды.

Всё лето была ты рядом,
бессонность моих ночёвок,
тебе говорил я взглядом:
ты — лучшая из девчонок!

Студенточка-недотрога,
улыбка твоя, как чудо,
и если бы был я богом,
то отдал тебе все руды.

Ещё подарил бы речки
и песни воды кипучей,
и золото на колечки,
и лиственницы на круче.

Срубил бы тебе зимовье,
чтоб было на юг оконце.
Ты стала б моей любовью,
моим одиноким солнцем.

Не сбыться, однако, чуду,
не стать мне таёжным богом,
простым человеком буду,
пойду по земным дорогам.

Мы «поле» закончим скоро,
замёрзнет вода на Кэне.
Вернёшься ты в волжский город
на белых, как снег, оленях.

Привыкнут седые звери
к местам, где ковыль и клевер,
но ты прилетишь, я верю,
за сказкой на Крайний Север.

Дождик

Хорошо, когда в брезент дождинки
мелкой дробью сыплют по ночам...
Дождик — сила,
дождик не снежинки,
дождик, как тяжёлые ботинки,

по кустам, по веткам и по мхам.
Дождик по лицу, как чьи-то руки,
ласковые, тёплые ручьи.
Чьи-то руки, дождик, чьи-то руки...
Не могу припомнить только чьи...

АЛЕКСАНДР МАРКЕЛОВ



* * *

Вот, точно так же будет и у нас.
Ты на себя потянешь одеяло,
И месяц жёлтый в этот поздний час
Заулыбается ехидно и устало.

Что, всё закончилось? Так просто? Я не тот?
Кивнёшь ты молча, глаз не открывая.
И пальцы в кулачки, и искривлённый рот,
И по щеке — слеза, опалово сверкая.

Холодный ужас сердце обожжёт,
Так просто кончилось, что славно начиналось...
Ты помнишь мельницу, и чёрный небосвод,
И запах донника, и томную усталость?

Ты помнишь, был пожар, и тёплый ветер был,
И ночь уже в свои права вступила.
Взлететь хотелось, сколько ж было сил!
Неужто жизнь всё это погасила?

МАРКЕЛОВ Александр Владимирович родился в 1952 г. в пос. Куйтун Иркутской области. Окончил Московскую Академию труда и социальных отношений, Иркутский институт инженеров транспорта. Энергетик. Экономист-социолог. Живёт и работает в Саянске. Делегат 1-го Съезда писателей Иркутской области 2008 года. Автор книг: *«Шаги по родной земле»*, *«Я родился для радости»*, *«Времена года»*, печатался в литературных сборниках «Ковчег», «Саянские эскизы», альманахе «Саянск», а также в областных и региональных периодических изданиях.

Июнь

Медово-горький аромат рябины.
Зелёный сад, и капли за стеклом.
Как хорошо усестяся за столом
Глаза в глаза, с тобою, друг мой милый.

А кисть цветущая в промокшее окошко
Стучит: «Открой, давай поговорим,
Мой милый друг». Ты чаю завари,
И подождём... Пусть постоит немножко.

О чём ты думаешь, зеленоглазый друг?
Ну что ты так загадочно вздыхаешь?
С улыбкой подбородок опускаешь
В ладони мягкие о стол упёртых рук.

Наш домик дачный вовсе не богат,
Пусть мы неважные с тобою агрономы,
Звучит в душе мотив, такой знакомый:
— Я Вас люблю, что делать? Виноват!

Апельсины и снег

В новогоднюю ночь люди долго не спали,
На усталую землю падал медленный снег.
И на этом снегу апельсины лежали,
Два оранжевых солнца, излучающих свет.

— Там замёрз человек! — все истошно кричали.
— Там внизу под балконом замёрз человек!
...А на свежем снегу апельсины лежали,
Два оранжевых солнца, излучающих свет.

— Он ведь к дочери шёл, — все тихонько шептались.
— Вот ведь как, ни за что и пропал человек...
А на белом снегу апельсины остались,
Два оранжевых солнца, излучающих свет.

В эту шумную ночь люди долго не спали.
Перед утром на землю падал медленный снег.
Из застывшей руки апельсины упали —
Два подарка для дочери, апельсины на снег.

Январь — музыка зимы

Вот и звонкий январь прилетел
В новогодье еловых ресничек,
Сине-звонкий и хрупкий, как мел,
Снег, и россыпь лимонных синичек.

И зима словно стала добрей,
Будто в воздухе слышатся скрипки,

И на важных больших снегирей
Невозможно смотреть без улыбки.

Утро розово-сонно встаёт,
Не спеша, потянувшись, светлеет.
Новый год на дворе. Новый год!
А душа от восторга немеет.

Тонкая музыка января. Она едва ощутима в душе, особенным нежным звоном. Будит она странную лёгкость в душе, будто приподнимает над землёй. Нет, это скрипки поют в сердце, томительно, нежно зовут неизвестно куда. И ещё колокольчики, маленькие такие, серебристо звенящие на фоне скрипок. И впрямь, словно замороженная и вдруг оттаявшая музыка Чайковского. Ещё долго будет зима, но какое-то ощущение предвесенья уже летает в воздухе. Совсем невесомо, но отчетливо. По сравнению с тяжёлым сонным декабрем,

придавившим душу, январь выглядит нарядным щёголем, с лёгкой грустинкой, впрочем. Он украсил себя яблочко-толстыми важными снегирами и россыпью лимонно-синих хлопотливых синичек. Хрусткий снег, повизгивающий под ногой на морозце, розовое утро, позднее и ленивое, острый и колючий ветерок, покусывающий то с одной, то с другой стороны, — всё это январь. Красивый, синий месяц, месяц надежды на обновление. Январь — музыка зимы...

Март

В старом, скосившемся доме	Чу! Под застрехою мыши.
Печь навевает тепло,	Значит, приходит тепло!
Темень весенняя стонет,	
Влажно теснится в стекло.	Ветер шумит осторожно,
	Капли тревожно стучат.
Вот зашуршало — по крыше	Ночью уснуть невозможно —
Грудюю снег понесло.	Это рождается март!

Как всё же нехотя разворачивается, оживает март. До половины месяца, наверное, холодно. Хочется тепла, а резкий ветер остужает твои обманутые ожидания. А затем, как-то сразу, вдруг, увидишь, что на лыжах выходить уже поздно. Снег раскис и стремительно начал оседать, темнеть, стал совсем влажным.

Ночью вдруг соскользнёт с крыши, с шумом поползёт и рухнет вниз отяжелевшая груда. И всю ночь будет что-то скрестись и шуршать под застрехою. По сравнению с февралём, небо почти весь март белесое, как макушка у мальчишки-первоклассника. А ночью, и к утру особенно, может такой морозец завернуть, что хрустит, как стеклянный, ледок под ногой, крепко щиплет щёки, да так, что и зимой не всегда такое ощутишь. Влажность-то уже весенняя, вот и переносится холод плоховато.

И самый конец марта, на мой день рождения, как неприятный подарок: обычно намерзает толстый грязный лёд, скользкий, острый и противный. А ещё и снег понесёт. Крупный, липучий, косой снег. Совсем-совсем зима опять. И снегири даже, откуда ни возьмись, налетят стайкой и облепят голый черёмуховый куст.

Надоело жить в холоде. Ну, ещё немножко, и пойдёт, понесётся весна-матушка. Наступит пора апреля.

Апрель

Снова апрель	Вот и тепло,
разбросал золотые монетки	и опять оживает природа
в лужах холодных,	И горожанки...
и с льдинками их размешал.	Им зимние шубы тесны!
На островах	Вечер, как сталь!
краснотала ожившие ветки	Жёлтый месяц на край небосвода
я из окошка автобуса	словно приколот
вдруг на Оке увидал.	на занавес синий весны.

И вот он, апрель, — время стремительно набирающей силу весны. У нас это особенно ощущается. Только что был холодноватый март. И вот уж летит, летит весна, спеша, навстречу своё, законное. На островах по Оке отогрелся и ожил краснотал, светит вишнёво, большими купами. И березняки забусели, зарумянились ветвями.

Дни настали тёплые, размягчающие душу. Долой шапки, долой платки! А дышится во всю силу лёгких, мощно да свежо.

Вечером, на тёмно-синем небе висит месяц, нереально отчётливый. Он словно вырезан из золотого картона и приклеен к небу. А вокруг звёзды, как гвоздики золотые. И

долгая заря подсвечивает снизу чуть розово, будто в странном небесном театре. В эти часы вновь ощутишь бодрый такой холодок — апрельский. Но только до утра!

А утром снова торжество солнца, которое рассыпается своими лучами по лужам, словно сеет золотыми монетками. Пошла наша Весна!

Воспоминание

На окне

Детство моё, ты в окне
розовым таешь ледком.
Помню, сижу на скамье,
кружку держу с молоком.

* * *

Бабка у печки стоит,
и хлебный дух на весь дом.
— На вот, внучок, — говорит, —
калачик тебе с угольком.

* * *

Радио там на стене
чёрной тарелкой висит.
То запоёт о Кремле,
то о труде загалдит.

* * *

А на полатахверху —
лук золотой перевит.
И самовар на столе
уж добродушно сипит.

* * *

Там на окошках герань.
Тронешь — запахнет листок!
И занавеска над ней,
будто девичий платок.

* * *

Детство моё, ты со мной,
ты до сих пор у окна.
Стал я давно уж большой,
да память, как видно, одна.

* * *

В ней до сих пор на стекле
розовый лёд, как пожар.
Паром пытит на столе
наш золотой самовар.



«Живите все, пока живу.
Когда умру — живите тоже»

По улице моей который год
звучат шаги — мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.

Белла Ахмадулина

Эти строки двадцатилетняя девочка написала вовсе не о том роковом уходе, который навсегда. Мудрое сердце поэта подсказало многое с ранней юности, но жизнь ещё не испытала её трагическими потерями, оставляющими шрамы в душе. Однако и тогда, не понимая до конца, что именно прозрела, она сказала многое и за нас, людей, которые вплотную подошли к финишной черте и полной чашей испили страданий, горестных прощаний и уходов туда, откуда не возвращаются... Куда ушла Любовь Сухаревская, наша Любочка...

БАМ. У каждого свой

*Бросаю скучные занятия,
Мой тихий город, Бог с тобой,
Я к вам, ребята, принимайте,
Не за туманом — за судьбой.*

Байкало-Амурская магистраль... БАМ, сначала воспетый, потом изруганный. Он начался, чтобы испытать тысячи молодых людей своей трудной работой, суровым бытом, да ещё и неразберихой грандиозной советской стройки — со всеми её родовыми болезнями. Это была трасса для крепких мужиков, но уж никак не для хрупких женщин.

Не помню точно, когда и где я впервые встретил Любу Сухаревскую, но что это было в какой-то бамовской командировке — уверен. Встреча была мимолётной, помню только, подумалось, что этой блондинке, этому эфирному созданию делать среди грубых мужиков и тяжёлых машин? К тому же — поэт (это я знал), ей бы витать в каких-нибудь райских кушах, среди утончённых дам и куртуазных кавалеров, среди муз, слева — Эрато, справа — Каллиопа. А тут тебе — никаких изысканных речей, одна грубость, густо приправленная матом, железо, грохот, весенняя распутица, летняя пыль, жара с мошкаррой и комарами, осенняя слякоть, зимой — морозы за тридцать, а то и под сорок и ниже. Никаких гостиниц, ночуй где придётся — в заежке, все удобства на улице, в насквозь прокуренной общаге, среди мужичья, не всегда трезвого, в балке... Подумалось — недолго это нежное существо здесь выдержит. Плохо я знал Любу, точнее, совсем не знал. Вся её последующая жизнь показала — она была куда сильнее характером многих и многих мужчин.

Более подробно помню следующую нашу встречу. Она тоже была связана с БАМом, хотя и случилась далековато от него — в Улан-Удэ, где проходил первый слёт ударных комсомольских отрядов и куда мы приехали от «Молодёжки» вместе с Борисом Ротен-

фельдом. Как всегда, когда собираются вместе множество молодых людей, получивших передышку от тяжёлой работы, было суматошно, шумно и пьяно. Торжественные речи (их говорили Герои Соцтруда, работники ЦК комсомола и даже один космонавт) воспринимались как досадное отвлечение от сплошного праздника жизни. Мы с Борисом не были исключением, хотя молодыми нас можно было назвать с большой натяжкой — под сороковник подкатило, далеко не мальчики... В этой кутерьме Люба выделялась спокойствием, несуетностью, отстранённостью от галдящей толпы. Мы с Борей сделали попытку потолковать, познакомиться поближе с привлекательной коллегой. Поговорили, но как-то формально, особого контакта не возникло, нам показалось, что она даже несколько высокомерна — всё-таки поэт, не то что какие-то газетчики. Как мы ошибались! На самом деле, как я понял позже, всё было ровно наоборот — Люба, которой тогда не было и тридцати, смущалась в разговоре со взрослыми дядьками, к тому же с журналистами областной газеты, которые ей, «районщице», видимо, казались птицами высокого полёта (чего мы, в нашей демократичной «Молодёжке», никогда не ощущали). Так и получилось, что мы тогда друг друга не поняли — мы в то время уже были людьми довольно циничными, а Люба, в отличие от нас, умела смущаться и, кажется, даже краснеть — в отличие от большинства наших коллег женского пола.

Что же касается БАМа, то и тут между нами было одно, но существенное отличие, причём в пользу Любы, — хотя мы там знали многих и даже имели настоящих друзей, бывали часто и подолгу, но всё же наездами. Она же не побоялась оставить свой «тихий город» и уехать на Лену, в Усть-Кут, чтобы с головой погрузиться в будни магистрали. Знаю, многие хотели бы повторить этот её поступок, да не многие решились. Потому что мало кто осознал, как это сделала Люда, что бросить насиженное место и ехать в неуютной стройке, надо, в первую очередь, не за длинным рублём и не за гитарной романтикой:

*Я к вам, ребята, принимайте,
Не за туманом — за судьбой...*

Вслед за ней — а может, раньше или позже, не важно, — на другом конце магистрали Володя Гузий, собрат Любы по перу, откликнется:

*Лучшую дорогу в нашей жизни
Мы с тобою вовремя прошли...*

Тогда на магистраль рвались все, редкий из наших сослуживцев хотя бы раз не побывал там. Но только Люба могла сказать:

*Здесь мой друг.
Здесь мой след.
Здесь мой дом.*

И когда я открыл тоненькую книжку её стихов под названием «Послушай сердце», стало хоть немного понятно, что она нашла, а что, возможно, и потеряла на этой шумной стройке. Стихи в этой книжке, может, и не верх совершенства, но у них есть, как минимум, два неоспоримых достоинства — они предельно искренни и, во-вторых, совершенно лишены пафоса, которым в те годы захлёбывались куда более именитые и опытные поэты. Помните: «*Это время гудит — БАМ, на просторах крутых — БАМ! И большая тайга покоряется нам!...*»? Эти колокольные строки можно написать сидя где угодно, хоть в Москве, хоть на черноморском курорте.

А вот это в городской квартире не напишется:

*Труден путь, но иного не хочется,
Хоть и ломит под ношей плечо.
Друг надёжен, и порох не кончился,
Дома помнят. Чего же ещё?*

Иного, конечно, не хочется, но всё-таки для меня здесь ключевые слова — «Дома помнят». Потому что по себе знаю, как бы ни хорошо было в чужих краях, как бы ни была полна твоя жизнь нужной и даже любимой работой, всё равно она, болезнь эта, ностальгия, найдёт щелочку, минутку, хоть во сне, хоть в шумной компании, и окликнет памятью о старом доме, тополе под окном, маминых морщинках, нежных детских ладошках... А вот и свидетельство, что она и Любу не обошла стороной:

*Мне снится город по ночам.
Такой родной, такой далёкий,
Многообразный, многоокий,
Что так присуще городам,
И всё такой же молодой,
И всё не может догадаться,
Как трудно было мне расстаться
С его весёлой суетой.*

Да и бамовское общение у Любы было несколько другое, чем у нас, — мы больше дружили с мужиками, которых знала вся трасса, — с Лакомовым, Казаковым, Бондарем... Ничего не скажу, это всё люди достойные, БАМу вообще везло на героев, звёзды падали правильно... Это вовсе не значит, что мы не замечали или избегали рядовых строителей, но они всё же чаще всего оставались на периферии нашего общения.

В Любиных же стихах я не нашёл ни одного громкого имени, разве что Анзора Варламовича Двалишвили, да и то в связи со знаменитым грузинским гостеприимством, а вовсе не в парадных строках.

Но зато девушку-бакинку в мелькающем на зимнике газике глаз поэта не мог не заметить:

*На этой трассе, на лежнёвых
Нетореных дорогах новых
Меж разномарочных машин
Мелькает газик, как песчинка,
А за рулём сидит бакинка —
Косынка. Чёлка. Апельсин.*

Дорогая «Молодёжка»

Она появилась в нашей редакции как-то негромко, не очень поначалу заметно, как, впрочем, делала в этой жизни всё — жила, работала, писала стихи, мыкала нелёгкую женскую долю — хорошим людям редко везёт в жизни. Как люди, причастные к большой стройке, мы сразу стали не чужими друг другу, но говорили об этом мало, если вообще говорили, что-то не припоминается. Да и о чём особенно говорить, если у каждого из нас был на БАМе свой опыт, свой круг общения, свои пышки и свои шишки? К тому же этот период жизни Любы остался с нею навсегда, но всё-таки в прошлом, а тогда начался совершенно другой, который длился до последних дней, который, если обозначить его официальным названием, будет звучать так: «Любовь Сухаревская и иркутская культура». Но Люба ни в какой официальный контекст не вписывается, всё, что она делала, — это работа, прежде всего её души и, конечно, ума.

Именно в «Советской молодёжи» она обрела тему, которой осталась верной до конца. Если собрать вместе все её публикации об иркутской культуре, получится замечательное исследование вопроса — с конца 70-х годов до начала второго десятилетия XXI века. Правда, случались перерывы, но об этом ниже.

Её любимым детищем стал «Привал», литературно-публицистическое приложение к газете. Раньше на «Привале» хозяйничали многие образованные литературные дамы, но... одна больше любила себя, чем работу, другая не понимала, зачем надо отвечать на

письма читателей, третья не имела достаточного терпения, чтобы говорить с авторами. А ведь в отдел, в который пришла Люба, писем слали едва ли не больше, чем в любой другой, и посетители тоже скучать не давали. Посетители и авторы этих посланий известны какие — всё больше люди творческие или считающие себя такими, а то и попросту графоманы (таких во все времена было гораздо больше, чем людей действительно способных) — всех их объединяет одно: народ этот ужасно ранимый. С ними надо быть очень внимательным и выдержанным человеком — любой, кто пишет хоть стихи, хоть прозу, считает себя как минимум талантом, если не гением, и разубеждать его бесполезно. К тому же среди графоманов встречаются, и нередко, люди... как бы сказать помягче?... не совсем нормальные, что ли. А если такой творец находится в стадии сезонного обострения, тут уж вообще ничего не докажешь. Такие люди, как правило, не удовлетворяются объяснением женщины, будь она хоть Анной Ахматовой, им подавай редактора или, на худой конец, его заместителя. Признаться, мы с редактором устали от них отбиваться.

Но с приходом Любы мы заметили, что их поток в наши кабинеты стал иссякать, а потом и вовсе сошёл на нет. Не сразу, но поняли, что произошло, — в редакцию пришла женщина не только знающая, но и терпеливая, и ровная в обращении. Словом, человек, которого мы, сами того до конца не осознавая, ждали давно. Отбиваться от графоманов — занятие не только пустое, но и порой опасное. Ко мне выяснять отношения однажды приходил некто с огромным сенбернардом, он просто не знал, что я собак не боюсь. А тут — как обрезало, не идут, не стучат кулаком по столу, не грозят жаловаться ни властям, ни даже в партийную газету (почему-то эти люди считали, что наши коллеги, сидевшие этажом ниже, — начальники над нами). Из маленького кабинета (он был как раз напротив приёмной редактора и зама) тоже не доносилось никаких звуков скандала и даже разговора на повышенных тонах.

Наконец, мне стало интересно, что же там происходит, как этой негромкой женщине удастся усмирить самых напористых «творцов». Попросил Любу сообщить мне, когда придёт один из них, и разрешить тихонько посидеть в уголке. Пришёл, посидел, послушал. Вроде ничего особенного не увидел и не услышал. Но, подумав, понял — этот негромкий, терпеливый разговор, этот ровный, спокойный голос, это уважительное отношение к человеку, к его беспомощным виршам — на самом деле и есть понимание собрата по творчеству, как бы слаб он ни был. Понимание того, что свои хилые строчки он выносил, выходил и, наконец, доверил бумаге, а потом захотел показать людям. Не его вина, что Бог не дал ему таланта, а судьба — приличного образования для того, чтобы осмыслить глубину пропасти, которая пролегла между его творениями — и Поэзией. Муки, в которых он рождает свои примитивно рифмованные строки, ничуть не меньше, чем бдения над чистым листом Пушкина, Есенина, Бродского. А может быть, ещё и потяжелее — многие великие писали легко (стоит только взглянуть на почти не тронутые исправлениями черновики Есенина). Конечно, речь не идёт о тех графоманах, которые пишут километрами — и тоже без единой помарки. Но и с ними Люба умела говорить спокойно.

Но самое главное, чего тогда достигла Люба и её «Привал», — благодаря ей он стал тем, чем и должен быть: пристанищем для молодых способных людей, для тех, кто только отправился в дорогу и нуждался в ориентирах. Да просто в том, чтобы их стихи увидели — опубликовались поэту без имени тогда было архисложно (впрочем, и сейчас не легче, если нет денег, а где вы видели богатого поэта?). И они потянулись на тёплый свет «Привала», который был ровным светом Любы. В разное время сюда пришли поэты, которые теперь давно состоялись в том или ином качестве, но не потерялись в пёстром литературном мире Иркутска и Сибири. Так, каждый в своё время, здесь нашли приют и ласку люди, чьи имена сегодня известны, одни больше, другие меньше, но каждый из них был и остаётся личностью в поэзии — со своим почерком, со своим видением мира. Это Олег Кузминский, Алексей Шманов, Сергей Эпов, Николай Вяткин, Сергей Корбут, Александр Лекомцев, Оксана Пыткина, Зоя Горенко... Этот список можно продолжать. Тут кстати заметить, что «Молодёжка» всегда открывала дорогу талантам, практически все писатели Иркутска начинали в ней. Но такой плотной группы, как та, которая отправилась в дорогу с Любиного

«Привала», пожалуй, не было никогда. И пускай среди них не было таланта уровня Александра Вампилова, Валентина Распутина, Анатолия Преловского — такие литераторы не каждый год и даже не каждое десятилетие рождаются. Но и вышедшие из «Привала», каждый по-своему, тоже достойны места в многоцветной палитре истории литературного Иркутска. Почти все они живут и работают в Иркутске, у каждого — несколько книг, у некоторых — не только поэтических.

Не знаю, может быть, Александр Сокольников обидится на меня, но я считаю, что его, своеобразного поэта и человека, открыла именно Любовь Сухаревская. Дело в том, что этого оригинального, эпатирующего публику даже своим внешним богемистым видом литератора многие представители нашей литературной элиты не признавали и не признают, а его верлибры считали чуть ли не шарлатанством. Но Люба поняла и высоко оценила талант Александра, первые его верлибры были опубликованы в «Привале». Насколько глубоко она прочувствовала его дарование, сегодня, когда Любы нет, мы можем понять по её стихотворению, обращённому к Александру Сокольникову, которое и написано в стилистике верлибра.

<i>Я ругала тебя:</i>	<i>Что ты так и живёшь</i>
<i>Твои стихи трудно читать</i>	<i>Шевеля губами</i>
<i>Потому что можно читать</i>	<i>Пробуя на ощупь</i>
<i>Без конца</i>	<i>На вкус и цвет</i>
<i>Не зная где поставить точку</i>	<i>Каждое слово</i>
<i>Где перевести дыхание</i>	<i>Словно яблоко</i>
<i>Или потряхнуть головой</i>	<i>Хорошо чтобы оно поспело</i>
<i>Чтобы сбросить наваждение</i>	<i>Но и горьковато-кислая</i>
<i>Глупая</i>	<i>Оскомина</i>
<i>Не понимала</i>	<i>Только оттеняет сладость</i>
<i>Что точка будет там</i>	<i>Каждого</i>
<i>Где остановится твой пульс</i>	<i>Глотка жизни</i>

Время песен

Что-то пишутся мне эти строки с трудом, даже мучительно. Может быть, потому, что вспоминается многое, воспоминания подталкивают друг друга, а мне их даже оценить трудно, — что-то кажется мелким, не достойным внимания, что-то — слишком личным. Или не оставляет ещё — и, наверное, долго не оставит — тяжесть потери, которая была вроде бы ожидаемой (из этой болезни редко выбирают), но всё же свалилась на голову неожиданно, как сугроб с крыши.

Перечитал написанное, и оно мне не очень понравилось. Почему? Понять не могу. Вроде бы всё правильно, всё про неё, но чего-то очень важного не хватает. Может быть, того ровного света, которым лучилась Любочка, её живого голоса, её мягкой улыбки... Но скорее всего я просто не могу описать наше долгое общение, которое длилось последние двадцать с лишним лет, когда мы, как льдины в весенней реке, то отдалялись друг от друга, то вновь приближались. Странно, но больше всего вспоминаются наши разговоры в вечерних маршрутках, когда снова и снова возвращались в наш Солнечный (мы были соседями) со спектакля или ещё с какого-нибудь действия. Только с нею я мог делиться свежими впечатлениями — очень не люблю скороспелых обсуждений и даже опасуюсь их: впечатления ещё не отстоялись, не выпали в осадок, как песок во взбаламученной воде, и показывать их другому человеку я, пожалуй, даже опасуюсь. Но только не Любе. За годы общения я привык доверять ей свои ещё не очень оформленные в слова мысли, и она, пожалуй, тоже. Чаше всего наши первые впечатления совпадали. Помнится такой случай — мы вместе смотрели спектакль по современной пьесе, которая стала почти классикой, но режиссёрское решение и игра актёров не очень соответствовали этому статусу.

Мы сидели на одном ряду, но не рядом. В антракте мы двинулись навстречу друг другу и почти в один голос сказали: «А пьеса-то неважная!» Потом долго смеялись, понимая, что дело вовсе не в пьесе.

Однажды мы вместе с Любой пошли на творческий вечер одного поэта (я извиняюсь за слово «поэт»), цену которому хорошо знали. Интересовали нас не творец и не его вирши, а больше аудитория, её облик и реакции, так сказать, некий социальный срез потребителей культуры. Зал был переполнен, букеты герой вечера просто скирдовал на сцене — ни одному самому талантливому иркутскому поэту такая аудитория не снилась. Да, пожалуй, и столичному, разве только Евгению Евтушенко. Восторг едва не переходил в экстаз, аплодисменты то и дело оборачивались овацией. Мы с Любой негромко веселились, опасаясь, как бы не вызвать гнев окружающих. Но когда Люба вспомнила очень кстати народную поговорку и сказала: «Ну что же, каков поп, таков и приход», я рассмеялся неприлично громко. Сидящая впереди дама с башней из волос на голове обернулась и ненавидяще прошептала: «Идите домой!» Люба очень правдиво сделала физиономию проштрафившейся школьницы и, потупив глаза, попросила: «А можно, мы ещё немножко посидим?» На этом диалог кончился, фактически не начавшись. Домой мы возвращались почти счастливые, во всяком случае, весёлые. Хотя радоваться-то, в сущности, было нечему.

Но у нас была наша «Молодёжка», в которой мы жили вольно, освободившись от цензуры и партийных надзирателей, занимались любимым делом. Иногда что-нибудь праздновали, и было это душевно, как-то семейно. Да мы и ощущали себя одной семьёй — не забывали дней рождения, поздравляли молодых коллег со свадьбой, с рождением детей. И пели. Пожалуй, никогда мы так много не пели, как в то счастливое время. И всегда голос Любы был звонче всех. Однажды мы, немного выпив, решили продолжить наше пиршество дома у Любы. Петь мы начали ещё в редакции. Так случилось, что в этот вечер в нашей компании оказался только один молодой наш сослуживец — Андрей Пономаренко (про дам я не говорю, они всегда молоды). Ему так понравились наши песни (преимущественно ретро), что он стал умолять взять его с собой — почему-то решил, что у нас «общество закрытого типа». Мы, конечно, милостиво разрешили. Наш корректор и замечательная хозяйка Галя Горшкова (сколько хороших людей живёт в Солнечном!) забежала домой за соленьями и маринадами, Ефим Вольфус захватил гитару и... мы не столько ели и пили, сколько пели до глубокой ночи, вспомнив такие песни, которые, кажется, кроме нас уже никто не помнит. Наш юноша был поражён: «Как же вы всё это помните?» А мы, войдя в раж, вытаскивали из глубин памяти всё новые мелодии. Солировала, конечно, Люба, в песнях ей не было равных; гитара Ефима в этот вечер звучала особенно душевно.

Если уж речь зашла о песнях, то... В 1994 году мы отмечали 70-летие нашей газеты. Отмечали широко (кто же мог предположить, что через четыре года её не станет?). Гостей понаехало, да какие это были гости! Елена Камбуrowa, группа «Алиса» с лидером Костей Кинчевым, Василий Лановой и, конечно, наш замечательный земляк Евгений Евтушенко. Вот на его-то вечере и произошёл тот случай... Дело в том, что с ним, с этим вечером, что-то не заладилось. Наверное, мы что-то не доделали как организаторы, но просторный зал музыкального театра был, мягко говоря, не совсем полон. Евгений Александрович к такому не привык, он был очень недоволен, если не сказать, разгневан. Больше всего досталось ведущему Толе Кобенкову, который, вообще-то говоря, не был причастен к распространению билетов.

Поэт вышел к зрителям не в настроении, что с ним редко бывает. Но стихи читал в своей обычной манере — яростно, ярко, так, как не прочтёт ни один актёр. Когда же дело дошло до песен, на сцену неожиданно вошла Люба. Это была чистая импровизация, я бы сказал, отважный поступок. Когда она, высокая, светлая, как бы светящаяся изнутри, встала рядом с Женей и запела, высоко, чисто, звеняще, «Бежит река, в тумане тает...», голоса их слились, поэт как бы зажгётся от её света. От его раздражения не осталось и следа. Когда песня смолкла, зал долго аплодировал стоя.

И последний в этом очерке эпизод с песней. Начну, пусть это вам не покажется несерьёзным, с себя. Я люблю петь — дома, в тесной компании. Но для людей, публично не

пел никогда. А запел на седьмом десятке лет. И только потому, что рядом были две замечательных женщины — Любовь Сухаревская и Лина Иоффе. И один мужчина, который всегда со мной, лет где-то с двадцати, — это Булат Окуджава. Дело в том, что в Иркутском ТЮЗе открылся поэтический клуб «Элегия», и открыть его Лина решила вечером памяти Булата Шалвовича. А так как я был заражён этой прекрасной болезнью — влюблённостью в его стихи, с молодых ногтей, к тому же имел счастье с ним встретиться и беседовать, значит, не мог отказаться от участия. Но и при этом я вряд ли решился бы петь, если бы в этой же компании не было моих замечательных друзей — кинооператора Жени Корзуна и, конечно, Любви Сухаревской. Что я говорил и пел — это сейчас никому не интересно. Но Люба — в этот вечер она была прекрасна, как всегда, и даже более, чем всегда, — она ведь тоже знала и любила стихи Булата Окуджавы. Ах, какой искренней мольбой звучал её голос, каким чистым хрусталём он звенел!

*Не оставляйте стараний, маэстро,
Не убирайте ладони со лба!..*

И как горестно он переливался, как грустный валдайский колокольчик исчезающей вдаль тройки, как изысканный звук печальной скрипки Страдивари:

*Коротки наши лета молодые,
Нити развеются, как на кострах,
Красный камзол, башмаки золотые,
Белый парик, рукава в кружевах...*

Уверен, дай Бог ей другую судьбу — и мы слушали бы прекрасную певицу, или аплодировали бы замечательной актрисе.

А песни, которые ей выпало петь, что ж, в них она выпевала и свою судьбу. «Не оставляйте стараний, маэстро...» — это ведь вполне о ней, о её жизни, о её работе — она никогда не оставляла стараний, до самого конца.

«...Но нет любви хорошей у меня» — это тоже о ней: её любили все, кто её знал, но мужчины, которые были в её жизни, как бы умны и талантливы они ни были, не дотягивались до её высоты. Это была высота неба, на котором поют ангелы. Как бы жизнь ни была к ней жестока, она оставалась чистой и высокой — мыслями, отношением к тем, кого любила, к работе, которую «никогда не переделаешь всю, даже если окажешься безработным».

«...И утро на закат похоже»

*В этом мире, огромном и вечном,
Вы не вечны, простые дела,
Но без вас как уйду я в свой вечер,
Как скажу я земле:
«Я была!»?*

Так мы жили в «Молодёжке» все — крепко дружили, работали как черти, пели песни, иногда бражничали. Так было до 1998 года, когда нашей любимой газеты, главного дела в жизни, не стало. Виноваты ли в этом мы? Не знаю, может быть, даже наверное, виноваты в том, что не смогли понять, что пришло другое время, оно потребовало от нас других умений, которыми мы, увы, не обладали.

Люба долго не могла найти себя в этой новой действительности. Чем только она не занималась! Писала за гроши очерки в заказные книги... помогала кому-то избраться в какие-нибудь депутаты... редактировала многотиражку в Шелехове... Одно время даже

делала техническую работу — адаптировала на местное время программу телепередач. В общем, наверное, это было кому-то нужно — точным, тонким прибором заколачивать гвозди. А что она могла сделать? Надо было учить, одевать и кормить двух любимых дочерей.

Во всех этих разнообразных делах наши судьбы снова, как льдины в весеннее половодье, то расходились, то смыкались. Я тоже писал очерки в те же книжки (помню, как мы вместе с Любой ездили в Бирюсинск на умирающий гидролизный завод), иногда вдвоём агитировали за мало известного нам, но успешного предпринимателя. И даже в Шелехов я поездил вместе с ней, а потом и вслед за нею.

И что вы думаете, в это тяжёлое время Люба хныкала, жаловалась на горькую судьбину, ходила повесив нос? Да ничего подобного!

Наконец, Люба нашла работу, достойную её способностей, привязанностей и трудолюбия. Это её дело известно всем, оно разворачивалось на виду у всего культурного сообщества Иркутска — её поистине подвижническая работа в «Байкальских вестях». Земной поклон людям, которые дали ей возможность полностью насытиться работой, которую она любила. Не было ни одного сколько-нибудь заметного события в культурной жизни Иркутска, которое бы прошло мимо внимания Любви Сухаревской. Казалось, что она, как в своё время Марк Сергеев, разгуливает по городу в нескольких экземплярах. Её материалы — в каждом номере газеты, да не какие-нибудь информашки, а полоса, две, а то и три. Её видели не только на вернисажах, но и в мастерских художников, не только на премьерах, но и на репетиционных площадках... Не знаю, не подсчитывал, успела ли она рассказать о всех заметных мастерах иркутской культуры, но если и не успела, то только потому, что не хватило времени. Время вышло...

Болезнь настигла её, как ночной разбойник из-за угла, неожиданно.

*Пока живу я на земле,
Стелитесь, травы, под ногою,
Танцуйте, бабочки, во мгле
Передвечернего покоя.
И золотая пыль в луче,
И лопухов большие уши,
И жук зелёный на плече —*

*Всё, что живет, волнует душу.
И столько будет слов и слёз,
Дождей и ожидания снега,
Что вдруг покажется всерьёз,
Что вечно всё, как вечно небо.
Но звёзды падают в траву,
И утро на закат похоже...
Живите все, пока живу.
Когда умру — живите тоже.*

*Арнольд ХАРИТОНОВ,
писатель, журналист*

Поздравляем с юбилеем!



*Редакция журнала поздравляет
Юрия Ивановича Баранова с 70-летием!
От всей души желаем юбиляру крепкого здоровья,
творческого долголетия, бодрости духа!*

ЮРИЙ БАРАНОВ



Я буду ангелом для вас...

* * *

Аккордеона перламутровое танго
Кружило над кустами роз.
Как будто звуки прилетели бумерангом
И мне вернули горечь тубероз.

Я в безмятежность юности не верю.
Печаль и грусть — предчувствие моё.
Торжественным фанфарам не доверю
Я груз любви и тайное, своё.

БАРАНОВ Юрий Иванович, прозаик, поэт (род. в 1946 г. в г. Замостье, Польша). Автор двенадцати книг, среди которых: «Медвежий след»: рассказы (Иркутск, 2005); цикл детских сказочных историй об Иркутске, сб. стихов для детей «На улице Рябиновой» (Иркутск, 2011); книга стихов «Град небесный». Юрий Иванович — автор Гимна Дальней авиации России (был принят официально в 2004 г.). Награжден девятью медалями СССР, двумя медалями ГДР. Лауреат премии Алексея Зверева (журнал «Сибирь»), лауреат областной премии «Золотая запятая», лауреат международной литературной премии им. П.П.Ершова. Член Союза писателей России.

Весна

Исклевали давно рябину.	По Байкалу разгонит льдины,
У домов слезятся глаза.	А с полей уйдёт белизна.
Льда и снега снесёт плотину,	На зелёных коврах осины
Упадёт не землю гроза.	Громко крикнут: «Привет, весна!»

Каждой веткой, почкой, иголкой	Мы забудем гибель сугробов.
Ожидаю полёт дождя.	Молодую волнуя новь,
Капли врежутся в кожу колко	Горячим себя до озноба,
И причешут тайгу шутя.	Ощущая весну — любовь.

* * *

Приходят запахи весны,	И кот подруге запоёт,
Когда ещё лежат сугробы.	Почти как я, для всей округи.
Они едва-едва слышны	
Пред ликом ледяной особы.	И обнажённая земля
	Раскинет влажные колени,
Но крепость зимняя падёт,	Готовая начать с нуля
В полях присядет снег в испуге.	Любовных снов и трав круженье.

* * *

Над островами дней и дел я ангелом летел.
Внизу ворочалась земля, мотор могучий пел.
Земля шерстинками дерев дышала глубоко.
Роились звёзды далеко... И было мне легко.

Я был пилот и самолёт, и ангел всей Руси.
Я слышал звёздный хоровод и скрип земной оси.
Я сберегу небесный сон и крылья за спиной
И буду ангелом для вас, хранящим ваш покой.

Июль

Июль в Сибири длится дольше лета.
И дольше лета длится сон с утра.
Такая странноватая примета —
Впадаю в сон и лень, когда жара.

Струятся строки медленно и нежно.
Стихи приходят душною волной.
И каждый день так ласково безбрежен,
Байкал и небо блещут бирюзой.

Рисует ветер в небе чьи-то лица.
И лиственницы шепчут о былом.
Рождает святость Господа криница,
Байкальский сон, байкальский вечный дом.

* * *

Расцветающий багульник покрывает белый снег.
Буйный, шалый и разбойный, снег сегодня печенег.
Налетел, украл, поссорил, заморочил бледный лес.
Оттого ли мне дороже золотой весны замес.

Наклоняюсь и лелею я лиловость огоньков,
Пробужденье трав зелёных и прощание снегов.
Мне багульник тот приснился много лет тому назад,
Лиственничный запах тёплый и сосёнок детский сад.

Облака лежат на прели, вот и кончился апрель.
Май сибирский нам приносит снега и цветов дуэль.

Стихи

Стихи рождаются украдкой,
Невидимы и неслышны,
Как будто прорастают в грядках
Из полуснов и тишины.

На них прольются кровь и слёзы,
Возможно, светлая печаль.

И рифм блестящие стрекозы
Соткут невидимую шаль.

Я эту шаль отдам любимой,
Чтоб в предрассветный тёмный час
Была защитой незримой.
А сам — взлечу на свой Парнас.

* * *

На кончике пера и лирика, и грёзы.
На кончике пера капли первой слёзы,
Смешинки и снежинки, и ласточки полёт,
Серёжки жёлтых клёнов и в небе самолёт.

Добавлю нежной грусти. Пока горит заря,
С пера стекают строки.
Писать, писать пора!

* * *

Владеет он буханкой хлеба.
Я дыркой бублика владею.
Ему все склады ширпотреба,
Мне — облака и цвет кипрея.

Он соблазняет сладким мёдом,
А я — звездой над речкой синей.

Как сладко мне быть антиподом,
Стихами, стаяй журавлиной.

Я перестану плыть закатом,
Расплавлю сердце для любимой.
Но никогда не буду златом,
Лишь песней, всем необходимой.

* * *

Продёрнули душу в петлицу,
Как полевой цветок.
Мелькают чужие лица.
Разомкнутый кровоток.

Но бурною ночью метельной
Логике вопреки
Рисунок мой акварельный
Повиснет над сном реки.

Добавлю краплак и охру.
Покроет душу лазурь.
От песен счастливо охрипну,
Себе позволяя дурь.

Никто запретить не сможет
В рисунке своём зажить.
Я знаю — вам это сложно
Красками ворожить.

Украине

Чьим именем прикрылись —
Всё равно.
Чьим тазом бы накрылись,
Знать суждено.

Истерзано, замучено
И продано давно.
Вся низость взбаламучена,
Но мне не всё равно.

Бандера ли Петлюра,
Не влада и не лад.
Кровавая культура
И вопли бесенят.

А я молюсь за них за всех,
За неньку Украину.
Господь, прости вселенский грех
И дочери и сыну!

Наш общий хлеб, история,
Наш общий дом — взорвать!
Сплошные лепрозории,
И нет пути назад.

Омой слезами Днепр, Донец
И разбуди же разум.
Кровавым дням придёт конец,
Дурман растает сразу.

* * *

Не морщит небо серый лоб,
Не сыплет снег и ветер.
В пучине времени утоп,
Забылся «Бедный Вертер».

Оставил слепок душ и лиц
И лабиринт аллей.

Печорин горячит коня.
Уходит вдаль дорога.
Тарас, судьбу свою кляня,
Дожил до эпилога.

Я по дорогам давних книг
По памяти бреду.
Ведь знаю, каждый час и миг
Я помощь здесь найду.

И каждый в шелесте страниц,
Веков, часов и дней

Мне силу воли даст Спартак,
Мечтать научит сказка.
Развеет слово ложь и мрак
И станет всем подсказкой.

* * *

Душу хранит в сундуке, где нафталин от моли.
Её бережет от ран, страданий и тяжелой боли.
Глупая птица-душа рвётся взлететь в поднебесье.
Душу в сундук — нельзя. Ей бы хорошую песню.

А в песенной мастерской — чурки да стружки рядом.
Крылья вольных затей покрыты ржавчины ядом.
Умерло, не срослось. Нерв променял на золото.
И под умелой рукой плющатся рифмы молотом.



Границы дозволенного и возможного

КРАТКИЙ ОБЗОР X МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ ИМ. АЛЕКСАНДРА ВАМПИЛОВА

Кто откуда и с чем

В десятый раз (круглая дата!) прошёл в Иркутске Вампиловский фестиваль. Это двадцать лет напряжённой работы хозяев фестиваля — Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова, начиная от составления программы, отбора участников, уймы согласований с учётом качества постановок, денежных затрат, расстояний и т. д. и т. п. до обеспечения комфорта пребывания каждого коллектива как на сцене, так вне таковой. Раз в два года всё это организуют сотрудники администрации, разных отделов и служб под руководством директора театра и директора фестиваля Анатолия Стрельцова.

Постепенно сложились свои традиции, и это видно по программе 2015 года. Как всегда, среди участников театры Москвы и Санкт-Петербурга, ближнего и дальнего зарубежья, областных городов России и даже районных, что являет собой, прежде всего, срез нынешнего состояния современного российского театра. Как обычно, фестиваль — не только спектакли, но и пресс-конференции, обсуждения, круглые столы, ежевечерняя развлекательная «Чайная» актёрского клуба и непременно экскурсия на Байкал.

Если же подойти с точки зрения направлений и тем, то картина вырисовывается такая.

Современное прочтение классического наследия XIX–XX вв.:

«*Мцыри*» (по одноимённой поэме М.Ю. Лермонтова). Школа драматического искусства, Москва. В спектакле использована музыка А. Маноцкова, С. Микуса. Режиссёр-постановщик М. Мишин. Основная сцена.

«*Наследство*» (семейная драма по пьесе М. Горького «Васса Железнова»). Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова. Режиссёр-постановщик и музыкальное оформление А. Коваленко. Основная сцена.

К ним примыкает спектакль «*BOM-BOM*». Автор Ким Ю-Чжон (по материалам борьбы корейского народа с колониальным режимом). Театр «MYUNG PUM», Южная Корея, Сеул. Камерная сцена.

Четыре спектакля по Вампилову: «*Старший сын*» (комедия в двух действиях). Санкт-Петербургский Государственный театр «Мастерская». Режиссёр Г. Козлов. Основная сцена; «*Утиная охота*» (трагикомедия по мотивам пьесы). Театральный центр «Амфитрион», Москва. Музыка П.И. Чайковского и К. Сен-Санса. Режиссёр А. Власов. Камерная сцена. «*Провинциальные анекдоты*» (комедия). Новый московский драматический театр. Режиссёр В. Долгачёв. Основная сцена; «*Воронья роца*» (один из ранних вариантов пьесы «История с метранпажем», вошедшей в «Провинциальные анекдоты»). Монгольский государственный академический драматический театр им. Д. Нацагдоржа. Режиссёр Б. Мунхдорж.

«*Любовь и голуби*» (лирическая комедия по пьесе В. Гуркина). Современный художественный театр (Республика Беларусь, Минск). Режиссёр-постановщик С. Ковальчик. Основная сцена.

Спектакли по современной драматургии:

«*Лёгкий способ бросить курить*» (драма) — по пьесе М. Дурненкова «(Самый) лёгкий способ бросить курить». Братский драматический театр. Режиссёр Р. Букаев. Камерная сцена.

«Смертельный номер» (опыт сценической клоунады) — по пьесе О. Антонова. Театральный проект «Лаборатория режиссёра». Иркутский академический драматический театр им Н.П. Охлопкова. Режиссёры А. Орлов (1), В. Конев. Камерная сцена.

А. Васильева. «Моя Марусечка» (один день из жизни женщины). Сценическая версия Т. Уфимцевой. Черемховский драматический театр им. В.П. Гуркина. Режиссёр Т. Уфимцева. Камерная сцена.

А. Яблонская. «Семейные сцены» (кинодрама). Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова. Режиссёр-постановщик А. Сидельников. ТЮЗ им. А. Вампилова. Малая сцена.

В. Зверовщиков. «Как это делается» (мастер-класс). Краевой Камчатский театр кукол и продюсерский центр В. Новикова «Ковчег» при Камчатском региональном отделении СТД РФ. Режиссёр-постановщик В. Зверовщиков. Камерная сцена.

Ч. Мори «Балаган» (комедия в двух действиях). Мирнинский театр. Республика Саха (Якутия), г. Мирный. Режиссёр Н. Корлякова.

«Спасти камер-юнкера Пушкина» (моноспектакль по пьесе-монологу М. Хейфеца). Иркутское отделение СТД РФ. Режиссёр и актёр, сценография и музыкальное оформление А. Яцухно. Режиссёр-постановщик А. Чернышёв. Четвёртая сцена.

Итого — пятнадцать спектаклей.

Ещё одна грань фестиваля — постановки, которые можно назвать авангардными, когда театр в поисках новых путей вторгается в другие сферы: танец, балет, цирковая клоунада и даже боевые искусства. Сюда вошли «Утиная охота», «Мцыри», до некоторой степени «Смертельный номер». Такого рода синтез довольно часто можно встретить на сцене. Вопрос: это расширение возможностей драматического театра или измена жанру? — остаётся открытым.

На фестивале были задействованы критики, литературоведы, журналисты:

Вера Анатольевна Максимова (Москва) — известный российский театровед и критик, кандидат искусствоведения, заместитель художественного руководителя Малого театра по творческой части, главный редактор журнала «Вопросы театра», участница многих Вампиловских фестивалей. Стоит на позициях русского психологического театра, но не отвергает новых форм, имея в виду, прежде всего, художественное качество спектакля.

Ольга Валентиновна Сенаторова (Москва) — генеральный директор Творческо-координационного центра «Театр-информ», главный редактор газеты «Театральное дело». Критик, аналитик театра, менеджер в сфере культуры высшей квалификации, автор проектов и руководитель нескольких федеральных театральных фестивалей; в Вампиловском участвует в третий раз. Основная тема: постановка театром конкретных социально-культурных целей, отвечающих запросам общества.

Алексей Иванович Бураченко (Кемерово) — кандидат культурологических наук, театровед, театральный критик, участник нескольких Вампиловских фестивалей.

Виктория Евгеньевна Пешкова (Москва) — журналистка, корреспондент «Литературной газеты».

Павел Евгеньевич Фокин (Москва) — кандидат филологических наук, историк литературы, писатель, ведущий научный сотрудник Государственного Литературного музея (Москва), участник Литературных вечеров «Этим летом в Иркутске» 2012 года.

Анастасия Георгиевна Гачева (Москва) — доктор филологических наук, литературовед, специалист по истории русской религиозной философии и русскому космизму.

Ольга Юрьевна Юрьева (Иркутск) — доктор филологических наук, литературовед, преподаватель Иркутского пединститута, ныне вошедшего в состав ИГУ.

Александр Михайлович Мягченков (Москва) — актёр и журналист, телеведущий, художественный руководитель медиа-проекта «Артист» и телеканала «Театр».

Марина Геннадьевна Меркулова (Москва) — кандидат филологических наук, член Международного союза журналистов, литературовед, руководитель и главный редактор медиа-проекта «Артист», продюсер телеканала «Театр».

В работе фестиваля приняли участие иркутские критики Светлана Жартун, Арнольд

Беркович, Валентина Семёнова, а также журналисты, актёры и режиссёры, руководители театров.

Чувства, испытанные временем

Открылся фестиваль «Старшим сыном» (Санкт-Петербург) — с него и начнём наш обзор. Надо оговориться, всего посмотреть не удалось, спектакли обсуждались избирательно, потому придётся ограничиться имеющимися собственными впечатлениями, отзывами в кулуарах и зрительской реакцией.

«Старший сын» — спектакль молодёжный (он и родился на курсе Григория Козлова Государственной академии театрального искусства Санкт-Петербурга), с необычным предисловием. В нём было сказано, что артисты посвящают свою работу поколению родителей, а также дедушек и бабушек, современников А. Вампилова. Зрители услышали короткие истории о том, как они влюблялись, находили своих «половинок» во времена, не располагающие к любви. Война, послевоенная разруха, скудный быт проверяли чувства на прочность. На сцене к белым полотнищам были прикреплены фотографии из семейных альбомов.

Такое душевное введение, безусловно, задало тон спектаклю. Однако же поначалу в нескольких моментах пришлось испытать сопротивление действию. Например, Сосед был «дорисован» до ухажёра Макарьской, и уже составила троица претендентов на её внимание вместе с Васенькой и Сильвой — так дополнили автора Вампилова. Роль Сарафанова, безусловно, требовала возрастного актёра или хотя бы возрастного грима. Те же белые полотнища, которые в состоянии покоя могли символизировать чистоту фона для портретов предков, во время движения актёров по сцене принимали вид простыней на дворовой верёвке, небрежно отбрасываемых. Вообще отношение к авторским декорациям не перестаёт удивлять: им объявлена война.

Хотелось вынести за скобки ещё кой-какие мелочи, идущие от молодой раскованности, но суть в том, что в спектакле получилось главное: вампиловские чувства, вампиловские характеры. Они переданы без искажения, по-настоящему уважительно к времени и людям, переживающим всерьёз свои ошибки, разочарования, встречу с любовью. В спектакле живёт добро: даже не очень симпатичные персонажи, такие как Сильва и Кудимов, заметно смягчены: первый неотразимой обаятельностью, второй — мелькнувшим перед торопливым уходом раскаянием за неуместное правдоискательство.

В общем, этот молодёжный спектакль при некотором его «овзрослении» вполне достоин войти в историю вампиловских постановок.

Если продолжить линию чувств, то вслед за «Старшим сыном» стоит упомянуть спектакль из Беларуси «Любовь и голуби». На пресс-конференции директор и художественный руководитель Владимир Ушаков охарактеризовал этот частный театр как сентиментальный, настроенный на пробуждении в зрителях лучших чувств. И действительно, режиссёр-постановщик и актёры сумели пробудить у зала сопереживание героям, зрители то смеялись, то вытирали слёзы. И пусть каких-то особых открытий после многочисленных театральных постановок и популярного кинофильма не было, спектакль ещё раз подтвердил: пьеса нашего земляка Владимира Гуркина остаётся любимой.

Иное впечатление от «Провинциальных анекдотов» Московского Нового драматического театра. В рекламном буклете было справедливо сказано о вампиловской комедии, «которая не только развлекает и смешит, но даёт возможность говорить о самых серьёзных вещах». Однако же постановке В. Долгачёва не хватило непосредственности и лёгкости, свойственных вампиловскому юмору, мягкой лиричности там, где неожиданно проявляются благородные движения души. Может быть, поэтому при тщательной в целом проработке образов и мицансцен возникло ощущение затянутости спектакля.

Ещё один спектакль по Вампилову — «Воронья роща», ранний вариант пьесы «История с метранпажем» — был представлен Монгольским академическим театром драмы.

Искренность, естественность в сочетании с лаконичностью выразительных средств, национальный колорит и уважение к вампиловской драматургии — эти черты вызвали благожелательный отклик у зрителей и критиков. Спектакль шёл на монгольском языке, и хотя происходящее на сцене было в целом понятно, титры на русском, тем не менее, не помешали бы.

Семейную драму «Наследство» по пьесе «Васса Железнова», первый вариант которой был написан Горьким в начале XX века, поставлен Сахалинским театральным центром как история, созвучная нашим дням. В бедах семьи Железновых — отражение неблагополучия в российском обществе; образ матери подан как образ великой грешницы и великой мученицы. Свинцово-тяжёлая атмосфера в доме Железновых от отчаянных попыток Вассы остановить грядущий крах становится ещё безысходнее, и всеильная хозяйка на глазах превращается в жалкое существо. Мужская половина семьи — воплощение разврата и безволия, и в финале мать судорожно цепляется за дочь и невестку, видя в них единственную опору в будущем.

Если задачей режиссёра и исполнителей было нарисовать картину распада и прописать в ней характеры уходящей эпохи, то она удалась, хотя и выглядела несколько статичной и потому тяжеловесной. Последнее усугублялось тусклой, серой сценографией. На вечность отдельных типов, очевидно, намекали современные костюмы: у Вассы в чиновничьем стиле, у Павла в бомжеватом.

Но самой «современной» нотой можно считать немые кадры с Анной и Людмилой откровенно лесбиянского толка. Зачем? На обсуждении спектакля от представительницы театра последовал ответ: это сегодня актуально. Прямо скажем, грубая правка пьесы Горького не лучший способ актуализации классики.

Камерность современной драматургии

Попытки отразить сегодняшнюю жизнь на сцене, как известно, ныне редко достигают успеха. Реальность слишком противоречива и размыта, а драматургия, принадлежа одновременно литературе и театру, должна быстро находить и формулировать то, чем сегодня можно заинтересовать режиссёра и зрителя. Тем не менее, на нынешнем фестивале оказалось семь спектаклей современных авторов на современную тему, и это редкость.

Самые острые из них — «Лёгкий способ бросить курить» (Братск) и «Семейные сцены» (Иркутский ТЮЗ).

Первый успел стать призёром недавнего театрального фестиваля в Дубне. Несмотря на это, на обсуждении, в котором приняли участие московские и иркутские критики, прозвучали неоднозначные оценки. С одной стороны, работа братчан была одобрена: спектакль состоялся, смотреть было нескучно, происходящее на сцене аюкалось с действительностью, пропитанной атмосферой общего бессилия, утратой цели, понятий о чести, любви и т. д. В двух словах о содержании пьесы: главный герой решает бросить курить по разрекламированной лёгкой системе. На фоне этих попыток — обвал неприятностей: в один день он лишается работы и узнаёт об измене жены с его шефом (обе новости шеф, бывший одноклассник, сообщает враз); в доме учителя, к которому бросается, чтобы вернуться в школьные годы, когда чувствовал себя уверенно, вместо поддержки получает роман с его распушенной дочерью, ненавидящей отца. Что касается самого историка, то его растерянность перед жизнью ошеломляет... Считающий себя интровертом (замкнутым на себе), герой теряет окончательно, и то ли в действительности, то ли в своём расшатанном воображении убивает жену. В заключительной сцене, снова закулив, он уходит куда-то вдаль. Вывод: бросать или не бросать вредную привычку бессмысленно, если вообще жить вредно.

Упрёки критиков касались как пьесы драматурга М. Дурненкова, так её трактовки режиссёром Р. Букаевым. В пьесе многое не прописано, что характерно для драматургии 1990-х годов, заметила М. Меркулова. Режиссёр в этом случае получает свободу действий вплоть до соавторства с драматургом.

Обстоятельный, как всегда, разбор спектакля сделала О. Сенаторова. Суть замечаний в том, что не были расставлены знаки, которые бы вели зрителя от завязки до развязки действия; недостаточны мотивировки поведения героев в ответственные моменты, как то: разговор шефа с уволенным и униженным сотрудником, перепалка последнего с женой, истерика дочери учителя, а также отсутствие «искры» между действующими лицами.

С. Жартун объяснила некоторое «проседание» спектакля переходом с большой сцены в Братске на малую в Иркутске и пожелала исполнителям продолжить работу над спектаклем и не обмануть ожиданий братчан, которые очень любят свой театр.

«Семейные сцены» Иркутского ТЮЗа изначально не предусматривались для большого зала. То, что переживается на просторах России, сосредоточилось в нескольких квартирах подъезда городского дома, и это обусловило камерность постановки, замкнутость на быте обыкновенных людей. Бедность и одиночество старика-пенсионера; общий душевный надрыв в молодой семье, куда недавно вернулся из горячей точки муж и отец, после серьёзного ранения трудно вживающийся в мирную обстановку, где назревают свои взрывы; растерянная жена, навязчивая и трусливая к ней любовь соседа-учителя, отчаявшийся, ушедший в себя подросток-сын — действие развивается по закону мелодрамы с наметившимся в финале выходом из тупика благодаря возникшему взаимопониманию между отцом и сыном.

Критика отозвалась о спектакле тюзовцев благожелательно, высказав при этом замечания по отдельным деталям.

Повесть А. Васильевой «Моя Марусечка», по которой поставлен спектакль Черемховским драмтеатром, звучит современно, хотя речь идёт примерно о 70-х годах минувшего века. Неудивительно, что театры заметили эту повесть: образы праведников востребованы всегда. Марусечка — уборщица в рыбном магазине, после землетрясения поселившаяся в свои немолодые годы в каморке, оборудованной из хлева. Однако назвать её жизнь прозябанием никак нельзя — Марусечка скорее отшельница среди людей, устремлённых к житейским благам. Заботиться не о себе, а о других для неё так же естественно, как дышать. Но нет, к сожалению, ответного порыва от тех, кто привык принимать от неё бескорыстную помощь. Сумма в пятьсот рублей, необходимая Марусечке, чтобы нанять адвоката для племянника, которого она вырастила как сына и который по глупости попал в тюрьму, так и остаётся для неё недостижимой. Жизнь её обрывается всё на том же пути спасения других.

Черемховцам удалось передать и характер главной героини, и среду, и отчасти время. Отчасти — потому что атмосфера в магазине порой больше напоминает 90-е годы, чем 70-е. Возможно, это намеренное сближение двух эпох. И ещё одно наблюдение. Марусечка, она же Мария Христофоровна, помогая всем, в то же время как-то слишком отрешена от мира. Понятно, она живёт по другим законам, но ведь она неразрывно с этим миром связана, и даже объединяет его на основах любви и деятельного участия в людских судьбах. Наверное, в соединении простоты, естественности отношений с мудростью взгляда на житейскую суету и состоит сверхзадача подобной роли.

Моноспектакль «Спаси камер-юнкера Пушкина» (Иркутское отделение СТД) заинтересовал по причине того, что во время подготовки фестиваля довелось посмотреть в записи постановку под таким названием Московского театра («Школа современной пьесы», режиссёр И. Райхельгауз). Тогда она вызвала отторжение. Причины: имя Пушкина звучало в подчёркнуто грубой, «чернушной» обстановке, в соответствующем ей обществе, действие происходило не на сцене, а, напротив, внизу, в подбории ямы, наполненной не то травой, не то трухой, в которой путались ногами, барахтались актёры. Что это символизировало: болото, хлев? — неизвестно. Но яснее всего было прописано одно — как насильно навязывалось в советскую эпоху творчество великого поэта молодёжи, начиная с детсадовского возраста, вызывая тем самым, естественно, одно лишь отвращение. Зрителю предлагалось поверить, что неприятие Пушкина было преодолено внезапно возникшим в герое интересом к судьбе поэта, его трагической гибели. Однако поверить трудно, поскольку весь пафос спектакля окрашен негативом.

Однако как по-разному можно прочесть один и тот же монолог! Молодой иркутский актёр А. Яцухно искренне, с доверием к своему герою, рассказал о парне, выросшем в среде, далёкой от высокой поэзии. Школа была лишь обязаловкой, подросток больше водился с друзьями-бездельниками. Исполнитель обошёлся без карикатурного нажима на «воспиталку» и «училку», армейских командиров (хотя в пьесе многовато уличного жаргона). Актёр не оправдывал своего героя внешними обстоятельствами и потому его история постижения Пушкина отражала правду характера, смешное и трагическое переплетение судьбы не лучшего представителя далёких потомков с судьбой поэта. Печальный финал вызывал в зрителях сочувствие к участи неудачливого современника, и это главное.

Если говорить о постановках про сегодняшнюю жизнь, то жаль, что по каким-то причинам не состоялся приезд МХТ им. А.П. Чехова со спектаклем «Дом» по пьесе нашей землячки А. Матисон и Е. Гришковца. Тем более что в 2006 году во время подготовки седьмого Вампиловского фестиваля и обсуждения молодой драматургии эта пьеса (тогда значился только один, первый, автор) обратила на себя внимание отдельных иркутских критиков, но не заинтересовала режиссёров. Тема актуальная: человек решил купить дом, увидев в нём будущее родовое гнездо, однако обстоятельства поставили перед ним вопрос: это мечта, которую следует осуществлять во благо любимой семьи, преодолевая препятствия, или всего лишь иллюзия?..

Целых три спектакля современной части программы были посвящены искусству лицедейства: «Смертельный номер» (Иркутский драмтеатр), «Как это делается» (Камчатка), «Балаган» (г. Мирный). Остановимся на первом, как наиболее пронзительном, на наш взгляд, с точки зрения раскрытия темы.

Поначалу, увидев на сцене клоунов, исполняющих цирковые трюки, зритель был вправе спросить, туда ли он попал. И почему об актёрском ремесле надо говорить на языке цирка, а не драмы? Или «Театр» Моэма уже не превзойти?..

Выбор отчасти объясним тем, что спектакль поставлен в рамках проекта «Лаборатория режиссёра» молодыми режиссёрами. Играют в нём молодые актёры и, надо сказать, с полной самоотдачей. Наверное, поэтому недоумение быстро проходит. Впервые после детских впечатлений от чуда на арене с уважением думаешь о цирковых артистах, об их, может быть, самом трудном на ниве искусства хлебе. Где ещё, как не там, малейшая небрежность к качеству ремесла может стоить жизни! И сколько нужно усилий, чтобы придумать удачный номер, а успех так мимолётен! И ещё очень важное — понимание значения внутренней цельности актёра и силы актёрского братства, необходимых для создания такого образа и такого действия, чтобы зал был приведён в восторг. И это уже относится не только к артистам цирка.

В завершение темы поделюсь одним наблюдением.

Все спектакли о современности шли на малой сцене. И это ещё один признак того, что сегодняшняя драматургия не даёт крупных тем и крупных характеров, способных вызвать интерес большого зала. «Лёгкий способ бросить курить» хоть и идёт в Братске на большой сцене, но на пресс-конференции директор театра отметила: это некассовый спектакль.

Всё более очевидно: драматурги не ставят перед собой задачи отвечать на запросы времени — ссылаясь на известное изречение, что дело искусства не давать ответы, а ставить вопросы. Однако одно другому не мешает, и если ответы созрели, скрывать их от народа нет причин. В театр идут, в том числе, и за ответами или хотя бы подсказками, как распознать, где у нас ныне добро, а где зло. Растерянность перед жизнью, истерика, бесконечная рефлексия не могут долго претендовать на широкое зрительское внимание.

К Матёре небесной

Первый круглый стол был посвящён памяти Валентина Распутина.

Всем известно, что Валентин Григорьевич принимал участие в работе Вампиловского фестиваля, в выработке его концепции. Была предложена тема: «Валентин Распутин

как феномен русской культуры»; ведущий — *Павел Фокин* (Москва), ему помогали *Ольга Юрьева* (Иркутск) и *Анастасия Гачева* (Москва). Участники — гости фестиваля, театроведы, артисты, литераторы, библиотекари, журналисты.

П. Фокин предложил провести не конференцию, а живой разговор о человеке, чьё влияние на литературу и культуру России, Сибири, Иркутска мог почувствовать каждый, кто его знал. Он начал с того, что Распутин лишь в силу инерции называли писателем-деревенщиком, на самом деле масштаб этого прозаика, публициста, общественного деятеля гораздо крупнее и потому его имя известно во всех сферах отечественной культуры.

О. Юрьева рассказала о своём постижении Распутина, которое пришло через творчество Достоевского — темы её докторской диссертации. У этих двух писателей много общего, считает литературовед: так же сплавлена художественность и публицистика, то же чувство оставленности русского человека. Приходит мысль, что написанное Распутиным — это попытка ответить, почему сбылись не лучшие прорицания Достоевского.

А. Гачева — инициатор заседания в Москве, посвящённого памяти Распутина, в самые первые дни после его кончины. Дочь известных в культурном мире деятелей — философа, литературоведа, культуролога Георгия Гачева и литературоведа философского направления Светланы Семёновой, автора книги «Валентин Распутин», не скрывала своего волнения, впервые оказавшись в родных местах писателя, чьё имя часто звучало в родительском доме.

А.Г.: «Спасибо, что мы говорим о Распутине на Вампиловском фестивале. Наверное, для Иркутска это — сердце. Недаром звучит имя Достоевского. Повесть «Дочь Ивана, мать Ивана» можно сопоставить с «Бесами». Это плач о гибели Русской земли. Главное же — почва. Почва Распутина — Сибирь, потому и написана книга «Сибирь, Сибирь...» Восточная Сибирь, с её чистой водой, чистым воздухом есть образ Евразии, и это образ нового мира. В то же время его почва Россия, его почва Земля...»

А. Гачева перечислила корневые темы творчества Распутина: общинная цивилизация, соборное созидание, национальный характер, память, могущество природных сил, русского языка, любовь к земле, любовь между детьми и родителями.

Галина Афанасьева-Медведева, известный сибирский учёный-фольклорист, сказала о том, какое важное место в её жизни занимает Валентин Распутин.

Г. А.-М.: «Работая над «Словарём говоров Байкальской Сибири», я дала почитать ему часть своих текстов. И через несколько дней он написал предисловие, в котором поддержал мой труд, за что ему большое спасибо. В первых десяти томах «Словаря...» много записей, связанных с Ангарой, родными местами писателя, а также с нижним течением реки — Богучанами, Кежемским районом — там всё ушло под воду вместе с лесом при строительстве Богучанской ГЭС. Людей выселяют далеко не в лучшие места. Больно об этом говорить...»

Выступление завершилось словами: «Мы сегодня располагаем обширным материалом для книги «Народное слово в произведениях Распутина».

Вера Кутищева, заместитель директора областной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского, в недавние годы министр культуры и архивов Иркутской области, поделилась своими воспоминаниями.

В.К.: «Мне приходилось общаться с Валентином Григорьевичем по делам культуры. Мы не все понимали его раньше, и в этом наша вина... Он оставил памятники о себе ещё и материальные. Так, не все знают, что новая областная библиотека появилась благодаря Распутину».

Вера Ивановна рассказала, как по её инициативе была устроена в Иркутске встреча писателя с министром культуры России (в то время им был А.А. Авдеев). Через два месяца после состоявшейся между ними беседы государство выделило необходимые 700 миллионов рублей на строительство современного здания библиотеки, и спустя три года здание было введено в строй.

Елена Кожевникова, сотрудница библиотеки Университета путей сообщения, остановилась на теме: Распутин и Иркутская православная женская гимназия, в создании кото-

рой писатель принимал участие. Е.К. вспоминала, с какой радостью встречала Распутина гимназия, подготовив выступления учениц ко дню его рождения, с каким глубоким почтением приносил свои поздравления владыка Вадим.

Сергей Смирнов, учёный-литературовед Иркутского госуниверситета, напомнил об альма-матер знаменитого писателя, его преподавателях В.П. Трушкине и Н.С. Тендитник, высоко ценивших творчество своего бывшего студента, а также сообщил о том, что ныне на филфаке по инициативе доктора филологических наук Ирины Плехановой проходят юбилейные конференции по Распутину, выпускаются сборники статей по их итогам.

Говорили о том, что феномен Распутина — в его способности связывать времена, в продолжении русской общественной мысли ушедших столетий, в возвращении истинного смысла таким понятиям, как совесть, патриотизм, русскость, в смелости ответов на самые острые вопросы (*В. Семёнова*); не были обойдены вниманием необоснованные упреки писателя в национализме (*А. Гачева*) и то, что русская тема, которая волновала Распутина, оказалась переведенной в низкий смысл (*П. Фокин*).

Разговор завершился на высокой духовной ноте.

Ведущий словно бы вернулся в храм Христа Спасителя, увлекая за собой присутствующих, где состоялось отпевание Распутина перед отправкой тела на родину.

П.Ф.: «Звучали слова молитвы Патриарха Кирилла, высился столб солнечного света, по которому, должно быть, восходит душа усопшего. Восходит к Матёре, но уже не земной, небесной... А за стенами храма шёл праздник, день годовщины возвращения Крыма; начинался митинг. В эти же дни проходили крупные военные учения, что-то менялось в стране, в нас. Распутину предстояло в этот день пролететь над Россией, чтобы стать частью земли Сибирской. Во всём виделась не случайность совпадений...»

Театр и телевидение: искать пути сближения

Вести этот круглый стол были приглашены опытные московские специалисты в области театра и телевидения: *Александр Мягченков* и *Марина Меркулова*. Им было что рассказать о том, как сегодня вписывается театр в телевизионный экран. Тема: «Театр и телевидение — новые форматы взаимодействия».

А.М.: «Почему мы занимаемся театром на телевидении? Потому что театр — это тайна, которая притягивает, и 25 лет назад он вернулся ко мне, актёру по первой профессии, уже как к тележурналисту. Наша задача — адаптация театра на экран. Это не так просто. Во время перестройки прежние формы взаимодействия рухнули. Телевидение стало другим, даже за последние десять лет многое изменилось».

М.М.: «Я литературовед, педагог, диплом и диссертация по Вампилову, но в какой-то момент решила переменить профессию. Получила второе образование тележурналиста и стала соединять литературу, театр и ТВ».

Ситуация такова, что аналитических программ сегодня фактически нет, только трёхминутные новостные информации. Руководители каналов честно признаются: это нам не нужно. Мы должны зарабатывать деньги. Подсчитали: в театр ходит 4–7 процентов телезрителей, значит, нет смысла давать рекламу, которая кормит, в передачах про театр. Мы пытались рекламировать модельеров, но поняли: поддерживать должно государство. Почему люди не ходят в театр? Во Франции, например, на этот вопрос был получен ответ: «Не хожу, потому что боюсь показаться ущербным. Я не пойму, что показывают».

А.М.: «Это как со спортом. Кому-то он неинтересен, а кто-то ни разу не был в театре. И у канала «Культура» всего 2–4 процента зрителей. На телеканале «Театр» мы стали делать «Театральную афишу», и вокруг простой информации рассказывали о звёздах театра. Приглашали театроведов: талантливый человек всегда ориентируется, как и о чём говорить. Приходится ломать голову, чтобы сделать беседу привлекательной. Иной «новодельный» режиссёр может заявить: зритель мне даже и неважен. Это другое производство, зритель приходит медитировать, а мне важен творческий процесс... В то время как люди говорят: я прихожу, чтобы сопоставить жизнь с тем, что говорят на сцене».

М.М.: «С 2011 года появился кабельно-спутниковый канал «Театр». Это очень мало для большой страны, он трудно существует за счёт грантов. Однако на канале разработан медиа-проект «Артист», где идут программы «Россия театральная», с приглашением звёзд из регионов, «Золотая коллекция» — видеоверсии лучших спектаклей с 2005 года и по настоящее время, «Люди и премьеры», «Актёр и роль». Региональные театры неизвестны в Москве, и будет ли спрос на передачи о них? Зрителю не очень интересны другие города. Но мы эту нишу пробиваем и в Интернете, и на ТВ. Можно показывать премьеры на ТВ, сделать программу «Театральный капитал» — о директорах театров.

Присылайте видеосюжеты о театре! Выход надо искать. Посмотрите, как мы пытаемся завоевать телезрителя, может, что-то пригодится».

Иркутские тележурналисты и критики слушали с интересом, но не заражались энтузиазмом. В выступлении Любви Васильевой, в прошлом руководителя творческого объединения «Арт» Иркутской государственной телерадиокомпании, ныне специалиста по связям с общественностью ТЮЗа им. А.В. Вампилова, прозвучали горечь и боль, и нескрываемое чувство безысходности. И понятно почему: добиться театрального канала в Москве больше возможностей, чем в Иркутске.

Л.В.: «У нас даётся катастрофически мало времени для местных культурных программ. Если раньше на телевидении было 12–14 плановых часов эфира в месяц и в программе «Арт» находилось место и для писателей, и для художников, и для театра, то теперь в информационных «Вестях» лишь 1–1,5 минуты, чтобы сообщить, что где и когда имело место быть. Об аналитических передачах не идёт и речи. У нас есть способные журналисты, которые могли бы специализироваться на театральной теме, но у них нет такой возможности, а значит, и возможности развиваться. И мы не можем изменить положение, региональные государственные СМИ только сокращали время вещания все последние годы. А теперь и частные телекомпании еле-еле выживают...»

Александр Голованов, в прошлом руководитель ИГТРК, дал своё пояснение ситуации, заметив, что Иркутское ТВ — это слепок японской модели. Отличие в том, что у нас государство не даёт провинции времени на освещение культурной жизни.

Молодые журналисты поддерживали старших коллег, добавив своих деталей к обрисованной картине.

Ольга Сенаторова в конце разговора выразила пожелание, чтобы его участники «не вышли отсюда с пессимистическим настроением». Увы!..

О границах дозволенного и возможного

Третье заседание круглого стола заострённостью названия — «Границы дозволенного: театр и вызовы современности» — привлекло в пресс-центр многих. Ведущий *Алексей Бураченко* во вступительном слове охватил обширный круг проблем современного театра, и особенно театра регионального.

Понимая необъятность темы, он пунктирно обозначил общую неуловимость, расплывчатость процесса. Здесь и роль театральных фестивалей, обвинение «Золотой маски» в русофобии, скандальная история с «Тангейзером», противоречие между государственной финансовой поддержкой театров и свободой выбора репертуара — к чему это может привести? К потере независимости театра?.. — положение, при котором директор (а он по преимуществу хозяйственник) отвечает за всё, но не решается проблема режиссуры; состояние упадка театральной критики и т. д.

Отклики не заставили себя ждать.

По поводу опасений утраты независимости было замечено, что некоторая регламентация со стороны государства возможна: хотя бы, чтобы не звучало «эта страна». А если желаешь продвинуть авангард, убеди всех, найди помещение, продай билеты, тогда будешь есть свой хлеб за постановку своего Тангейзера (*В. Пешкова*). Если в стране кризис, экономисты предвидят большие трудности в новом году, то это нужно, чтобы нам представили такого Христа? Что в результате появилось? Новосибирский «Тангейзер» — зауряд-

но поставленная опера, однако фамилия режиссёра Кулябина прозвучала, и его пригласили работать в Москву. Мы спорим о цензуре, но надо думать не только о государстве — об Отечестве. Радикальная режиссура может быть интересной, всё дело в качестве (*В. Максимова*).

Брошенная ведущим фраза: «Театральная критика в провинции не нужна, в газетах этот отдел давно заменён на «Культурную жизнь»» затронула давно наболевшее. По сути, продолжился разговор о театре и СМИ, но добавил полемичности. Снова говорилось о том, что аналитические рецензии пресса заказывает крайне редко. Директор Мирнинского театра *Сергей Шаманаев* сообщил: в их небольшом городе театральных критиков нет вовсе, поэтому делаются попытки приглашать из центра. Есть уже опыт сотрудничества с критиком из Санкт-Петербурга. Но возникает вопрос: насколько систематически это можно делать и всегда ли удачен выбор кандидатуры. Критик из молодых, получивших театроведческое образование в столице, сетовала на то, что если и публикуешь свои статьи где удаётся, этого не замечают...

Прямой вопрос о гонораре поставил *П. Фокин*: сколько могут платить журналы? Какая в связи с этим цель у государства? Если короткую информацию журналист пишет за свою зарплату, то критик за развёрнутую рецензию получает или копейки, или ничего. (Вопрос, к сожалению, из разряда риторических.)

Иной взгляд на проблемы у *Веры Максимовой*: не надо кивать на время.

Имея большой опыт деятельности в театральной сфере, начиная с советских времён, когда и театр, и критика при всех притеснениях цензуры были на высоте, Вера Анатольевна горячо убеждала молодёжь работать и не сдаваться. Руководителям театров в регионах надо добиваться проведения семинаров по критике, считает она. Работать есть с кем: театроведческие факультеты столичных вузов продолжают выпускать специалистов, и некоторые возвращаются в свои города. Не надо лениться и молодым на периферии: предлагать свои статьи о театре не только в местную, но и столичную печать. Пробыться можно.

В конце разговора Вера Анатольевна, как главный редактор московского журнала «Вопросы театра», пригласила молодых иркутских критиков к сотрудничеству с журналом и передала адрес редакции тем, кто намерен присылать материалы.

Как бы хотелось, чтобы молодёжь воспользовалась этим приглашением! Преодолела текучку дел, не побоялась напряжения, не упустила возможности показать свои работы известному столичному критику, желающему помочь и поддержать! Ведь открывается путь учёбы, путь обретения мастерства, которое не пропадёт в любом случае.

Но... Большой вопрос: как заставить молодёжь поверить, что труд и упорство не будут напрасными? Как помочь осознать, что критика — это служение? Служение идеалам, в свете которых рассматривается предмет искусства. Только тогда можно вразумительно оценить то, что видишь на сцене, в книге, на полотне. Но чтобы быть услышанным, надо, чтобы твои идеалы были близки многим людям, чтобы твой отзыв на произведение волновал, вызывал сочувствие или протест, желание продолжить разговор. Это и есть культурная жизнь общества, где хорошо видно, кто чему служит и где границы дозволенного и недозволенного.

Сегодня представление о самой необходимости идеалов размыто и вопросительно. Человек, желающий сказать нечто людям, не может рассчитывать на запрос от общества: что ему важнее, чего оно ждёт от человека наблюдающего и думающего. Каждый должен сам для себя решить, во имя чего он будет тратить силы в такой сложной сфере, как критика. Настали времена, когда куда более востребована реклама, приносящая конкретную пользу неважно кому.

...И всё-таки интересно, получит ли главный редактор журнала «Вопросы театра» статьи молодых сибирских критиков? Но это уже вопрос не столько театра, сколько общества и государства.

В рамках фестиваля

Одним из гостей стал *Андрей Грунтовский*, творчески разносторонняя личность, поэт и прозаик, театральный режиссёр, руководитель Театра народной драмы при Свято-Гро-

ицкой Александра Невского лавре (Санкт-Петербург). Нить, связывающая А. Грунтовского с Иркутском, — его работа, посвящённая трудам нашего выдающегося земляка, этнографа и исследователя детского фольклора Георгия Виноградова. Грунтовский — автор книг: «Русский бой» (о рукопашном бое), «Материк Россия» (о русской поэзии), «Страна Детей» (о Г. Виноградове), нескольких стихотворных сборников, редактор-составитель книг «Наедине с Рубцовым», «Дмитрий Балашов на плахе» и др. Главная цель приезда — презентация театра, которая состоялась на творческой встрече. Иркутяне узнали, что название этого духовного, но не миссионерского по своей природе театра родилось в одно время с названием ныне известного в стране и за рубежом Иркутского театра народной драмы, что спектакли ставятся нередко по пьесам самого Грунтовского в жанре жизнеописания. Таковы постановки о Н. Рубцове, Ф. Абрамове, В. Шукшине.

Театр организован при лавре, но не финансируется церковью, не имеет и государственной поддержки. Актёры зарабатывают на жизнь в других театрах и другой деятельностью — например, строят церкви.

На этой встрече вспомнилась другая презентация — Московского русского духовного театра «Глас», которую провели руководители театра Н. Астахов и Т. Белевич на VIII Вампиловском фестивале (2011), в связи с чем хотелось бы повторить прежнее пожелание: включать в программу будущих фестивалей спектакли или театрализованные представления театров этого направления — они вполне впишутся в концепцию современной драматургии.

Презентации двух изданий, имеющих прямое отношение к имени Вампилова, прошли в дни фестиваля в Иркутске и Кутулике.

Книга иркутского театроведа Светланы Жартун *«С именем Александра Вампилова. Фестиваль. Театр. Город»* (Иркутск, 2015) посвящена зарождению и развитию Международного фестиваля современной драматургии в Иркутске. И это история не только фестиваля имени А. Вампилова, но и обзор вампиловских спектаклей, начиная с самых первых, поставленных на Иркутской земле, и не только профессиональными, но и любительскими театрами. Читатель встретит множество имён актёров, режиссёров и художников, театральных деятелей, вспомнит постановки разных десятилетий, отклики на них и атмосферу тех лет. Книга С. Жартун была одобрительно встречена московскими и иркутскими критиками и журналистами.

Одним из главных мероприятий в Кутулике стала презентация книги «Вампилов» серии ЖЗЛ, выпущенная московским издательством «Молодая гвардия» в этом году. Автор — сибирский поэт и однокурсник драматурга Андрей Румянцев. В ней представлена биография А. Вампилова, его творческий путь, свидетельства современников и оценки критиков. Рассказ автора о том, как он работал над книгой, был с большим интересом воспринят слушателями.

Фестиваль 2015 года завершился, впереди — подготовка очередного.

Валентина СЕМЁНОВА,
критик, член Союза писателей России



Евгений Варламов. Просто, как правда

«И всё по совести...»

Давно мучает вопрос: что оставляет потомкам творческий человек?

От картин, даже плохого художника, есть толк — они, по словам героя мультипликационного фильма, дырки на обоях закрывают. А что после поэта? Если он не ангажирован властью, не обласкан грантами, премиями за правильное поведение в эпоху великих поэтов?

В начале двухтысячных я жил в Подмоскowie на даче у друга, внука заслуженной фронтовой лётчицы, получившей земельный участок в качестве подарка от Сталина. Приёмным отцом моего гостеприимного товарища был комсомольский поэт, певец строек и починов, Владимир Шлётский. Вдова подарила мне пару изданных при жизни поэта сборников со стихами, написанными после творческих командировок по Сибири — строительство плотин и бамов. Стихи добротные, крепкие, а в своё время — ещё и нужные, верной дорогой ведущие, премии приносившие. А чуть позже довелось разбирать и его рукописи. То, что не было напечатано. Пожелтевшие листы с машинописным текстом, пестрящие авторской правкой. И в них — неизвестный Шлётский, тонкий лирик с надрывными и неудобными в период строящегося и развитого социализма строками. Их автор так и должен был умереть, как и умер Владимир — от сердечного приступа. Потому что в сердце у него было слишком много нерастратченного, не выговоренного, иного, такого ненужного и неправильного: щемящей тоски, грусти, обнажённых человеческих чувств, почти детской беспомощности и ранимости...

Я тогда словно кожей ощутил, что такое быть не тем, кем тебя хотят видеть, а кем назначено быть. Драма несовместимости тонкой лирики и сурового времени.

А сколько их было, молодых выпускников Литинститута, одарённых, с пламенем в груди, с глазами, устремлёнными в светлое будущее, вписавшихся и вросших в своё время, ставших его голосом, приметами, печатавшихся в толстых журналах? И имён-то привести не могу — не вспомню. Их поэтические томики перелистывал, сидя в секретариате редакции «Молодой гвардии». Имена, имена, имена... И кто их теперь помнит? На слуху — с десяток. Остальные забыты. Они являются миру, когда очередной кандидат-филолог перекапывает полки в поисках материала для научного труда «Поэзия ...десятих», поднимая старую книжную пыль, чётко обозначающую давнюю нехоженность народных троп к страницам этим.

Книжные полки, как могилы на кладбище. По алфавиту, в строгом порядке стоят, словноobelisks с именами героев, тысячи книг и книжечек. Евгений Ламихов, московский филолог, публицист, называющий себя Реликтовым Книгоящером, посвятил десятилетия поискам таких забытых одарённых поэтов, изданию их сборников. Иногда посмертных.

И хочется думать, что лучше бы оставаться на периферийном отшибе, вдали от глобальных починов, таким не захваченным вихрем «Догоним и перегоним», «Даёшь!», не в общем строю, с ненастроенным под «руководящую линию» голосом. Позволить себе быть задумчивым и созерцающим мир в поиске красоты человеком, с отдельно взятой самоценной душой, с тихим и сокровенным голосом, которым говорят пустынные мудрецы да прожившие век батюшки в далёких приходах. Голосом, к которому прислушиваются, потому что звучит он не колоколом, а колокольчиком в поле...

Малыми дозами, по крупичкам, познаю сибирскую литературу. Она по большей части скромна, не нахальна, слова складываются в устоявшиеся веками лады. Без новомодных примесей и химического привкуса новояза. Здесь не вызывает удивления стеснительность перед фотографиями всемирно известного Валентина Распутина, немногословность и внимательная насторожённость Валерия Хайрюзова, строгость и резкость суждений Виктора Астафьева. Сибирь, вообще, вещь в себе.

Писатели-сибиряки — суть тайники да кладези. Откроешь — и внемлешь. Что ни мысль, то перл да жемчуг. Завет да уклад.

Не случайно пришли ко мне сборники Евгения Варламова, три шага человеческой судьбы.

Писать о творчестве совсем незнакомого человека вроде бы проще. На объективность взгляда не влияет сложившееся отношение к автору, доброе или недоброе. Эмоции и впечатления не затмевают и одновременно не «подпирают» его творчество, не склоняют к сочувствию или жалости. Не приходится отводить глаза и «округлять» формулировки.

С другой стороны, не хватает знания личности — материальной, образной, очной — с голосом, интонациями, походкой, поступками, что помогло бы разобраться в истоках творческих, вычислить и определить мотивы.

И уже материя поэзии, ничем не стеснённая, вольная, берёт в оборот, проникает каждой строчкой с вдохом восторга, словно разноцветный дым оседает где-то внутри памяти, иногда оставаясь там навеки. Стихи в таком случае говорят за себя сами, звучат отвлечённо. Живут своей жизнью.

Спасение

Первый скромный томик с таким обязывающим названием вышел в Восточно-Сибирском книжном издательстве в 1968 году, на закате оттепели. В оглавлении — тринадцать названий. Двадцать одна страничка. На четвёртой странице обложки фотография — серьёзное, немного ироничное лицо поэта, внимательный взгляд. Снизу короткое предисловие без подписи. *«Евгений Варламов ещё совсем молод. За плечами — школа и три курса Иркутского политехнического института. Но стихи его — серьёзные философские размышления, острые социальные строки, яркие миниатюры о природе, нежная и светлая интимная лирика — убеждают в одарённости молодого поэта».*

Вот и вся информация. А дальше — стихи. И я с ними один на один.

*Одолело желание детское —
Непонятное вам и странное...
Что мне делать? Куда мне деться?
Я сегодня хочу в Австралию.*

Первое четверостишие первого же стихотворения увиделось скорее свойственным нашим девяностым: на моей памяти австралийские пасторы-рекрутёры, приезжавшие на руины СССР в поисках потенциальных переселенцев — работоспособных мужчин, а главное, женщин. И у меня была такая же мысль — оставить берег Каспия и перебраться в страну аборигенов и кенгуру за лучшей долей. Какая разница, где быть инородцем, хотелось просто жить по-людски...

А второе четверостишие возвращает всё на места, переключаясь со строчками популярной в пятидесятых патриотической песни: «Не нужен мне берег турецкий...».

*Чтобы стало невмочь без России,
Чтоб к матросам на борт проситься
И униженно, и тоскливо
Петь о птицах, летящих клином...*

Вневременность, а точнее, своевременность и современность. Эти строки нужны сейчас, когда закончились годы безнадёги, скепсиса, кислого неверия в свою великую Родину. Годы либеральной стыдливости перед всемогущим Западом за оболганную великую и славную историю России. Страна поднимается, являя свой богатырский рост, просыпается, обретает иной разум и силу. Патриотизм, по которому так долго тосковали мы, крепнет. Неожиданный, вопреки предсказаниям скептиков-либералов, триумф Олимпиады, победа нашей хоккейной сборной на чемпионате мира, возвращение Крыма, затем наше санкционное сопротивление, Сирия с «калибрами» — всё это перекликается со стихами молодого парня из шестидесятых, которые глобальнее и весомее ушедших в небытие полотен деструктивного неодадаизма постперестроечного дурного балагана. «Чтобы стало невмочь без России». И хочется вторить словами великого полководца Суворова: «Мы — русские! Какой восторг!»

Но автор-то ещё и сибиряк. Как себя и эту землю ощущает человек, здесь выросший, живущий? И какой поэт-сибиряк без строк о тайге? Есть ли такие сибиряки?

*Вечер. Ночь. И невявь. И тайны.
И костёр сочинял стихи.
И в стихах незаметно таяли
льдинки давней моей тоски.*

*Ветер ветви гладил,
как бороды, гладил снежную тишину...*

*Слышь, тайга! Я к тебе по-доброму
проторил в тишине лыжню.*

*Я держался с тобою запросто:
переплавил сугроб на чай.
А потом — напролом, сквозь заросли,
чтобы что-то своё начать.*

Поэтика сурового края, открывающаяся не с первого взгляда, не с наскока, а в таких вот ночных посиделках у костра, сочиняющего свои жаркие стихи, от которых исчезает тоска...

И вновь ясное осознание современности, свежести: всё и всегда начинается с неё, с малой родины, с главной отправной точки. Ведь здесь наши «отеческие гробы», здесь перенимается опыт предков, здесь из поколения в поколение формируются мысли, характеры. Это наше драгоценное наследие. Что может быть дороже родных мест? Ничего. Спросите стариков. И читайте Варламова.

* * *

Чтение — процесс негласного диалога читателя с автором. Никогда не гадали по книгам? Задавая вопрос, надо открыть выбранную и прочесть первые попавшие на глаза строки. Могу сказать, что томик Пушкина давал ответы безошибочно.

Вот стихотворение, близкое мне лично. Пару раз, в беседах товарищей по писательскому цеху, слышал нарекания за «стихи о стихах». Мол, это не поэзия, не тема для творчества. Но если тайна создания, загадка явления миру произведения томит и требует ответа? Как не вчитаться? Получить бы его лет двадцать назад в качестве ответа на вопрос, как не запороть стихи...

*Не надо переделывать стихи.
К строкам своим чуть-чуть побольше жалости.
Они несовершенны? Пустяки!
Оставьте их. Оставьте их, пожалуйста.*

*Они идут не к вам и не от вас,
Но в них себя, как есть, вы повторяете.
Как часто, добиваясь мастерства,
Вы истинность и суть свою теряете.*

*Шлифуете, чтоб начали блестеть.
А подлинность — стирается за давностью...
Мои ли это строки на листе?
И жаль мне их, округлых и задавленных.*

Что ещё сказать о сути поэзии? Как разрешить вечный спор на предмет формы-содержания? Почему порой простенькие, но душевные строки способны растрогать до слёз, а некоторые математически выверенные, лингвистические конструкции кажутся кастрированно-холодными и оставляют равнодушным, если не вызывают в лучшем случае недоумения? Это зависит от искренности автора. И мастерство — уже дело второе.

*Люди недоговаривают. Очень старая это болезнь.
Или, может, спасенье? Но они в этом неизлечимы.
Люди не договаривают. Инстинктивная, что ли, боязнь
обнаженья себя, обнаженья лица и личины?*

Ложь, полуправда как неискоренимый порок. И почему проще наговорить за глаза, тихо предать любимых, близких, родных ради сиюминутной выгоды или долгосрочных перспектив, потом изобильно плодить логичные, а то и героические оправдания, байки, усыпляющие совесть, упёрто их помнить, борясь с внутренней правдой? Легче выпотрошить душу с чужим ночным попутчиком в поезде, чем покаяться перед теми, кто предан...

Но всё же:

*Скоро будет весна. Будет шумно и грязно, и скучно.
Только в небе высоком чуть ясней будут звёзды гореть...
Я вернусь к тебе злым. Я вернусь к тебе очень послушным.
Я тебя разбужу. И попробую договорить.*

Весна как шанс на обновление, возрождение, каждый имеет возможность изменить свою жизнь, договорить, простить или покаяться. Возродиться.

Сознательно не сравниваю Варламова с другими поэтами. Не люблю сравнивать, классифицировать, припиливая, словно букашек булавками, к определениям и понятиям. Каждый поэт — уникален и свободен. В поэзии нет унификации и стандарта, это структура нелинейная, богато разветвлённая, и на её ветви каждый поэт будет припилен вьедливыми литературоведами, главное, чтобы сначала заметили. Будет это персональная ветвь или коммунальная гроздь, пусть разбираются профи. У меня всё проще: откликается внутри или нет...

...Хороший поэтический старт. Стихи «цепляют», заставляют резонировать и вызывают отклик, даже теперь, в следующем веке, почти пятьдесят лет спустя. Его поэтический разговор с американским солдатом Эрни, воюющим во Вьетнаме:

*Вчера не убили Эрни,
вчера не упал он замертво,
и сегодня он жив, наверно.
А завтра?
Я не хочу его смерти:
я с ним говорить хочу...*

*...Вчера тебя не убили,
а сколько до смерти метров?
Сколько до смерти дюймов?
Подумай.*

*А он сигарету выплюнет,
скажет: — Какого чёрта?
Я своё знаю туго...
Но взгляд его — тёмный, чёрный —
тухнет.*

*...А ночью, горячей, влажной,
напившись, орал:*

— Лажя!
Всё это дикая лажя!
Все мы здесь мясом ляжем!
Низашто-нипрошто
своё потеряем прошлое.
И будущее потеряем.
Убийцы! Дерьмо! Дряни!

Хочет он возродиться,
когда домой возвратится,
в женщин вглядится, в солнце —
проснётся.
Но, Эрни, убитые падают,
ложатся убитые в памяти.
Там они и останутся,
калеча тебя останками...

Ощущение сопричастности, сопереживание человеческой трагедии на далёкой земле, политически верная для современника событий позиция, свойственная советскому человеку. Когда-то, в начале восьмидесятых, первым из сборников Евгения Евтушенко у меня появился «Дорога номер один» — о Вьетнаме, воюющем против агрессии мирового империалиста — США...

Стоит только дать другое имя герою стихотворения, заменить дюймы сантиметрами, вот и новейшая история нашего славянского мира. Украина, Юго-Восток...

Казалось бы, имя Евгения Варламова тогда появилось в мире печатном. Поэта издали, только пиши. Но последовавшую за сборником литературную паузу, затянувшуюся на десять лет, трудно объяснить.

Почему он молчал? В чём причина? И вновь ответ ищу в стихах.

Мой Аришан, говорю,
мне ещё не бывало так тихо,
как у этой твоей барабанной, разбойной реки.
Было мне хорошо
у костра слышать дальше эхо,
было мне хорошо
не писать ни единой строки.

В этом ли причина молчания — в природной полноте и гармоничной достаточности байкальского мира, мощно перекрывающей информационный поток века высоких технологий и запредельных скоростей?

За год отшельнической жизни у Байкала, прожитый там после столичной суматохи, я и сам не родил ни строчки. Как-то оказалось незачем. Было всё, что нужно для счастья: вода, огонь, ветер, земля. Дом бревенчатый, как Убежище. Городские вертлявые музы в таких, наверное, не живут, а строка перед красотой исконной, вдруг так явно и досадно становится бедна и не передаёт величия и размаха этой вселенной гор, моря и кедров. И на смену сердечной пустоте приходило ожидание любви. Её предвосхищение. Предрасположенность...

Байкал лечит. С ним сроднившись, действительно, трудно расставаться.

Я взамен приобрёл лёгкий шаг,
стал смелее и спокойнее —
остаются спасищем горы.
Говорю: «До свиданья».
Говорю: «Посочувствуй, Аришан».
И, привычно сутулясь,
войду поздним вечером в город...

И такое естественное неприятие урбанистического уклада звучит и в следующем стихотворении:

*Я снова выйду к ранней электричке.
О милая, за что нам эта кара —
не удирать тихонько к тихой речке,
которой город не засёк на картах.*

Ищите поэта не в городе сером и суетном. Здесь плечи сутулятся, шаг скор и суетлив. Здесь царит многословие, строчкогонство, рефлексия на злобу дня, и слово — не серебро, а сребреники. Большие и малые вавилоны лишают человека силы, отрывая от земли, лишая точки опоры, внутренней глубины, вытесняют выхлопным чадом дух свободы, загоняют в толпу, в свой дьявольский ритм:

*А город знает крепко своё дело,
Хватая предписаньями за горло...
Вам судорогой губы не сводило,
Когда шептали: «До свиданья, город»?*

Молчанье — золото, но где-то за пределами шумных трасс. Молчанье — как форма существования души. Как способ выживания. Молчаливники — носители истины.

«Поэт в России — больше, чем поэт». Молодой человек, едва начавший жить, передал идеальный рецепт выживания нашему времени, посылая спасительную депешу из своей юности. С ориентирами для заблудших, с точкой сохранения жизненного смысла.

«Спасенье». Не случайное название для этого сборника.

Осенние игры

Второй и последний, к сожалению, прижизненный труд Евгения Варламова. В возрасте Христа он реализовал свой потенциал в новом сборнике, увидевшем свет при поддержке Евгения Евтушенко, разглядевшего яркий талант в сибирском поэте. Между «Спасением» и «Осенними играми» десятилетие тайны.

*Не долг отдам, не должное воздам
и, не умея речь держать высокую,
на малое сбиваюсь: детство, дом
и реченька с травой — злой осокою.*

Поэт Владимир Фирсов — патриарх, «крёстный отец» многих молодых виршеслагателей, начинавших свой путь в начале двухтысячных, в одном из доверительных разговоров о творчестве точно и ёмко определил главный признак типичного графомана — стремление хвататься за глобальные темы, непосильно-масштабные полотна, присваивать роль пророка и судьи для всех и вся. А на деле — глыбы эти не годятся для эстетического и творческого приятия. Неперевариваемы. Ни честности в них нет, ни любви к родине, ни к языку своему. Только болезненная тяга к сочинительству, позёрство да самолюбование.

У Варламова практически нет вещей помпезных, лирика тихая, идёт от истин малых. Не выпячивается его любовь к Родине, не взваливает он на себя нескромно некую неподъёмную ношу. Вполголоса звучит, заставляя прислушиваться. И это малое и определяется как часть великого.

*Любовь моя на русском языке!
Любовь моя, родная речь великая,
я без тебя, как рыба на песке
у реченьки с названием Великая.*

*Великою зовут. Но помню вброд
переходил — я место знал укромное,
а если захлестнёт волною плот,
то хочешь — нет, покажется огромною.*

*А речь родная — знать не знаю дна,
и брод искать — больней осоки высечет.
Из детства по отчеству она
течёт себе и никогда не вытечет.*

И помнится, и утверждается в его стихах, что мы родом из детства. Из бабушкиных сказок, отцовских медалей, школьных проказ и воспоминаний о самом лучшем, куда хочется вернуться иногда. На что оглядываешься, будучи давно не ребёнком. А главное — благодарность за великую русскую речь, определяющую нас как народ, её истоки на той самой малой Родине, в родне, в памяти о предках, в жадных на чудо детских годах.

*...Околица. Дом с дедовой резьбой.
Нисходит тишина к нему полого.
И не ребёнок — чёрт растёт, «разбой».
Совсем неплохо жить, когда не плохо.
...
Всё поиски (не пятого ль угла?):
Остановиться, оглядеться — деться.
Любовь пришла. Любимая ушла.
Приходит зрелость. Не уходит детство.*

Великая страна состоит из миллионов вроде бы маленьких судеб человеческих, в деталях, малых чертах таится Мироздание. Потому так важна именно такая малая лирика. Да, во время великих починов «Лес рубят — щепки летят». Но, не видя дерева, не увидишь и леса. И маленький человек Варламова — не карлик, не винтик: ничтожествам не дано переживать таких изящных чувств. Золотой песочек нежности скрывается в тоннах породы сурового сибирского характера.

*«Скажите мне, пусть Вам легко расскажется,
что думается Вам и что Вам кажется.
Заплачьте мне, пусть Вам легко заплачется.
За всё моею совестью заплатится.
Ведь всё про Вас меня давно касается...»*

*Она слегка щеки моей касается.
У глаз её морщинки тонкой сеточкой...
«Ах, умница. Грешно мне было б сетовать.
И полно Вам... Давайте будем ужинать.
Осунулся, лицо горит. — Простужены?»*

*Как я её люблю! И как я голоден!
Когда и где, в каком году и городе
любовь на Вы? О, мальчика влечение —
поэмами бредовыми лечение
да на асфальте отраженьем месяца...*

И ночевать мне негде, разумеется.

Ничего не зная о жизни поэта Евгения Варламова, я словно бы знаком с ним — через стихи. Они простые и честные, как правда. Как вода, как воздух. Как сама русская душа. Их немного, но каждое — ритмом и рифмой лёгкое, с проникновенным сюжетом. И ни одного сорного. То ли рождались только совершенные, то ли он придирчиво отбирал самые

лучшие. Это дорогого стоит — прореживать, по живому резать рукописи, оставляя самую ценную материю. Это и вкус, и мера. Иначе книги можно пирожками печь, толкая туда всё, что бумага терпит... Только будет это безвкусный фастфуд.

Здоровое же творчество не имеет побочных эффектов. Вот строки до мурашек:

*Госпожа моя Осень,
полслова тебе не солгу,
Припадаю к ногам. Высоко твоё, Осень, высочество.
Не оставишь меня,
будешь верно помнить слугу.
Я во имя твоё
своё имя забуду и отчество.*

*Стану листья твои за тобою носить по пятам,
птичьим стаям твоим путь короткий указывать
за море.*

*Окна настезь в ненастье —
в ночи знак условный подам,
чтоб наутро под снегом
и земли, и зелени замерли.*

*Я разлук дневники,
я измен дневники поведу;
Твоих подданных, Осень, следы разбегаются по снегу.
Будут славить тебя
и пойдут они на поводу —
Только милость яви,
только будь нескончаемо позднею...*

*А когда заскользишь по дорогам позёмкой-змеёй,
в твоё небо взгляну:
может, скоро звезде моей выгореть?
Госпожа моя Осень,
постылое время моё...
И последнего слова, последнего слова
не выговорить.*

Осенняя пора, «очей очарованье». Но, в этом произведении иной смысл. Едва вникнув, вчитавшись, определяешь — это не время года. Здесь осень уже как пора переоценки ценностей, подведения итогов жизни, попытка ответить себе — был ли в ней смысл? Автору — едва за тридцать. Будто бы рано ещё, но теснит в сердце от загадочного чувства — то ли ностальгии, то ли меланхолии, ибо слишком глубоко заглянул...

*И день и ночь, сегодня и вчера
от женичины себя я отлучаю
и ночи ото дня не отличаю
над строчкою, над росчерком пера.*

*И вот уже строка легла. — Черта
подведена. Подведены итоги.
Но ветры того года так жестоки
всю ночь сегодня и всю ночь вчера.*

*Стихи? — Да полно. Слабая игра
ума больного: мол, стихи слагая,
печаль и память я с себя слагаю
и день и ночь, сегодня и вчера.*

*И всё смешалось так, что ни черта
не вижу я. И во поле не воин.
И над собой, любимая, не волен
ни завтра, ни сегодня, ни вчера.*

Я просто почувствовал что-то своё, коснувшись краем, отозвавшись на стихи Варламова, написанные в далёких семидесятых. И захотелось оглянуться.

...И до ...и после

Третий сборник, вышедший в 2010 году, волею времени — итоговая книга. И строки в ней разительно отличаются от прежних. И сам автор в них и противоречив, и контрастен, в борьбе с прошлым ли временем, с днём сегодняшним, с грядущим неизбежным?

*Лишь перстом погрозила старость
и отметину — на чело...
И осталось всего ничего...
— Ничего не осталось.*

Это другие стихи, с другой философией. Жёстче, принципиальнее и безжалостнее к себе. За что-то тайное, глубоко вжившееся, он высказывает, укоряет, приговаривает.

<i>...И отпиваясь чаем поутру, из безысходности перебирая выходы, споткнуться вдруг посередине выдоха о Пушкинское — «...весь я не умру...»</i>	<i>лишь вычитая прожитые числа, гордыню научился умирять...</i>
<i>Никто не научил нас умирать. В школярстве я и жить не научился,</i>	<i>Куда бы только деть свою муру?!— Опохмелившись, жизни научаем... Опившись, может, этим жидким чаем, я — весь умру, я скоро весь умру.</i>

Поэт всю свою жизнь говорит со смертью, измеряет свои слова и деяния тем, как после него будут жить его стихи. Печётся, не есть ли строки его порождение гордыни? Ответственность — вот значимый критерий взгляда в творческое зеркало. И не обязателен к таланту опыт. И молодость вполне совместима с гениальностью.

«Кто мало видел, много плачет»? Но бывает иначе, когда дерзающим субъектом и видано, и перевидано, а зрелости нет и следа. Год назад довелось пообщаться с начинающим, хотя и немолодым таёжным автором, искавшим оценки творчеству. Он читал вслух свои строки, в которых пробивались ростки добротной лирики — где гражданской, где любовной — и намертво забивались сорняками длинных и гневных сопровождений-привесков, клеймивших всех, сидящих в Кремле, кто, по убеждениям стихотворца, Россию-матушку и её многострадальный и бесправный народ грабит... Если бы это было убеждением человека, всю жизнь пропахавшего согбенно с мокрой спиной, обиженного ушлыми дельцами от «прихватизации». Но гневный лирик-обличитель провёл половину жизни не в полях на тракторе, а... в местах не столь отдалённых. В перерывах в чтении он рассказывал о «ходках», гордо повторял, что вор, что ни разу не шёл на уступки «администрации», сидя в глухом «отказе». И ни дня не работал на благо Родины, которая кормила его за счёт тех, кого он обворовывал, страны, которую так рьяно «защищает» теперь от «неправильных» воров... Такой вот бывает опыт...

Уже на смену приходят новые поколения. Со своей системой взглядов, другой, непохожей. Они смотрят на нас и не всегда понимают, как и положено выросшим в других координатах, с иным ценностным базисом. Иногда они кажутся умнее, но иногда их хочется пожалеть за чрезмерную практичность, торопливую жажду всё успеть. Всё получить, сразу.

*Мой сын умней меня на двадцать лет,
на двадцать лет умнее и моложе.
И он — ого! — ещё такое сможет,
о чём — ага — загадывать не след.*

*Беспомощно гляжу ему вслед:
добро и зло цифирью приумножит...
Но, может быть, Господь ему поможет
счастливо поглупеть на двадцать лет.*

Мудрый и зрелый, автор деликатно делится историей любви — собственной ли, лирического ли героя — скрытой в истории любви крылатых.

*Что было вначале? — А было вначале,
что белые птицы кричали ночами.
Летели две птицы — две белых печали, —
их не пожалели: пожали плечами.*

*А что же потом? — А в конце того года
нам стало с тобою и пусто, и голо.
И чёрные птицы вскричали — два горя, —
взмахнули крылами, одно и другое.*

*А что же сейчас? — Одиночества час.
И крылья появили, и голос зачах.
Но в участь не веря, но жизни учась,
две серых пичуги, живём и сейчас.*

*А что с нами будет? — А то с нами будет,
что были бы живы — надежда пребудет,
и голос поставит, и силы пробудит,
и вновь окрылит. И что будет — то будет.*

Если не любовь, то творчество становится этим смыслом. А творчество — штука непредсказуемая. Однажды перо не откликается на дыхание жизни. И вновь наступает пауза, наполненная тягучими буднями или бессмысленной суетой...

*Перо затуплено — не точится.
Стал карандашик тяжелесть.
И всё не пишется — всё хочется
себя, сердешного, жалеть.*

*Как были истины — не умерли,
как и была — осталась суть:
живи при свете, если сумерки
лишь помрачение несут.*

*Не то — недолго до страдания
нелепого — глядеть в тоске,*

*как воздвигают дети здание... —
Да что с того, что на песке!*

*Пусть на развале резвой ноженькой
девчуха топнет: — Эх, беда!..
...В твоей тетрадошке заношенной
страница есть: белым-бела*

*для первой строчки новой повести.
И лишь её бери в расчёт.
И был бы слог... И всё по совести...
А что ещё? А что ещё!*

...Стареют и угасают поэты или внезапно уходят в сторону заката. А лирические герои полнят благородное и отважное сословие, существующее где-то в осязаемой близости: ищут веру, бьются за правду, защищают и любят, воплощают идеалы человеческие. Вдохновляют, наставляют и возвышают над обыденностью и серостью. Живут, за себя и за своих создателей.

Стихи сибирского поэта Евгения Варламова должны идти к людям. Их не много, но тем и ценны они. Ноша невеликая, да пользы много. По законам справедливости они должны жить дальше. Как живут до сих пор в памяти его друзей, близких. Теперь и во мне...

*Заболело побродить. Поскитаться —
поскитаться да с судьбой поквитаться,
во все стороны по свету прокатиться...
А потом уже судьбе покориться.
«На, — сквозь зубы ей скажу, — весь я, вот он.
Нынче хватит и в окне небосвода...
Зато были пересчитаны звёзды,
зато были перемерены вёрсты —*

*не разменена была моя юность
на осёдлость, степенность, уютность...»
Я судьбу уже ногой попираю —
путь-дороженьку себе подбираю.
О короткий взмах рукой! Губы сжаты.
Будут палубы и тамбуры шатки.
Ощутить земного шара вращенье!..
Пережить потом своё возвращенье.*

Поэт должен вернуться. Чтобы договорить. Его книги, мастерски крепкие, надлежит печатать и отдавать людям. Пусть читают, пусть говорят с Поэтом сибирским Евгением Варламовым.

Андрей МИРОШНИКОВ,
поэт, критик



Живём и помним

Он казался неотделимой и вечной частью земли Иркутской. Как Ангара, Байкал, Знаменский монастырь, под стенами которого он упокоился — теперь уже действительно навечно. Да, человек, даже «самый человеческий», — смертен, долговечной только может быть память о нём, и будет она настолько крепкой, насколько жизнью земной он её выстрадал.

Валентин Распутин заслужил земной поклон современников и потомков, заслужил своим творчеством, став при жизни классиком русской литературы, а также ещё чем-то значительно большим, чем «изысканная словесность», чему имя — служение своему народу.

О нём написано, и пишется, и будет сказано ещё много. О его творчестве, об общественной деятельности. О его борьбе «за землю Русскую». А вот о его личности писано и говорено не так уж много — и прежде всего потому, что сам он от этой темы старательно уклонялся. Но его уход из жизни (всегда неожиданный, внезапный) всколыхнул волну интереса к знаменитому писателю как к человеку. А нам, знавшим его с юных лет, трудно удержаться от нахлынувших воспоминаний. Разумеется, будут у него штатные биографы, которые постараются для поколений восстановить до мельчайших подробностей жизненный путь этого человековеда и человеколюба, но непосредственное, живое восприятие сохраняется только у тех, кто был рядом, особенно, если дело касается самого раннего периода — до наступления поры известности.

А мы его знали другим

Кому же ещё вспомнить о нём, как не нам, вскормленным одной «альма-матер», именуемой Иркутским государственным университетом, где судьба свела нас в конце пятидесятых годов прошлого века на филологическом отделении историко-филологического факультета, а проявлялись наши личности не столько в учебных аудиториях, сколько в студенческом общежитии по улице 25-го Октября города Иркутска. И если начальный период жизни будущего классика мы более или менее наглядно можем представить по его автобиографическим «Урокам французского», то продолжение биографии есть не что иное, как «уроки чисто русского», основанные исключительно на субъективных впечатлениях того времени, и скажу наперёд, что те, кто знает Валентина Григорьевича уже как сложившегося писателя, будут весьма удивлены, увидев, что облик Валентина Распутина «во студенчестве» не только далёк от его портретов зрелого периода — часто в глубокой задумчивости, с грустинкой на лице, — но и резко контрастирует с укоренившимся в нашем сознании образом сострадальца и миротворца. А если точнее, это был первый забияка на факультете, пересмешник и задира, готовый, особенно на первых порах студенческой вольницы, ввязаться в любую свару, а то и, не задумываясь, «въехать» в чью-нибудь непоглянувшуюся физиономию, да (как долго хранил в памяти студенческий фольклор) однажды, промахнувшись, угодить кулаком в оконную раму, исполосовав осколками стекла до безобразия ту самую руку, которой потом будут написаны самобытные творения.

Я, будучи первокурсником, познакомился с ним в вагоне пригородного поезда, доставлявшего «мучеников науки» с традиционных осенних студенческих полевых работ в Иркутск из Алари. Дорогой успел тепло сдружиться с девушками-четверокурсницами и с упоением слушал их рассказы о предстоящей учёбе. Вдруг за спиной завязался какой-то

шум. Обернувшись, увидел приближающуюся к нам гогочущую ватагу, в центре которой буквально извивался — вы уже поняли, кто. Был он тогда худющий и от этого казался ещё выше ростом, какой-то непропорциональный — с длинными руками, с длинной шеей, которая не давала ни минуты покоя его буйной голове. Все эти диспропорции находились в непрерывном движении, ломались, изгибались, а уж о постоянно меняющейся мимике лица и говорить нечего. Ни на минуту не замолкая, он сыпал нескончаемыми остротами, шутками-прибаутками. Тут же начал пародийно расшаркиваться перед однокурсницами, они, приняв игру, потребовали становиться на колени, а он, застыв в полуприседе, требовал подстелить газетку.

Таким он оставался и в дальнейшем: постоянно ёрничающим, подшучивающим, подтрунивающим, гримасничающим. Объектом его пародийного внимания мог стать каждый. А уж такой новичок, как я, и подавно. Тут я как бы глядываюсь в зеркало той давности и вижу себя довольно странным на общем фоне, просто малышом, и не только по внешним габаритам. Дело в том, что в тот год прошёл второй хрущёвский набор в вузы так называемых «стажистов», что означало льготный приём абитуриентов, отработавших по окончании десятилетки не менее двух лет на производстве или отслуживших в армии. Поэтому поступить в наш «гос» непосредственно в год окончания школы, за редким исключением, могли только медалисты, принимаемые без вступительных экзаменов. Таковым среди «мужеского поголовья» оказался я один. (Девчонок-одногодков, правда, было несколько.) Я же в свои семнадцать годов среди парней и мужиков в двадцать лет и более был самым юным не только на факультете, но, кажется, и во всем университете. Старшекурсникам я виделся очень уж забавным в ряду взрослых людей, они охотно оказывали своё покровительство.

Юность комсомольская с хохмой пополам

Точно такое отношение стал являть и Распутин, только в привычном бутафорском духе с нескрываемым юмором. Конкретное выражение это нашло на первом комсомольском собрании филологов. Ни для кого не секрет, что заорганизованный и заформализованный молодёжный союз уже тогда вызывал к себе скептическое отношение многих радикально настроенных его членов, в том числе и нашей филологической братии (в отличие от большинства идейных историков или юристов), которая всегда не прочь была превратить идеологическое действие в очередную хохму. Причём главными хохмачами как раз оказались будущие знаменитости: Вампилов и Распутин. Но, если Саня делал это как бы «втихушку», со своей фирменной хитровой усмешкой отпуская острые шпильки и веселя близидящее окружение, то Валя, наоборот, — в широковещательной манере, с отчаянной жестикующей и уморительными гримасами, вождельно работая на публику. Мы же, паиньки-первокурсники, чинно расположились в первом ряду и хранили по возможности приличествующую моменту серьёзность. Как только начались выборы нового состава комсомольского бюро, сразу слышу за спиной свою фамилию, произнесённую уже знакомым голосом. Оборачиваюсь — Валентин, возвышаясь во весь рост над аудиторией, отчаянно жестикуюя, давясь от еле сдерживаемого смеха, начинает по требованию собрания давать мне, как своему выдвиженцу, характеристику, неся всякую околесицу из набора шаблонных эпитетов. Окончательно развеселившаяся публика дружно заканчивает выборную кампанию.

А для меня начались общественные будни в виде так называемого учебного сектора. Эту «почётную» обязанность передал мне предшественник-второкурсник — ныне известный прозаик Ким Балков. И заключалась она в том, чтобы ходить по учебным группам со списком неудачников прошлой экзаменационной сессии и торопить их на предмет скорейшей ликвидации «хвостов». Именно это занятие через некоторое время привело меня в перерыве между лекциями в аудиторию четвёртого курса, где я был встречен толпившейся у дверей стайкой парней. Здравуюсь с уже знакомым мне по спортивной ли-

нии своим тёзкой Борисом Задерем, не успеваю ответить на его недоумённый вопрос по поводу моего появления, как от группы отделяется знакомая долговязая фигура, и Валя, привычно становясь центром всеобщего внимания, картинно разводя руками, начинает «проникновенно» объяснять, «как он заботится о юном поколении, как нужно находить и продвигать молодёжь» и прочее в том же ключе. Потом под хохотушки публики, приблизившись вплотную ко мне, изогнувшись в форме вопросительного знака, будучи почти на голову «длиннее», нависнув в позе Паганеля в исполнении артиста Черкасова, тыча в меня указательным перстом одной руки, другой при этом чертя в воздухе какие-то круги, назидательно начал вещать:

— А ты знаешь, что сам академик Виноградов пишет с ошибками?

После чего, наслаждаясь произведённым эффектом, чинно зашагал прочь. А ко мне уже приближалась проходившая мимо преподаватель русского языка Мария Фёдоровна Номоконова, личность своеобразная даже для кафедры лингвистики, не очень подверженная эмоциям, как и чувству юмора. Она тут же принялась успокаивать своим неповторимым акающим московским говорком, каким, кстати, и читала лекции:

— А пачему он так гаварит. Ваапервых, Рааспутин рукаписей академика Винаградова Виктара Владимировича не видал, он их не читал...

Тут не знаешь, над чем и над кем больше смеяться.

«Судьбоносный хвост»

Между прочим, все задолжники ликвидировали свои «хвосты», независимо от моего вмешательства, за исключением, однако... самого Распутина. Правда, этот, как мы позже узнаем, «судьбоносный хвост» у него оказался чуть позже...

По правде говоря, Валины задоринки порой бывали далеко не безобидными, чтобы не сказать — ядовитыми. Так, в новогоднем выпуске стенгазеты он опубликовал пожелания своим однокурсникам следующего содержания:

*Желаем вам, скажем,
Каждой по мужу —
В возрасте вашем
Муж уже нужен!*

«Злопамятные» девчонки отомстили, что называется, на том же месте — ровно через полгода, а именно, в летнюю сессию, когда Валентин и два его сотоварища Борис Задерей и Виталий Баландин дружно «завалили» экзамен по зарубежной литературе. Тогда-то в означенной стенной печати появился такой стих:

*Три витязя стояли на распутье:
Задерей, Баландин и Распутин.
В глубоком унынии шли от дверей
Баландин, Распутин и Задерей.*

Надо полагать, этот «хвост» и стал судьбоносным, так как оставил его обладателя без стипендии, а следовательно, без средств к существованию, что и заставило его заняться «подработкой» в сфере журналистики, так что уже перед окончанием университета он числился корреспондентом молодёжной газеты. Причём о журналистике, а тем более о литературной деятельности, он отнюдь не мечтал, готовясь к роли школьного учителя. Поэтому в студенчестве не был замечен среди членов литературного объединения, «куцковавшихся» вокруг университетской многотиражки, где увидели свет их первые публикации, таких как Балков, Вампилов, Аксаментов, Румянцев и другие.

Как говорится, не было бы счастья, да... помог «судьбоносный хвост». Теперь природная задиристость стала приобретать другие, более целенаправленные очертания. Рез-

кие, критические статьи не всем приходятся по нраву, даже устраиваются соответствующие «разборки» — какие, точно не помню, хотя они ещё определённое время бытовали в том самом студенческом фольклоре, который хранил образ мятежного студента, пока его помнили вслед идущие курсы.

Словом, а не кулаком

А дальше была удачно сложившаяся писательская судьба, хорошо известная всем. Как и хорошо известны его литературные творения. Именно они наглядно свидетельствуют о том, как меняется характер автора. Приобретая житейскую мудрость, он не утрачивает своей боевитости, только воплощается она не во внешних проявлениях, а в серьёзном понимании бытия и критическом отношении к жизни. В течение не одного десятилетия просматривается его неодолимое желание переделать это наше российское бытие, изменить «типичный образ современного россиянина» в позитивную сторону.

Поскольку «из песни слова не выкинешь», то не грех отметить, что образ самого художника слова трансформируется не вдруг и не претендует на лавры идеала, тем более, что наряду с вольницей студенческой, есть ещё и журналистская, и писательская вольница, да и всякая разная. Чёртик нет-нет, да и выпрыгнет... Так, в телепередаче, посвящённой памяти Александра Вампилова, Распутин без тени смущения вспоминает, как однажды, естественно, ещё при жизни Александра Валентиновича, жена отправила того за картошкой. На этом «тернистом пути» Валентинович встретил Валентина, то есть его, Распутина. Они здорово пообщались, да так, что домой возвратились только на третьи сутки.

— Но картошку-то принесли! — озорно улыбается с экрана миллионной аудитории телезрителей тогда ещё моложавый прозаик.

Но его творчество далеко от какого бы то ни было ухарства. Да, он всё равно бьётся. Теперь уже не кулаком, а словом. И воюет за правое дело в разрезе всей страны, а то и в мировом масштабе. Писатель проводит свои гуманистические идеи, стремление повлиять на «толщи народные» не глобальными полотнами, а через образы живых, самых обычных и простецких людей, по большей части деревенского уклада.

«Глобально — в сторону несчастья»

Критики, пусть не все, весьма тонко подмечают, что если для героев повести «Деньги для Марии» (первой в его творчестве), оказавшихся в трудной ситуации, остаётся хоть какая-то надежда на благожелательный исход, то общий настрой более поздних повестей «Пожар» или «Дочь Ивана, мать Ивана» — безысходность, обречённость.

«Как же «глобально» продвинулись мы в сторону несчастья!» — горько, но метко восклицает по этому поводу критик и литературовед Валентина Семёнова в очерке о творчестве писателя.

Но писатель не отступает от своего, не теряет боевого настроя, пытается найти пути воздействия на современную действительность, по возможности всё же подправить человеческую сущность — через публицистику, общественную деятельность, религию. Положительно решаются некоторые экологические проблемы, широко развёртываются масштабные мероприятия по развитию русской духовности и культуры. Байкальский фестиваль, ежегодные торжества по этому поводу в Приангарье — достойный памятник писателю. Он — Герой, лауреат, депутат, почётный член различных академий и пр. Но сам относится к регалиям весьма равнодушно. Да, он по-прежнему пытается воздействовать на людей, и прежде всего на власть имущих, лично встречается с Президентами СССР и РФ. Но... разочаровывается вместе со всеми в Горбачёве, демонстративно выходит из Президентского совета ввиду его полной бездеятельности. И, не добившись понимания

от последователей Ельцина, произносит в интервью 2011 года фразу, страшную по силе обречённости, что Россия современная — «государство, убивающее само себя!»

«Это многих славный путь»

А ведь ничего нового, извините, в этой безысходности нет. Разве мы не знаем, что он далеко не первый. Выражаясь некрасовским языком, «это многих славный путь». Кстати, меня в своё время ошеломила фраза самого Н. Некрасова, прямо скажем, упадническая и, казалось бы, не свойственная непреклонному революционному демократу:

*И погромче нас были витии,
Да не сделали пользы пером...
Дураков не убавим в России,
А на умных тоску наведем.*

И тем не менее, в каждую эпоху появлялись в России новые «витии». Приходили и... уходили. Одних убивали, другие сами себя «решали», третьи спивались, четвёртые трогались рассудком... Ну, а многие шли на компромисс с совестью, на верноподданническое служение пороку. И умирали раньше. При жизни. Духовная кончина страшнее и не всегда совпадает с физической.

О состоянии Валентина Распутина в «закатное» время наглядно свидетельствует его последнее посещение земли Усольской. Чувствовалось, что он душой отдыхает на хлебной ниве СХОАО «Белореченское». Был он неизменно задумчив, не разговорчив, с привычной уже отрешённостью слушал других, сам ни о литературе, ни о политике ни с кем не беседовал, в разговор вступал с неохотой. Только иногда оживлялся, вспомнив молодые годы, и принимался рассказывать, как пекли картошку в детстве, топали пешком из своей Аталанки по стёжкам-дорожкам. Об этом ему напомнило усольское раздолье.

В той же задумчивости уехал, и вскоре — ушёл навсегда.

«Это многих славный путь...»

А мы — живём и помним.

Борис БАРАНОВСКИЙ

«Солнечная пыль» над столом:

ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ В СЛОВЕ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА

Лёгкое, чудесное, сотканное из солнечного света кружево живым дыханием тёплого дня висело в избе старухи Дарьи над столом, за которым собрались пить чай соседки. Одухотворённая красота возникает в повести «Прощание с Матёрой», как и в любом тексте Валентина Распутина, рядом с обыденным, привычным, внешне неприглядным. И оттого высшее получает тонкую чувствительность границы, проницаемость перехода из одного мира в другой. *«Висела над столом солнечная пыль, едва шевелящаяся, густая»*. Густота золотого свечения сродни закатному солнцу за окном избы. Солнечная пыль над столом, за которым сидят три старухи — Дарья, Настасья и Сима — начало произведения. Старухи не помнят своего возраста и отсчитывают годы, сверяясь с судьбой друг друга. Их жизни настолько переплетены, что с трудом различаются нити каждой. Солнечная пыль висела именно над этим столом, именно над этими старухами — сухими, беззубыми, с провалившимися щеками, изжитыми, израненными жизнью. Неподвижная, «густая» солнечная пыль как вечная красота над трепетно угасающим человеческим бытием.

Внутренняя диалектика художественного образа Валентина Распутина — это соединение несоединимого. Пыль со значением земного, ничтожного, преходящего, мимолётного и вместе с тем библейского, слитая с солнечной высотой и животворящим началом, вбирает в себя серое и светоносное, мгновенное и вневременное, человеческое и Божественное, материю и дух. Образ солнечной пыли определяет координаты «густого» времени, отталкиваясь от обыденного течения деревенской жизни. В нём смыкается прошлое, настоящее и будущее: город, куда переселят Настасью, отрыв от родных могил, от дома, затопление Матёры.

Солнечная пыль хранит в себе золото летнего закатного солнца, золотое мерцание русской иконы, светоносность вселенского начала. Лёгкость и весомость светящейся материи сродни золоту, одновременно небесному и земному металлу. Сияющая пыль находится между небом и землёй, в любимом пространстве писателя, в повести — над столом, освящая пространство избы, таинство простых человеческих отношений. Таинство происходящего распространяет свет на всё, что потом описано в произведении, предопределяя будущие события. Оно останется как память в душе и как предощущение возможного. Вместе с тем солнечная пыль поставлена писателем через запятую с нахальным петухом, который за окном «хлопал крыльями и горланил в ограде», а потому она не теряет координаты земного времени. Надутость и важность петуха, его резкий крик, раздражающий тонкую ткань тихой искренности разговора, присутствует в тексте как контрапункт словесной партитуры, придавая осязаемость и зримость слову Валентина Распутина.

Метафорическая уплотнённость художественного образа писателя раскрывается в подобных мимолётных штрихах, по которым скользит взгляд читателя, стремящегося вслед за развитием сюжета. Но они раскрывают бесконечность чуткого, трепетного, ёмкого слова писателя. Вот последняя встреча старухи Дарьи с родными могилами: растревоженная земля от вывернутого креста и маленькие алые капли — «клёванные птицей красные ягоды» рябины, посаженной Дарьей. Крошечные ягодки на земле — эскизный образ картины с ключевым значением мучений дочери, метафора раненого человеческого сердца. Едва заметный живописный след раскрывает сдерживаемую боль старого человека — боль любви к самым близким людям, прощания и невозможности защитить их последний кров.

Сквозь красные ягоды рябины кислица в котелке Андрея ретроспективно открывает новые чувства, новые мысли, дополняет трагизм предыдущей метафоры дыханием детства. *«В руках у него был котелок, в котором что-то ярко краснело. И она догадалась: он собирал кислицу. Господи, совсем ещё ребенок! Недосмотри — он в кусты, где ягодка...»* Июль, солнце и прохлада леса, счастье находки и свежая кислинка на языке. Взмах ки-

сти мастера вызывает поток детских ассоциаций, впечатлений, радости. Но после рябины кислица в котелке Андрея может быть увидена уже другими глазами. Кислица в тексте предшествует рябине, одно — из поры сенокоса, другое — из ранней осени. Лето противопоставлено осени и соединено с ней единой нитью жизни. Ягоды как дар, получаемый от природы (кислица), и как создание человека (рябина, посаженная Дарьей). Вкус кислицы и горечь рябины в потоке возможных ассоциаций дополняют чувственный контекст повествования и становятся скрытой метафорой состояний героев. Слово Валентина Распутина, живое и осязаемое, позволяет взглянуть в себя, но не даёт возможности увидеть границ своей глубины. В нём — встреча старости и детства, итога и начала, жизненного опыта и открытия, радости и печали.

Вот раздумья Павла перед тем, как его подхватывают обстоятельства и уносят по реке искать оставшуюся на острове мать. *«Слетел с осины напротив красный лист и застыл в воздухе, высматривая, куда править, но оно, движение, подхватило его и вынесло на дорогу, продёрнуло ещё чуть по земле»*. Лист осины даётся на несколько мгновений крупным планом, как лицо Павла, за которым мы наблюдаем. Рождается метафора психологического состояния героя — его предстоящей судьбы, мучений, порывов, подчинения чужой воле, в ней его будущее, прошлое и настоящее. Лист осины красный. Цвет открывает вход в мир, в котором уже и кислица в котелке у Андрея, и ягоды рябины на могиле родителей Дарьи, и красные, словно отражающие пожар Матёры, глаза Богодула. Красный цвет, крайне редкий в палитре Валентина Распутина, здесь особенно пронзителен на фоне тихих осенних сумерек. Красный выделен из многоцветия природы гаснувшего вечера, чтобы стать откровением, выражением сущности происходящего. Он как муки совестливого сердца Павла, как предчувствие нежеланного, как невольная жертва и прощание его с родным домом, с матерью, с землёй. Лист отрывается от дерева, чтобы быть вынесенным на дорогу — под ноги людей, под колёса мотоциклов и машин. Метафора оторвавшегося листа, одиночества рождается из реальности и обыденности происходящего, обостряя культурную память архетипом странничества, обречённости и беззащитности перед стихией жизни. Деталь обнажает лаконизм и ёмкость метафоры писателя.

Слово-образ Валентина Распутина предлагает пойти одним из разных путей: путём видимого, осязаемого и потому близкого мира, путём дальним, метафорическим, соединяющим разные времена и культуры, или посмотреть на изображённое с высоты вечности. В слове писателя земное соединено с небесным, которые, отражаясь одно в другом, выражают полноту бытия. Небеса как высший критерий восприятия и понимания мира, характерный для традиционной русской культуры, основанной на христианстве, хранится в слове писателя. Слово-образ Валентина Распутина отражает бесконечность духовных вершин культуры и получает с этим неизмеримость байкальской глубины.

В.Я. ИВАНОВА



Большие Коты

История биостанции

В самом конце XIX века купец Сибиряков на Байкале в Больших Котах организовал небольшой стекольный завод для выпуска оконного стекла. Мне непонятно, почему он выбрал именно это место, потому что обычно стекольные заводы ставятся возле источника сырья, а кварцевого песка в Больших Котах не было ископан. И кварцевый песок ему привозили на «ситовках» (рыбачьих лодках). Но, видимо, дела у него пошли плохо, и он разорился, а в 1910 году из Петербурга на Байкал был направлен профессор Виталий Чеславович Дорогостайский для организации биостанции. Дорогостайский купил у Сибирякова здание конторы с жилыми помещениями. Так было положено начало биостанции. У Виталия Чеславовича вначале для работы было всего две гребных лодки, а мой отец, который дружил с Дорогостайским, в 1908 году сделал моторную лодку, поскольку он был хорошим столяром, назвав её «Дельфином». Он в то время помогал Виталию Чеславовичу в работе. Кстати, в благодарность последний одного из открытых им «гамарусов»¹ назвал «гамарус демьяновичус».

В это время в Иркутск приехал известный учёный Глеб Юрьевич Верещагин, и, по его мнению, биостанцию надо было устанавливать в Чивыркуйском заливе. Из-за этих разногласий организация биостанции на некоторое время была приостановлена, так как всё-таки Чивыркуйский залив в то время был малодоступен для посещения.

В 1919 году, в самом начале становления Иркутского государственного университета, биостанция из подчинения Академии наук была передана университету.

В 1916 году для работы на биостанции был построен катер «Чайка». Катер строился в Лившанке. Это было небольшое моторно-парусное судно с каюткой в носовой части и открытой кормовой частью. «Чайка» была оборудована парусом гафельного типа. Теперь применяется бермудское вооружение, где грот (задний парус) треугольного типа. А при гафельном вооружении парус представляет из себя неправильный четырехугольник. Верхняя шкаторина паруса крепится к гафелю — деревянному бруску, который поднимается не одним фалом, как бермудский грот, а двумя — гафель-гарделью и дирикфалом. Кроме того «Чайка» была оборудована стрелой в виде шлюп-балки, на который через блок спускалось оборудование для исследований. Стояла ручная лебёдка с тросом. А для определения глубины погружения на тросе через каждые пять метров крепились белые тряпочки, а через пятьдесят метров — красные тряпочки. Отдельной команды на «Чайке» не было, все работы выполняли научные сотрудники. Поскольку «Чайка» была уже мореходным катером, то принципиально она могла ходить по всему Байкалу, но работала больше всего в районе биостанции.

Первый раз на биостанции я был, вероятно, в 1921 году с родителями. Биостанция представляла собой капитальный дом с несколькими комнатами и через небольшой коридорчик — кухни. В передней части жил с семьёй смотритель биостанции, он же — метеоролог — Николай Иннокентьевич Колмаков, очень разговорчивый человек. Я не помню, в какой комнате мы жили, но хорошо запомнил местную козу. После своего первого приезда я стал бывать здесь каждое лето.

¹Рачок-бокоплав.

С каждым приездом биостанция всё более обустроивалась. От стекольного завода биостанции досталась большая изба с одной комнатой, которая называлась «резная». В ней раньше резали оконное стекло. В моё время там были оборудованы большие нары, и здесь останавливались приезжавшие на станцию сотрудники. Кроме того поблизости была небольшая часовенка, которая находилась в начале лесной посадки.

В комнатах главного здания были оборудованы лаборатории. Здесь стояли лабораторные столы с микроскопами, шкафы с всевозможными банками и баночками. Несколько позднее был построен мол для причала судов г-образного типа. При строительстве он был заполнен камнем не полностью, и чтобы дооборудовать его, была введена трудовая повинность: все присутствующие на биостанции работники должны были каждый день приносить на мол по камню — булыжнику.

На биостанции работало в разное время от четырёх до десяти человек. Жизнь на биостанции была материально достаточно трудной. Все продукты сотрудники привозили с собой из города. Поварихи не было, и каждый готовил себе сам. Единственным подспорьем была рыба. Сотрудники с вечера ставили сети, а утром их выбирали. Сети были небольшие, метров по 30–40, двух типов: простые и трёхстенки. Сеть трёхстенка представляла собой тройную конструкцию. Две сети с крупной ячеей из толстых ниток, и между ними закладывалась собственно рыболовная сеть по высоте больше, чем крупноячеистая. Так что когда рыба попадала в сеть, она запутывалась в ней, как в мешке. На нижней тети сети были закреплены свинцовые грузы, на верхней — поплавки из бересты. Сеть ставилась донной, перпендикулярно к берегу.

В сети попадался хариус, сорога и большие байкальские широколобки. Последние при хорошем улове либо выбрасывались, либо скармливались кошкам. Одну из них запомнил хорошо. Это была какая-то совершенно особая кошка. Она любила есть зелёные водоросли. А когда лодки выходили на разрез², она запрыгивала в лодку, терпеливо сидела, пока проходили работы, а при возвращении, не доехав до берега метра три-четыре, спрыгивала в воду и добиралась до берега вплавь.

В 1927–1928 годах в связи с наступлением нэпа условия жизни сотрудников на биостанции улучшились. Была приглашена повариха. Теперь уже она для всех готовила полноценные обеды: первое, второе и даже третье, обычно кисели или компоты. Все собирались за общим столом, и изредка на столе даже появлялся разбавленный спирт — для настроения.

Основатель станции В.Ч. Дорогостайский был не только биологом, но и охотоведом. На заднем дворе на террасе он установил несколько клеток с чернобурыми лисами. Вонюща там была страшная. Позднее государством в Больших Котах был организован зверопитомник с большими открытыми вольерами с проволочными стенками и деревянными домиками для лис. Посередине вольеров была выстроена смотровая вышка, где дежурные сотрудники наблюдали за животными. В это же время для сотрудников зверопитомника были построены несколько домиков для жилья, магазин и клуб. Тогда же был построен большой мол, гораздо больший, чем мол биостанции. В это же время были приобретены катера. Первый назывался «Гибрид». Это была большая байкальская лодка с одноцилиндровым громоздким бензиновым мотором, который иркутский умелец собрал из старых стационарных моторов, поэтому его и называли «Гибрид». Он совершал регулярные рейсы между Листвянкой и Котами. Перевозил людей и мелкие грузы. Второй катер назывался «Соль». Это был уже довольно большой катер с каютой до самого носа и открытой кормой.

²Выбранное для замеров место. Там проводились батометром замеры воды с разных глубин. Батометр представлял собой стеклянную трубку с открытыми концами и двумя крышками. Когда он опускался на нужную глубину, на трос одевался «солдатик», который представлял собой свинцовый цилиндр с боковой винтовой прорезью. Он отправлялся вниз и ударял по защёлке батометра, тот переворачивался — и крышки закрывались. Таким образом, с определенной глубины доставалась проба воды. Также с помощью круглого диска, окрашенного цинковыми белилами, определялась прозрачность воды, донные пробы — дночерпателем. Зимой замеры проводились с помощью кибитки, которая ставилась на полозья и вывозилась на озеро к вырубленной заранее проруби. В кибитке в полу был сделан квадратный люк. Здесь же находились печурка и стол. Можно считать, что замеры проводились в относительно в комфортных условиях.

Виталий Чеславович сотрудничал с руководством зверопитомника и предложил им завести пятнистых оленей. Мой отец в это время жил во Владивостоке, и у меня сохранилось его письмо Дорогостайскому о том, как можно во Владивостоке закупить и переправить в Большие Коты пятнистых оленей, что в дальнейшем и было сделано. Судьба зверопитомника оказалась довольно печальной, он просуществовал несколько лет, а потом, по чьей-то начальствующей воле, его решили перевести в другое место где-то на Ангаре. Там его и загубили.

В верховьях реки Котинки занимались лесозаготовками. Брёвна в то время даже сплавляли самосплавом до Байкала, где сплавивались плоты. Всё в итоге привело к обмелению Котинки. Также в Больших Котах добывалось золото — отдельными старателями на лотках, бригадами старателей с применением «бутары». Работала драга вначале на самом побережье Байкала до Сибиряковского мыса. Там она сбрасывала грунт и камни в сторону Байкала, таким образом, между озером и берегом образовалась промоина, где могли отстаиваться шверботы, катера и вал из камней. Мне дважды на моей яхте «Берендей» приходилось отстаиваться здесь от сильного верховика³. Затем драга двинулась от Байкала по Котинке вверх. Вскоре Котинка стала выносить в Байкал много песка, который стал замывать котовский мол. Из-за этого в дальнейшем был построен новый третий в Котах, и больший по размеру мол. Драга на Котинке вскоре была заброшена, а через несколько лет варварски изрезана на металлолом, который там же и был оставлен.

В Больших Котах была организована золотоскупка, которая принимала от старателей золото, и магазин с набором необходимых для старателей продуктов и товаров. У старателей не было весов с разновесами, поэтому весовыми единицами выступали обыкновенные спички, которые в то время были большими по размеру, чем теперешние. Часто можно было слышать от старателей: «Сегодня плохой день, намыли всего на две спички», или же наоборот: «День удался — намыли на пять спичек». Этих деталей, уверен, теперь уже никто не помнит.

На самом Байкале вдоль побережья артели старателей работали на плотках. Для изготовления плотов применялись длинные восьми- или десятиметровые брёвна. Их сплавляли следующим образом: четыре бревна вместе, затем шёл метровый промежуток, а затем ещё четыре бревна. Таким образом, по центру плота образовывалась достаточно большая полоса свободной воды. По углам плота выкладывались квадратные срубы, в которые вертикально вставлялись брёвна. Получался «стол» на четырёх ножках. На плоту устанавливались «бутара» с ручным насосом и ворот. Плот останавливался над местом глубиной до полутора метров, и вертикальные бревна упирались в дно. Затем воротом через систему блоков край плота поднимался над поверхностью воды, и в отверстия брёвен вставлялись прутки, так что плот как бы «зависал» над водой. Так же поднимался другой конец плота, и плот устанавливался над водой приблизительно на 0,5–0,7 метра. Затем через отверстие в центре плота на дно опускался ковш, который зачерпывал грунт со дна озера, и воротом поднимался на поверхность плота, где промывался в «бутаре». После того как в данном месте заканчивалась выработка, плот переплывал на соседнее место, и операция повторялась.

Для связи с Листвянкой была построена шлюпка «Бормаш» со шведским подвесным мотором «Архимед». Как работал мотор? Это был пятицилиндровый мотор с оппозитионно расположенными цилиндрами и маховичным «магнето». У него оказался странный характер. Когда его вешали на забор биостанции, он легко заводился, когда ставили на транец шлюпки, завести его было невозможно. Дело оказалось в том, что на шлюпке сразу начинал вращаться винт, который затруднял набирать нужные обороты для работы «магнето». Поэтому в дальнейшем мотор сделали стационарным внутри шлюпки, с зажиганием не от «магнето», а от обмотки. Я два лета работал мотористом и гордился этим, особенно когда пригнал «Бормаш» из Котов в Иркутск.

³Байкальский ветер.

В конце 1920-х годов был построен первый катер, который назвали «Сарма». Это была небольшая мореходка с каюткой в носовой части и специальным катерным «пентовским» мотором. Его получили через Карскую экспедицию. Мотор был четырёхцилиндровый с верхними клапанами и механизмом заднего хода в виде планетарной передачи. Работники биостанции, опасаясь излишней сложности при запуске мотора, отказались от электростартера, и заводился мотор вручную, специальной пусковой колонкой. В качестве моториста был приглашён студент, у которого были шофёрские права, — Тимофей Иванов.

В 1932 году была организована экспедиция. Биолого-географическим институтом при Иркутском университете был заключён договор с Рыбтрестом для определения запасов омуля в Баргузинском и Чивыркуйском заливах. Экспедицию возглавлял М.М. Кожов. Я тогда окончил 7-й класс и нанялся препаратором в экспедицию. Часть научных работников отправилась на «Сарме», взяв с собой и меня. Сперва мы шли вдоль нашего берега, потом пересекли Байкал до дельты Селенги и пошли той стороной против впадения Селенги в Байкал. И вскоре неожиданно наша «Сарма» дважды днищем коснулась дна. Дело в том, что из Селенги был большой вынос песка и грунта, и там стало мелко. Поэтому мы срочно повернули в сторону чистого Байкала, и только затем продолжили курс. Из всего этого видно, что наши учёные были совсем не моряками. Вскоре горная⁴ пригнала в нашу сторону большой вал воды. Вал был такой значительный, что «подъездок» — ангарская лодчонка, которую мы буксировали, вставала вертикально на воде. Команду изрядно укачало. Мы пытались зайти в устье речки Турка, но там образовался большой бар⁵, и наш заход не получился. К вечеру мы дошли до Горячинска. Там был старый разрушенный мол без настила и большой сарай на берегу. Решили здесь ночевать. Выгрузили на берег палатку, продукты. Разожгли костёр и отправили меня на «Сарму» за чашками с ложками и стеклянной банкой рафинада — дефицита того голодного времени. Добравшись по брёвнам бона до лодки, я достал всё необходимое и двинулся на берег. Посередине бревна я вдруг понял, что меня всё-таки укачало и что я сейчас куда-нибудь упаду. Нужно было выбирать: падать на камни или в воду. Выбрал последнее, ушёл в воду, держа припасы перед собой. Вынырнув, поставил их на брёвна бона, и что оказалось: деревянные ложки уплыли, а банка с сахаром оказалось полна воды. В таком «мокром» виде меня и встретили на берегу. Наказать меня не наказали, но похлёбку пришлось пить через край плошек. Сахар удалось спасти, он не успел весь раствориться в воде.

Вскоре наша экспедиция разделилась. Главная часть с Кожовым осталась в Баргузинском заливе, а наша группа отправилась в Чивыркуйский залив.

Несколько слов об Усть-Баргузине. Усть-Баргузин в то время располагался не на левом, как сейчас, а на правом побережье Баргузина. Там был посёлок, рыбоконсервный завод, который выпускал консервы «омуль с томатным соусе», школа и клуб. К этому времени к нашей экспедиции присоединилась группа студентов, приехавшая на пароходе. Всех разместили в школе. Но наша группа здесь не задержалась. Нас на барже отвезли в Чивыркуйский залив на рыбодел. С нами же был доставлен и «Бормаш».

Рыбодел представлял из себя два-три капитальных дома, навес для склада соли. Здесь же изготавливались лагуны для засолки омуля. Омуль не разделявали, а солили «кружляком». По договору на рыбоделе нас снабжали омулем и хлебом. Мы свой лагерь расположили на расстоянии двухсот метров от рыбодола, на берегу Ангаконской бухты. Поставили большую палатку и брезентовый навес с лабораторным столом, где я потом разбирал в чашках Петри улов донных проб — рачков и червячков. Из собственных припасов у нас была пшённая крупа с добавлением песка и большая банка постного масла, которую мы прикопали в песке на берегу. Кашу приходилось жевать осторожно, чтобы песок на зубах не хрустел, но нас это не смущало. Кашу мы варили в большом ведре на костре, под конец варки зарывая его в горячую золу, чтобы каша лучше распарилась. Здесь же готовили уху из расчёта по одному омулю на человека плюс один — запасной.

⁴Байкальский ветер, который дует с берега на море.

⁵Крутая волна.

В состав нашей группы входили начальник экспедиции Владислав Николаевич Ясницкий, Виктор Семёнович Буров, Пётр Федосеевич Бочкарёв и студент-практикант Буддо. В дальнейшем последний работал в сельхозинституте. Я над ним подсмеивался, что он откроет новый «гамарус» и назовёт его «гамарус буддиус».

В первые дни нашей работы студент-моторист на «Бормаше» умудрился свернуть маховик мотора, и мы остались без шлюпки, и были вынуждены отправить её на ремонт в Иркутск. На рыбоделе нам выделили байкальскую лодку. Она была широкой и тупоносой. Мы называли её «Жабой». Поставили мачту и стрелу с блоком для работы. Был у нас небольшой прямой парусок из простыней. Его мы гордо именовали «Хоругвь», и впоследствии сочинили на мотив «Дубинушки» свою «Жабинушку». Помню два первых куплета:

*Швед подлец, швед хитрец,
Чтоб работе вредить,
Изобрел он мотор Архимеда.
И послал нас, «Рыбтрест»,
Чивыркуй изучить
На машине на хитрой на этой.
Эх, «Жабинушка», ухнем,
Плоскодонная сама пойдёт,
Гребнёмся, гребнёмся да ухнем!*

По секрету скажу, что последнее слово было вовсе не «ухнем», а несколько другим — пища у нас была достаточно тяжёлой...

*Верховик потянул
И хоругвь натянул.
Понеслась наша «Жаба» в загубок,
А от горной она
Улетает сама,
Как стрела из индийского лука...*

На «Жабе» мы выезжали на разрезы. Это был маршрут, намеченный по карте, допустим, от одного мыса до другого на противоположной стороне залива с остановками в двух-трёх точках. Здесь мы брали пробы донного грунта дночерпателем, батометром — пробы воды на разных глубинах и делали замеры температур. В носовой части «Жабы» был установлен столик, на котором химик Бочкарёв сразу же производил необходимые измерения воды. Такие разрезы проводились на площади всего залива.

На рыбоделе нам не ограничивали количество забираемого омуля, поэтому кроме ухи и жареного омуля мы ещё делали опчаны. Для этого очищенного и выпотрошенного омуля сутки вымачивали в рассоле, а затем в развернутом виде, укрепленного распорками из прутиков, продёргивали через глаза бечевой, развешивали на солнышке на ветерке и вялили 3–4 дня. В результате получалась полупрозрачная удивительно вкусная рыбка, которую мы с удовольствием ели с хлебом. Надо сказать, что вяленая таким образом рыба становилась своеобразными «консервами» и могла храниться довольно долгое время. При вялении нам досаждали многочисленные мухи. Ситуацию спасал большой кусок марли, которой мы завешивали омуль.

В экспедиции мы провели около месяца. К концу сезона договорились на рыбоделе, что в небольшие три лагуна «для научных целей» нам сделают различные засолы омуля: кругляком, поротый и немного подкопченный. По возвращению из экспедиции «научные» экземпляры были распределены между сотрудниками. Мне досталось десять хвостов, что было значительным подспорьем нашему домашнему столу.

Со всем оборудованием и скарбом нас доставили на байкальских лодках в Усть-Баргузин. Оттуда на пароходе «Кругобайкалец» вместе с остальными членами экспедиции мы должны были отправиться в Иркутск. Погрузка на пароход почему-то осуществлялась ночью, нас доставляли на лодках к стоявшему на внешнем рейде пароходу и по верёвочным

лестницам мы поднимались на борт, благо, что он был невысоким. Сам пароход был бескаютным. Оборудование мы разместили на юте, члены экспедиции сгрудились в носовой части, а я разместился в центральной возле трубы на небольшом настиле. Было довольно холодно, и я, поворачиваясь, поочерёдно грел о трубу то пузо, то спину. Но эта «прогулка» не прошла для меня даром, вскоре по возвращении домой я свалился от скарлатины.

Но вернёмся к истории биостанции. При М.М. Кожове биостанция стала расстраиваться в сторону Листвянки: появились жилые помещения, лаборатория, музей. Сами дома были перевезены из Большого Голоустного, а лаборатория и музей были построены заново. В это же время на биостанции появился новый катер «Натуралист», на который, кстати, был поставлен тот же «пентовский» мотор.

Вспоминается забавный случай. Как-то раз, когда кампания научных сотрудников⁶ собралась на кухне, кто-то сказал: «Как так, у каждой местности есть свой дух, а у нашей — нет!» Все дружно с ним согласились. Присутствующий в это время по случаю на станции Б.Э. Петри, который вместе с сыном Олегом на небольшой «Ангарке» с одноцилиндровым мотором из Иркутска по хорошей погоде добравшийся до Котов, возразил: «Как это нет? Есть! И зовут его Эжин». Тут же все с ним согласились, а затем кто-то из умельцев, взяв небольшую чурку, вырубил из неё грубое изображение духа с большим носом. Повязали ему на шею тряпочку вместо галстука и дружно водрузили на водоразделе между Большими и Малыми Котами, под какой-то сосёнкой. Эжин вошёл в обиход станции. С тех пор всех приезжавших на станцию вначале отправляли поклониться Эжину во избежание неприятностей, ну а если последние всё-таки случались, спрашивали у потерпевшего: «А ты поклонился Эжину?»

Последний раз перед войной я был на биостанции в 1937 году. В последующие годы я уже не мог там побывать, так как вышел Закон о приграничной зоне, и на биостанцию можно было попасть только по специальным пропускам. Кто бы мне их дал?!

После войны я уже не участвовал в работе биостанции, а приезжал туда с Сергеем Игнатьевичем как гость. Приезжал один, позже с сыновьями. Но, наверное, самое памятное впечатление оставил у меня 2015 год. В Иркутск из Америки приехал мой друг Володя Чепурной. Мы не виделись с ним с 1991 года, когда он уехал из страны. В Иркутске Володя был физиком-лазерщиком, работал на кафедре у знаменитого профессора Парфиановича, а в Америке стал бизнесменом. Володя был опытным яхтсменом. У него была деревянная яхта типа «Дракон» под названием «Синильга», и на ней я прошёл свои первые уроки парусного управления. В Иркутск они приехали с женой Ольгой и сыном Михаилом, чтобы навестить своих родных и показать Мише Байкал. Ездить поочерёдно по многочисленным родственникам было по времени накладно, поэтому Ольга решила собрать всех в одном месте. Конечно, было бы разумнее снять несколько номеров в гостинице в Листвянке, но, вспомнив нашу совместную поездку в Большие Коты, Володя предложил именно это место и попросил меня присоединиться к компании.

С последнего моего посещения этого посёлка прошло много лет. Большие Коты изменились до неузнаваемости. Посёлок сильно расстроился, особенно по пади Большие Коты, пади Малые Коты и по берегу. Построена линия ЛЭП, что в корне изменило быт жителей. Появились трёхэтажная гостиница европейского класса и несколько гостиниц попроще. Я пытался найти старые постройки, знакомые места, но из-за малоподвижности мне трудно было это сделать. Огорчило, что когда-то бурная речка Котинка превратилась в небольшой ручеёк. Сохранился только один мол на биостанции, сейчас там стоит большой катер «М.М. Кожов». Второй мол — зверопитомника — оказался полностью разрушен.

Мне 99 лет. Есть ли у меня желание побывать ещё раз на биостанции? Конечно, есть. Есть что вспомнить, есть чем поделиться с её новыми сотрудниками...

Ну что ж, до встречи!

Б.А. ДЕМЬЯНОВИЧ

⁶В это время на биостанции работали: Владислав Николаевич Ясницкий, Виктор Семёнович Буров, Сергей Игнатьевич Тимофеев, Скобичевский.



Забайкальская осень – 2015

В столице Забайкальского края г. Чите прошёл юбилейный литературный праздник «Забайкальская осень-2015». Ровно пятьдесят лет назад, в сентябре месяце, в Читу на первый семинар молодых писателей Восточной Сибири и Дальнего Востока прибыло более семидесяти молодых авторов. Инициатором и основным организатором семинара был председатель Читинской областной писательской организации Георгий Рудольфович Граубин. Руководители семинара: председатель Правления Союза писателей России прозаик Леонид Соболев, Семён Шуртаков, Виктор Астафьев, Дмитрий Ковалев, Антонина Коптяева, Франц Таурин, Борис Костюковский, Владимир Чивилихин, Николай Ящепко, Сергей Наровчатов, Леонид Решетников (Новосибирск), Исай Калашников (Улан-Удэ). Одиннадцать молодых прозаиков и поэтов были, по итогам семинара, рекомендованы в Союз писателей. Многие книжные издательства Москвы, Читы, Иркутска, Красноярска получили рукописи для издания книг молодых.

Здесь, на семинаре, впервые зазвучало имя Валентина Григорьевича Распутина. Его рассказы получили добрую оценку руководителя семинара прозы Владимира Чивилихина.

Большим другом и верным помощником Граубина в проведении семинара стал председатель Иркутской писательской организации поэт Марк Давидович Сергеев. Он принимал участие во всех без исключения праздниках в Чите.

В 1973 году Марк Давидович привёз в Читу всех иркутян-участников того легендарного Читинского семинара 1965 года — Валентина Распутина, Геннадия Машкина, Вячеслава Шугаева, Бориса Лапина. Не было только Александра Вампилова, имя которого прогремело на всю страну. Он погиб на Байкале.

С начала 1990-х годов в силу экономических причин «Забайкальская осень» проводилась на областном уровне. В 2006 году праздник книги вновь получил статус общероссийского. Приметным стал 2011-й — год возрождения семинара для начинающих поэтов и прозаиков, получившего название «Подбирая слово к слову», основную роль в организации и проведении которого взяли на себя Забайкальская краевая универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина и краевая писательская организация.

Юбилейная «Забайкальская осень-2015» стартовала 5 сентября в библиотеке имени А.С. Пушкина, где прошло торжественное открытие праздника, а затем начал работу семинар молодых авторов в секции прозы и поэзии, в котором приняли участие 32 молодых писателя из Читы и районов края, а гостями стали московские писатели Николай Стародумов, Геннадий Киселев и я, Эдуард Анашкин, критик из Поволжья.



А на следующий день в Парке культуры и отдыха, Доме офицеров Забайкальского края прошли праздничные мероприятия: открылось десять тематических площадок, были организованы викторины, конкурсы, книжная ярмарка, концертная программа и встречи с известными и начинающими забайкальскими писателями. А после обеда состоялось открытие мемориальной доски памяти Георгия Рудольфовича Граубина, инициатора проведения первого семинара молодых писателей. Около дома по улице Ленина, 52, в котором долгие

годы жил и работал писатель, собрались его коллеги, друзья, поклонники творчества, родственники поэта. Автор мемориальной доски — заслуженный художник России, читинский скульптор Елена Дружинина.

В церемонии открытия приняли участие и выступили: министр культуры Забайкальского края Виктор Колосов, первый губернатор Забайкалья Равиль Гениатуллин, профессор Борис Кузник, председатель писательской организации Шухрат Тохта-Ходжаев, дочь Георгия Рудольфовича — Татьяна. Полотно с доски сняли внуки Дмитрий и Александр. А в 17 часов в зале Дома офицеров прошёл литературно-музыкальный вечер «Забайкальской осени — 50!».

Открыл вечер губернатор Забайкальского края Константин Ильковский: ««Забайкальская осень» — это важное событие не только для тех, кто пишет, но и для тех, кто читает. Талантливых забайкальцев в литературе — множество. Регулярно проводим работу, чтобы пополнять библиотеки книгами забайкальских авторов. Для личностного роста и изучения своего региона нужно обязательно читать книги наших литераторов. Радует, что сохранился журнал «Слово Забайкалья», где имеют возможность опубликовываться начинающие и именитые авторы. Во все времена писательскому таланту пробиваться было не просто. Считаю, что в наше время организуют недостаточное количество творческих премий. Для писателей всегда необходимо бережное внимание и поддержка».

Глава региона вручил премию губернатора Забайкальского края имени Михаила Евсевича Вишнякова в области литературы забайкальской писательнице Валентине Трухиной. Премия присуждена за книгу «Поселение», одну из частей трилогии. Тридцать лет работала Валентина Семёновна над трилогией. Прославилась автор романом о декабристах «Читинский острог», который вышел в 1985 году. Вторая книга, «Петровский каземат», вышла в 2005 году. И вот в год 50-летия литературного праздника вышла заключительная часть романа-хроники «Поселение».

В честь 50-летия литературного праздника «Забайкальская осень» Константин Ильковский вручил благодарственные письма группе забайкальских писателей и поэтов.

А заместитель руководителя отдела Исполкома Международного Сообщества писательских Союзов, секретарь Союза писателей России Николай Стародымов по поручению Правления Союза писателей России вручил забайкальскому прозаику Олегу Петрову и председателю Читинской писательской организации поэту Шухрату Тохта-Ходжаеву медаль имени Василия Шукшина за вклад в российскую литературу, культуру, искусство и сохранение русского языка.

Затем были сформированы писательские десанты в города и сёла Забайкалья. На встречах присутствовали представители администрации районов и поселений, сотрудники учреждений культуры, учителя, школьники, творческие коллективы, местные авторы, любители литературы. Покоряли душевность и щедрость местных жителей, традиционно встречавших гостей хлебом-солью, музыкой и песнями.

*Эдуард АНАШКИН,
критик*



ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Встреча человека с Природой — как это важно!..

В.В. Гинкулов

Прочитав книгу Василия Гинкулова «Живи, тайга!..», я открыл для себя этого удивительного писателя. У меня сразу же возник вопрос: почему раньше я не был с ним знаком? Ведь это же наш, сибирский, писатель!

Я стал изучать его творчество, жизненный путь и выяснил, что он известен в наших краях как один из самых истых любителей природы и тонких знатоков сибирской тайги. И в полной мере качества знатока и любителя наших уникальных лесов проявляются в его книге «Живи, тайга!..». Есть разные любители природы, одни и любят её и одновременно портят, не давая себе отчёта, что совершают; другие, любя природу, оберегают её и яростно защищают, призывая к бережливости других. И есть граждане, сами себя призвавшие защищать животный и растительный мир, у них на вооружении лишь слово, устное и печатное, предпочтительно слово художественное, наиболее убедительное. Так о творчестве писателя отзывался Леонид Огневский, член Союза писателей СССР.

С книгами Василия Гинкулова нужно жить, общаться постоянно. Его повести, рассказы, миниатюры, очерки, они — как чистый воздух, который нам необходим, за которым мы всё чаще уезжаем из шумного дымного города в лес, на дачу или, как мы говорим, «на природу». И мне кажется, что уезжать нужно непременно на электричке. Именно она является переходным звеном от многолюдного, суетливого, с назойливыми мобильными телефонами города к миру природы.

Природа для Василия Гинкулова — с детства самый желанный, душевный друг. Он рад каждой встрече с ней.

«Счастлив тот, кому родная природа с детства вошла в душу, кто всю жизнь тянется, тоскует, как по матери, по ней...» — делится с нами В.В. Гинкулов.

В цикле миниатюр «Весна таёжная» писатель старается уловить переход от зимы к весне. Внимательно всматриваясь, находит еле уловимые изменения: «раздвинулась ширь небес, голубизна их посветлела, просторнее стал лес, задиристей... звук».

В посёлке весна, отмечает писатель, начинается раньше. И как необычно он описывает обыкновенные сосульки. «С крыши свесилось белое снеговое брюхо с жемчужными сосками, и, как у слабовымной коровы, когда она идет с пастбища, капают и капают капли. Тяжелые капли. Молоко весны» («С нашего крыльца»).

Но, по словам писателя, наблюдать приход весны в тайгу «во сто крат интереснее». Встреча с природой даёт ему «неизбывное удивление», «ненасытное любопытство», «чувство полноты жизни».

«Сажусь на корточки, беру горсть таёжной постели, выясняю, из чего она состоит: рыжая полуистлевшая хвоя, старая шишка, растопырившая чешуйки, как пойманный ершик иглы, бледные волосы травы, два листа, березовый и осиновый, коринка, на ней желтая подушечка лишайника. Как все это дорого!.. Рассматриваю. Трогаю. Нюхаю. Вспоминаю...» («Первые робкие шаги»).

При встрече с вербой радуется «...этим пушистым и нежным, как новорожденные цыплята, крохотным комочкам жизни, которые в царстве неподкупно суровой зимы поздравляют нас с весенним праздником» («Верба»).

С чувством нежности описывает оттаявшую землю. «В одном месте на дороге показалась земля, мокрая, беззащитная, жалкая, словно только что родившийся теленок...» («Ультиматум зиме»).

Наблюдательность, фантазия писателя рисуют необыкновенные картины. Вот какой он увидел берёзу поздним вечером. «Голубовато-белый ствол — это будто бы река, а ветви — ручьи, притоки. Ну а звезды?.. Звезды пусть будут родниками, питающими эту чудесную речку! ...космическая путешественница!..» («Берёза неопиcуемая»).

Ну какой же приход весны без ручьев. И писатель, как мальчишка, отправляется в интересное приключение вслед за рыжим ручьём, который «стремительно мчится», «водопадит на уступах — бубнит, словно бочонки и бутылки наполняет, а на пологих неразмытых местах широко растекается — свиристелью ластится», «конскими гривами низвергается с мертвой высоты», «в виде дамских чепчиков спускается с невысокого уступчика» («Ручьи весенние»).

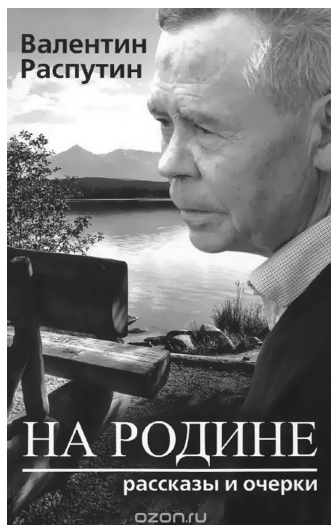
Все произведения писателя пронизаны любовью к природе родного края. Сам себя он ощущает частью этой природы, а может быть, и хвоянкой, листиком, тружеником-муравьём. Своими повестями, рассказами, миниатюрами, очерками писатель призывает людей беречь и защищать животный и растительный мир матушки-природы.

«Разве не можем мы со всеми вами, кто бегают, летает, плавает, ползает, уместиться рядом на дороге жизни?! Земля — наш общий дом, и дорога жизни у нас одна...» («Осы благородные»).

*Андрей КОЛЕШНИКОВ,
член творческой мастерской «Как рождается строка...»
краеведческого центра «Наследие» библиотеки № 5 ЦБС г. Иркутска*



НОВЫЕ КНИГИ



Книга «На родине» вышла в издательстве «Алгоритм». Валентина Распутин уже при жизни называли выдающимся писателем и классиком русской литературы. Его произведения пронизаны болью за судьбу народа и родной земли, они наделяют читателя очистительным чувством сострадания, без которого немислим русский человек. Таким было его видение жизни, такой завет он оставил нам в наследство: любить свою землю и свой народ, быть не-терпимыми к тем, кто лишает людей священной памяти о прошлом.

Эта книга составлена самим Валентином Григорьевичем из его рассказов, очерков и статей. Она посвящена любви всей его жизни — родному сибирскому краю, воспетым им Байкалу и Ангаре. Книга повествует о неразрывной связи человека со своей малой родиной, о том, как важно сохранять эту связь в современном мире, какой надёжной защитой она может стать от его жестокости и равнодушия.

Новая книга известного писателя-сибиряка Валерия Хайрюзова — это яркая, объёмная, захватывающая и поразительная по своей глубине панорама жизни сибирской глубинки. Герой повести «Болотное гнездо» Сергей Рябцов, отслуживший срочную и успевший получить «печать войны» в Афганистане, возвращается в родные места, в притаившийся среди иркутских болот, богом забытый посёлок и узнает, что жить отныне ему негде. Родственники решили, что он погиб, и продали дом, в котором Сергей вырос. Неожиданно для себя парень оказывается перед непростым выбором: попытаться вернуть прежнюю жизнь или начать новую с чистого листа?..

В повести «Луговой мотылёк» люди, вынужденные всеми силами бороться с нашествием прожорливого вредителя, оказываются в ситуации, когда нужно решать, готов ли ты пожертвовать собственным добрым именем ради спасения общественного урожая? А пронзительная, берущая за душу история дружбы и беззаветной преданности собаки и человека в новелле «Нойба» не оставит равнодушным никого!





В московском издательстве «Российский писатель» вышла книга известного прозаика и критика из Самары Эдуарда Анашкина «На литературных перекрестках. Критика. Эссе». Эта книга интересна тем, что охватывает собою более чем десятилетний этап развития русской литературы XXI века. Подобного рода книг в наши дни практически не издаётся: литературная критика и эссеистика у издателей ныне, увы, не в почёте.

Открывает книгу редакционная статья известной поэтессы Дианы Кан «Главная встреча»: «Многие ли из нас, писателей, положила руку на сердце, могут сказать о себе, что являются столь же прилежными и страстными книго-чехами, как «бумагомарателями»?.. Лично я такого о себе не скажу, хотя стараюсь быть в курсе новинок современной литературы. Но время, которое, по гениальному наблюдению Маркеса, словно бы спрессовывается и скукоживается по мере движения человечества по пути цивилизации,

далеко не всегда позволяет читать в той мере, в какой хотелось бы. Да и как найти книги, достойные прочтения? А не те расхваленные «новинки», которые хуже всех «воров», ибо их чтение похитит у вас одновременно и время, и настроение... Нужен какой-то навигатор в процессе чтения. И вот для меня, например, таким «навигатором» стал мой давний друг, замечательный прозаик и эссеист Эдуард Анашкин. Помимо многих других своих творческих и человеческих достоинств этот человек обладает даром книгочех. Вдумчивого, внимательного и по-доброму пристального! Ибо чтение — процесс творческий, и если в ту же Библию смотрит осёл, наивно полагать, что из книги выйдет апостол. Талантливый писатель достоин талантливого читателя, ведь это — главная награда писательского труда!.. Прочитав эту книгу, читатели России (и писатели России!) узнают много-много новых достойных имён...»

Поистине, книга изобилует интересными именами. Дан развёрнутый, обстоятельный анализ творчества Михаила Алексеева, Евгения Семичева, Николая Дорошенко, Ивана Тертычного, Светланы Вьюгиной, Владимира Крупина и многих других. Представлено более сорока имён, определяющих современное состояние русской литературы.

Для иркутского читателя будет, конечно же, не бесполезным прочитать статьи из этой книги, посвящённые творчеству и жизни писателей Иркутска — Валентина Распутина, Владимира Скифа, Юрия Баранова и Александра Донских.

Заканчивая представление книги «На литературных перекрестках», Диана Кан совершенно справедливо отметила: «Эта книга о том, насколько важным было и осталось правдивое живое писательское слово для судеб России, как внутривосточных, так и геополитических. И отменить эту важность не сможет никто и никогда! Ибо объективные законы в виде аксиом повелевают даже царями! Отрадно, что московские коллеги понимают значимость таких книг, как эта. И помогают им появиться на свет и дойти до читателя».



Байкал... Какая притягательная, вдохновенная сила заключена в этом слове, в этом наполненном таинственным смыслом звучании! Произносишь слово «Байкал» — и сразу представляешь неохватную, будто бы разогнутую могучим великаном подкову, видишь священное море-озеро, слышишь пульсирующую живым прибором вол-

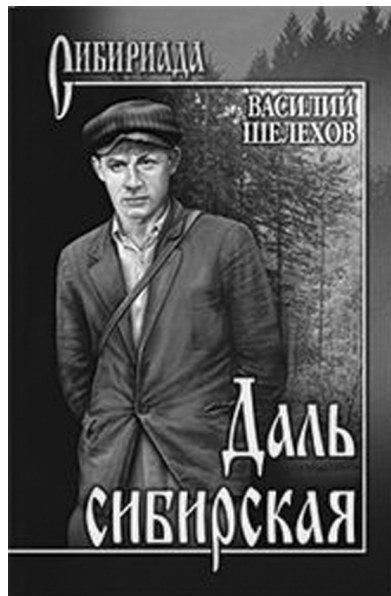
ну, представляешь этот летящий через материк хрустально-голубой слиток, пытаешься постичь своим сознанием его невиданную протяжённость, непередаваемую, пугающую глубину, ощутить его трепещущую вселенскую душу и животворную, как солнце, светочность... Великому сибирскому морю, писателям-сибирякам, литературным и памятным встречам посвящает свою новую книгу известный иркутский поэт и литературовед Владимир Скиф.

В своей книге писатель рассуждает об особой роли великого сибирского моря на нашей планете, рассказывает о писателях-сибиряках, о литературных и памятных встречах на его берегах. И, конечно же, не случайно Байкал, как магнит, притягивал и притягивает к себе сотни тысяч, миллионы стремящихся к нему со всего света людей и, прежде всего, исследователей, учёных, путешественников, моряков, а также людей творческих — писателей, художников, композиторов, фотохудожников, операторов, кинорежиссёров.

Байкал и живопись, Байкал и поэзия, Байкал и искусство — неразделимы. Сколько поэтов, графиков, живописцев, композиторов вдохновил Байкал на неповторимые яркие произведения: песни и стихи, рассказы и повести, сказки и былины, художественные полотна и графические рисунки.

В Сибирь, сначала в Братский острог, а потом на Байкал был сослан огнеопальный протопоп Аввакум, на его берегах стоял в мучительных размышлениях о смысле жизни Антон Павлович Чехов, ему посвятил свои яркие, глубокие переживания Валентин Распутин, по его волнам умчался в бессмертье Александр Вампилов.

Многие иркутские писатели и художники воспевали и воспевают Байкал в своих произведениях. А чтобы не расставаться с Байкалом, чаще быть с ним рядом, они селились и до сих пор умудряются селиться на его берегах: кто-то в южной оконечности Байкала — Байкальске, Слюдянке, Култуке, кто-то у Шаман-камня, там, где своенравная Ангара сбегала от рассерженного батюшки Байкала к Енисею... Много интересных знаменитых людей гостили у писателей в Байкальском Переделкино. О жизни и встречах у Байкала красочно, вдумчиво и с юмором рассказывает эта книга.



Василий Шелехов (Василий Владимирович Гинкулов), известный сибирский прозаик и публицист. Он, как никто, знает и любит природу Приленья, Приангарья и Прибайкалья. И потому главная тема его творчества — тайга, её необъятные просторы и богатства. Книга «Даль сибирская» — это насыщенная красками, временем и судьбами картина жизни Восточной Сибири. В повести «Ленские плёсы» автор предлагает вместе с героями пройти по ягодным борам и грибным урочищам, раскинувшимся на берегах могучей северной реки, где жители с детства постигают законы тяжёлой таёжной жизни. В повести «В детдоме» рассказана пронзительная, но добрая история семьи учителей, бежавших от голода из разорённой войной Центральной России в Якутию. В повести «Недоразумение» показаны события начала 1930-х годов — раскулачивание, «раскрестьянивание» крестьян и неумелые попытки генсека Хрущёва поднять сельское хозяйство в послевоенной, после-

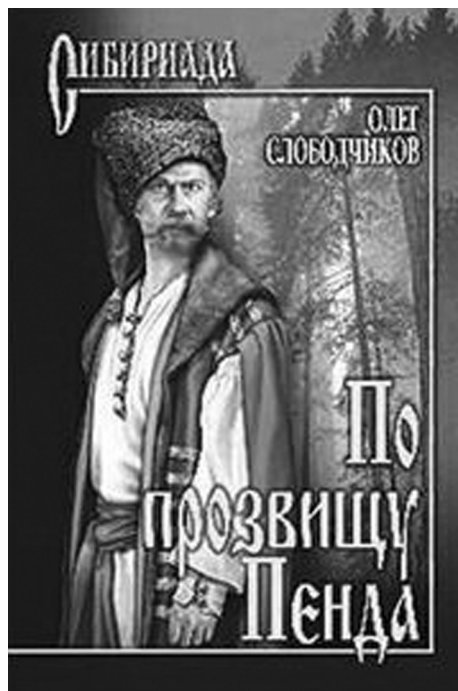
сталинской России. А «Нечаянность» — замечательная светлая история любви молодого парня и спасённой им девушки.

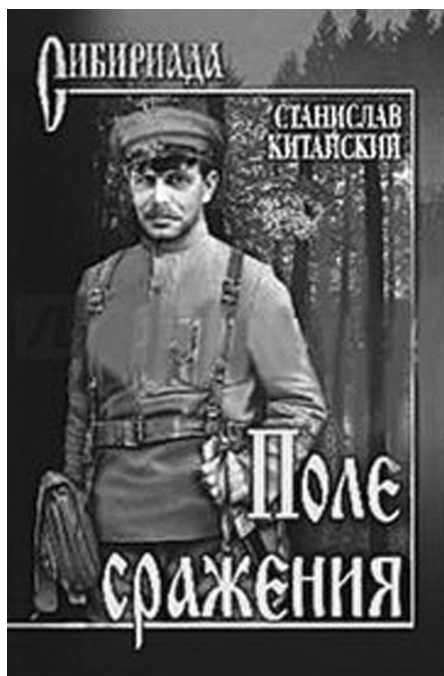


Роман известного сибирского прозаика Владимира Максимова — весьма необычное произведение. Это роман-параллель, состоящий из двух почти самостоятельных повестей, и в нём сразу два главных героя. Но благодаря авторскому мастерству оба они незаметно соединяются в единый образ, образ истинного сибиряка, хорошо знающего и безмерно любящего свой родной край.

Охотник-промысловик Игорь Ветров отправляется в многодневный переход по тайге. Сплавляясь по речке к Татарскому проливу, он ночует в небольшой таёжной деревеньке. Там, обследуя заброшенный дом, Ветров находит на чердаке старый, потрёпанный дневник некоего Олега Санина, своего земляка, жившего в 1970-х годах. Ветров забирает дневник с собой и на привалах и ночёвках читает его. Постепенно перед ним возрождается необыкновенная и драматическая судьба Санина, забросившая его на Северный Кавказ, за тысячи километров от родных мест и подарившая ему радость любви к молодой осетинке...

1610-е годы. Только что закончилось на Руси страшное десятилетие Великой Смуты, избран наконец новый московский царь Михаил, сын патриарха Филарета. Города и веси Московии постепенно начинают приходить в себя. А самые непоседливые и отважные уже вновь устремляют взоры за Уральский Камень. Богатый там край, неизведанные земли, бесконечные просторы, одно слово, Сибирь! И уходят за Камень одна за одной ватаги — кто налегке, кто со скарбом и семьями — искать себе лучшей жизни. А вместе с ними и служивые, государевы люди — присматривать новые уголья да остроги и фактории для опоры ставить. Отправились в Сибирь и молодые хоперские казаки, закадычные друзья — Пантелей Пенда да Ивашка Похаба, прослышавшие о великой реке Енисее, что течёт от Саянских гор до Студёного моря, и земли там ничейной не мерено!

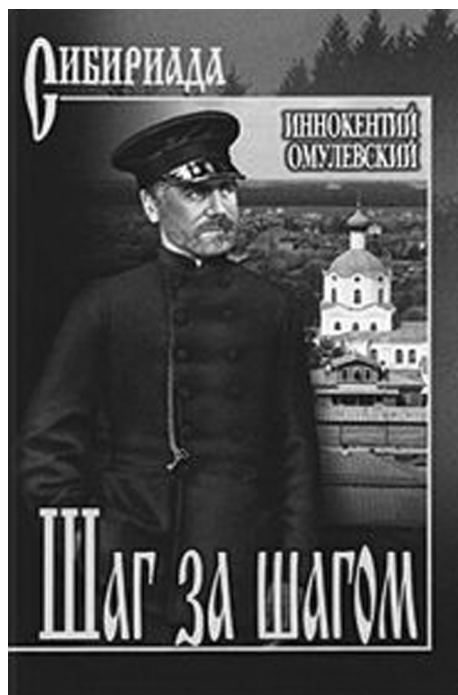


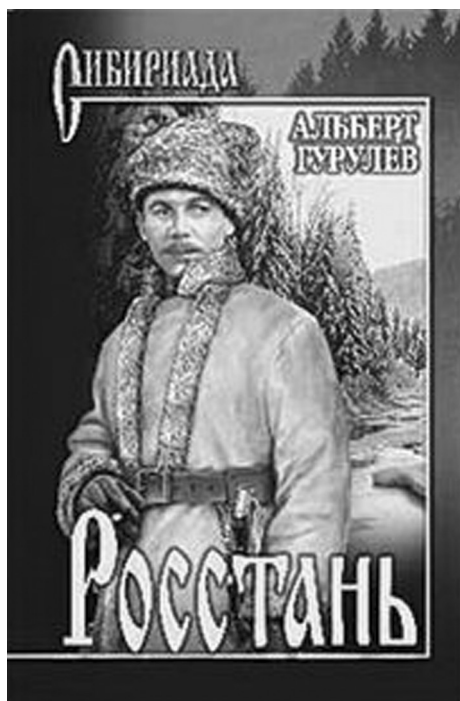


Станислав Борисович Китайский (1938–2014) — известный сибирский писатель и общественный деятель. Рождённый далеко на западе, в Хмельницкой области, Станислав Китайский всю свою сознательную жизнь и творчество посвятил Иркутской земле, изучая её прошлое и создавая настоящее. Роман «Поле сражения» увидел свет в 1973 году, но проблемы, поставленные в нём автором, остаются животрепещущими до сих пор. И главная из них — память поколений, память о тех, кому мы обязаны своей жизнью, кто защищал наше будущее. Гражданская война — это всегда страшно. Но в Сибири она полыхала с особой жестокостью и непримиримостью, когда вчерашние друзья вдруг становились в одночасье врагами, а герои превращались в предателей. Так случилось и с красным партизаном Черепахиным и его женой. Два долгих года Черепахины боролись с белогвардейцами Колчака, и вот уже они — во главе опасной банды, ненавидящей советскую власть. Но жизнь всё расставила по своим местам!..

Творчество известного сибирского поэта и беллетриста Иннокентия Васильевича Омулевского — одна из примечательных страниц истории русской литературы. Основное произведение Омулевского — роман «Шаг за шагом». Главный герой романа — ссыльный молодой революционер Александр Светлов, едва приехав в городок Ушаковск, затерявшийся на просторах Восточной Сибири, тут же начинает знакомиться с местными вольнодумцами, организует пропагандистский кружок и вносит смутнение и раздрой в умы фабричной молодёжи. И всё заканчивается бунтом...

Роман пользовался громадной популярностью, в первую очередь, среди молодёжи России, в том числе в Сибири.





Известность иркутскому писателю Альберту Гурулёву принёс его первый роман «Росстань», написанный в 1968 году, за который он был удостоен литературной премии имени И. Уткина. Роман посвящен событиям Гражданской войны в Забайкалье. Белогвардейцы, казаки, красные партизаны, японские оккупанты — все смешались в кровавом лихолетье. Росстань — перекрёсток путей, на котором оказались герои романа, и только от них самих зависит, какой выбрать путь в будущее.

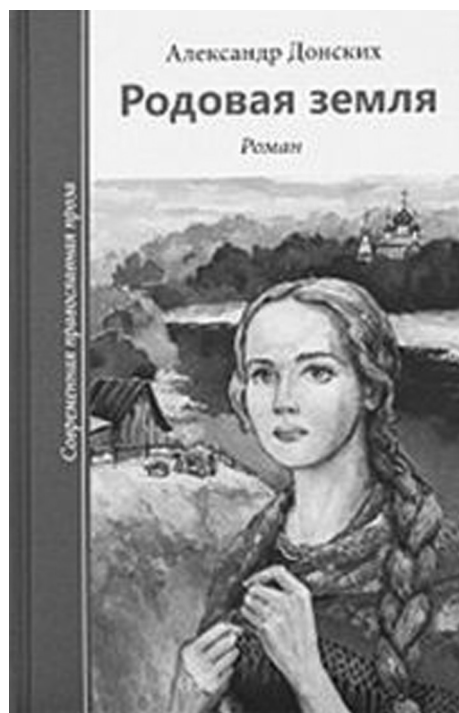
Повесть «Чанинга» посвящена драматической судьбе деревни, попавшей под очередную эксперимент властей по «укрупнению» хозяйств и уничтожению «неперспективных» деревень в сибирской глубинке.

Повесть «И был день» — это рассказ о человеке, потерявшем себя в круговерти жизни и так и не сумевшем разглядеть свой второй шанс обрести счастье.

Роман Александра Донских «Родовая земля» вышел в издательстве «Зёрна-Слово» массовым тиражом по решению Издательского совета Русской православной церкви.

Герои этого увлекательного повествования — сибирские крестьяне, оказавшиеся на сломе эпох. Революционная смута, гражданская война, крушение традиций — и на фоне этих трагических событий любовная драма главной героини Елены, сложные судьбы её родных и односельчан. Прошедшие через горнило испытаний и потерь, герои укрепляются в мысли, что основа человеческой жизни — это семья и вера, родная земля, дающие силы и поддержку.

Роман отличается своей особой интонацией и будет интересен самому широкому кругу читателей.





В Иркутске вышла в свет новая книга стихов Юрия Баранова «Град небесный». На её страницах опубликованы как недавние стихи, так и поэтические произведения, уже полюболюбившиеся читателю и младшего, и старшего возраста.

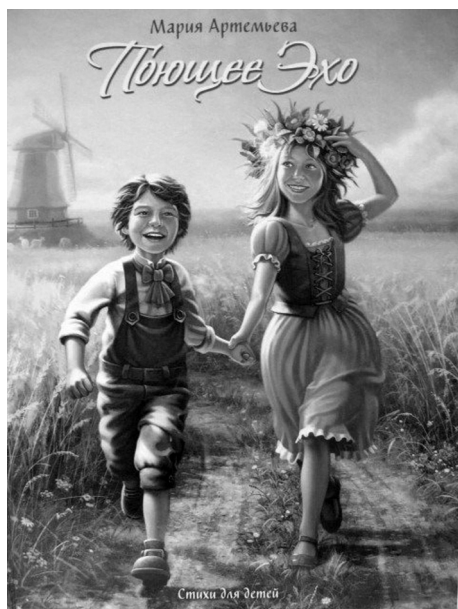
*...Раздам тревоги и печали
И все опять начну сначала.
Страницы листьями летят,
О пышной тризне говорят.
Слова, страницы, буквы, знаки
Весною превратятся в злаки.
Я в чьих-то душах прорасту
И тем опять себя спасу.*

Книга иллюстрирована графическими рисунками автора. Поэт, лауреат Международной премии «Имперская культура» Игорь Тюленев в предисловии пишет: «Новый сборник стихов — это шаг вперед и новая ступень творчества. И это меня радует. Сборник хорошо оформлен, стихи честные и сердечные. Можно было бы назвать — простые, но многие авторы обижаются на это слово, а зря. Писать просто — чертовски сложно, поэтому простота и бывает гениальней любых постмодернистов...»

Валентина Васильевна Сидоренко — известная иркутская поэтесса, публицист и редактор. Писательница внесла существенный вклад в дело возрождения православной культуры в нашем регионе. Её новая книга «Русь земная», продолжающая традиции духовной православной поэзии, — яркий пример отражения воцерковлённого сознания в литературе. Главные темы творчества В. Сидоренко — спасение и преображение человеческой души, любовь к Богу, неотделимая от любви к родной земле. В книгу известной сибирской писательницы вошли новые стихи и публицистика. «Русь земная» была издана на средства Иркутской митрополии по благословлению митрополита Иркутского и Ангарского Вадима.

Иркутская митрополия сделала щедрый подарок читателям: 400 экземпляров книги, поступившие в «Молчановку», пополняют её собственный фонд и будут переданы во все городские и сельские библиотеки Иркутской области.





Вышла в свет новая книга стихов для детей Марии Артемьевой «Поющее эхо». Книга адресована детям дошкольного и младшего школьного возраста. В сборник вошли как новые стихотворения, так и уже известные юным поклонникам поэтессы «Домовой», «Как готовит пчёлка мед», «Как замешивают тесто». Благодаря работе над оформлением иркутского художника-иллюстратора Дениса Серкова, книга получилась яркой, с весёлыми, красочными и добрыми иллюстрациями.

На страницах новой книги ребята встретятся со старичком Неугомонном, двумя шустрými мартышками, с утиной семейкой, подружками Полиной и Танюшкой, с Мишкой Топ, который первый раз пошёл в школу учиться и прихватил с собой матрас, раскладушку, зонтик, тапочки — ведь учатся несколько лет, с зайцем, который видит сон, будто ёж подарил ему рукавицы — ежовые, и теперь его все

боятся. А стихотворение «Поиграем в ладошки» приглашает ребят поиграть — помычать, помяукать, гримасы покорчить...

Дятел и Барсук

*Пёстрый Дятел прилетел,
На сосну зелёну сел.
Туки, туки, туки, тук,
Обломил он клювом сук.
Прибежал на шум Барсук,
По лбу стукнул его сук.
На траву упал Барсук,
В голове его «тук-тук».
Полежал минут пяток
И пустился со всех ног.*

Вышел новый, пятый, сборник ангарской поэтессы Людмилы Соболевской «У времени на распутье». Сборник выглядит как подарочное издание. Редактор книги Н.И. Есипёнок признался журналисту одной ангарской газеты: «Работать с Людмилой Васильевной трудно из-за её щепетильности, но интересно...»

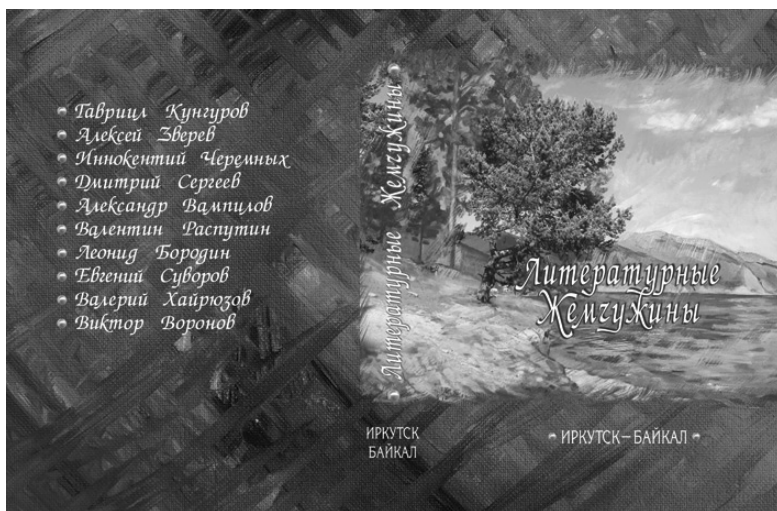




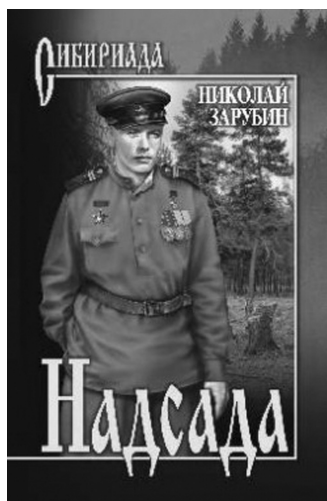
У известной сибирской сказочницы Светланы Волковой вышла в свет очередная книга сказок под названием «Сказки старого города». В эту книгу вошли двадцать сказок и стихотворение. Все они написаны ясным колоритным языком, в каждой есть свой сюжет, свой пафос и своя интрига. Красивые изящные рисунки признанного мастера детского рисунка Александра Муравьёва служат прекрасным обрамлением к сказкам. Книга Светланы Волковой станет заметным событием в культурной жизни Иркутска.

Первое издание «Литературных жемчужин», предпринятое в 2010 году, мгновенно стало библиографической редкостью. Во второе издание сборника вошли

- Гавриил Кунгуров
- Алексей Зверев
- Иннокентий Черемных
- Дмитрий Сергеев
- Александр Вампилов
- Валентин Распутин
- Леонид Бородин
- Евгений Суворов
- Валерий Хайрюзов
- Виктор Воронов



произведения, составившие славу сибирской литературы: пьеса «Старший сын» Александра Вампилова, рассказы Валентина Распутина «Уроки французского», «Что передать вороне?», «Женский разговор», повесть «Нежданно-негаданно», повесть Алексея Зверева «Гарусный платок», «Албазинская крепость» Гавриила Кунгурова, главы из повести «Разведчики» Иннокентия Черемных, повесть «Год чуда и печали» Леонида Бородина, повесть «Совка» Евгения Суворова, рассказы Дмитрия Сергеева «В сорок втором», «На тихих плёсах» и «Ледолом на Ангаре», повесть Валерия Хайрюзова «Капитан летающего сарая» и «Пригоршни из тусков» Виктора Воронова. Собранные воедино, все эти произведения позволяют получить цельное представление о прошлом и настоящем литературы Восточной Сибири, в непреходящей значимости которой не приходится сомневаться.



Роман известного сибирского писателя Николая Зарубина «Надсада» посвящён острейшим проблемам современности. От колонии единоверцев, спасающихся в присаянской глухомани от преследования властей и официальной церкви, к началу двадцатого века остается одна-единственная семья старовера Белова, проживавшая на выселках. Однажды там появляются бандиты, которым каким-то образом стало известно, что Белов знает тайну некого золотого ручья. Из всей семьи Белова спасается только его младший сын, спрятавшись в зеве русской печи. Тайна золотого ручья передаётся в семье Беловых из поколения в поколение, но ничего, кроме несчастья, им не приносит, и в конце концов приводит к открытому столкновению внука, ставшего лесником, и новых хозяев края...

Юные читатели Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева стали первыми обладателями новой книги известной иркутской поэтессы и писательницы Светланы Михеевой. Именно им она презентовала свой очередной труд, одно только название которого — «О Букинавчике и друге его Пасятке» — сразу вызвало у детей массу положительных эмоций. Встреча прошла в рамках проекта «Диалог с писателем». Долгожданное издание привезли в библиотеку из типографии во время встречи автора с четвероклассниками 1-й школы г. Иркутска. Светлана Михеева как раз читала ребятам отрывки из рукописи своей следующей детской книги «Небесный поросёнок». Это издание выйдет в свет в 2016 году. А сегодня каждый ребёнок, пришедший на встречу с мастером слова, получил из её рук в качестве подарка только что изданный выпуск.



Удивительные люди — поэты. Они помогают увидеть мир, природу, людей другими глазами. Благодаря каждому изданным сборнику литературный мир в Иркутске становится шире. Еще одним сборником пополнилась копилка изданных книг иркутских авторов. В Культурном центре Александра Вампилова состоялась презентация книги иркутского поэта Артёма Морса под названием «Другими словами».

Артём Морс — поэт и журналист, более известен как организатор и вдохновитель литературных вечеров «Поэты в городе». Печатался в различных литературных журналах России. В феврале 2006 года иркутским издателем Геннадием Сапроновым была опубликована его первая книга под названием «Из этого темнеющего сада», после которой молодой автор был принят в Союз российских писателей. Спустя семь лет у Артёма Морса выходит второй сборник стихов «Другими словами». Министерство культуры Иркутской области профинансировало книгу в 400 экземпляров. Книгу отпечатали в московском некоммерческом издательстве «Воймега», основателем которого является Александр Переверзин. Это одно из самых значимых издательств Москвы, которое выпускает книги самых разных авторов.

Отдел критики и публицистики

Наши поздравления!



Поздравляем с юбилеем известных сибирских прозаиков и поэтов!

Нелли МАТХАНОВА — 80 лет
Анатолий ЛИСИЦА — 80 лет
Иван КОМЛЕВ (В.П. Иванов) — 75 лет
Геннадий АКСАМЕНТОВ — 70 лет
Валентина СИДОРЕНКО — 65 лет
Анатолий БАЙБОРОДИН — 65 лет
Николай ЗАРУБИН — 65 лет
Олег СЛОБОДЧИКОВ — 65 лет
Тарас МАНДАНОВ — 65 лет
Юрий КОЧУРА — 65 лет
Татьяна МИРОНОВА — 60 лет
Татьяна НАЗАРОВА — 60 лет
Светлана АНИНА — 50 лет

Желаем всем крепкого здоровья, творческого долголетия!

Поздравляем!

Поэта **Владимира СКИФА**

— с вручением Международной литературной премии «Югра» за поэтическое переложение «Слова о полку Игореве»,

— с вручением премии Издательского дома «Российский писатель» в номинации «Поэтическое переложение»,

— с вручением премии Губернатора Иркутской области по направлению «Литературные художественные произведения, литературная критика» за создание сборника стихов «Все боли века я в себе ношу»,

— с присвоением звания «Лучший поэтический сборник» книге «Скифотворения» в региональном конкурсе «Лучшая книга года».

Прозаика **Анатолия Байбородина**

— с вручением Литературной премии «За верность Слову и Отечеству» имени первого редактора «Литературной газеты» Антона Дельвига («Золотой Дельвиг») за книгу прозы «Озёрное чудо» и высокое служение идеалам русской литературы.

Писателей **Анатолия ГОРБУНОВА** и **Михаила ТРОФИМОВА**

— с присвоением звания «Лучшее издание для детей и юношества» в региональном конкурсе «Лучшая книга года» за книги «Где спрятались ежи?» (Михаил ТРОФИМОВ) и «Северное сияние» (Анатолий ГОРБУНОВ)

Писателя **Семёна УСТИНОВА**, книга которого «Эколог Леший и его соседи» признана «Лучшей книгой о родном крае»

Прозаика **Андрея АНТИПИНА**

— с вручением Международной ежегодной литературной премии имени И.А. Гончарова (Ульяновская область) в номинации «Ученики Гончарова» за роман «Житейная история»

— с вручением Литературной премии «За верность Слову и Отечеству» имени первого редактора «Литературной газеты» Антона Дельвига («Золотой Дельвиг») за книгу прозы «Житейная история» и продолжение традиций русского реализма в литературе.

Детского писателя **Любовь МОСКОВЕНКО**

— с вручением Международной премии «Имперская культура» имени профессора Эдуарда Володина за книгу рассказов «Дедушкины уроки»



В Иркутской области в 2017 году будет открыт Литературно-биографический музей Валентина Распутина

28 января 2016 год. В Иркутской области в 2017 году будет открыт Литературно-биографический музей Валентина Распутина. Концепцию будущего музея обсудили сегодня министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин, сотрудники Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов, члены Наблюдательного совета ГАУК ИОКМ и родные писателя Ольга Лосева и Сергей Распутин.



Рабочая группа под руководством директора музея декабристов Елены Добрыниной разработала проект концепции Литературно-биографического музея писателя. Основная экспозиция музея названа «Сибирская Атлантида Валентина Распутина». Выставочные площади будут располагаться в двух этажах – жилом и полуподвальном, и составят около 120 кв. м. Предполагается, что экспозиция будет сочетаться с выставочными и публичными зонами музейного пространства. Проект предлагает активное использование современных мультимедийных технологий и дизайнерских решений.

— Концепция готовилась в очень сжатые сроки — с сентября 2015 года. Музей в год юбилея Валентина Григорьевича должен уже представить полноценную выставку. Вчера краеведческий музей получил все права на пребывание музея В.Г. Распутина в здании на ул. Свердлова, 20 в Иркутске. На музей оформили и права и обязанности по отношению к этому дому, в который мы начнем вдыхать жизнь, — сообщил Сергей Ступин.

Директор краеведческого музея пояснил, что в рамках разработки концепции многие процессы запараллелены, одновременно разрабатываются и концепция, и проект, и дизайнерское оформление. На территории будущего музея также планируется строительство фондохранилища, в котором будет предусмотрено помещение для научных сотрудников, библиотека и небольшой зал для проведения встреч.

— В коллекцию музея в соответствии с концепцией могут войти около 10 тыс. экспонатов. В перспективе при расширении границ музея, создании музея в Аталанке, в местах, которые связаны с именем писателя, профиль может измениться, и мы будем говорить, например, о музее-заповеднике, — отметила Елена Добрынина.

В рамках встречи Ольга Стасюлевич сообщила, что 11 марта 2016 года к годовщине смерти Валентина Распутина в Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея состоится открытие выставки «Ближний свет издалека», названной по одноимённой статье писателя о Сергии Радонежском. Ольга Лосева передала привезённые из Москвы личные вещи писателя, которые будут представлены на выставке.

В январе 2016 года Иркутский областной краеведческий музей уже получил более 500 книг из библиотеки писателя, часы, лампу, письменный прибор, кресло и письменный стол, за которым работал Валентин Распутин, коллекции дымковской игрушки и колокольчиков, личные фотографии, редкие иконы конца XIX — начала XX века.

Пресс-служба Правительства Иркутской области

Поздравляем журнал «Сибирячок» со славным юбилеем!



«Сибирячку» — четверть века



Детскому литературно-художественному журналу «Сибирячок» в этом году исполняется 25 лет.

Главный герой журнала — весёлый и добрый мальчик, появившийся в тайге из огромной кедровой шишки и получивший имя Сибирячок. Вместе со своими друзьями — лешим Кешей, аптекарем Анти-Охом, боцманом Сармой, девочкой Таёжкой, роботом Урсиком и мудрой Вороной он живёт на страницах журнала, помогая ребятишкам знакомиться с творчеством писателей, поэтов и художников Сибири, с историей и природой родного края. В каждом номере непременно присутствуют загадки, ребусы, кроссворды, а также большие интересные вкладки.

За эти годы «Сибирячок» стал важной составляющей культуры Приангарья. Хорошо известен он и в масштабах страны, неизменно

получая почётный статус победителя медиапроекта «Золотой фонд прессы»; в 2015 году «Сибирячок» стал единственным детским изданием, удостоенным на этом конкурсе почётного знака I степени. За четверть века с журналом выросло уже не одно поколение сибирячков. Теперь, став взрослыми, они делятся воспоминаниями, участвуя в акции «Я читал «Сибирячок»!».

Юбилей журнала будет отмечаться весь год, среди запланированных мероприятий — фестиваль театральных коллективов «На земле Сибирячка», интерактивная выставка иллюстраций, пресс-конференция, конкурс детского творчества. Одним из важнейших мы считаем литературный конкурс — «Новые приключения Сибирячка и его друзей». Журнал ирпглашает профессиональных и начинающих писателей принять участие в конкурсе. Принимаются произведения в любом жанре, главное условие — героями должны быть персонажи журнала. С полным положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте <http://sibiryachok.net>.

